Лев БЕРДНИКОВ

Евреи Государства Российского

XV–начало XX вв.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга писателя Льва Бердникова – документально-художественное повествование о евреях, внесших ощутимый вклад в российскую государственную жизнь, науку и культуру. Представлена целая галерея портретов выдающихся деятелей XV – начала XX вв. Оригинальное осмысление широкого исторического материала позволяет автору по-новому взглянуть на русско-еврейские и иудео-христианские отношения, подвести читателя к пониманию феномена россиянина еврейской идентичности.

- Лев Бердников
  -
  - Предисловие
  - Foreword
  - «Да молвите Кокосу жидовину от Великого князя»
  - Оклеветанный эскулап
  - Многогранный алмаз
  - Дело врача
  - Петр I и евреи
  - Звездный час барона Шафирова
  - Веселовские
    -
    - I. Опальный дипломат
    - II. Ментор для наследника престола
    - III. Возвращение резидента
  - Главный самоед империи
  - Казус Липмана
  - Лейб-медик императрицы
  - Светлейший юдофил
  - «Хотя и еврей, но преблагородный человек»
  - Открыватель Тавриды
  - Острый Перетц
  - Первый русскоязычный писатель
  - Свой среди чужих?
  - Произвели в евреи…
  - Ученый еврей
  - Из иудеев – в славянофилы
  - Честный боец
  - Наследие баронов Гинцбургов
    -
    - Зачем «патриотам» еврейские манускрипты?

        - Создать себя
        - «Краса Израиля»
        - Еврейский антиквар
    - Сеятель
    - Крещение напоказ
    - «По долгу совести и принятой присяги…»
    - Основная литература
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11

Лев Бердников
Евреи государства Российского (XV – начало XX вв.)

Посвящается моему деду, литературоведу Григорию Львовичу Абрамовичу

Автор благодарен за ценные замечания и советы в подготовке книги Марку Авербуху, Евгению Берковичу, Маркусу Левитту, Раде Полищук, Анатолию Разгону, Семену Резнику, Ушанги Рижинашвили, Юрию Табаку, Ларисе Токарь, Игорю Туфельду.

Евреи. Из книги Густава-Теодора Паули «Этнографическое описание народов России» (Спб., 1862)

Предисловие

Книга Льва Бердникова «Евреи Государства Российского» представляет собой значительно дополненное и расширенное издание книги «Евреи в ливреях» (М.: Человек, 2009).

«Ах, не шейте вы ливреи, евреи!» – эти слова из памятной песни Александра Галича предостерегают представителей иудейского племени всех времен держаться подальше от власть предержащих. Многие персонажи новой книги Льва Бердникова сему совету не вняли и вошли в историю именно потому, что были на виду и вращались в высших государственных и придворных кругах царской России. Рассказано здесь и о тех де я те лях, кто сыграл видную роль в российской культуре, науке, просвещении, чем прославили Отечество и обессмертили свои имена. Автор выстраивает целую галерею портретов выдающихся российских евреев XV – начала XX вв. Поражает при этом завидная широта их профессиональной деятельности: перед нами не только иудеи-купцы, предприниматели, ювелиры, ученые, банкиры и врачи, но и евреи-дипломаты, фольклористы, придворные учителя, литераторы, общественные деятели и даже шуты. И каждый из них оставил свой неповторимый след в истории.

Времена, как известно, не выбирают. Герои этой книги жили и действовали в эпоху государственного и религиозного антисемитизма, а потому большинство из них были поставлены перед необходимостью креститься (как некогда испанские и португальские мараны). Были периоды, когда подвергали остракизму за одно лишь подозрение в тайной приверженности религии Моисея, когда без крещения не дозволили бы не только облачиться в ливреи, но и вообще поселиться в России. Аккультурация и ассимиляция коснулась всех, но степень и градус этой мимикрии разнились, демонстрируя все многообразие культурно-исторических типов. Перед нами предстают фигуры, подчас парадоксальные по своей полярности: например, с одной стороны, один из основателей Петербургской еврейской общины, «защитник своего народа» – поборник прав иудеев Нота Ноткин; а с другой – еврей только по происхождению, думный дьяк Посольского приказа Алмаз Иванов, истый ревнитель православия.

Однако без такого не помнящего родства с иудеями Иванова (равно как без рыцаря славянской фольклористики Павла Шейна – бескорыстного подвижника, посвятившего жизнь изучению русской и белорусской народной песни) картина была бы и

неполной, и исторически недостоверной. Оставить их вне поля зрения означало бы упустить из виду еврейский этнический след в российской истории и культуре. Ведь в книге показывается, что уже под скипетром «тишайшего» царя Алексея Михайловича, помимо Алмаза Иванова, подвизались крещеные евреи: русский посол в Кахетии В. С. Жидовин, приказной дьяк В. Юдин; начальник московских стрельцов И. В. Жидовин; придворный доктор Д. Гаден (причем, мы говорим только о государевой службе). Названные лица настолько удалены от нас по времени, что проникнуть в их думы, постичь логику их поступков можно лишь умозрительно. Так, история умалчивает о том, что чувствовал, к примеру, царедворец Алмаз Иванов, когда принимал в Кремле гонителя и убийцу Богдана Хмельницкого, на чьих руках была кровь десятков тысяч его соплеменников. Кто может поручиться, что в минуту официальных посольских церемоний Алмаз не вспомнил о своем еврействе?

Книга изобилует впечатляющими примерами, когда евреи-выкресты пеклись об интересах соплеменников и использовали свое привилегированное положение исключительно им во благо. Вот кремлевский врач Даниил Гаден добивается разрешения на торговлю в Москве еврейских купцов и сам привечает иудеев в своем доме. Резидент в Вене Авраам Веселовский убеждает Петра Великого в высоком профессионализме специалистов-евреев; а его брат, учитель великого князя Петра Федоровича Исаак Веселовский, настоятельно просит монархиню-юдофобку Елизавету Петровну разрешить евреям беспрепятственно жить в России. А разве не дорогого стоит признание генерал-лейтенанта Генштаба Михаила Грулева, сделанное им на рубеже XIX и XX столетий: «Самое важное, что старательно и неусыпно держал всегда под светом моей совести, – это было то, что по мере сил я боролся, пассивно или активно, против несправедливых обвинений и гонений на евреев. Следуя вот в этих случаях «голосу крови» и велениям сердца, я в то же время видел в такой борьбе сокровенное и разумное служение России, моей Родине, по долгу совести и принятой присяги».

А сколько поколений россиян прислушивалось к пронзительному «голосу крови» Семена Надсона (евреем был его дед), а именно, к стихотворению «Я рос тебе чужим, отверженный народ». Произведение это в глазах современников было окрашено в яркие эмоциональные тона. Ибо трагическая кончина самого Надсона, затравленного юдофобом Бурениным и черносотенной прессой, придавало его словам о «стае жадных псов», терзавшей еврейство, злободневность и остроту. А если принять во внимание исключительную популярность этого поэта в конце XIX

века, можно говорить о выдающейся роли этого произведения в борьбе с антисемитизмом в российском обществе.

Важно то, что Л. Бердникову удается оставаться верным исторической правде и реалиям времени, о какой бы эпохе ни шла речь в книге. Это тем более ценно, что в некоторых сочинениях израильских авторов делается необоснованная попытка представить всех выдающихся пращуров и убежденными сторонниками иудаизма. Так, один известный тамошний писатель живописует прямо-таки фантастическую сцену. Будто бы евреи при дворе Петра Великого (в том числе и откупщик Борух Лейбов, прибывший из Смоленска прямо в царевы покои) собираются вместе на пасхальный седер и побуждают российского императора надеть ермолку (что тот без колебаний и делает). «Сомнительна не только эта сцена, – полемизирует с ним автор, – но и существование в Петербурге начала XVIII века какой-то особой еврейской партии, покровительствующей своим соплеменникам и крепко спаянной корпоративными или религиозными интересами».

Между тем сложно и противоречиво было отношение к иудеям и самого Петра Великого – «импульсивного прагматика», искреннего во всех проявлениях: и когда он честил иудеев, и когда защищал их. И великий реформатор России возвел на высшие государственные посты империи немало евреев, а те во главу угла ставили интересы их нового Отечества и именно с ними пытались примирить свое национальное чувство. Все свои связи они употребляли во благо России, которой беззаветно служили. Достаточно сказать, что блистательный дипломат Шафиров в условиях, когда русские войска были окружены со всех сторон втрое превосходящей их армией Оттоманской Порты, спас Россию от рабства и унизительных условий мира.

Не прохожими людьми, не перекати-поле были герои книги – многие из них чувствовали себя хозяевами страны, глубоко укорененными в российскую жизнь. Примечательно, что именно Шафиров впервые ввел в русский литературный обиход слово «патриот», которое он определил как «Отечества сын». И для евреев это были не пустые слова! Многие из них и в более позднее время были ревностными патриотами страны, соединяя в себе заботу о судьбе единоплеменников и горячую любовь к России и русскому народу. Ученый-натуралист, академик Карл Габлиц, был одержим служением российской науке, он возрождал, превращал в цветущий край новоприобретенную Тавриду. Первый русскоязычный писатель-еврей Лев Невахович, автор книги «Вопль дщери иудейской» (1803), пишет сочинения, в которых прославляет Россию. «Ученый еврей» Министерства

народного просвещения Леон Мандельштам, посвятивший жизнь просвещению своих единоверцев, выступает истым апологетом русской культуры, становится первым русскоязычным поэтом-евреем. Общественный деятель и меценат барон Евзель Гинцбург завещает потомкам обязательно хранить российское подданство и иудейскую веру. А его сын, барон Гораций Гинцбург, снискавший особую известность и любовь единоверцев своей благотворительностью и защитой прав гонимого народа, и в лихолетье погромов и угнетения свято верил в будущее еврейской общины в России. Национальный еврейский поэт, сын пахаря Семен Фруг своей любовью к земле и горячим еврейским патриотизмом заслужил уважение и благоговение замечательного русского писателя Николая Лескова.

Так что же, выходит, предостережение: «Ах, не шейте вы ливреи, евреи!» беспочвенно и лишено оснований? К сожалению, нет! Судьба многих героев книги оказалась глубоко трагичной. Во времена Ивана III погибает на эшафоте врач Мистро Леон, ставший жертвой коварного заговора; другой доктор, Даниил Гаден, облыжно обвиненный в чернокнижии, был растерзан мятежными стрельцами в 1682 году; братья Абрам и Федор Веселовские вынуждены были бежать из страны и стали первыми дипломатами-невозвращенцами; умирает в нищете подрядчик Абрам Перетц, разорившийся на поставках провианта для русской армии в войне 1812 года, и т. д. Гонениям подвергались даже те евреи, чьи заслуги перед державой были поистине огромными. Над вице-канцлером Петром Шафировым был уже занесен топор палача, но вдруг «смилостивились» и объявили лишь о ссылке, лишении всех чинов и орденов (а до того в Сенате ему не без удовольствия напомнили, что он «жидовской породы»).

На некоторых героев книги возводили напраслину даже после их смерти. Досужие историки-почвенники, умалчивая о реальном вкладе евреев в российскую культуру и становление империи, пытаются отыскать следы вредоносных происков «жидомасонов» в годину самых мрачных событий российской истории. Вот здесь-то роль «евреев в ливреях» ими сознательно и настойчиво гипертрофируется. По логике сих «ученых мужей», времена царствования императрицы Анны Иоанновны правильнее было бы назвать не «Бироновщина», а «Липмановщина» по имени приближенного к временщику Э. И. Бирону еврея-банкира Леви Липмана, который якобы и правил Россией. В книге показывается абсурдность и смехотворность утверждения о всемогуществе некрещеного еврея Липмана (бывшего лишь одним из кредиторов Бирона) в эпоху религиозной нетерпимости и антисемитской истерии.

Агрессивный поиск «исторического компромата» на еврейский этнос особенно рьяно и упорно ведется в сфере литературы, точнее – в области русской поэзии. Ангажированные литературоведы и критики пытаются внушить мысль, что в смерти великих русских поэтов повинны именно евреи, которые якобы повязаны вековечным тайным заговором против России. И не беда, если их нет рядом, под рукой, – при желании жидом можно объявить любого прохвоста или мерзавца, особливо же, когда дело пахнет смертоубийством. Вот злосчастный Николай Мартынов, застреливший на дуэли великого Лермонтова, – даром, что православный, дворянин, офицер, а отчество-то у него «Соломонович»! Зачем утруждаться вопросом, по каким причинам православные христиане и Мартыновы, в частности, могли дать новорожденному библейское имя Соломон? Какое дело русскому националисту до Недели святых праотцев в Православной церкви (а она отмечается в конце декабря), когда младенцам давали древнеиудейские имена?! А вот мученический образ русского поэта, убиенного супостатами-инородцами, очень даже притягателен. Ну, как тут удержаться от искушения объявить Соломоновича – Мартынова – натуральным жидом! И не только объявить, но и фильм об этом заделать – очень «художественный» и весьма «просветительский». Да еще приплести к заговору против Лермонтова канцлера Карла Нессельроде (мать-то у сего сановника, как в биографическом словаре сказано, – этническая еврейка лютеранского вероисповедания)…

Отрадно, что характеры известных государственных деятелей под пером Л. Бердникова раскрываются перед нами с новой, неожиданной стороны. Так, специальный очерк посвящен светлейшему князю, фельдмаршалу Григорию Потемкину-Таврическому. Он предстает здесь убежденным юдофилом, первым в российской истории государственным мужем – сторонником сионистской идеи. Этот харизматический деятель впервые после разрушения второго храма в Иерусалиме вооружает иудеев и формирует в 1786 году «Израилевский» конный полк, который предлагает расквартировать в освобожденной от турок Палестине, где и намеревается собрать всех евреев.

Но до реализации этого плана «светлейшего юдофила» Потемкина было еще бесконечно далеко. Огромное число иудеев продолжало жительствовать тогда в Российской империи. Из их среды и выделились евреи, ставшие героями этой книги. Они вошли в анналы истории, а потому вызывают к себе сегодня наш живой и неподдельный интерес.

Александр Локшин, *доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН РФ*

Foreword

Lev Berdnikov's book «Jews of the Russian State» is a significantly expanded version of his earlier volume Jews in Livery (Moscow, 2009).

«Oh, Jews, don't you sew livery!» These words, from the well-known song by Alexander Galich, ring out as a bitter admonition to Jews of all times, warning them to keep a safe distance from those in power. Many of the heroes of Lev Berdnikov's book Jews in Livery did not heed this advice and entered history precisely because they made themselves visible and circulated in the highest state and court circles of tsarist Russia. They played a leading role in Russian culture, academics, and enlightenment, both bringing glory to the nation and immortality to their names. The author presents an entire gallery of outstanding Russian Jews of the fifteenth through twentieth centuries. The breadth of their professional activities is striking: here are not only merchants, entrepreneurs, jewelers, scholars, bankers and doctors, but also diplomats, folklorists, court tutors, men of letters, social activists and even court jesters. And each of them left a unique mark on Russian history.

Human beings do not have the luxury of choosing their time and place of birth. «Jews in livery» lived and worked in times of governmental and social anti-Semitism, so that the majority of them were faced with the necessity to convert, as had happened with the Spanish and Portuguese Marranos. There were periods when they faced ostracism for even the suspicion of secretly professing the Mosaic faith, when without conversion they would not only not have been allowed to dress in livery, but even to live in Russia. Acculturation and assimilation faced all of them, but its degree and degree of sincerity differed greatly, manifesting a great variety of cultural and historical types. Before us arise figures at times paradoxical in their extremes: on the one hand, for example, one of the founders of the St. Petersburg Jewish community, the fighter for Jewish rights Nota Notkin, who supported the assimilation of Jews to Russian language and culture; on the other, the Jew only by birth Almaz Ivanov, boyar clerk (dumnyi d'iak) of the Foreign Office, who was a fierce zealot of Russian Orthodoxy. However, without reference to his relationship to the Jews our view of figures like Ivanov would be incomplete and historically unreliable; the same goes for Pavel Shein, who selflessly dedicated his life to the study of Russian and Belorussian folksongs. To ignore such figures would mean to underestimate the significant Jewish impact on Russian history and culture. Indeed, as Berdnikov shows, already under Tsar Aleksei

Mikhailovich, apart from Almaz Ivanov, there were numerous converted Jews in state service: the Russian ambassador in Kakhetiia V. S. Zhidovin; the departmental clerk V. Yudin; head of the Moscow strel'sty I. V. Zhidovin; court physician D. Gaden; and others (and here we are speaking only of those in state service). These figures are so distant from us in time that to delve into their minds and understand the logic of their actions is necessarily speculative. History is silent, for example, on what Almaz Ivanov felt when he received «Khmer the Wicked» in the Kremlin-that is, the infamous Bogdan Khmel'nitskii at whose hands tens of thousands of innocent Jews perished. Who would doubt that at that moment he had a thought for his own Jewish origins?

This book is filled with striking stories about converted Jews who used their privileged position to intervene with the Russian crowned authorities in favor of their fellow countrymen. Thus the Kremlin physician Daniil Gaden obtained permission for Jewish merchants to trade in Moscow, procured commissions for them from court, and received them in his home. The Russian resident in Vienna Avraam Veselovskii convinced Peter the Great, far from well-inclined to Jews, of the high professional qualifications of Jewish specialists; and his brother Isaac Veselovskii, who was the teacher of Grand Duke Peter Fedorovich, did not shy away from trying to convince the imperial judeophobe Elizabeth Petrovna to allow Jews to settle in Russia unimpeded. Similarly precious is the admission of the General-lieutenant of army command Mikhail Grulev, made on the cusp of the nineteenth-twentieth centuries: «The most important thing, that I always held before myself in the light of conscience, was to fight as best I could, passively or actively, against unjust accusations and attacks on Jews. Following both the 'voice of my blood' and the command of my heart, in these cases I also saw my sacred and rational service to Russia, my land of birth, in consonance with duty to conscience and to my vow.»

And how many generations of Russians have listened to the piercing «voice of blood» expressed by Semen Nadson (whose grandfather was Jewish), in particular, to his poem «I grew up, alien to you, outcast people.» This poem had heightened emotional power for Nadson's contemporaries, since the tragic death of the poet himself, defamed by the Jew-hater Burenin and the anti-Semitic Black Hundreds' press, lent his words about «a pack of ravenous hounds» sharpness and topicality. The exceptional popularity of this poet in the late nineteenth century suggests the important role of this work in the battle with anti-Semitism in Russian society of the time.

It is also important that Berdnikov succeeds in remaining faithful to historical truth and contemporary realia, independent of which

period is being analyzed. This is all the more important since in several works by Israeli authors attempts are unjustifiably made to present all of our outstanding ancestors as committed advocates of Judaism. Thus one well-known writer describes the following fantastic scene: Allegedly Jews at the court of Peter I, including the tax-farmer Boruch Leibov, who arrived at the Tsar's quarters directly from Smolensk, were gathering together for a Passover seder, and convinced the Russian emperor to don a yarmolka, which he did without hesitation. «Not only is this episode doubtful,» responds Berdnikov, «but so is the very existence of an alleged Jewish party at the beginning of the XVIIIth century, supposedly supported by other co-religionists and firmly united by corporate and religious interests…

In fact, Peter the Great's attitude toward Jews was complex and contradictory. He was a «impulsive pragmatic,» sincere in all of his actions – both when he criticized Jews and when he defended them. The great reformer elevated no few Jews to the highest state positions in the Empire, and they put the interests of their new homeland first, attempting to reconcile them with their national feelings. They often used their blood ties to advance Russian interests, which they served selflessly It is enough to cite the case of the brilliant diplomat Petr Shafirov who saved Russia from slavery and humiliating conditions of defeat when Russian troops were completely surrounded by a far superior Ottoman army twice their size.

Incidentally, it was Safirov who first introduced the word «patriot» into the Russian literary language, which he defined as «son of the Fatherland.» These were not empty words for «Jews in livery.» Many of them served as zealous Russia patriots, combining concern for their people with sincere love for Russia and the Russians. The scholar, naturalist and academician Karl Gablits dedicated himself to Russian science and helped revive the newly acquired territories of Tauride (the Crimea), transforming it into a blossoming land. The first Russian-language Jewish writer, Lev Nevakhovich, author of A Daughter of Judea's Wail (1803), wrote works extolling Russia. The «learned Jew» of the Ministry of Enlightenment, Leon Mandel'shtam, who dedicated his life to the many-sided education of the Jews in Russia, was also a fierce advocate of Russian culture, and became the first Jewish poet to write in Russian. The remarkable Jewish social activist and patron Baron Evzel Ginzburg obliged his descendants to preserve both their Russian citizenship and Jewish faith, and his son Baron Horace Ginzburg earned recognition and love through his philanthropy and defense of the rights of his people, and despite witnessing pogroms and persecutions in his old age, still believed in the future of the Russian Jewish community. And the national Jewish poet, Semen Frug, who was the son of a farmer, earned the respect

and admiration of the remarkable Russian writer Nikolai Leskov with his love for the land and his fervent Jewish patriotism.

So-does this mean that the warning «Oh, Jews, don't you sew livery!» was groundless? Unfortunately, not. Berdnikov recounts the fates of many «Jews in livery» that were tragic. In the time of Ivan III the doctor Mistro Leon perished on the scaffold, victim of a cruel conspiracy. And another doctor, Daniil Gaden, falsely accused of black magic, was tortured to death in 1682 by rebellious strel'tsy. The brothers Abram and Fedor Veslovskii were forced to flee the country, and thus became Russia's first non-returning diplomats. Chief of Police Anton Divier was exiled to Siberia. The contractor Abram Peretz, who went bankrupt supplying the Russian army with provisions in 1812, died in poverty. And so on! Even those whose services to the country were truly enormous could be subject to persecutions; thus Petr Shafirov was ultimately stripped of his ranks and medals, as the Senate gleefully recalled that he was of the «zhid breed.»

Several of the heroes of this book were not left in peace even after death. Xenophobic historians with nothing better to do keep silent about the contributions made by Jews to the Russian empire while trying to seek out traces of harmful intrigues hatched by «zhid-masons» and contributing to the most dismal events in Russian history. At times the role of «Jews in livery» is thus purposefully and outrageously exaggerated. By the logic of these learned writers, the dark period under Empress Anna Ioannovna should be called not «bironovshchina» (the time of Biron) but «lipmanovshchina,» after E. I. Biron's close associate, the Jewish banker Levy Lipman, who they say, allegedly ruled Russia. (Berdnikov addresses the falsity and absurd nature of this and other assertions about Lipman's power, demonstrating that he was just another of Biron's many creditors.)

The aggressive search for historically compromising material about Jews is especially zealous and stubborn in the sphere of Russian literature, – more precisely, in the area of Russian poetry. Tendentious literary scholars try to push the idea that it was precisely the Jews who were responsible for the death of great Russian poets, as part of an age-old secret conspiracy against Russia. And it's no problem for them if no evidence exists; it's simple enough to label as a zhid any cheat or scoundrel, especially if murder is involved. Thus the unfortunate Nikolai Martynov who shot the great Lermontov in a duel – so what if he was Orthodox, an aristocrat, officer – but what about that suspicious patronymic «Solomonovich»?! The Russian nationalist has no interest in the fact that during the week of holy forefathers in the Orthodox church in late December newborns were given ancient-Jewish names. So here we have the image of a Russian poet and martyr, killed by evil foreigners – it's even rather appealing. So how

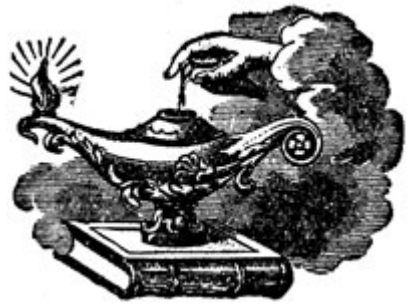
can one help but give into the temptation of declaring Solomonovich-Martynov a natural born Jew – and not only to declare it, but make a film about it, one that is very «artistic» and even «enlightening.» And throw into the conspiracy against Lermontov the chancellor Karl Nesselrode, whose mother (we learn from a biographical dictionary) was ethnically Jewish but of the Lutheran faith…

Berdnikov also reveals several well-known Russian political figures in a new and unexpected light. For example, a separate essay is dedicated to the Prince and Field Marshall Grigorii Potemkin, who appears here as a convinced judophile and the first governmental figure in Russian history to support the Zionist idea. For the first time since the destruction of the Second Temple this charismatic figure armed Jews to form the «Israelevskii» Calvary Regiment in 1786. This he proposed to be quartered in previously Turkish-occupied Palestine, where he thought to summon all Jews once more.

But it was to be a vastly longer time until the realization of this plan than he imagined. A huge number of Jews were to continue to live and be absorbed into in the Russian empire, and among them were the heroes of this book. They entered the annals of history and merit our lively and sincere interest today.

Alexander Lokshin, Doctor of Historical Sciences, Leading Researcher, Institute of Eastern Studies, Russian Academy of Sciences

«Да молвите Кокосу жидовину от Великого князя»
Хозя Кокос



В царствование Ивана Великого, особенно в первой его половине, иудеи чувствовали себя в Московии весьма вольготно. Им было дозволено «торговлю чинить» и беспрепятственно колесить по городам и весям бескрайней Руси. Повсюду можно было заприметить принадлежавшие евреям повозки, обтянутые парусиной. «Высокие, худощавые лошади нерусской породы, – живописал в историческом романе «Басурман» И. И. Лажечников, – казавшиеся еще выше от огромных хомутин, испещренных медными полумесяцами, звездами и яблоками, давали знать о мере своего хода чудным строем побрякушек такого же металла. На передках сидели большею частью жиды… В тогдашнее время не было выгодной должности, которую не брали бы на себя потомки Иудины. Они мастерски управляли бичом и кадуцеем, головой и языком… Особенно на Руси… во Пскове, в Новгороде и Москве шныряли евреи-суконники, извозчики, толмачи, сектаторы и послы… В авангарде, из-под общипанного малахая и засаленного тулупаторчала, как флюгер, остроконечная бородка и развевались пейсики, опушенные морозом».

«Полезные» евреи отыскивались не только на московских улицах, но и среди лиц, непосредственно приближенных к великому князю Ивану III, который, по словам историка Г. В. Вернадского, относился к иудеям весьма доброжелательно и терпимо.

К слову, в этом своем юдофильстве государь московский был не одинок, ибо институт придворных евреев существовал в большинстве стран Европы и Азии. Он имел давнюю традицию и вел свое начало еще с книги Бытия, где рассказывалось об Иосифе

– высоком сановнике египетского фараона. Впоследствии жизнеописания придворных евреев, сохранивших религию отцов и помогавших своим соплеменникам, вошли в книги Даниила и Эсфири, а также в апокрифическую книгу Товита. В Средние века правители некоторых мусульманских стран приглашали на службу еврейских врачей и финансистов, и многие из них играли выдающуюся роль в жизни этих стран: Хисдай Ибн Шафрут, Я'аков Ибн Джау Шломо Ибн Я'иш и др. Пользовались финансовыми услугами евреев и средневековые правители. Так, в христианской Испании наибольшего влияния достиг врач и дипломат кастильского короля Иосеф Ха-Наси Фарузиель (XII век) и его племянник Шломо-Ибн Фарузиель, а позже член королевского совета Кастилии Иосеф де Эсиха (ум. 1340). В Арагонском королевстве выдвинулись ряд представителей еврейского семейства де ла Кабальерия (2-я половина XIII века), Альконстантини, Абравалья. В Португалии были широко известны астролог Ибн-Яхья, сборщик пошлин Гдалия бен Шломо, государственный казначей Ицхак Абраванель и др.

Трудно перечислить всех иудеев при дворах европейских правителей. Заметим лишь, что и русские цари прибегали к их помощи в кредитно-торговых и посольских делах. И хотя из-за традиционной антиеврейской политики церкви институт придворных евреев не получил потом в России регулярного статуса, тем ценнее для нас событие, которое историки небезосновательно назвали самым ранним опытом «русско-еврейской дружбы». Речь идет о выдающемся торговом и дипломатическом посреднике на переговорах между Иваном III и крымским ханом Менгли-Гиреем. То был каффский (феодосийский) еврей Хозя Кокос.

Здесь необходим краткий экскурс в историю города Каффы, откуда происходил наш герой и где еще в 909 году было построено большое здание синагоги. На нем было начертано: «Мудростью строится дом и радостью утверждается. Да пошлет Всевышний Избавителя для Собирания Израиля!» Каффа была преимущественно еврейским городом: там имелись еще две синагоги и множество еврейских домов. Богатый каффский купец Хозя Кокос был одним из самых успешных торговцев полуострова. «Евреит сей мудр и в торговых делах и в государственных. Вельми хитер. Сейчас он наиглавнейший из богатых купцов в Каффе», – говорили о нем. Именно через Каффу проходил главный торговый путь из Италии на Кавказ. Хозя вел дела с русским правителем еще с начала 1470-х годов, сперва (через посредников) в сфере коммерции – продавал бриллианты и другие драгоценности, причем монарх остался весьма доволен евреем, который, по его

словам, вел честную игру не только в торговле, но и в делах тайных. Может быть, именно поэтому Кокосу поручил великий князь передать Менгли-Гирею челобитную грамоту и уговорить его на союз с Московским государством.

Вид г. Каффы (Феодосия)

Впрочем, Кокос оказывал услуги Менгли-Гирею еще до того, как тот занял престол крымского хана. Он как будто предугадал желание царя – заполучить этого надежного союзника на рубежах с Казанью, Ордой, Польшей и Литвой, понимая, что союз с Крымом, а через него и с султаном турецким, был жизненно необходим Москве: ведь ослабление распрей на сем пограничье решало важнейшую для Московии задачу о вольнице Новгородской. Когда встал вопрос о ханстве в Крыму, Кокос послал Ивану III своего зятя Исупа с ходатайством о помощи

Менгли-Гирею со стороны Руси и получил требуемую от русского самодержца сумму.

Иван III Васильевич

Московиты в XV веке

Не о собственной корысти пекся еврейский купец, а хлопотал о судьбе всего Крыма, так нуждавшегося в дружбе с Иваном III. Кокос мечтал о сильной ханской власти и о финансовых вливаниях в государственную казну, о союзе с султаном, о прекращении бесчисленных походов воинственных казанцев на Крым и о контактах со ставленником Москвы – Ордынским наследником престола царевичем Касимом. В знак благодарности за помощь купца вступивший на престол хан Менгли-Гирей на три года освободил город Каффу откуда был родом этот евреин, от всех налогов…

В 1474 году великий князь московский поручил прибывшему в Крым русскому послу Никите Беклемешеву передать Кокосу поклон от великого князя и просьбу способствовать сближению сторон, обещая еврею в случае успеха «свое жалованье». Из документов видно: переписка между ними долгое время велась на иврите, что явно доставляло великому князю немалые трудности с переводом. Потому, наверное, иудею было приписано, чтобы впредь «он жидовским письмом грамоты бы не писал, а писал бы грамоты русским письмом или бесерменским». Иван поручает также своему послу: «Да молвите Кокосу жид овину от великого князя… как еси наперед того нам служил и добра нашего смотрел, и ты бы и ныне служил нам, а мы аж даст Бог хотим тебя жаловати!»…

И вновь пред светлые царевы очи является посланец, в ермолке и с характерными пейсами. То был зять Кокоса Исуп. Поклонился он царю и пожелал удачи.

– Почему руки не целует и в ноги не падает?! Аль не ведает, как вести себя с государем?! – взъярился было московский князь.

– Не казни, государь, не положено им, – вступился за еврея дьяк. – Вера у них такая. Один царь у них – Бог, а остальные все равны перед ним. На смерть идут ради своей веры, не прогневайся, государь!

– Коль за веру на смерть идут, это похвально. Вера – дело серьезное! – миролюбиво отозвался Иван.

– Пишет Кокос, что хан только союза с Москвой хочет крепкого. Позовешь его на войну с Казанью или с польским «крулем» Казимиром – с тобой будет. Мыслит Менгли-Гирей, что от дружбы той обоим государям только польза будет!..

Хозя проявил себя как преданный друг русских в самое тяжелое для Московии лихолетье. Так, в 1479 году Ордынский хан Ахмат собрал недюжинное войско и всем раструбил о своем походе на Русь. Тогда Кокос, не мешкая, отправляется в Турцию, к султану Баязеду II, испрашивая у него мира, дружбы и взаимовыручки с северным соседом. Дорогого стоила привезенная им от султана грамота, врученная сим верноподданным евреем русскому послу в Крыму: «Султан Баязед, сын султана Мехмета, милостию Божией повелитель Азии и Европы – великому князю Московскому Ивану Васильевичу.

От всего сердца посылая наши приветствия, спешим уведомить великого князя, что мы с большой радостью и душевным утешением узнали через посредство Хози Кокоса Евреинова о Вашем желании иметь с нами мир и дружбу. Среди прочего названный Кокос сообщил, что князь Ахмат выступит в поход против Вас.

Поразмыслив… мы нашли выход, который будет прекрасной порукой Вашему спокойствию. Мы посоветовали крымскому хану Менгли-Гирею помочь Вам, а со своей стороны, проведем угрозу крулю польскому Казимиру. Кроме того, ради Вашего вящего спокойствия обещаю, что буду стоять с Вами в мире и дружбе… Дабы у Вас не оставалось сомнений в твердости данных обещаний, мы в присутствии своих придворных и посланников клянемся истинным Аллахом, а также Священными книгами, что выполним все обещанное…»

В результате слаженных военных действий Казань была разгромлена и никогда уже больше не угрожала Москве. А князь Ахмат, хотя и разбил крымцев (Менгли-Гирей бежал тогда в Турцию, а Кокос – в Венецию), недолго праздновал победу: через

год он был убит ногайским ханом. На деньги же, собранные в Венеции Кокосом, Менгли-Гирей создал войско и (при поддержке великого князя Московского) снова обрел крымский престол.

Иван III доверял Кокосу и дела самого деликатного свойства. Ему, к примеру, поручили сосватать дочь мангупского князя Исайки Марию за старшего сына царя – Ивана Молодого. Несмотря на радушный прием, оказанный свату, Хозя не стал кривить душой и не одобрил невесту, найдя ее слишком заносчивой. Брак, однако, не состоялся бы и без этого – Мария скоропостижно скончалась.

Кокос всемерно содействовал русским купцам в Крыму, добивался для них привилегий от хана Менгли-Гирея. Нередко Хозя слал Ивану III знатные подарки: яхонты, жемчуга, сукно ипрское, бархаты и т. д.

Неоценима была роль Кокоса в освобождении русских пленных и, прежде всего, дьяка Федора Васильевича Курицына в 1487 году. Курицын много лестного наговорил царю о содействии Хози, о живом впечатлении о нем и просил Ивана щедро отблагодарить еврея. Но Хозя Кокос так и не смог приехать в Белокаменную. Дружба и сотрудничество еврейского купца и царя, продолжавшиеся в течение всей их жизни, так и не увенчались встречей…

Последней акцией бескорыстной помощи Хози Кокоса Ивану III было возвращение православных святынь, захваченных Менгли-Гиреем в Киево-Печерском монастыре. Кокос выкупил тогда все награбленные ханом православные ценности и отправил в Москву царю. При этом Хозя и не ждал благодарности: воспитанный Торой на уважении к святым местам и святыням своей религии, он просто совершил акт восстановления справедливости по отношению к другой вере.

В 1502 году государь Всея Руси Иван Васильевич торжествовал полную победу: крымский хан Менгли-Гирей полностью уничтожил Золотую Орду и стер с лица земли ее столицу Сарай. Еврей Кокос уже не смог порадоваться этому вместе с Московским князем: за год до сего события он умер в Каффе. Ненадолго пережил его и сам Иван Васильевич. Причудливая судьба связала на всю жизнь этих двух никогда не встретившихся людей и подарила им верную дружбу…

Оклеветанный эскулап Мистро Леон

До нас дошел исполненный драматизма исторический эпизод. Наследник русского престола, первородный сын и соправитель великого князя Московского Ивана III Иван Молодой (1458–1490), однажды занедужил. Прогрессирующая его болезнь вызывала у всех тем большую тревогу, что слыл Иван Молодой человеком пылким и мужественным, да при том смелым и решительным полководцем, за служившим подлинно всенародную любовь. Стали искать врачевателя. Вспомнили, что незадолго до этого, по инициативе второй жены великого князя, племянницы византийского императора Софьи Палеолог, из Италии было снаряжено в Белокаменную специальное представительство, где в числе мастеров и художников значился молодой «лекарь Жидовин Мистро Леон из Венеции». То был один из первых визитов в Московию иноземного эскулапа еврейского происхождения. Известно, что в Средние века (вплоть до XVI столетия) медицинская наука в Европе находилась преимущественно в руках семитов, а почти каждый еврейский богослов был одновременно и искусным медиком.

Этому-то «жидовину» князь Московский и поручил лечение наследника престола, который, как было объявлено, болел «камчугою» (то есть подагрой, ревматизмом) в ногах. «И видел лекарь жидовин Мистр Леон, – рассказывает летописец, – похваляясь, рек великому князю Ивану Васильевичу, отцу: я вылечю сына твоего, великого князя, от сей болезни, а не вылечю его яз, и ты вели меня смертию казнити; и князь великий Иван Васильевич иняв веру речем его, повеле ему лечити сына своего великого князя. И нача его лекарь лечити, зелие пити даде ему, наче жечи стекляницами [банками. – *Л. Б.*] по телу, вливал воду горячую». Лечение врачевателя оказалось, однако, безуспешным, и 7 марта 1490 года наследник престола испустил дух. Злополучной оказалась судьба и самого еврейского эскулапа: после сорочин (сорока дней) со смерти Ивана Молодого Леона свезли на Болвановку что в Москве, на берегу Яузы, и при огромном стечении народа отрубили ему голову…

В поисках сведений о Леоне я набрел в Интернете на сайт с броским и, казалось бы, весьма благостным названием «Слова в дни памяти особо чтимых святых». И вдруг в разделе об Иване Молодом встретилось утверждение поистине ошеломляющее: от подагры и ревматизма ног не умирают, а потому сын великого

князя отправился на тот свет из-за какого-то снадобья, которым его якобы пичкал сей врач-вредитель. Отсюда следовал вывод: Леон был «фанатиком-иудаистом, ценой своей жизни осуществившим антирусскую диверсию».

Подобной, с позволения сказать, бредовой версии о еврее-камикадзе не выдвигали даже историки и литераторы прошлого, в юдофильстве отнюдь не запримеченные. О лекаре-жидовине неизменно говорили лишь как о самонадеянном шарлатане, не вызывающем к себе ни малейшего сочувствия; казнь же его стала в глазах окружающих закономерным следствием непростительной медицинской ошибки. А в непогрешимость медицины тогда верили и в неуспехе лечения винили только «неискусного» доктора. «В сем для нас жестоком деле, – говорит о расправе над евреем Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского», – народ видел одну справедливость: ибо Леон обманул государя и сам себя обрек на казнь». А известный своей юдофобией писатель И. И. Лажечников также о яде ни полсловом не обмолвился. Он только говорит: «Этот мейстер лечил и залечил Иоанна младого и за то казнен всенародно… Об этом никто не жалел: поделом была вору мука!»

В разглагольствованиях же об отравлении Ивана Молодого есть рациональное зерно. Только осуществление этого адского замысла приписывается не тому лицу. Об этом прямо пишет Ивану Грозному весьма осведомленный в российской истории князь А. М. Курбский, свидетельствуя, что «предобрый Иоанн», «наимужественнейший и преславный в богатырских исправлениях», был отравлен «смертоносным ядом» своей мачехой Софьей Палеолог. Показательно, что именно эту версию отравления наследника престола повторили и авторитетнейшие российские историки В. В. Савва и Г. В. Вернадский.

И в самом деле, достаточно лишь слегка соприкоснуться с московской придворной жизнью конца XV века, чтобы углядеть подковерную династическую борьбу за престол, в коей весьма преуспела Софья Палеолог, родившая Ивану III десятерых детей. Даже апологеты византийской царевны признают ее особую, воистину инквизиторскую изощренность в хитроумных каверзах. Оно и понятно: ведь и росла она, по словам писателя, «в сетях интриг, в тумане коварных заговоров, где опасен каждый стакан душистого питья, где каждую минуту возможен удар в спину стального стилета, выхваченного из узкого рукава!» И далее: «Борьба за власть в тени трона была привычной стихией византийцев, они хорошо знали все ее хитрые приемы и обычаи, они в ней никого не щадили». О неуемной активности Софьи свидетельствует и историк Н. Л. Пушкарева: «С начала 80-х годов

XV века не было в Московском княжестве почти ни одного крупного события или конфликта, в котором не была бы замешана Софья Фоминична».

Писатель Вс. Н. Иванов прямо говорит о постоянной опасности для Ивана Молодого, исходившей от Софьи. И действительно, между ней и пасынком существовала явная и стойкая неприязнь. Особенно возмущало Молодого то, что Палеолог корысти ради запускала руки в великокняжескую казну. Известно, например, что бесценные фамильные драгоценности покойной матери Молодого, княжны Марии Борисовны Тверской, мачеха тайно переправила за границу своей племяннице-итальянке, чем вызвала резкое негодование царевича (ведь эти сокровища предназначались князем Московским для жены его сына Елены). Историки сходятся на том, что если бы Иван III умер до 1490 года и к власти пришел Иван Молодой, следы Софии Палеолог затерялись бы в каком-нибудь забытом Богом монастыре, а внуку ее вряд ли было бы суждено стать Иваном IV, легендарным Иваном Грозным. Факты упрямо свидетельствуют о том, что именно Софья, страстно желавшая передачи трона своему сыну Василию (будущему Василию III), была кровно заинтересована в устранении постылого пасынка, что и произошло в реальности с ее помощью.

Князь А. М. Курбский назвал Софью Палеолог «греческой колдуньей», «злой» женой и наипервейшей «чародейницей». В русском же фольклоре колдовство и чародейство неизменно ассоциируются с всякими снадобьями и ядами. Нелишне заметить, что ломота и немение ног (от чего страдал покойный Иван) могли быть и симптомом отравления змеиными ядами. Софья же родилась и выросла в краях, где прекрасно знали свойства змеиных ядов. Так что вполне возможно, что царевича по указке Софьи могли «опоить», подмешав яд в пищу.

Не исключено, что наследник престола мог быть отравлен и экстрактом аконита. Известно, что еще древние галлы и германцы натирали им наконечники стрел и копий, предназначенных для охоты на волков. Одно только хранение аконита в некоторых странах каралось смертью. В Греции, откуда происходила София, яд сей применялся для казни преступников, наравне с цикутой. В России с древних времен росло 75 видов аконита, и он, несомненно, был хорошо известен в XV веке. А одним из симптомов отравления аконитом и является ломота в ногах.

Но вернемся к Мистро Леону. Результаты его врачевания всецело зависели от правильно поставленного диагноза. Скажем, при подагре алкоголь полностью исключен, так как он провоцирует приступы боли. При отравлении же змеиным ядом

он – одно из эффективных противоядий, которое следует принимать в больших количествах. При отравлении травой алкоголь бесполезен, а при отравлении грибами только ускоряет всасывание яда и т. п. При неправильно поставленном диагнозе прописанное врачом лечение идет во вред больному. Так, по-видимому, и произошло в нашем случае.

Венчание Ивана III с Софьей Палеолог в 1472 г. Гравюра XIX в.

Софья Полеолог. Реконструкция

Несомненно, молодой медик сам стал жертвой заговора, орудием изощренного убийства, и на него, еврея, списали гибель российского наследника. Не подозревая того, что Иван мог быть злодейски отравлен, Леон лечил его именно от «камчуги» (подагры), от которой, как он знал, не умирают. Потому-то не было в его словах никакого самохвальства, когда он ручался Ивану III за жизнь и исцеление его сына. К тому, чтобы диагноз Леона оказался неверным, приложила руку все та же Софья, сделавшая все, чтобы врач, не подозревавший о возможности отравления, не разобрался в ситуации. Сам факт, что эскулап был привезен из-за границы, говорит о том, что Ивана отравили чем-то местным, специфическим, не знакомым Леону, тем, что в Италии не растет и не ползает. Единственно, на что можно посетовать, – это, что медик не посоветовался с местными русскими знахарями и ворожеями (уж они-то могли подсказать противоядие!), но те «медицинских академиев» не кончали, а потому вряд ли пользовались при дворе каким-то весом. Да и при языковом и культурном барьере между ними и Леоном такое было тогда едва ли мыслимым.

Тронное кресло московских государей XV – XVI веков

Изображение семьи Ивана III на шитой пелене того времени

В пользу версии о непосредственной причастности Софьи Палеолог к устранению претендента на русский трон говорит и логика ее поведения по отношению к сыну Ивана Молодого, Дмитрию, который после смерти отца официально был объявлен наследником престола. По наущению Софьи его также пытались отравить. По счастью, это не удалось: меры безопасности в Кремле были тогда усилены, и знахарки, доставлявшие яды Софье, были схвачены и утоплены в Москве-реке. Но что не смог сделать яд – сделала ловкая византийская интриганка. В одночасье Дмитрий со своей матерью Еленой Волошанкой оказались в тюрьме, а сын византийки, Василий, вдруг стал соправителем отца и наследником престола.

Л. Поляков в своей книге «История антисемитизма» утверждает, что расправа над Леоном способствовала развитию

юдофобии и сыграла свою роль в дальнейшем ограничении доступа евреев в Россию. Однако думается, никакой специфически антисемитской подоплеки здесь не было. Достаточно сказать, что за пять лет до истории с Леоном за неудачное лечение знатной особы был казнен другой доктор, к евреям никакого отношения не имевший. «Такую же участь, – сообщает Н. М. Карамзин, – имел в 1485 году и другой врач, немец Антон, лекарствами уморив князя татарского, сына Даниярова: он был выдан родным головою и зарезан ножом под Москворецким мостом». Кроме того, историки отмечают исключительную веротерпимость Ивана III, который, по словам того же Г. В. Вернадского, «отличался доброжелательным отношением к иудеям».

Интересно, что в русских народных сказках, собранных А. Н. Афанасьевым, имеются сюжеты об Иване-царевиче, который так же, как Иван Молодой, смел в бою, женился на Елене Прекрасной, боролся с расхитителями царской казны и тоже умер в результате отравления. Фигурирует там и некая Сонька-Богатырка, коей приписывается знание ядов и противоядий, хранение в пузырьках живой и мертвой воды. Не намек ли это на Софью Палеолог? Если наши предположения верны, пусть же народная мудрость послужит уроком не только добрым, но и не добрым (к евреям!) молодцам, выдающим себя за истинных радетелей России.

Многогранный алмаз
Алмаз Иванов

Московии уже в XVII веке существовал тип крещеного еврея, который не просто ассимилировался к тогдашним условиям, но своим патриотизмом и неутомимой жизнедеятельностью на благо державы мог поспорить с иным природным русаком. Речь пойдет здесь о человеке по прозванию Алмаз, с парадоксальной для еврея фамилией Иванов, начинавшем свою профессиональную карьеру как московский купец.

«Многие из [русского] купечества довольно похожи на жидов», – писал в середине XVII века в своей книге «Описание путешествия в Московию» секретарь голштинского посольства при царе Михаиле Федоровиче Адам Олеарий. Не вполне понятно, что имел здесь в виду заезжий иноземец. Может быть, речь идет о сходстве чисто внешнем, и окладистые бороды русских торговцев напомнили ему ветхозаветные, иудейские? Или же Олеарий обнаружил в московитах ту же оборотистость и предприимчивость, кои традиционно ассоциируются с представителями еврейского племени? Кто знает…

Алмаз Иванов (ум. 1669) счастливым образом соединял в себе оба эти свойства. Во всем его внешнем облике явственно угадывались семитские черты: черная с курчавинкой борода, вьющиеся волосы, крупные черты лица, характерный нос. Случайно ли это? Обратимся к родословной Иванова. Интересно, что его никто никогда не величал по имени и отчеству. «Самое [его] имя, – объясняет современник, – показывает, что этот человек из самого низкого состояния, потому москвитяне в подписях и разговорах прибавляют к своему собственному имени еще и отцовское, с тою, однако ж, разницею, что знатные придают к этому последнему окончание «вич», а незнатные этого не позволяют». Достоверно известно, что Алмаз происходил из семьи вологодского торговца, посадского человека. Как установили историки М. И. Семевский и Н. П. Загоскин, Алмаз был этническим евреем, что подтверждает и современный израильский исследователь С. Ю. Дудаков, отметивший, что еврейское происхождение Иванова сомнений не вызывает. В то же время он исповедовал православие и в крещении был наречен Ерофеем, впрочем, его предпочитали называть Алмазом даже в официальных документах.

Царь Алексей Михайлович

Этимология имени «Алмаз» восходит не к евреям, а к приволжским татарам, на языке которых «Алмас» примерно соответствует понятию: «Не тронет, не возьмет чужого». Трудно сказать, насколько отвечает это прозвище натуре нашего Алмаза, но можно утверждать со всей определенностью, что воровство (этот извечный бич российской жизни!) не было ему свойственно: Иванов не «корыстовался» чужим.

Природа наградила его блестящими способностями финансиста: в этом он пошел по стопам своего предприимчивого отца, от которого унаследовал и купеческое ремесло, и деловую жилку. В то же время Алмаза отличали обходительность, общительность и какая-то особая, бьющая в глаза светскость, столь редкая среди московитов XVII века.

Сызмальства он проявил интерес к торговле и, как отмечают очевидцы, занимался ею весьма успешно. Неизвестно, какими товарами торговал Иванов (говорили, что тканями), но видно, что дело у него спорилось, и в составе купеческих караванов и торговых судов Алмаз немало поколесил по свету. Между прочим, он выучил в чужих краях турецкий и персидский языки, на

которых говорил вполне свободно.

В России имя нашего героя впервые упоминается в 1626 году. В переписной книге Москвы он числится владельцем недвижимости в Китай-городе, а именно в тупике Воскресенского переулка. То были палаты каменные, которые он, вопреки пословице, нажил трудами праведными. Отличали строение высокие «голландские щипцы», заметно выделявшиеся на фоне окружающих домишек. Алмаз Иванов значится человеком так называемой «гостиной сотни», которая являла тогда собой привилегированную корпорацию торговых предпринимателей страны. За получаемые «сотней» льготы ее представители обязаны были нести государственную службу в сфере торговли и финансов, и Иванов не стал здесь исключением.

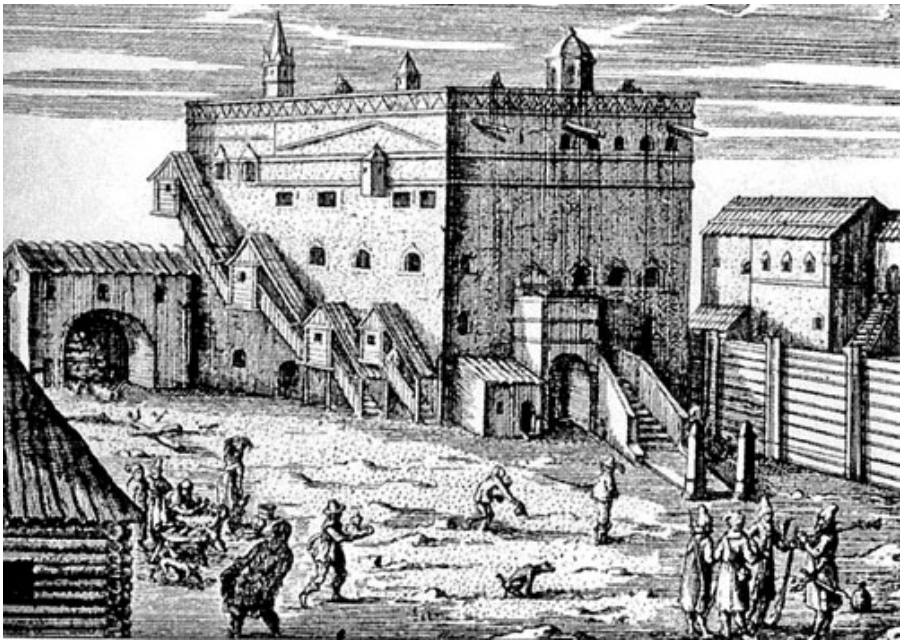
Он продолжает заниматься торговлей, но постепенно все более и более втягивается в серьезную деятельность на благо Отечества. Поначалу Алмаз выполняет разовые поручения царских вельмож. В 1626 году он пополнил государскую казну так называемыми «кабацкими деньгами» (доходами от кабаков, которые он собрал самолично), за что был пожалован дорогими мехами, а в 1638 году мы видим его таможенным и кабацким головою на Двине, коему было велено «торговых людей и их суды и товары ведати».

По-видимому, Ивановым были весьма довольны, и в 1639 году, еще при царе Михаиле Федоровиче, он прекращает частное предпринимательство и целиком сосредоточивается на государевой службе, проявляя и усердие, и многочисленные таланты. Зная толк в дорогих товарах, умея их оценивать и вести точный учет, Алмаз оказался востребован правительством и был назначен дьяком Казенного приказа. Приказ же тот ведал производством и хранением ценностей царской казны. В прямые обязанности новоиспеченного дьяка входил подбор платьев, драгоценностей, символов царской власти для различных церемоний, в том числе дипломатических. Властям особенно импонировала его удивительная честность и неподкупность. Он участвовал в отборе подарков, вручавшихся знатным иноземцам, контролировал ведение специальных книг посольских расходов. Так Иванов приобщался к дипломатической практике.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. 1656 г. Титульный лист

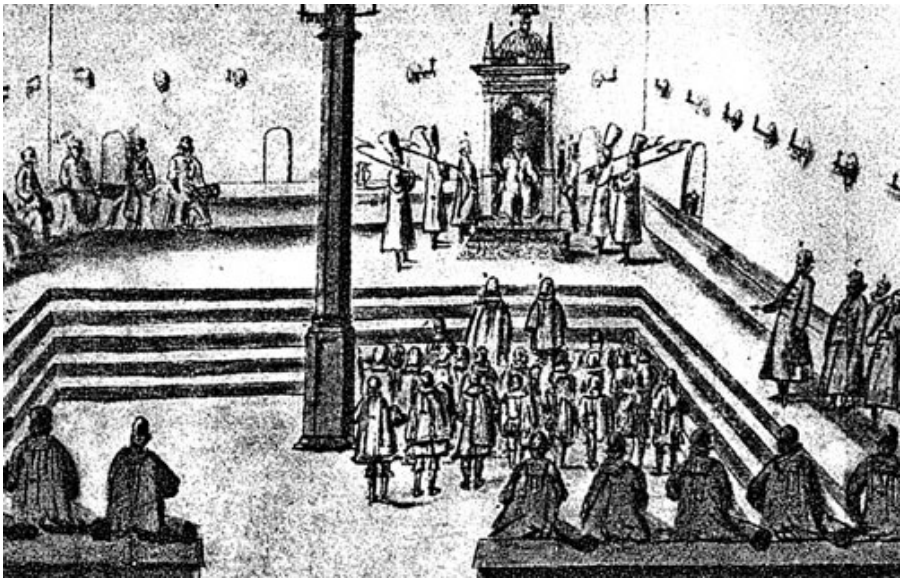
В этой связи переход в 1646 году Алмаза Иванова из Казенного в Посольский приказ оказался и закономерным, и органичным. «А ведомы [в нем] дела всех окрестных государств, – говорит о Посольском приказе XVII века подьячий Г. К. Котошихин, – и послов чюжеземских принимают и отпуск им бывает; такьже и Руских послов и посланников и гонцов посылают в какое государство получится… Да в том же Приказе ведомы Московские и приезжие иноземцы всех государств, торговые и всяких чинов люди: и судят торговых иноземцев, и росправу им чинят Рускими людми». Иванов сразу же включается в работу и по существу исполняет обязанности заместителя главы Приказа. Уже в ноябре 1646 года ему доверено вести переговоры с польским послом Юрием Иличем, в октябре 1647 года – с другими

эмиссарами из Речи Посполитой, в июле 1648 года – с голландским послом Конрадом Бугом, в июле 1648 года – со шведским резидентом Карлом Помереннингом и т. д.



Посольский двор в Москве. XVII век

В 1649 году Иванов был включен в состав дипмиссии в Стокгольме, в ходе которой был решен затянувшийся вопрос о перебежчиках. Рвение нашего героя было оценено царем: за «свейскую посольскую службу» он был пожалован землей и деньгами.



Прием в Кремле 27 мая 1661 года. Первый в группе стоящих бояр с шапкой в руке – Алмаз Иванов

Сторонник антипольского политического курса, Алмаз в 1650-е годы целиком озаботился отношениями России с Речью Посполитой. В 1651 году он отправляется в Краков, где присутствует на заседаниях сейма. Там по требованию московских властей он обсуждает вопрос об оскорблении поляками его пресветлого царского величества (так расценивалось тогда неточное написание в документах титула российского самодержца). Русские настойчиво требовали для провинившихся смертной казни. От польского же короля они добивались компенсации морального ущерба, нанесенного русскому царю. В этом им было категорически отказано, но в Москве и не ждали другого исхода переговоров. Отрицательные результаты давали русским формальный повод для разрыва с польскими панами, что и произошло.

В апреле 1653 года Иванов снова в Польше. Формальной задачей посольства было обсуждение перемирия Речи Посполитой с казаками гетмана Богдана Хмельницкого, желавшего воссоединения с Россией, что априори было обречено на провал. На самом же деле послы выведывали, насколько поляки были готовы к войне с Россией, и воочию убедились в нестабильности и слабости своего потенциального противника. Вернувшись в Москву, Алмаз был особенно обласкан царем. Он получил недвижимость в Ростовском, Московском и Нижегородском уездах. Его сразу же возводят в чин думного дьяка и назначают главой Посольского приказа. Это был, между прочим, первый

случай в российской истории, когда этнический еврей стал главой всего дипломатического ведомства державы (напомним, что впоследствии, уже в советской России, наркомами иностранных дел также будут евреи Л. Д. Троцкий и М. М. Литвинов). Вояжи в Речь Посполитую наш думный дьяк совершал еще и в 1658,1660,1662 и 1666 годах. В результате его усилий за Россией осталась территория, завоеванная у Польши до 1658 года.

Как об этом точно сказал посол Священной Римской империи барон А. Мейерберг, «при исполнении многих посольств [Алмаз] столько показал примеров хитрости, коварства, находчивости, что удостоен был должности смотрителя за тайным архивом царства, за иностранными послами и докладчика их посольств».

Алмаз прослыл тонким знатоком русского дипломатического искусства и придворного этикета, заведенных в Московии еще с незапамятных времен. На многих аудиенциях монарха, данных иноземным послам, Иванов неизменно представительствовал, выполняя по существу обязанности церемониймейстера. Из XVII века до нас дошли детальные описания таких церемоний, где дьяк играл если не заглавную, то весьма заметную роль. Особую ценность представляет сделанная с натуры рисовальщиком И. Р. Сторном иллюстрация приема, данного его царским величеством Алексеем Михайловичем 27 мая 1661 года римским посланникам. На сей гравюре дьяк предстает высоким, статным и еще нестарым мужчиной. Он, облачившись в длинный кафтан с высоким воротником, стоит во главе колонны и представляет царю послов, указывая правой рукой в их сторону. В левой же руке у него – большая соболья шапка.

Показательно, что и в российскую словесность Алмаз вошел именно как опытный переговорщик и мастер дипломатического церемониала. Вот какую сцену приводит литератор XIX века Д. Л. Мордовцев в своей исторической повести «За чьи грехи?». Писатель рассказывает о приеме при дворе запорожцев гетмана Брюховецкого: «Посланцы вступили в [царскую] переднюю, а из нее введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз Иванов… Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю, по этикету. Но все молчали. Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к лицу государя, громко возгласил: «Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель! Запорожского гетмана… посланцы… вам, великому государю, челом ударили и на вашем государском жалованье челом бьют!» Посланцы снова ударили

челом… Царь, сидевший до этого времени неподвижно в своем золотном одеянии, словно икона в золотной ризе, повернул лицо к Алмазу Иванову и тихо проговорил: «Сказывай наше государское слово». И дьяк возгласил заранее приготовленную и одобренную царем и боярами речь… Проговорив это, Алмаз Иванов, по знаку царя, приблизился к «тишайшему» и взял из рук его грамоту, и тут же передал ее главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на ней, бережно уложил в свою объемистую шапку. Затем дьяк, опять-таки по знаку царя, обратился снова к послам: «…Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке!»

Трудно переоценить роль Иванова в решении украинского вопроса. В Золотой палате Кремля он торжественно принимал депутацию Богдана Хмельницкого. В документе той поры читаем: «И указал государь думному посольскому дьяку Алмазу Иванову посланникам объявить свое государево жалованье, что гетмана Богдана Хмельницкого и войско Запорожское пожаловал, велел их принять под свою государеву высокую руку». Что должен был испытывать еврей Алмаз, когда привечал погромщика Хмельницкого, на чьих руках была кровь десятков тысяч его соплеменников? Об этом история умалчивает…

В 1653 году востребованными оказались и коммерческие способности бывшего купца Иванова. Под его руководством был разработан и введен новый Торговый устав, заменивший многочисленные российские таможенные сборы единой рублевой пошлиной (5 копеек с рубля).

Начавшаяся в 1654 году война с Польшей застала думного дьяка в Москве, где свирепствовало моровое поветрие. По некоторым данным, чума унесла 70 тысяч жизней. В этих тяжелейших условиях Алмазу вместе с двумя боярами было доверено управление столицей. Им приходилось принимать меры против грабежей, заниматься устройством застав, руководить тушением пожаров, организовывать охрану города. В октябре 1654 года спасавшаяся от чумы царица Мария Ильинична писала из дальних мест в Первопрестольную: «На Москве ль или с Москвы куды съехали, или померли…?» Ответил ей сам Иванов: «И околничей князь… и я, холоп твой, Алмазко, были на Москве, никуды с Москвы не съезжали». «Холоп твой, Алмазка!» – что сокрыто в этой уничижительной подписи? Хотя в обращении к царю и царице слово «холоп» было общепринятым в ту эпоху, но для Иванова оно обретало свой, особый смысл. Вручив себя и свою жизнь государю, он не требовал для себя никаких льгот,

кроме права вновь бескорыстно и самозабвенно служить Отчизне. Это, однако, вовсе не означает, что он был обезличен царем. Алмаз всегда сохранял чувство собственного достоинства.

Это России он посвятил и собственную жизнь, и дарованные ему Богом таланты крупного дипломата, финансиста и администратора… Писатель Д. А. Жуков в повести «Аввакум» называет его в числе подданных «новых, сильных и жестоких» и в то же время бесконечно «царю преданных».

Иванов неукоснительно выполнял любые поручения монарха. Одновременно он числится и дьяком приказа Новгородской четверти, находившегося в подчинении Посольского приказа. В его непосредственные обязанности входит также сбор денежных доходов в государственную казну с городов: Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Архангельск, Вологда и т. д. Дьяк, в частности, велел в 1648 году перевести казаков Новгородского уезда, служивших за хлебное и денежное жалованье, на земельное обеспечение. Он также организовал зачисление служивших в России иноземцев незнатного происхождение в стрельцы, а более родовитых – в казаки.

В 1654–1668 годах он управляет и Печатным приказом, занимая с 1667 года ответственнейшую должность печатника. В историческом документе тех лет печатник определен так: «Он всегда нашего царского величества имеет на вые своей печать и дозирая печатает наши государские грамоты, чтобы в них не было ничего противно нашим царским законам».

Мы уже упомянули о том, что, несмотря на свои еврейские корни, Алмаз был крещен и исповедовал православие. От подобных «перекрестов» предостерегал царя Алексея Михайловича известный панславист и антизападник хорват Юрий Крижанич: «Русское царство, – писал он, – принимает всякого желающего и даже уговаривает, просит, принуждает и заставляет многих… креститься, и тех людей, которые крестятся ради плотского блага, а не ради спасения, принимает в свой народ и сажает на высокие места. Одни [из них] вершат наши важнейшие дела, другие заключают с иными народами мирные договоры и торговые сделки». Но применительно к Иванову это опасение было неосновательным в силу его ревностной приверженности царю и православию. Он стал даже более набожен, чем русские иноки XVII века. И сыновей своих, Семена и Дмитрия, он воспитал в любви к Отчизне. Они оба пошли по стопам отца: первый сделал дипломатическую карьеру, второй стал дьяком в Москве.

«Алмаз Иванов был богомольнее других русских послов, – сообщает писатель С. П. Злобин, – чаще ходил в церковь и

несколько раз говорил с попом». Под пером Злобина и поп, в свою очередь, почитает еврея за своего, родного, и обращает к нему патетические слова: «Сил нет больше жить под латинской властью. Только о том и молю Бога, чтобы послал одоление русской державе в битвах меча и в битвах посольской мудрости!» – «Одолеем, батюшка, одолеем!» – успокаивает его Алмаз.

Богомольность думного дьяка подтверждают и его многочисленные вклады в монастыри (в основном это были книжные пожертвования). Но, что еще более важно, этому еврею было не только позволено, но и вменено в обязанность: нет, не вступать – врываться в самые заповедные области русской церковной жизни. В 1659 году он участвует в важнейших для судьбы православия на Руси прениях с низложенным патриархом Никоном. Любопытно и то, что дьяк был уполномочен царем вести такое тонкое и деликатное дело, как переговоры с поляками об отмене Зборовской унии между католиками и православными, что потребовало от него недюжинных богословских познаний. И разве не удивительно, что царь, желая подчинить церковников своей судебно-гражданской власти, именно Алмаза назначил главой Монастырского приказа!? Ему было поручено чинить «суд во всяких истцовых исках на митрополитов, архиепископов, епископов, их приказных и дворовых людей, на монастыри и т. д». Так еврей-«перекрест» вершил судьбы всего православного клира России.

Олеарий так характеризует Алмаза Иванова: «Человек тонкий, способный, одаренный ясным умом и твердой памятью». Он служил России и именно верой в нее был крепок, аки алмаз. Тем самым он словно привносит в данное ему людьми прозвание новое значение. И этот алмаз в лучах российской славы сияет и переливается всеми своими гранями, что и в наши дни делает его столь же пленительным и притягательным. Очень точно сказал о нем историк русской геральдики А. Б. Лакиер: «История наша пока молчит об Алмазе Иванове… и других думных дьяках, которые, тем не менее, так успешно окончили не одну войну выгодным для России миром, сделали не одно улучшение в законодательстве и во внутреннем управлении Отечества нашего. Настанет время, когда Россия с гордостью укажет на этих дельцов…»

Дело врача Даниил фон Гаден

15 мая 1682 года приняли мученическую смерть многие сторонники десятилетнего царевича Петра. Произошло это в результате кровавого стрелецкого бунта, инициатором и вдохновителем которого стала сводная сестра Петра, Софья Алексеевна. Амбициозная и искушенная в интригах царевна не пожелала мириться с тем, что Петр, сын ее новоиспеченной мачехи Натальи Нарышкиной, был накануне избран российским самодержцем. В цари она прочила своего единоутробного брата Ивана, страдавшего врожденным слабоумием. При нем-то да при мальчишке Петре Софье и мечталось стать всесильной регентшей, самоличной правительницей державы.

По указке царевны, людей Нарышкиных хватали и бросали на поставленные копья и бердыши. Тела несчастных буквально рвали на части и, обезображенных и изрубленных, волокли по грязи на Красную площадь, выставляли на всеобщее позорище. Одной из первых жертв бунтовщиков стал бывший ближний боярин «тишайшего» царя Алексея Михайловича, Артамон Сергеевич Матвеев (1625–1682), в доме которого воспитывалась до замужества Наталья Нарышкина. Открыто покровительствуя Петру, Матвеев давно уже был костью в горле партии Софьи. Потому в 1676 году, сразу же после кончины «тишайшего», когда на престол взошел старший сын царя, Федор Алексеевич, боярина Артамона незамедлительно упекли в северную глухомань – Пустозерск. Ему инкриминировали колдовство и чернокнижие. В Первопрестольную он вернулся только тогда, когда Федор почил в бозе, а партия Нарышкиных восторжествовала. При избранном на царство отроке Петре именно ему, Матвееву, надлежало стать главной опорой нового правительства. Но история распорядилась иначе…

А. С. Матвеев

Досталось тогда всем людям, близким к Матвееву. Не миновала злая судьба и его друга и соратника Даниила фон Гадена. Даниилом именовали царского придворного доктора Стефана фон Гадена, или, как его еще величали на русский манер, Даниил Жидовин или Степан Фунгаданов. Этнический еврей, служивший русскому царю с 1656 года, он постепенно сделался самым популярным врачом в Москве. При Федоре Алексеевиче ему было доверено «ходить только к хоромам – к благоверной государыне царице и великой княгине Наталье Кирилловне и благоверным государям цесаревичам и к благоверным государыням цесаревнам – к большим и меньшим».

Что же объединило Артамона Матвеева и Даниила Гадена, ставших в те роковые дни жертвами разъяренных стрельцов? Дружеские отношения между боярином и лекарем завязались вскоре после того, как Гаден волею судеб оказался в перешедшей под российский скипетр Малороссии.

К тому времени сей эскулап прожил насыщенную, богатую внешними событиями жизнь и вполне сформировался как искусный мастер своего дела. Интерес к естественным наукам Стефану привил отец, «дохтур Итальянские земли жидовские веры». Судьба, однако, занесла семью в Бреславль, что в прусской Силезии, где и родился наш герой. Науке врачевания он обучался уже в Польше, поначалу в городке Каратышине, а потом во Львове

и, как видно, получил о сем надлежащий диплом (ибо в документах Аптекарского приказа именовался «бакалавром медицины»). Юноша отличался честолюбием и со свойственной ему изворотливостью устранял любые маломальские препятствия на пути к своей карьере: в Бреславле, где большинство населения исповедовало лютеранство, он становится лютеранином; оказавшись же в католической Польше, – принимает католицизм.

Стрелецкий бунт 15 мая 1682 года. Миниатюра XVIII века

Впрочем, его дорога к успеху была неровной и извилистой. Он определяется врачом к великому польскому гетману Николаю Потоцкому, но армия поляков терпит поражение, и Даниил попадает в татарский плен в Крыму. Там его продают в рабство османам в Константинополь, откуда он бежит с помощью одного еврейского купца. Минуя Валахию, он оказывается в Каменец-

Подольском, где лечит поляков, сражавшихся с казаками под водительством сына гетмана Богдана Хмельницкого, Тимофея. Жительствуя некоторое время в городах Дрожиполе, Шаргороде и Сатанове (где он, между прочим, женился), Гаден, наконец, решает поселиться в живописном Черткове, близ Тернополя, где также практикует медицину. Там-то и настигли его в 1656 году русские, взявшие Чертков штурмом. Даниил попадает в Киев, в полк воеводы В. В. Бутурлина, и столь же ревностно, как он лечил поляков, врачует украинцев и великороссов. «И лечил государевых ратных людей, – вспоминал он впоследствии, – а излечил государевых ратных людей сто двадцать пять человек».

Бутурлин был самым тесным образом связан с боярином А. С. Матвеевым, бывшим одно время начальником Малороссийского приказа. Оба они входили в состав «великого посольства» в Польшу в 1654 году; царь поручил им содействовать тому, чтобы «принять под свою государеву высокую руку» новоприсоединенную Малороссию. И украинский народ героизировал этих двух русских, называя их «батьками», «добродеями», «милости государской неотступными просителями». Матвеев был частым гостем у Бутурлина, а потому трудно предположить, что он мог не знать о находившемся при воеводе полковом лекаре. И не Матвеев ли способствовал тому, чтобы Гадена перевели на службу в Москву?

Даниил был принят в Аптекарский приказ – образованное в 1620 году учреждение, ведавшее управлением всей врачебной деятельностью державы. В подчинении сего приказа находились аптеки, аптекарские сады и огороды; тут производился подбор квалифицированных специалистов; имелась военно-медицинская служба. К концу XVII века в штате его наличествовало 100 человек: 82 медика, 6 докторов, 4 аптекаря, 3 алхимиста, а также ученики лекарского и костоправного дела, подьячие и толмачи. Гаден же занял поначалу скромную должность цирюльника [фельдшера. —*Л. Б.*]-, в Московской Руси иностранные дипломы не признавались, так что карьеру пришлось начинать наново.

Здание Аптекарского приказа

Благодаря уму и таланту Даниил добился того, что стал пользоваться большою доверенностью царя. Но на это ушли долгие годы. В 1659 году он становится лекарем, лишь в 1667 году удостоен чина «поддоктора» и только в марте 1672 года получает звание доктора – самое высокое в медицинской иерархии страны. Мало того (случай в Московии беспрецедентный!), он получает от царя жалованную грамоту с перечислением его профессиональных заслуг. Здесь, в частности, говорится, что он, Стефан Гаден, «в дохтурском и во всяком лекарственном учении достаточно навычен и дохтурской чести достоин, и во всем человек потребный». Особо же отмечается его «тщательство», «радение» и «верная служба».

Не обошлось, правда, без компромиссов. Как иначе расценить тот факт, что в Московии наш герой вдруг принимает православие? Видно, этим шагом он сильно потрафил русскому царю. Один только перечень подарков, полученных им от Алексея Михайловича по сему случаю, занял бы несколько страниц печатного текста. В числе прочего – золото, серебро, дорогие меха, шелка, бархат и т. д. Впрочем, историк И. Берхин полагает, что принятие Гаденом греческой веры было «только внешним, каковые примеры нередки в средневековой еврейской истории».

Стрелец

Но не будем корить Гадена за отступничество, ибо, добившись привилегированного положения, он всегда использовал его во благо еврейству. Хотя он и окропил себя святой водой, но не переставал заботиться о своих некрещеных соплеменниках. «Жиды с недавнего времени, – свидетельствовал английский врач С. Коллинс, – очень размножились в городе и при Дворе: им покровительствует лекарь-жид (почитаемый за лютеранского перекреста)». Это очень точное слово – «покровительствует»! Действительно, этот «перекрест» принимал под свой кров не только родственников, но и иудеев, едва ему знакомых. Они часто гостили в его доме, и доктор добивался, чтобы при отъезде им давались казенные подводы и подарки – соболями и деньгами. Способствовал он и тому, чтобы, несмотря на все строгости тогдашних законов, еврейские купцы приезжали

в Москву с сукнами, жемчугом и другими товарами и получали комиссию от двора. В результате число иудеев в Первопрестольной существенно увеличилось. Пребывание евреев в Московии стало тогда столь обычным явлением, что «Новоуказные статьи» 1669 года, устанавливая казни за совращение христиан в другую религию, упоминают особо о евреях: «аще жидовин или агарянин дерзнет развратить от христианской веры христианина, повинен есть казни главней; а аще жидовин христианина раба имый и обрежет его, да отсекнут ему голову». Нелишне будет заметить, что при царском дворе вместе с Гаденом благоденствовали тогда и другие крещеные евреи. Среди них – думный дьяк Алмаз Иванов, четырнадцать лет возглавлявший дипломатическое ведомство страны – Посольский приказ; русский посол в Кахетии В. С. Жидовин; приказной дьяк Василий Юдин; начальник московских стрельцов (должность, по современным понятиям, выше командующего Московским военным округом!) Иван Васильевич Жидовин и др.

Как мы уже отмечали, влияние еврейского медика при дворе Алексея Михайловича во многом зависело от всесильного тогда Артамона Матвеева, который в 1672–1676 годах возглавлял Аптекарский приказ. С этим энциклопедически образованным боярином, которого называли «рыцарем XVII века», они были не только коллегами, но и короткими приятелями. И жительствовали они в Москве неподалеку: Гаден – на Покровке, в Белом каменном городе, а Матвеев – там, где находится сейчас Армянский переулок (тогда в честь своего хозяина он носил имя Артамоновский).

Доктор часто бывал в палатах у своего патрона, где царила столь притягательная атмосфера непринужденности и свободы. Там было чему подивиться не только русским, но и видавшим виды иноземцам! Изысканный потолок приемной залы был искусно расписан пасторальными пейзажами, комнаты утопали в зеркалах, на стенах висели старинные немецкие картины, мерно и гулко тикали заморские часы с различным исчислением времени. Друзья часто уединялись в библиотеке, где вели долгие беседы не только о делах насущных, но и, как говаривал Матвеев, «ради душевные пользы». Книгохранилище же Артамона Сергеевича, библиофила и полиглота, было одним из лучших в Московии. Здесь наличествовали издания и рукописные книги не только на русском, но и на латинском, польском, немецком, французском, английском, итальянском, испанском, датском и чешском языках. Хотя в библиотеке преобладали сочинения по теологии, философии и географии, но имелись и книги по естествознанию

и анатомии, среди которых были и труды таких признанных светил европейской медицины, как Х. Гюйгенс, С. Лубенецкий, П. Лауренберг, А. Шпигель и др.

Медицина была одной из пламенных страстей не только Гадена, но и Матвеева, а должность последнего, главы Аптекарского приказа, была облечена особым доверием царя. Впоследствии будет общепризнанным, что деятельность Артамона Сергеевича на сем поприще продвинула далеко вперед отечественную медицину. И немалую роль здесь сыграл Гаден. Друзья внимательно следили за развитием лечебного дела в Западной Европе, заботились, чтобы в кремлевской аптеке были новейшие лекарства. В Посольском приказе, который Матвеев по совместительству возглавлял, по его требованию, переводились на русский язык надежные руководства по врачеванию недугов. Известно, что Матвеев с подачи Гадена самолично составлял списки необходимых медикаментов (коих насчитывалось более ста тридцати!) на славянском и латинском языках.

А как преобразился при наших друзьях сам Аптекарский приказ! Очевидцы утверждают, что помещение его Матвеев обставил с большой роскошью. Стены и потолки были украшены росписями, полки и двери обиты английским «добрым» сукном, окна пестрели разноцветными стеклами, на подоконниках расстилались дорогие бархатные ковры. Матвеев принял меры к тому, чтобы даже поблизости от приказа не было «грязи, вони и никакого дурна».

И все же после смерти «тишайшего» Алексея Михайловича участь Матвеева, ревностного сторонника Нарышкиных, была предрешена. И показательно, что предлогом к казни боярина стала именно его медицинская деятельность. Матвеев подготовил к изданию книгу по лекарствам и травам, в которой клевреты Милославских усмотрели ересь. Но и из пустозерской ссылки, куда он был отправлен, Артамон бомбардирует нового царя оправдательными письмами, где часто поминает Гадена и ссылается на его авторитет. Сохранилось описание последних минут его жизни. Боярин пытался увещевать стрельцов, но те яростно накинулись на него. Артамон вырвался и успел добежать до своего любимца Петра и схватить его под руку. «Стрельцы ворвались, – пишет далее очевидец, – выхватили его из царской руки, сбросили его с крыльца на копья; потом сняли с него одежды, вывели за Крым-город и разрубили на части. Видя это, иные бояре разбегались, кто куда мог».

А что же Гаден? Избежав каким-то чудом гонений при Федоре Алексеевиче, еврейский доктор, как человек, близкий Матвееву, теперь становится одним из тех, кто «царевны Софьи Алексеевны

стороне противны или подозрительны были». Масло в огонь подливало и то, что он был нерусским, о чем писал стихотворец XVIII века А. П. Сумароков, подчеркнувший, что Даниил был «жидовской породы» и с ним расправились «по ненависти к чужеземцам».

Однако и заслуги Гадена не помешали Милославским объявить сего еврея первостатейным злодеем, якобы уморившим Федора Алексеевича ядовитым кушаньем. Обвинение странное, если принять во внимание, что все лекарства и блюда, прежде чем попасть к царю, непременно дегустировались челядью и врачами! Но кого интересовало действительное положение дел?! В отравители монарха невежественная чернь записывала всех, кого ей заблагорассудится. Чудовищная напраслина, возведенная на медика-еврея, столь же абсурдна и нелепа, как и шельмование Матвеева, якобы общавшегося с нечистой силой. Потому-то и искали царского медика разъяренные стрельцы.

«В этот же день, – свидетельствует современник, – разыскивали и лекаря жида Даниила, но не нашли его, потому что он, переодевшись в страннические одежды, пробрался на Кукуй [так называли Немецкую слободу в Москве. —*Л. Б.*]». Итак, Гаден бежал от кровавой вакханалии стрельцов в Кремле. Двое суток он прятался в Марьиной роще и окрестных местах. Но, одержимый голодом, направился вновь в Немецкую слободу, где надеялся найти приют у одного знакомого. На улице он был узнан, схвачен и приведен во дворец. «Здесь, – рассказывает историк С. М. Соловьев, – царевны и царица Марфа Матвеевна умоляли стрельцов пощадить доктора; уверяли, что он совершенно невинен в смерти царя Феодора, что он в их глазах сам прежде отведывал все лекарства, которые составлял для больного государя, – все понапрасну!» Медика повели на пытку в Константиновский застенок. И совсем как в будущие сталинские времена, Гаден, не вытерпев мук, наговорил на себя разные разности. Он не только признался в том, что сам был врачом-отравителем, но пообещал назвать всех своих выдуманных сообщников, прося на то три дня сроку. «Долго ждать!» – закричали стрельцы, потащили его на Красную площадь и там разрубили на куски. Вместе с ним умерщвлены были его сын Михаил, «немец» доктор И. Гутменш, ассистент Гадена, а также его слуги – пятьдесят человек простого люда.

Царица Марфа Матвеевна Апраксина

Символично, что в свой последний путь доктор, всю жизнь метавшийся от одной христианской конфессии к другой, ушел как иудей. Вот что рассказывает об этом очевидец: «Я приехал в Москву через три или четыре дня после погрома [в Кремле. – *Л. Б.*] и пошел на похороны с другими анусим [крещеными евреями. —*Л. Б.*], что был дан от царя приказ похоронить убитых. Даниил был изрублен на куски: отрублены были одна нога и одна рука, тело проколото копьем, а голова разрезана топором. Я и другие анусим похоронили Даниила и его сына… в поле».

Место захоронения Стефана фон Гадена неизвестно. И имя его знают только дотошные историки. Но разве не поучительно, что по прошествии более двух с половиной столетий в пресловутом сталинском процессе над врачами-вредителями повторился тот же навет, замешанный на невежестве и ксенофобии, который стоил жизни московскому доктору?

Петр I и евреи (Импульсивный прагматик)

Пожалуй, нет кроме Петра Великого ни одного монарха в России, чье отношение к иудейскому племени толковалось бы столь неоднозначно и противоречиво. Характеристики поражают своей полярностью. Почвенник Анатолий Глазунов утверждает, что сей император «жидов не терпел» и считал их «нежелательным элементом». А израильский писатель Давид Маркиш, напротив, говорит о завидной веротерпимости Петра и вкладывает в его уста такие обращенные к иудеям слова: «Что ж это, вы тут гуляете, Пасху свою жидовскую празднуете, а меня и пригласить забыли!.. Мне на вашу Пасху поглядеть весьма любопытно и даже полезно для общего знания» (и в довершение сего царь надевает на голову ермолку). Парадокс, однако, в том, что для этих взаимоисключающих (и с явным перехлестом) оценок есть свои резоны, ибо великий реформатор России в разных жизненных ситуациях вел себя по-разному, демонстрируя то благодушие к народу Израиля, то нескрываемую антипатию. Возникает вопрос, где же истинный Петр Алексеевич: когда он кривил душой, а когда прямо выказывал то, что было на сердце? Да в том-то и дело, что сей самодержец, натура импульсивная, взбалмошная, был искренен во всех своих проявлениях – и когда честил иудеев, и когда защищал их…

Но разговор этот логичнее всего начать с курьеза, а именно со спекуляций по поводу этнических корней самого царя. В последнее время на интернетовских порталах и сайтах нередко стали появляться реплики, иногда весьма едкие, о том, что государь-то батюшка, оказывается, по материнской линии «хазарин», «караим», «еврей». Причем ревнители чистоты русской крови прямо указывают на то, что он был «жгучим брюнетом», и «лицо Петра Первого – это явно не славянское лицо». Поиски инородческого следа в происхождении императора получили особенно сильный импульс после выхода в свет двух книг американского литератора Р. И. Слободчиковой: «Романовы, Нарышкины и их потомки» (2007) и «Не родись красивой, или Заложницы судьбы» (2008). Их автор, потомок рода Нарышкиных, к коему принадлежала мать Петра Наталья Кирилловна, воссоздала его генеалогию и отметила, что основателем династии был крымский караим Нарышко, принявший православие и ставший окольничим московского князя Ивана III. Род Нарышкиных, давший Отечеству немало замечательных

государственных, военных, политических деятелей, дипломатов, ученых, литераторов, был разветвленным и многочисленным. Однако то, что восходит он к караимам, отнюдь не было открытием Америки. Об этом писали и прежде многие видные российские историки, среди них Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, В. В. Нехлюдов, М. А. Миллер, М. И. Артамонов, так что еще и еще новое оказывается хорошо забытым старым.

Занимались сим вопросом и исследователи-караимы М. С. Шапшал и М. М. Казас. А известный меценат, основатель «Караимской народной энциклопедии», академик М. С. Сарач утверждал, что Романовы знали о своем караимском происхождении и чтили память о своем предке Нарышко, чем он объясняет и благожелательность к караимам всей царской династии. Однако нет решительно никаких данных о том, что Петр подозревал о своем караимском, а соответственно, еврейском пращуре (ведь, согласно господствующей версии, караимы – этнические евреи). К тому же родство это было столь отдаленным (Нарышко приходился ему прапрадедом), что совершенно невозможно судить по нему о национальной принадлежности матери царя и тем более самого Петра Алексеевича. И вполне очевидно, что это, в глазах антисемитов, «сатанинское семя» в родословной царя никак не могло повлиять на его отношение к иудеям.

Император Петр I

Но Петра Великого уличали в еврействе не только бдительные интернетовские информаторы, но и его современники – противники его грандиозных реформ. И это, по мнению историков А. С. Каца и Ф. С. Канделя, оказало на позицию Петра I по сему вопросу самое непосредственное воздействие. Староверы с целью дискредитации ненавистного им монарха объявили его Антихристом, который «соберет всех жидов, поведет их в Иерусалим и будет там царствовать над ними». Примечательно, что и об упразднении Петром патриаршества и учреждении Святейшего Правительствующего Синода будут говорить: «Вместо него жидовский синедрион учредил, еже есть духовный синод». А предпринятую по инициативе царя всеобщую перепись жителей России станут сравнивать с переписью населения, проведенной в Иудее

Октавианом Августом в начале новой эры.

Польский еврей. XVIII век

Досужие толки «супротивников» по сему поводу воссозданы в III части трилогии Д. С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)»:

«– А что, правда ли, слыхала я давеча… государя же нынче на Руси нет, а который и есть государь – и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, либо швед обменный?

– Не швед, не немец, а жид проклятый… – объявил старец Корнилий…

– Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю, – подхватила Виталия, – …как де был царь наш благочестивый Петр Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям,

и был в Стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит, и та девица, над государем ругаючись, ставила его на горящую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила.

– Нет, не в бочку, – поправил кто-то, – а в столп закладен.

– Ну, в столп ли, в бочку ли, только пропал без вести – ни слуху ни духу. А на месте его явился оттуда же, из-за моря же, некий жидовин проклятый из колена Данова, от нечистой девицы рожденный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал, все стал творить по-жидовски: у патриарха благословения не принял; к мощам московских чудотворцев не пошел, потому что знал – сила Господня не допустит его, окаянного, до места свята… Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно пляшет; пьет вино не во славу Божию, а некако нелепо и безобразно, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве: своих же пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая, велегласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской».

Стоит ли говорить об абсурдности отождествления еврейства и оргий Всепьянейшего Собора? Нелепость и вздорность таких инвектив не мог не понимать и сам Петр. Тем не менее он стремился избежать упрека в «жидовском» характере своих реформ. И, как отмечает историк, подобные разглагольствования «могли повлиять на решение Петра не приглашать евреев в Россию… Во всяком случае, в своем манифесте за 1702 год о приглашении в Россию «искусных» иностранцев Петр I сделал оговорку: «кроме евреев».

Следует признать, что к евреям как к этносу он относился без особых симпатий. И, запрещая им селиться в России, он, конечно, не мог не принять в расчет нетерпимость к иудеям православных церковников, взгляды коих достаточно красноречиво выразил ректор Киевского духовного коллегиума Иоанникий Галятовский: «Мы, христиане, должны ниспровергать и сожигать еврейские божницы, отнимать синагоги и обращать их в церкви, изгонять [иудеев] из городов, убивать мечом, топить в реках». Как заметил историк И. Зайдман, в Великороссии не было евреев, «потому что в ней веками существовал антисемитизм – несмотря на отсутствие евреев, в то время был старый добрый [религиозный] антисемитизм».

Однако во взглядах Петра можно усмотреть и влияние протестантизма. Ведь известно, что еще в юности царь пропадал в

Немецкой слободе, где усвоил протестантскую религиозность и начала европейского мировоззрения. Монарх объявил себя учеником Запада и не расставался с портретом М. Лютера, автора антисемитского трактата «Против евреев и лжи» (1543), осуждавшего иудаизм и призывавшего изгонять евреев, разрушать их жилища, конфисковать их священные книги. И многие протестантские пастыри в Европе (не говоря уже о католических прелатах) проповедовали с амвона презрение и ненависть к народу Израиля. И то были не только слова! Сколько дискриминационных инструкций и предписаний измыслили для евреев досужие бюрократы-юдофобы! Очень поднаторел в этом «сумрачный германский гений», воплотившийся, впрочем, во вполне конкретном драконовском законодательстве. Вот муниципалитет Франкфурта-на-Майне заставляет иудеев носить отличительный знак, запрещает бродить по улицам без цели и во время христианских праздников, гулять вдвоем, отовариваться на рынке раньше, чем это сделают христиане, попадаться на глаза владетельному герцогу. А крючкотворы из Гамбурга регламентируют количество гостей за еврейским столом, виды подарков, а также разрешенные блюда. Но всех переплюнули австрийские кувшинные рыла: для сокращения популяции нехристей они издают закон, согласно которому только старший сын в каждой еврейской семье имеет право вступать в брак (остальные должны холостяками век вековать). И ведь закон сей действовал и в Богемии, и в Моравии, в Пруссии, Палатинате, Эльзасе!

Судьба большинства иудеев во многих европейских странах была весьма незавидной. В то время как горстка их утопала в роскоши, служа факторами и банкирами при дворах королей, герцогов и курфюрстов, еврейские же массы были заперты и отгорожены от мира стенами гетто, нередко подвергались нападкам агрессивной черни, науськанной на погромы «христолюбивыми» церковниками. Во Франции, например, где существовал эдикт об изгнании евреев (подтвержденный в 1615 году Людовиком XIII), сыны Израиля находились фактически на полулегальном положении. Кстати, попытки изгнания евреев предпринимались в Европе и после Петра I. Так, в 1744 году это учинила в Богемии императрица Мария-Терезия, громогласно объявив: «Впредь ни один еврей, независимо от того, кто он такой, не будет оставаться здесь без моего письменного разрешения. Я не знаю никакой другой злополучной чумы внутри страны, как эта раса, которая разоряет народ хитростью, ростовщичеством, одалживанием денег и занимается делами, отталкивающими честных людей».

Отсюда ясно: европеизм и протестантская ориентация Петра не только не исключали враждебности к евреям, а, напротив, ей способствовали. Так что с какой стороны ни посмотри (с западной или с доморощенной, российской), антисемитская тенденция все равно выплывает наружу. То было знамение времени, и Петр Великий был у этого времени в плену.

Еврейские костюмы. Гравюра. Нюрнберг. 1755

Впрочем, была в ту пору страна со свободой вероисповедания и общинной автономией, куда стекались иудеи со всех концов Европы – Голландия. В 1698 году к Петру в Амстердаме обратился бургомистр города Н. Витсен с просьбой разрешить въезд в Россию еврейским купцам. «Мой друг, – ответил ему царь, – вы знаете нравы и обычаи евреев, а также знакомы с русскими. Я также знаю и тех, и других, и поверьте мне: еще не пришло время для встречи этих двух народов. Скажите евреям, что я благодарю их за их предложения и понимаю ту выгоду, которую мог бы извлечь…»

Прервем пока цитату. Видно, никакой религиозной подкладки в ответе царя нет. Примечательно и то, что Петр

говорит о своем знании нравов и обычаев иудеев (не вполне, правда, понятно, сколь глубоки сии знания, понаслышке ли или из первых рук получены, и где он их приобрел). Но интерес царя к еврейству очевиден, и когда у писателя Д. Маркиша Петр заявляет о полезности знания религиозных обрядов евреев, он говорит сущую правду, ибо верен своему реальному прототипу. Важно и то, что царь говорит об очевидной выгоде, приносимой евреями державе. Далее следует замысловатый отказ царя. Почему? «Мне было бы их жаль, – говорит Петр о евреях, – если бы им пришлось жить среди русских». В другом варианте эта фраза продолжена: «Хоть и говорят, что жиды в торговле всех надувают, но не думаю, чтобы они провели моих русских»[1].

Может показаться, что Петр печется здесь не столько о русских, сколько о еврейских интересах. Ан нет! Это лишь дипломатическая увертка, ибо в другом месте царь говорит недвусмысленно: «Народ мой и без того плутоват, а дозволь переселиться евреям, они окончательно его развратят». И категорично заявляет: «Я хочу видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не располажаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том они ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают». Нельзя не сказать, что в подобной оценке сказались заскорузлые представления той эпохи о коммерции и ростовщичестве, коими было дозволено заниматься евреям и в чем они преуспели, как о махинациях жульнических и презренных (сейчас это называется бизнесом и никакого отторжения не вызывает).

Примечательно, однако, что Петр не изгонял иудеев из областей, ранее относившихся к Речи Посполитой и присоединенных к России при его отце, «тишайшем» Алексее Михайловиче. Кроме того, как отмечает исследователь А. А. Мялеховецкий, он «вполне благожелательно относился к евреям новоприобретенных областей Прибалтики». При этом подчеркивал, что там, где евреи водворены, следует, не изгоняя их, стараться извлечь из них возможную пользу для Отечества.

Известно, что царь был резок и невоздержан на язык. С его уст нередко слетали слова, что евреи, дескать, «подлая орда» и «бездельные люди». На практике же он нередко вникал в жизнь этих людей и даже оказывал им посильную помощь. Известно, что в 1708 году во время пребывания в Мстиславле Петр посетил городскую синагогу, интересовался вопросами веры и долго расспрашивал о житье-бытье местных иудеев. Когда же узнал от них, что его русские солдаты мародерствуют и чинят насилие, приказал вздернуть на виселицу 13 виновных. Вот что повествует

об этом Катальная книга города «на память грядущим поколениям»: «28 элула 5468 года пришел Кесарь, называемый царь Московский, по имени Петр сын Алексея, со всей толпой своей – огромным, несметным войском. И напали на нас из его народа грабители и разбойники, без его ведома, и едва не дошло до кровопролития. И если бы Господь Бог не внушил царю, чтобы он самолично не зашел в нашу синагогу, то наверное была бы пролита кровь. Только с помощью Божьей спас нас царь и отомстил за нас, и приказал повесить немедленно тринадцать человек из них, и успокоилась земля». Так Петр I лично встал на защиту евреев.

В другой раз царь примерно наказал рейтара Карпа Кизилова, который в 1701 году «местечка Белогородки у жителя евреина деньги и всякую рухлядь крал, и в этой покраже был пытан и бит кнутом». Сообщалось, что «покраденные деньги и рухлядь сысканы и отданы истцу».

Впрочем, далеко не всегда монарх оказывал иудеям внимание. Рассказывают, что, когда Петр в 1706 году был проездом в Могилеве и «евреи могилевские пришли встретить его хлебом и живого осетра в чане принесли государю; но государь на них и не взглянул, только хлеб велел от них принять».

Порой импульсивный царь делал заявления многообещающие, но безответственные: «Для меня все едино, был ли человек крещен или обрезан, лишь бы отличался порядочностью и хорошо знал дело». На деле же некрещеные евреи при Петре в Россию, как правило, не допускались. Отдельные исключения подтверждают правило. Это царский фактор Израиль Гирш и его сын Зундель, торговец Самсон Соломон, аптекарь Абрам Рот, купец Леви Липман и откупщик Борух Лейбов.

Но знаменательно, что, когда российские войска занимали города, где проживали иудеи, Петр не только не гнушался сотрудничеством с ними, но иногда отдавал им предпочтение перед местным христианским населением. В «Листе Его Величества Петра Алексеевича войску», датированном 27 мая 1707 года, он приказал, чтобы никто препятствий не чинил «стражнику гродненской коморы, еврею Мовшу Шмойловичу», на коего возлагалась ответственная канцелярская работа. Отметим и царский указ фельдмаршалу Б. П. Шереметеву от 28 января 1707 года об учреждении почты в Мозыре (этот город относился тогда к Речи Посполитой, и в нем закрепились русские). «А почту положить на жидов, – распорядился монарх, – а где нет (жидов), на жителей тамошних». Интересно, что почин проницательного Петра использовать евреев как почтарей будет подхвачен в

России. В войне с Наполеоном неоценимую помощь русской армии окажет так называемая «жидовская почта», созданная еврейскими торговцами (почтовыми станциями служили корчмы) и передававшая информацию с невиданной в то время быстротой.

Но в чем великий реформатор был действительно революционером – он впервые и единственный раз в истории России – до реформ Александра II – ввел в высшие коридоры российской власти значительную группу евреев крещеных. Если учесть, что православная церковь традиционно относилась к таким выкрестам подозрительно (как об этом писал ортодокс Юрий Крижанич: «Если Русское царство когда-нибудь погибнет, то оно примет гибель от перекрестов и их потомков»), решение это действительно может показаться беспрецедентно смелым. Существенно, однако, заметить, что и при отце Петра, Алексее Михайловиче, иные выкресты занимали важные государственные посты; и сей царь всемерно поощрял крещение евреев (когда его придворный врач Даниил фон Гаден принял православие, то был осыпан дорогими подарками, один перечень коих занял бы несколько страниц). Однако при Петре число выкрестов во власти столь возросло, что количество переходит в качество. И в этом может быть усмотрена и смелость, и широта мышления великого реформатора, впрочем, вполне согласные с его программной установкой выдвигать человека «по годности», а не по происхождению.

Русские евреи. Литография. Первая половина XIX в.

Вот наиболее приметные из крещеных евреев – надежная опора царю в проведении модернизации страны. Фактическим главой дипломатического ведомства был вице-канцлер П. П. Шафиров, кавалер ордена Андрея Первозванного, спасший Отечество в 1711 году от унизительных условий мира с Оттоманской Портой. Первым обер-полицмейстером Петербурга был выходец из Голландии А. М. Дивьер, заслуги коего перед северной столицей неоспоримы. А первым почт-директором был Ф. Ю. Аш – он проработал на сем ответственнейшем посту 67 лет! Пригодились России и братья Веселовские, двое из которых стали видными дипломатами, а третий обучал русскому языку великого князя Петра Федоровича. Нельзя не упомянуть и камердинера царя П. Вульфа, дослужившегося до высокого чина тайного советника, начальника тайного сыска А. Вивьера и т. д.

Замечательную роль играл при дворе и любимый шут императора Ян Лакоста, которого Петр пожаловал потешным титулом самоедского короля и подарил ему остров Соммерс в Финском заливе. Этот крещеный еврей цитировал наизусть целые главы из Священного Писания.

Некоторые выкресты прямо ходатайствовали перед царем за своих соплеменников, пытаясь примирить национальное чувство с интересами империи. Так, резидент посольства в Лондоне А. П. Веселовский убеждал Петра I принять на российскую службу иудеев-врачей, поскольку страна остро нуждалась в квалифицированных медиках. П. П. Шафиров занимал для императора большие деньги у евреев-банкиров и испрашивал у царя разрешения открыть еврейские торговые конторы в России, на что, кстати, получил согласие (сделка сорвалась по иным причинам).

С каждым из верноподданных, близких к трону, у императора складывались свои особые отношения, в коих национальность едва ли играла заметную роль. Когда влиятельный гофхирург, француз И.-Г. Лесток, соблазнил дочь шута, еврея Яна Лакосты, царь наказал обидчика, сослав его в Казань под крепкий караул, без права переписки, где тот провел в ссылке долгие пять лет! Однако руководствовался Петр исключительно чувством справедливости, и никакой национальной подоплеки здесь нет и в помине. Показательно, что на род-племя соратников Петра обращали внимание разве что сторонние наблюдатели. Так, один шведский дипломат писал в депеше от 21 декабря 1716 года из Амстердама, где находилось тогда русское посольство, что Петр «окружен совершенно простым народом; в числе его перекрещенец еврей» (речь, по-видимому, идет о П. П. Шафирове).

Могут сказать, что с некоторыми придворными евреями царь обошелся весьма жестоко. Тот же вице-канцлер П. П. Шафиров был приговорен к смертной казни и уже положил голову на плаху, когда услышал «милостивое» петровское повеление о том, что он, лишаясь всех чинов и орденов, отправляется с семьей в ссылку и на содержание им отпущено аж 33 копейки в день. А братья А. П. и Ф. П. Веселовские, ожидая расправы, убоялись вернуться в Россию и стали первыми дипломатами-невозвращенцами. Однако никакой антисемитской подоплеки в действиях Петра не было, ибо точно таким же образом поступал император и с провинившимися коренными русаками. Шафирову, к примеру, вменялось в вину казнокрадство, завышение почтовой таксы, укрывательство беглых крепостных; А. П. Веселовскому (правомерно ли или нет) потворство бежавшему в Австрию от

Петра I царевичу Алексею, а резиденту Ф. П. Веселовскому – сокрытие в Англии его опального брата. Как говорил Петр, «чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впадет».

Уместно обратиться к мотивам поступков ближайшего сподвижника Петра А. Д. Меншикова. Сын конюха, светлейший князь, которого называли левой, «сердечной» рукой царя, был в сердце, в отличие от Петра, откровенным антисемитом. Когда А. М. Дивьер стал просить руки его сестры, Меншиков пришел в такое неистовство, что нещадно отлупцевал жида, и только усилиями Петра этот «неравный» брак стал возможен. Однако после кончины императора Меншиков поквитался и с ненавистным шурином (упек его в Якутскую глухомань), и с ослушницей-сестрой, которую сослал с детьми-жиденятами в дальнюю деревню. Именно Меншиков инициировал в Сенате обвинение П. П. Шафирова в сокрытии своего еврейского происхождения и покровительстве «жидовской родне». Когда же Петр I находился в беспамятстве на смертном одре, светлейший 26 января 1725 года дал ему на подпись указ о лишении евреев откупов на Смоленщине, который царь подмахнул. Полагают, что именно Меншиков стоял за указами Екатерины I от 14 марта 1727 года о высылке евреев из Смоленского края за рубеж и от 20 апреля 1727 года об изгнании всех иудеев из Российской империи. А при императоре Петре II, на заседании Верховного Тайного Совета, именно Меншиков бросил фразу, которую сегодня охотно цитируют «патриоты»: «Жидов в Россию ни с чем не впускать!»

Убежденный антисемит, Меншиков может быть противопоставлен Петру I, который к евреям относился без особых предубеждений. Однако известен случай, когда на одной из ассамблей дочь барона Шафирова отказалась от предложенной царем чарки водки. «Я тебя выучу слушаться, жидовское отродье!» – прорычал взбешенный монарх (а в гневе он был невоздержан и крут!) и отвесил строптивой девице две увесистые пощечины.

Но таковы были реалии той эпохи: хоть и твердили, что человек ценится по заслугам, а не по породе, на евреев сие правило распространялось далеко не всегда. «Жидовская порода» считалась чем-то постыдным. Вот, к примеру, гетман И. С. Мазепа узнает, что императору из Полтавы поступил донос от Петра Яценко с обвинением его, гетмана, в государственной измене. Но Мазепа-то калач тертый, знает, как очернить изветчика половчее. Он сразу же берет быка за рога и в письме от 24 февраля 1708 года пишет царю: «Человек худородный, с Жида перехрист,

прозываемый Петр Яценко… В Ахтырском полку промыслами, по обыкновению жидовскому, арендовыми упражняющийся… подал за рукою своею все лжи превосходящую сказку, будто я Вашему Царскому Величеству неверен». То, что Яценко, «по обыкновению жидовскому», не «сказку» баял, а чистую правду говорил, выяснится позднее. Петр повелит отчеканить для предателя специальный орден Иуды, которым вознамерится наградить Мазепу перед повешеньем. И если бы не скоропостижная смерть гетмана в турецких Бендерах, висеть бы ему, как Иуде, на осине, да еще в придачу с презренным наградным знаком в петлице. Но в рассматриваемое нами время вероломный малоросс оправдался перед царем, а его разоблачители (В. Л. Кочубей, Искра) подверглись мучительным казням; «худородный» же П. Я. Яценко был допрошен с пристрастием, а потом сгинул бесследно, быть может, повторив участь своих злополучных сотоварищей.

Говоря об Украине, нельзя не упомянуть указа Петра 1708 года о дозволении еврейским купцам въезжать только в Киев и продавать там товары оптом, а также его распоряжений о высылке с левобережья Днепра и из Киева всех находившихся там иудеев (помещики и казацкие старшины, понимая пользу иудеев, саботировали эти решения). Однако меры эти были вызваны экономическими резонами, а именно борьбой с контрабандной торговлей, и распространялись, конечно, не только на евреев…

Хотя взгляды Петра на еврейский вопрос отличает непоследовательность, а его поступки противоречивы, все же невозможно согласиться с антисемитами, объявившими великого реформатора России своим ревностным единомышленником. Тот же А. Глазунов заявляет: «Как православный русский император, он не мог относиться к жидам благожелательно. Жиды были для него – враги Христовы. Жиды были для него – враги русского народа. Жиды были для него – враги Православной Российской империи». На самом же деле император благожелательно относился ко многим евреям, которых возвел на высшие должности Российской империи, и хотя считал, что время для исторической встречи русского и еврейского народов еще не настало, понимал выгоды от сотрудничества с иудеями на благо своих соотечественников. В этом вопросе он, несомненно, был прагматиком, а учитывая его взрывной характер и непредсказуемость поведения, Петр Великий вполне может быть назван импульсивным прагматиком. Но он всегда действовал в интересах государства и народа России.

Звездный час барона Шафирова
Петр Шафиров

Есть в истории российской события судьбоносные. Одно из них – печально памятное сражение с турками 9—10 июля 1711 года у местечка Рябая Могила, что на реке Прут. Известный вития Феофан Прокопович увековечил его стихами в чеканном размере четырехстопного хорея:

Над Могилою Рябою,
Над рекою Прутовою
Было войско в страшном бою.
В день недельный ополудны
Стался час наш велми трудный.
Пришел турчин многолюдный.

Оказавшись без воды и провизии, запертые со всех сторон 200-тысячной армией басурман Оттоманской Порты, вкупе с ордами воинственных крымчаков, русские, казалось, были обречены. Самообладание и выдержка изменили тогда даже царю Петру Алексеевичу, который в те дни писал в сердцах в Петербург: «Господа Сенат! Сим извещаю вас, что я со своим войском без вины или погрешностей со стороны нашей… в четырехкраты сильнейшею турецкой силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что я, без особливыя Божия помощи, ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не должны почитать меня своим государем и ничего не исполнять, что мною, хотя бы по собственному повелению, от вас было требуемо, покамест я сам не являюся между вами в лице своем. Но если я погибну и вы верные известия получите о моей смерти, то выберите между собою достойнейшего мне в наследники».

П. П. Шафиров

Израильский писатель Д. Маркиш в своей книге «Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей» (Спб., 2001) вкладывает в уста отчаявшегося царя слова: «Надежда пархатая!» И действительно, вести переговоры с турками о судьбе всей православной России Петр I доверил еврею, личности замечательной. То был вице-канцлер, барон Петр Павлович Шафиров (1672–1739), на коего царь полностью полагался. При этом Петр I был готов на самые унизительные условия перемирия, вплоть до того, чтобы отдать союзникам турок, шведам, Лифляндию и даже Псков. В инструкции Шафирову он высказался еще более категорично: «Все чини по своему разумению, как тебя Бог наставит, и ежели подлинно будут говорить о миру, то ставь с ними на все, чего похотят, кроме шклавства [рабства. —*Л. Б.*]».

Если верно, что «дипломатия есть искусство возможного», хитроумный вице-канцлер добился, казалось бы, невозможного. Туркам были отданы лишь крепости Азов и Таганрог. А русская армия во главе с Петром получила возможность почетно и без потерь выйти из окружения. «В более широком политическом

плане, – говорит историк С. Ф. Орешкова, – мир с Турцией отвечал той цели, которую Петр I ставил перед собой и до войны, – обеспечить России спокойствие на южных границах, чтобы иметь возможность сосредоточить все силы против Швеции». Однако сам виновник торжества Шафиров вынужден был по требованию врага томиться в турецком плену в качестве заложника. «Держат нас в такой крепости, – писал Петр Павлович из Турции, – что от вони и духа в несколько дней вынуждены будем умереть». А в неволе ему пришлось пребывать два с половиной года!

Уже один этот эпизод ставит Шафирова в ряд выдающихся русских дипломатов. Это, кстати, признают даже искушенные в юдофобии историки. Так, известный литературовед и историк В. В. Кожинов говорит о неоспоримых заслугах Шафирова, сумевшего «в очень трудной ситуации заключить необходимый для России мирный договор с Турцией… Еврей… Шафиров стал одним из самых знатных лиц в России…»

Вопрос о еврействе Шафирова заслуживает отдельного разговора. «Шафиров – не иноземец, но жидовской породы, – говорили о нем, – холопа боярского прозванием Шаюшки сын, а отец Шаюшки был в Орше у школьника [меламеда. —*Л. Б.*] шафором, которого родственник и ныне обретается в Орше, жид Зельман». Русский биограф так описывает его внешность: «Хотя он был малого роста, чрезвычайной толщины и едва передвигал ноги, но соединял ловкость в поступках с великою приятностью в лице. Жидовская порода».

При этом нельзя не сказать о том, что некоторые еврейские историки и писатели, забывая о реалиях той эпохи, стремятся представить всех своих соплеменников тайными, а то и явными иудеями. В их изображении Петр Павлович предстает то ведущим разговоры на иврите, то в ермолке за столом на пасхальном седере. Подобные картины – плод авторской фантазии, ничем документально не подкрепленной. Известно, что православие принял еще отец нашего героя, смоленский уроженец по имени Шая Сапсаев (он какое-то время был холопом у боярина Б. М. Хитрово), нареченный при крещении Павлом Филипповичем Шафировым и получивший дворянское звание. Да и сам Петр Павлович проявлял к христианству явный интерес, коллекционировал издания Библии на разных языках, составивших целое книжное собрание.

И в то же время в нем властно звучал голос крови: не случайно он женился на еврейке (что было в тогдашней России редкостью), Анне Степановне (Самуиловне) Копьевой, тоже родом из Смоленска. Кроме того, почитание родственников (черта

типично еврейская) было свойственно Шафирову в сильнейшей степени – вплоть до того, что недоброхоты прямо обвиняли его в нарушении закона ради выгоды еврейской родни. Впрочем, Петр Павлович протежировал, причем весьма самоотверженно, и свойственникам-неевреям. Так, в мрачную годину царствования Анны Иоанновны он не побоялся ходатайствовать о своем зяте из опального семейства Долгоруких, Сергее Григорьевиче.

И вот что важно: государственник Шафиров и свои еврейские связи использовал во благо России, которой беззаветно служил. Израильский историк С. Ю. Дудаков обратил внимание на то, что Петр Павлович, находясь в турецком плену, сошелся с влиятельным еврейским эскулапом, мараном Даниэлем де Фонсека, который помогал ему в многотрудной посольской миссии. Известно, что Петр Павлович занимал для императора большие деньги у евреев-банкиров. В свою очередь, западноевропейские евреи через Шафирова запрашивали Петра о возможности открыть торговые конторы в России. Петр прислушивался к Шафирову и весьма дорожил его мнением.

Как же сошелся царь с этим крещеным евреем, которого сделал фактическим руководителем всего дипломатического ведомства империи? Историограф XVIII века И. И. Голиков приводит такой анекдот об их знакомстве: «[Петр I] незадолго до первого своего в чужие кран путешествия прогуливался по московским торговым лавкам… Заметив проворство одного молодого сидельца, остановился у лавки его и вступил с ним в разговор и из ответов его узнал его разум, а в продолжение разговора сведав, что он разумеет немецкой, французской и польской языки, спросил, где он учился. Сей ответствовал, что у отца своего. «Кто же отец твой?» – вопрошает паки государь. «Посольского приказа переводчик». – «А кто хозяин твой?» – «Московский гость Евреинов». Монарх напоследок повелел ему именем своим сказать хозяину его, чтоб он его сосчитал и, взяв аттестат, придти с отцом своим к нему, ибо де ты мне надобен. Из сего-то сидельца вышел славный господин Петр Павлович Шафиров. На третий день отец с сыном предстали пред монарха… Великий государь определил его в Посольский приказ…»

С легкой руки Голикова эпизод этот стал хрестоматийным и перекочевал во многие литературные и исторические труды. Достоверность его между тем сомнительна в своей основе. На самом деле в штат дипломатического корпуса Шафиров был зачислен по распоряжению вовсе не царя, а думного дьяка А. А. Виниуса; государю же он стал лично известен в 1695–1696 годах, то есть на четвертом или пятом году службы в Посольском приказе. Да и имя его отца среди переводчиков ведомства почему-то не значится.

Историк Д. О. Серов усомнился и в лингвистических познаниях Петра Павловича, утверждая, что тот будто бы владел только немецким языком. Действительно, Шафиров был принят в штат как переводчик с немецкого. С этого языка он перевел на русский несколько календарей. А календари, уточним, являли собой в то время особый вид литературы, содержавший самые универсальные сведения по всем отраслям знания, они были любимым чтивом московских людей и пропагандировали западную культуру.

Титульные листы переложенных Шафировым книг с немецкого говорят сами за себя: «Календарь о малобывающих вещах Ягана Гендриха Фохта, королевскаго свейскаго математика на 1695 лето»; «Математических хитростных тонкостей календарь на 1697 лето от Р. Х., в нем же описуется купно с провещанием и

о солнечном беге и о высоте в великости онаго, також и об основательном числении солнечных и месячных затмений, сочинен в первые от Павла Гаркена, математического художника, учрежденнаго, письменнаго и сочинительнаго мастера града Буркстегуда».

Однако немецким языком познания Шафирова не ограничиваются: достаточно обратиться к его личной библиотеке, чтобы увидеть в нем полиглота. Ведь собрание его целиком состояло из книг иностранных, причем предпочтение отдавалось литературе французской (интересно, что здесь имелись и трагедии Вольтера), хотя там наличествовали и издания на немецком, латинском и итальянском языках.

«У Шафирова, – свидетельствует исследователь книжной культуры С. П. Луппов, – было много исторических и географических книг, лексиконы, грамматики, издания, связанные с дипломатической деятельностью и работой в области международного права, отдельные книги по математике, военномуделу, художественная литература, литература развлекательного характера, книги религиозного содержания… Лексиконы и грамматики, имевшиеся в библиотеке Шафирова, были, очевидно, его рабочими пособиями при чтении иностранной литературы».

Большая печать Посольского приказа

Хотя в библиотеке царского дипломата и отсутствуют издания Нидерландов, голландским языком Петр Павлович владел и переводил с него дипломатические документы. Видимо, его расторопность, острота разума и знание иностранных наречий и определили выбор Петра I, включившего Шафирова в состав русского Великого Посольства, путешествовавшего в 1697–1698 годах по европейским столицам. Тем более что о способностях нашего героя царю нашептали видные дипломаты: думный дьяк Е. И. Украинцев и глава Посольства, «первенствующий министр» Ф. А. Головин (примечательно, что впоследствии дочь Шафирова выйдет замуж за его сына). Вскоре монарх и самолично убедился в достоинствах их протеже. Осведомленный иноземец сообщал, что царь все свое время проводит с «перекрещенцем евреем», с коим не расстается. Показательно, что когда Петр вынужден был прервать свой вояж ради подавления стрелецкого мятежа, в числе самых близких людей он взял с собой в Москву и Шафирова.

Постепенно Шафирову стали поручать все более ответственные задания, важные для судьбы империи. Впрочем, собственный голос в переговорных делах он обрел не сразу.

Какое-то время Шафиров был хоть и инициативным, но не вполне самостоятельным помощником великого реформатора. Именно как усердный исполнитель воли вникавшего во все тонкости царя Петр Павлович участвовал в подготовке русско-датско-польского союза в 1699 году и русско-польского союза 1701 года, направленных против Швеции.

О том, что им остались довольны, говорит назначение Шафирова в 1703 году тайным секретарем при Ф. А. Головине. А после смерти последнего в 1706 году канцлером стал Г. И. Головкин, человек весьма посредственных способностей. Постепенно деятельность Шафирова заметно расширяется: он был назначен на специально созданную для него должность вице-канцлера. Головкин по существу был фигурой декоративной, представительской; переговоры же с иноземными послами и детальная разработка дипломатических проектов выпали на долю вице-канцлера Шафирова. Вот как характеризует его деятельность историк: «Шафиров оказался на высоте своего призвания. Он умел внушить к себе доверие, умел исправлять резкости государя, умел подмечать мелочи». Усилиями Петра Павловича был достигнут дружественный пророссийский нейтралитет Англии, Голландии и германских государств. Он также поддерживал трансильванского князя Ференца Ракоци в притязаниях на польский престол в противовес ставленнику шведов Станиславу Лещинскому.

И на марсовых полях Шафиров всегда был рядом со своим царем. Известно, что он был парламентером при капитуляции шведов у Ивангорода и Нарвы в 1704 году. А после славной Полтавской баталии неутомимый вице-канцлер получил чин тайного советника, триста крестьянских дворов, два богатых малоросских села Верба и Понурица и т. п. 30 мая 1710 года, в день своего рождения, благодарный царь возвел Петра Павловича в баронское достоинство – сей титул стал впоследствии традиционным знаком отличия для евреев галута. Заслуги Шафирова отмечали и другие европейские венценосцы: Фридрих Прусский пожаловал ему орден Великодушия, а король Польский и курфюрст Саксонский Август II – орден Белого Орла.

В 1709 году в ведение вице-канцлера поступили и все российские почты, причем главный почтамт разместился в его усадьбе (она сгорела в 1737 году). Темпам доставки депеш при генерал-почт-правителе Шафирове могли бы позавидовать и современные почтовые службы. Знаменитая птица-тройка (она обвыкла колесить по российскому бездорожью) из Москвы в Воронеж долетала за 48 часов, в Тулу – за 36 часов, в Новгород – за 52 часа. Петр Павлович также образцово обустроил почтовый

тракт между Петербургом и Москвой.

Шафиров стоял и у истоков первых династических браков августейших особ, кои всецело подчинил интересам государства Российского. Именно он в 1710 году заключил договор с герцогом Курляндским Фридрихом-Вильгельмом о браке его с племянницей Петра I великой княжной Анной Иоанновной (впоследствии императрицей). Согласно этому договору, Курляндии было обещано возвращение завоеванных у нее земель, вместе с тем Россия получала протекторат над герцогством, облегчивший впоследствии его присоединение к империи. Аналогичное соглашение было подписано в 1716 году герцогом Мекленбург-Шверинским Карлом-Леопольдом о его супружестве с другой племянницей Петра, Екатериной Иоанновной, причем Петр Павлович не остановился даже перед тем, чтобы устроить развод сего венценосца с первой женой.

Пробовал себя Шафиров и в частном предпринимательстве, став одним из первых мануфактурных фабрикантов в России. Он, в частности, налаживал рыбный промысел в Белом море: добычу моржового, китового и трескового жира и экспорт китового уса в Европу. В 1717 году он пытался завести в Москве фабрику по производству шелка, на что получил одобрение и поддержку Петра (разрешалась беспошлинная продажа изделий фабрики в течение 50 лет). Однако сложность и новизна дела оказались ему не под силу, и в 1721 году фабрика была закрыта. Впрочем, на отношение Петра I к Шафирову это не повлияло: царь, как и прежде, использовал вице-канцлера на дипломатическом поприще.

После соглашения с Турцией 1711 года, подтвержденного ив 1713 году в Адрианополе, дипломатическая карьера вице-канцлера вновь стала набирать высоту. Шафиров принял участие в подписании союзных договоров с Польшей и Данией (1715), Пруссией и Францией (1717). И вот уже Петр Павлович становится вице-президентом коллегии иностранных дел (1717), кавалером высшего российского ордена Св. Андрея Первозванного (1719), сенатором и действительным тайным советником (1722).

Неоценима его роль и в заключении Ништадтского мира 1721 года, ознаменовавшего собой окончание кровопролитной Северной войны (1700–1721). Важно то, что Шафиров приближал победу над шведами не только за столом переговоров, но и собственным пером. Можно утверждать, что талант дипломата счастливо сочетался в нем с даром недюжинного полемиста. Предпринятый им беспрецедентный публицистический труд «Рассуждение, какие законные причины его царское величество

Петр Первый, царь и повелитель всероссийский и протчая, и протчая, и протчая, к начатию войны против короля Карла XII Шведскаго 1700 году имел…», писанный в 1716 году по приказу царя, явил собой первое в России сочинение по международному праву. О том, какое значение придавал «Рассуждению…» монарх, свидетельствует тот факт, что оно издавалось трижды, причем 3-е тиснение (1722) было отпечатано в количестве 20 тысяч экземпляров (тираж для того времени беспрецедентный!) и его предполагалось разослать по всем губерниям и провинциям бескрайней империи по пониженной цене. Более того, труд сей получил и международный резонанс: был переведен на немецкий и английский языки (к слову, это была первая русская книга, переведенная на Туманном Альбионе).

«Рассуждение…» – политически злободневное произведение, в котором борьба со шведским королем представлена как необходимость, вызванная существенными потребностями государства. Автор опирался на широкий круг исторических источников, скрупулезно исследуя русско-шведские отношения начиная со времен Ивана Грозного. Шафиров проводил здесь мысль о необходимости довести дело до конца и не мириться со Швецией до тех пор, пока не будет обеспечено обладание России Балтийским морем. И безусловно прав историк С. Л. Пештич, отметивший, что этот обстоятельно документированный труд имел большое историческое, дипломатическое, политическое, публицистическое и правовое значение.

«Рассуждение…» отмечено и лексическим новаторством, ибо содержит множество слов и терминов, ранее отсутствовавших в русском языке. Автор использует слова и термины из иноземных наречий, что было неизбежно для дипломата Петровской эпохи, поскольку, как отмечает лингвист А. И. Горшков, «главной сферой распространения западноевропейских заимствований была официальная дипломатическая и административная переписка». Некоторые «неологизмы» Петра Павловича – в частности, слова «революция» и «гражданин» – уже анализировались в блистательной книге С. Ю. Дудакова «Петр Шафиров» (Иерусалим, 1989). Добавим в качестве курьеза, что еврей Шафиров впервые ввел в наш обиход слово «патриот», которое определил как «Отечества сын», причем «верным патриотом» назвал самого себя: он и не ведал, что словом этим будут потом бряцать и именоваться российские антисемиты-почвенники.

Книге предпослана «Дедикация, или приношение» автора цесаревичу Петру Петровичу, значение которой в истории словесности еще не вполне оценено. Важно то, что Шафиров выступает здесь родоначальником жанра посвящения (дедикации)

в русской книжной культуре, существовавшего еще со времен античности и весьма распространенного в Европе. Впоследствии пиит В. К. Тредиаковский скажет: «Слог панегирических эпистол долженствует быть гладок, сладок, способно текущий и искусный, а особливо в дедикациях… нежна и хитра дедикация». Но именно эти качества отличают посвящение Шафирова.

Вчитаемся в текст: невольно попадаешь под обаяние «витийского краснословия» автора. И не современно ли звучат, к примеру, такие его словосочетания-кальки, как «богом дарованный талант», «слабая комплекция», «фамилиарное обхождение», «неискусство пера», «великий вождь» (это о Петре I) и т. д. Отметим, что лексика, риторические приемы и даже композиция его дедикации станут как клише широко использоваться в русских посвятительных письмах XVIII – середины XIX веков…

Вице-канцлер часто называл себя учеником Петра Великого и настойчиво проводил в жизнь его преобразовательные планы. Но, пожалуй, главным правилом царя, затверженным Шафировым, была оценка человека не по его «знатности», а по «годности» (что, кстати, отразилось в знаменитой «Табели о рангах», 1721). При этом Петр Павлович не только сознавал, что сам «годен» для России, но и страдал непомерным честолюбием, граничившим со своего рода фанаберией. Особенно оскорбляло его то, что он оказался в формальном подчинении у канцлера Г. И. Головкина – отпрыска древнего рода, но, по словам историка, «декоративного ничтожества».

Обида вице-канцлера была тем понятнее, что в то время как он, тонкий и знающий Шафиров, изобрел хитроумный код дипломатической шифрованной корреспонденции на разных европейских языках, его сиятельный патрон даже не знал ни одного иностранного наречия и изъяснялся с заезжими послами исключительно языком жестов. Между канцлером и не желавшим повиноваться ему вице-канцлером вспыхивали постоянные ссоры. Их соперничество проявлялось даже в том, что свои хоромы в Петербурге Шафиров стремился сделать богаче головкинских и торжествовал, когда число его слуг превзошло дворню ненавидимого им канцлера. Современник сообщает, что однажды в канцелярии Коллегии иностранных дел Шафиров обозвал сотрудников «ушниками», «бездельниками» и «креатурами канцлеровыми», а затем «осердясь, встав, пошел вон и, остановясь в дверях, говорил канцлеру с криком, что, де, ты дорожишься и ставишь себя высоко, я, де, и сам таков». Приходится признать, что Петр Павлович подчас не останавливался и перед рукоприкладством. Известно, что в мае 1719 года,

разволновавшись из-за ссоры с канцлером, он нещадно избил старейшего секретаря Коллегии И. А. Губина. Писатель XIX века А. О. Корнилович сказал о Шафирове: «Обширный умом и познаниями, сановник совершенный, если б умел обуздать пылкий дух».

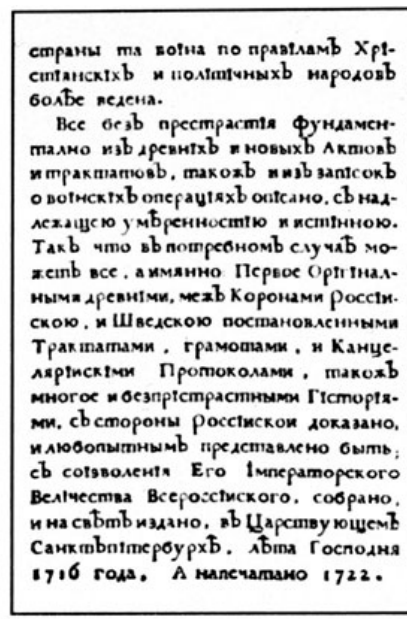
Петр Павлович не мог похвастаться «породной честью», но выдающиеся способности выдвинули его в число самых видных сподвижников царя; с ним рады были породниться и самые знатные боярские роды – дочери его были выданы замуж за князей Голицыных, Долгоруковых, Гагариных, Головиных, Хованских. Но и им, крещеным еврейкам, нет-нет да поминали их нерусское происхождение. Мемуарист рассказывает, что как-то на ассамблее одна из дочерей Шафирова пыталась было отказаться от предложенной царем чарки водки. «Я тебя выучу слушаться, жидовское отродье!» – прорычал взбешенный Петр и отвесил строптивой девице две увесистые пощечины. Больше она от царского угощения не уклонялась.

Волею судеб свершилось так, что с высот своей блестящей карьеры Шафиров был низвергнут в бездну. При этом антисемитизм хотя и не доминировал, но явственно присутствовал в происках врагов Шафирова, обвинивших его в 1722 году во многих тяжких грехах. Тогда в Сенате схлестнулись интересы Шафирова и всесильного «полудержавного властелина» А. Д. Меншикова (они, видимо, не поделили барыши от совместной беломорской компании). Клевретже Меншикова Г. Г. Скорняков-Писарев, обвинив вице-канцлера в казнокрадстве и незаконной выдаче жалованья брату Михаилу Шафирову члену Бург-коллегии, присовокупил к сему еще и сокрытие своего еврейского происхождения. Как раз в этом пункте Шафирову удалось оправдаться: он сослался на знакомство государя с его крещеным отцом, который получил дворянство еще при царе Федоре Алексеевиче. Однако ему вменялось в вину и казнокрадство, и завышение почтовой таксы, и укрывательство беглых крепостных. Действительно ли проштрафился здесь Шафиров? Да, проштрафился. Но ведь известно, что корыстолюбие было свойственно почти всем без исключения «птенцам гнезда Петрова». Как об этом точно сказал литератор Я. А. Гордин, «воровали и выходцы из старой знати, и «новые люди»… Последние десять-пятнадцать лет петровского царствования – непрерывная череда следствий, пыток, казней… Незапятнанными оставались единицы». Генерал-прокурор П. И. Ягужинский откровенно признавался царю: «Все мы воруем, все, только одни больше и приметнее других!» Если сравнить, к примеру, стяжательство Шафирова с аппетитами алчного, самого

приметного казнокрада той поры А. Д. Меншикова, то оно покажется сущим пустяком. Крупных грехов за Петром Павловичем не обнаружилось. А пострадал он из-за своего чудовищного самомнения и вздорного характера; при разборе дела учинил в Сенате безобразный скандал, чем грубо нарушил регламент, что по существу и стало главной причиной его опалы. Петр грозно повелел: Шафиров «казнен будет смертию без всякия пощады, и чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впадет».

РАЗСУЖДЕНІЕ
КАКІЕ ЗАКОННЫЕ ПРІЧИНЫ
ЕГО ВЕЛІЧЕСТВО
ПЕТРЪ ВЕЛІКІЙ
ІМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІСКІЙ.

И протчая, и протчая, и протчая;
Къ начатію войны противъ Короля
Карола 12. Шведского 1700 году
имѣлъ; и кто изъ стхъ обоихъ потентатовъ, во время сея пребывающей
войны, болѣе умѣренности и склонности къ примиренію показывалъ,
и кто въ продолженіи оной, съ толь
великимъ разлитіемъ крови Христіянской, и разореніемъ многихъ земель
виновенъ; и съ которой воюющей
страны



страны та война по правиламъ Христіанскихъ и политичныхъ народовъ
болѣе ведена.

Все безъ пристрастія фундаментално изъ древнихъ и новыхъ Актовъ
и трактатовъ, такожъ и изъ записокъ
о воинскихъ операціяхъ описано, съ надлежащею умѣренностію и истинною.
Такъ что въ потребномъ случаѣ можетъ все, а именно Первое Оригинальныя древніи, между Коронами Россійскою, и Шведскою постановленныя
Трактатами, грамотами, и Канцелярскими Протоколами, такожъ
многое и безпристрастныя Исторіями, съ стороны Россійской доказано,
и любопытнымъ представлено быть;
съ соизволенія Его Императорского
Величества Всероссійского, собрано,
и на свѣтъ издано, въ Царствующемъ
Санктпитербурхѣ. лѣта Господня
1716 года. А напечатано 1722.

Первые страницы книги П. Шафирова «Рассуждение о Северной войне». 1722

Вот как описывает сцену казни замечательный русский историк С. М. Соловьев: «15 февраля, рано утром, Кремль уже был наполнен народом… Осужденного в простых санях привезли из Преображенского приказа; при прочтении приговора сняли с него парик и старую шубу и взвели на эшафот, где он несколько раз перекрестился, стал на колена и положил голову на плаху. Топор палача уже взвился в воздухе, но ударил по дереву: тайный кабинет-секретарь Макаров провозгласил, что император в уважение заслуг Шафирова заменяет смертную казнь заточением в Сибирь. Шафиров поднялся на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. В Сенате, куда привели Шафирова, старые товарищи жали ему руки и поздравляли с помилованием, но Шафиров оставался в мрачном расположении духа; говорят, что когда медик, опасаясь следствий сильного потрясения, пустил

ему кровь, то Шафиров сказал: «Лучше бы открыть мне большую жилу, чтоб разом избавить от мучения».

Царь смилостивился (если, конечно, можно назвать милостью лишение чинов, орденов, титулов, всего движимого и недвижимого имущества): он не только даровал Шафирову жизнь, но и заменил ссылку в Сибирь на Нижний Новгород. Ссыльный содержался там «под крепким караулом», где ему со всей семьей отпускалось на содержание всего 33 копейки в день.

Положение Петра Павловича изменилось в лучшую сторону только после восшествия на престол Екатерины I, которая к нему явно благоволила. Шафирову были возвращены не только чины и регалии, но и большая часть конфискованного имущества. В 1725–1727 годах он занимал видный пост президента Коммерц-коллегии. Памятуя о его литературных способностях, императрица поручила ему писать историю царствования Петра I (труд этот остался незавершенным).

После вынужденной отставки при императоре Петре II (1727–1730) Шафиров оказался вновь востребованным во времена Анны Иоанновны. К его помощи прибегают для создания антитурецкой коалиции. Шафиров получает назначение в Персию полномочным послом (1730–1732), где подписывает так называемый Рештский договор между Россией и Персией о совместных военных действиях против Оттоманской Порты. В 1733 году он был пожалован в сенаторы и вновь назначен президентом Коммерц-коллегии, оставаясь на сем посту до конца жизни. Талантливый дипломат, он в 1734 году участвует в заключении торгового договора с Англией, а в 1737 году – Немировского трактата.

Но, может статься, в памяти барона всегда жил звездный час его дипломатической карьеры – знойный июльский день 1711 года, когда он, сын бывшего холопа, еврей Шафиров, спас от позора и поражения Великую Россию.

Веселовские

Три представителя этого замечательного семейства составили гордость российской дипломатии и в 1710-х годах вошли в самый влиятельный клан, ведавший внешней политикой империи. То были родные братья Веселовские – крещеные евреи ашкеназского происхождения.

Основателем династии был выходец из польского местечка Веселово, Яков. Он оказал важные услуги русской армии при взятии Смоленска в 1654 году и был поставлен перед необходимостью креститься, после чего переехал в Московию. Сын же его, Павел Яковлевич Веселовский (ум. 1715), женился на крещеной еврейке, Марии Николаевне Аршеневской (бывшей в родстве с вице-канцлером П. П. Шафировым), в браке с которой произвел на свет шестерых сыновей и двух дочерей. Сведения о Веселовском-старшем довольно скудны. Известно, что какое-то время он служил стольником и был, по всей видимости, человеком образованным, иначе не курировал бы в 1706–1711 годах работу немецких школ в Москве. И жительствовал он в Первопрестольной, владея домом за Покровскими воротами, что в Земляном городе. В последние годы жизни он был комиссаром Аптекарской канцелярии в Москве.

В историю России вошли, точнее, ворвались его сыновья, Авраам Павлович (1685–1783), Исаак Павлович (1690–1754) и Федор Павлович (ум. до 1776) Веселовские. Двое из них, сбежав от монаршего гнева, покинули Россию и скрылись в Англии (правда, один из них потом вернулся), третий пережил опалу на родине. Об их судьбах и будет наш рассказ.

I. Опальный дипломат Авраам Веселовский

Даже спустя более полувека после бегства из России этот седой, как лунь, почти столетний старец неизменно проявлял к своей бывшей отчизне живой и неподдельный интерес. «Я посетил от Вашего имени г. Веселовского, – писал об этом из Ферне, что близ Женевы, один именитый француз российскому канцлеру А. Р. Воронцову, – добрый старик… воодушевлялся от всего, что я ему рассказывал о его родине, и радость была видна в его глазах и чертах». Некогда крупный дипломат Петровской эпохи, Авраам Павлович Веселовский (1685–1783) с 1730 года обосновался в Швейцарии, где жил достойно и весьма безбедно в кругу любящих домочадцев: женившись в 1741 году вторым браком на француженке Марианне Фабри, он стал отцом четырех дочерей, счастливым дедом и прадедом.

Возвратиться на родину ему предлагала еще русская императрица Елизавета Петровна. А при Екатерине II он получил возможность вернуться в Россию, что называется, на белом коне – с большим почетом. Этого добился для него сам «фернейский патриарх» Вольтер, близкий друг Авраама, нашептав о нем монархине много лестных слов. Знатные русские вояжеры (среди коих были такие знаковые фигуры, как президент Российской Академии княгиня Е. Р. Дашкова и победитель турок, граф А. Г. Орлов-Чесменский) почитали за честь посетить дом Веселовского в Ферне. Но почему же всякий раз, глянув невзначай на портрет великого реформатора Петра I, всегда невозмутимый, сдержанный Авраам Павлович вдруг смешается, задрожит, как осиновый лист?

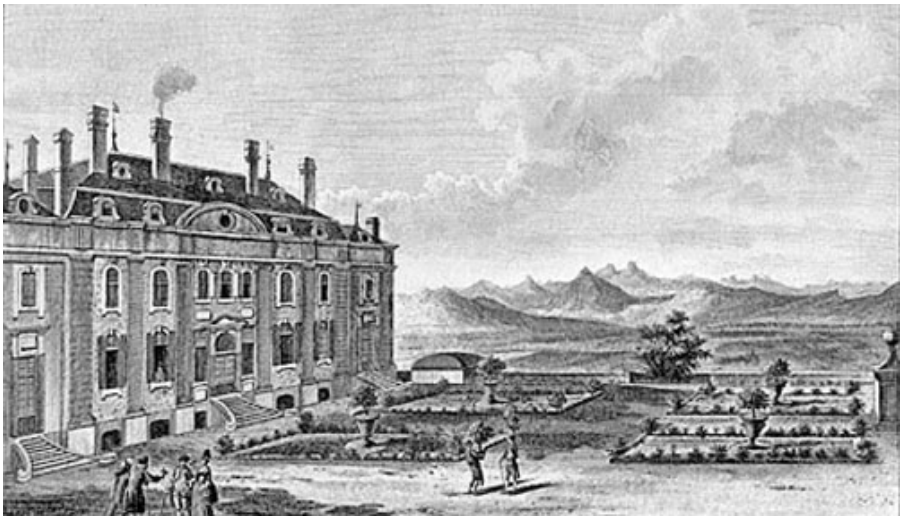
Может статься, в сей миг память властно переносит старца в далекие 1720-е годы, когда положение его, бывшего российского резидента в Вене, было более чем рискованным и опасным. Случилось так, что Авраам Павлович нарушил рескрипт Петра I от 3 апреля 1719 года, где ему предписывалось «с возможным поспешением» вернуться в Россию якобы для направления «с некоторыми комиссиями к другому некоторому двору». Поначалу Веселовский вроде бы и направлялся домой; по пути он свиделся в Берлине с русским посланником А. Г. Головкиным и тайным советником П. А. Толстым, но с тех пор резидента Веселовского и след простыл.

Царь забил тревогу незамедлительно: указание о поиске и аресте беглого Веселовского было тут же разослано всем

российским эмиссарам за границей. А весной 1720 года для поимки ослушника в одном из германских княжеств был организован боевой оперативный отряд. Возглавил его военный агент русской армии князь Ю. И. Гагарин, действовавший под именем Вольского. Этому-то Вольскому с сотоварищами и надлежало выследить Авраама Павловича, а затем доставить его в Петербург; в случае же невозможности задержания предусматривался даже вариант убийства бывшего резидента. Дипломатическое прикрытие «боевиков» за границей осуществлял близкий к императору генерал-майор П. И. Ягужинский.

Поначалу ищейки Петра, кажется, напали на след «бездельного крещеного жида», как они его называли. Его будто бы видели в окрестностях Франкфурта-на-Майне, в Гессен-Касселе. Стремясь придать делу законный характер и понимая, что добровольный выезд из страны для западных юристов преступлением не является, царь наказал Вольскому объявить о значительном денежном долге, от уплаты которого якобы скрывался Веселовский. Кольцо вокруг изгнанника, мнилось, вот-вот сомкнётся. Но и у Авраама Павловича были свои доброхоты… Предупрежденный в самый последний момент о западне, он спешно выехал в неизвестном направлении – и был таков!

Вскоре он, однако, объявился в недосягаемом для «боевиков» Вольского Лондоне. Петр и здесь не оставил попыток заполучить перебежчика и весьма разгневался, когда получил с берегов Темзы неутешительный ответ: «Английский король не может исполнить просьбу царя, не нарушая права убежища, которое должно оставаться неприкосновенным у всех народов». Царю напомнили и о том, что Веселовский не был ранее ни судим, ни подвергнут наказанию. И хотя Палата Общин не удовлетворила в ноябре 1724 года петицию Авраама Павловича о его натурализации в Туманном Альбионе, новый эмигрант чувствовал себя здесь в полнейшей безопасности. Отсюда в 1730-е годы он переехал в благословенную Швейцарию, где и нашел свое окончательное пристанище.



Вид предместья Ферне (Швейцария)

Что же заставило Веселовского стать первым в российской истории дипломатом-невозвращенцем?

Эмигрантами, как известно, не рождаются – ими становятся, причем к такому отчаянному решению ведет логика всей предшествующей жизни. А потому рассказ о нашем герое следует начать с его первых шагов.

Можно сказать, что с самого начала карьера Авраама была обречена на успех. Ведь он находился в родстве с блистательным дипломатом эпохи, вице-канцлером, бароном П. П. Шафировым – по некоторым сведениям, приходился тому племянником. Какое-то время Веселовский воспитывался в его доме, и, видимо, именно дядя-полиглот привил ему интерес к иностранным наречиям: Авраам свободно говорил по-немецки и владел латынью. Здесь-то, будучи в гостях у вице-канцлера, и заприметил его проницательный Петр, предрекший отроку большое будущее.

Когда юноше минуло восемнадцать, он был направлен за казенный счет в только что открывшуюся в Москве первую в России гимназию. Возглавлял ее происходивший из Мариенбурга пастор Эрнст Глюк (интересно, что именно у него одно время была в услужении Марта Скавронская – будущая императрица Екатерина I). Познания этого ученого мужа были весьма обширны: он был автором краткой географии на русском языке, русской грамматики и молитвенника, составил славяно-латино-греческий словарь, перевел труды замечательного чешского педагога Я. А. Коменского «Преддверие», «Открытая дверь языков», «Мир чувственных вещей в картинках».

Поражала универсальность предлагаемого гимназией

образования: здесь изучали географию и политику, историю и астрономию, латинскую риторику и ифику философию деятельную и картезианскую, танцевальное искусство и «поступь французских и немецких учтивств», фехтование, конное искусство и берейторское обучение лошадей. Особое внимание уделялось языкам (их преподавали учителя-иноземцы). Так, Веселовский штудировал французский, немецкий, латинский, греческий, древнееврейский и даже сирийский и халдейский языки.

Но и этого оказалось мало для пытливого юноши, и для совершенствования в языках он в марте 1705 года направляется в чужие края, где состоит сначала при российском эмиссаре Г. Гюйсене, а затем при видном сподвижнике Петра князе Б. И. Куракине, выполнявшем в то время важные поручения царя по укреплению международного авторитета России (для этой цели ему привелось даже целовать туфлю римскому папе). Под руководством Куракина Веселовский постигал и науку дипломатии. Потому, наверное, вернувшись в Петербург, он сразу же получил назначение в дипломатическое ведомство – Посольскую канцелярию, где с декабря 1708 года начал работать переводчиком. Ему, определенному состоять «у секретных дел», был установлен огромный для той поры оклад – 200 рублей в год.

Во время Полтавской баталии Авраам был уже дьяком Посольского приказа. Он неотлучно сопровождал царя, который в июне 1709 года послал ловкого еврея в Данию с письмом, извещавшим о победе русских над шведами. С 1710 года Веселовский служит в Ижорской канцелярии под руководством «государственных тайных дел министра», светлейшего князя А. Д. Меншикова, при котором занимает очень высокое положение. Современник свидетельствовал: «Ныне Аврам Веселовской… у князя гораздо в милости, и хотя не виден при его светлости, однако ж все дела отправляет».

В 1715 году Веселовский становится резидентом в Вене. По приезде в эту столицу Габсбургской монархии он незамедлительно (уже через пять дней) был принят во дворце самим цесарем Карлом IV. В налаживании связей при Венском дворе он обнаружил свое хитроумие и дипломатический дар – в то время в международной практике это называлось «поиском нужных каналов». Задача нашего героя и состояла в том, чтобы «каналы» эти, так сказать, текли в направлении России, работали бы ей во благо. Примечательно, что он пытался заручиться поддержкой влиятельного обер-гофканцлера графа Цинцендорфа. Тонкий психолог, Веселовский не постеснялся прибегнуть и к коварству: познав о неукротимой страсти супруги графа к карточной игре, он ссудил ей известную сумму в обмен на

важные услуги ее мужа российской короне.

Авраам Павлович не только выполнял посольские обязанности, но, по заданию Петра, подыскивал «нужных людей», ибо молодая Россия как никогда нуждалась в квалифицированных врачах, инженерах, архитекторах и т. д. При этом он стремился привлечь и своих соплеменников, не боясь ходатайствовать об иудеях перед явно не расположенным к ним царем. В одном из писем к монарху Веселовский пишет: «Евреи всегда отличались своими познаниями в медицинской науке, и только благодаря еврейским врачам возможно было успешно бороться со многими лютыми болезнями, между прочим, с лепрой». Венценосец ответил на это письмо так: «Для меня совершенно безразлично, крещен ли человек или обрезан, чтобы он только знал свое дело и отличался порядочностью». Утверждение беспрецедентное, если учесть, что ранее тот же самый Петр называл жидов плутами и обманщиками и категорически запретил им селиться в России! Не исключено, что импульсивный царь поддался здесь обаянию и силе логики своего венского резидента.

А. П. Веселовский

Веселовский неутомим: то он отыскивает для царя ценные книги по юриспруденции; то договаривается с учителями иезуитских школ в Праге о переводе на русский язык универсальных лексиконов, то по просьбе А. Д. Меншикова хлопочет о покупке парадной кареты.

Казалось, дипломатическая фортуна явно к нему благоволила, но произошло событие, нарушившее весьма продуктивную работу резидента. То было знаменитое «дело царевича Алексея», в коем Авраам Павлович вынужден был принять самое деятельное участие. Поскольку «непотребный сын» царя под чужим именем скрылся в Австрии, Веселовскому надлежало разведать о его местопребывании и способствовать его выдаче разгневанному отцу. С декабря 1716 года по июль 1717 года он фактически руководил поимкой царевича. В марте 1717 года Веселовскому удалось, наконец, напасть на его след в Тирольской крепости Эренберг. Резидент пытался добиться выдачи Алексея дипломатическим путем (он вел переговоры и с цесарским принцем Евгением, и даже добился личной аудиенции у самого Карла IV), но все оставалось втуне. Внезапно (возможно, от долговременной езды в экипаже в поисках царевича) «приключилась у Веселовского с жестокою лихорадкою почечуйная болезнь, которой прежде он никогда не имел». Он вынужден был устраниться от дальнейших действий, а потому заслуга по возвращению царевича в Северную Пальмиру приписывается другим эмиссарам царя – А. И. Румянцеву и П. А. Толстому, доведшим дело до конца.

Чем же руководствовался Веселовский во время событий вокруг несчастного сына Петра I? Забавно, что в оценке поведения нашего героя сходятся во мнениях исследователи полярно противоположных взглядов. Так, историк-почвенник Н. Н. Молчанов по существу обвиняет Авраама в потворстве Алексею и в его укрывательстве. Веселовский предстает в его книге «Петр I» (М., 2003) опасным интриганом. «Ясно, что эти [Веселовского. – *Л. Б.*] интриги, – резюмирует Н. Н. Молчанов, – осуществлялись не в пользу Петра, иначе бывший резидент не побоялся бы вернуться на родину». В этом же духе высказывается и израильский писатель Д. Маркиш в своей книге «Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей» (Спб., 2001). Он живописует сцену, где Веселовский будто бы прямо предупреждает царевича об опасности: «Поберегите себя, Ваше Высочество, не выезжайте без охраны из Эренберга, чужих к себе не допускайте! И не возвращайтесь в Россию до срока…» Авраам Павлович вызывается даже послать по своим «каналам» (писатель

тоже употребляет это слово!) лекарство для телесной крепости опальной матери Алексея, Е. Ф. Лопухиной, сосланной Петром I в суздальский монастырь.

Трудно поверить приводимым Д. Маркишем фактам: то в Суздале вдруг объявляется некто Янкель, спешащий по заданию Веселовского свидеться с Лопухиной, то самому венскому резиденту какой-то продавец кошерного мяса Рувим приносит тайное письмо от другого еврея, П. П. Шафирова, где тот предупреждает Авраама о грозящей опасности.

На самом же деле и Шафиров, и Веселовский привыкли жить в нееврейском окружении и имели мало общего с религиозными иудеями. Достаточно сказать, что Авраам Веселовский был не просто выкрестом, но и дважды перекрещенцем – сначала в православие, а затем в протестантство. Это, понятно, не исключало свойственной им, как и всем евреям, солидарности со своими соплеменниками, стремления облегчить их участь в антисемитской стране. Но все-таки во главу угла ими были поставлены интересы России, и именно с ними эти два придворных еврея пытались примирить свое национальное чувство. А потому весьма сомнительно, что фактический глава российского дипломатического ведомства Шафиров призывал своего помощника Веселовского не подчиняться приказам Петра I и стать невозвращенцем, что приравнивалось в то время к государственной измене. К тому же Шафиров сыграл зловещую роль в расправе над царевичем Алексеем, которому нисколько не сочувствовал.

По-видимому, независимо от того, виновен ли был Веселовский в глазах царя или нет, прослышав о многочисленных жестоких казнях по сему делу (ведь известно, лес рубят – щепки летят!), он убоялся возвращаться в Петербург.

Царевич Алексей

Живя долгие годы в эмиграции, он довольствовался лишь весточками с родины, до которых, впрочем, был охоч. В России сменились уже восемь императоров: Петр I, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иоанн VI, Елизавета Петровна, Петр III, наконец, Екатерина II, а Авраам Павлович так и не предпринимал попыток туда вернуться, он свыкся с ролью наблюдателя издалека. Почему? Именно этот вопрос задал Веселовскому посетивший его в Швейцарии граф А. Г. Орлов-Чесменский, на что получил ответ: «На родину я вернусь только тогда, когда в ней утратят силу три пословицы: «Без вины, а виноват», «Хоть не рад, да готов», «Божье да Государево». Авраам Павлович тем самым возвышает свой голос против незащищенности прав личности («Без вины, а виноват»), рабской угодливости («Хоть не рад, да готов»), всесилия авторитарной власти («Божье да Государево»). А это ставит Веселовского в ряд политических беженцев из России и роднит его с нашими эмигрантами третьей волны…

Из уважения к памяти видного дипломата император Александр I в 1803 году назначил дочери Веселовского пенсию в сто голландских дукатов. Другие потомки Авраама также

получали субсидии от русского двора вплоть до 1843 года, то есть и при правлении явно не благоволившего к евреям Николая I. Как видно, наш опальный невозвращенец был после смерти полностью реабилитирован, а его заслуги перед родиной получили достойное признание.

II. Ментор для наследника престола Исаак Веселовский

Вот парадокс: еврей Исаак Павлович Веселовский (1690–1754) обучал русскому языку будущего императора православной России – Петра III! При этом поражало не столько его безукоризненное лингвистическое чутье (в конце концов, он родился в Москве, и русский язык был для него родным), сколько произошедшая с Исааком метаморфоза. Ведь в гимназии Эрнста Глюка, учеником которой (вслед за старшим братом Авраамом) он был, Исаак слыл нерадивым учеником и первостатейным проказником, за что часто подвергался наказанию розгами. Но уже тогда, в школьные годы, сей шаловливый отрок отличался смышленостью и тонким юмором, а впоследствии стал одним из оригинальнейших умов своего времени. Его искрометные остроты и каламбуры молниеносно передавались из уст в уста…

Как и брат, он был полиглотом и определился по дипломатической части, начав в 1707 году службу в Посольском приказе переводчиком немецкого и латинского языков. Карьера у Исаака Павловича задалась, и уже в 1709 году он был направлен в российское посольство в Пруссию, а в январе 1710 года – в Данию. Познания и опыт Веселовского, приобретенные в этих странах, оказали неоценимую помощь царю во время его второго великого путешествия по Европе в 1716—1717 годах, в ходе которого Россия намеревалась заключить союз с Пруссией и Данией против Швеции. Кроме того, царь высоко ценил поистине виртуозное владение Веселовским французским языком и, находясь в Париже, часто использовал его как толмача.

Вероятно, уже тогда, в путешествии, наш герой сблизился с Петром, иначе трудно объяснить его дальнейший взлет: с 1718 года он был назначен секретарем и одновременно главой Иностранной экспедиции Посольской канцелярии, а с февраля 1720 года – секретарем всей Коллегии Иностранных дел.

Однако дипломатическая Фортуна отвернулась от него, когда вышло наружу бегство его опального брата. Петр незамедлительно перевел Исаака Павловича на самую рядовую должность в значительно менее престижную Берг-коллегию. Но, видимо, скоро поняв, что горно-заводское дело бесконечно далеко от устремлений бывшего дипломата, царь смилостивился и решил использовать его лингвистические познания. Петр доверил ему обучать французскому языку своих августейших дочерей, цесаревен Анну и Елизавету. Если учесть, что монарх прочил

Елизавету в жены французскому королю, можно с уверенностью сказать, что знанию сего предмета он придавал первостепенное значение и относился к нему с большим пиететом. Веселовский приобщал цесаревен к французской совесности и культуре в течение целых трех лет – с июня 1722 по июнь 1725 года! Не здесь ли следует искать истоки той галломании, которая впоследствии заполонит двор будущей императрицы Елизаветы Петровны?

В 1726 году мы видим Исаака Павловича уже на Кавказе, в армии, при ставке генерал-аншефа князя В. В. Долгорукова, командующего Низовым (Персидским) корпусом. Образованный еврей выполнял при нем обязанности секретаря. Замечательный военачальник, Долгоруков присоединил к русским владениям Кергерутскую область, Астару, Ленкорань и Кызыл-Агач и как раз в 1726 году за свои ратные подвиги получил (причем, во второй раз) высшую награду России – орден Св. Андрея Первозванного, а в 1728 году был удостоен чина генерал-фельдмаршала. Секретарь же его Веселовский не только не был награжден, но, отпущенный из Гиляни (Персия) в отпуск осенью 1727 года, в июне 1728 года был арестован и схвачен в Коломне, недалеко от Москвы.

Оказалось, что Исаак замешан в так называемом деле княгини А. П. Бестужевой (Волконской), бывшей в то время владелицей первого в России светского салона. Он особенно близко приятельствовал с родным братом Бестужевой, Алексеем Петровичем, бывшим тогда русским резидентом в Копенгагене, и через него сошелся с княгиней. Пристанищем ее друзей (в число коих входил и Веселовский) стал небольшой дом Асечки Ивановны (так они называли Бестужеву) на Адмиралтейском острове, в Греческой улице. Среди завсегдатаев салона, помимо нашего героя, были фаворит Елизаветы Петровны, будущий генерал-фельдмаршал А. А. Бутурлин, камергер Екатерины I С. А. Маврин, знаменитый арап Петра Великого Абрам Ганнибал, сенатор Ю. С. Нелединский и др. «Как это часто бывает в молодежных компаниях, – говорит историк, – друзья создали некий собственный мир шутливых отношений, со своими обычаями, смешными церемониями, словечками и прозвищами. Они любили собраться вместе, поболтать, потанцевать, выпить вошедшего в моду «кофею»». Впрочем, сотоварищей объединяло еще одно свойство – все они (каждый по своим резонам) ненавидели могущественного тогда светлейшего князя А. Д. Меншикова, на чей счет постоянно чесали языки.

Князь А. Д. Меншиков

Болтовня-то и погубила салон Бестужевой. Как-то раз Асечка принесла из дворца свежую сплетню: Меншиков возжелал женить наследника престола Петра Алексеевича (будущий Петр II) на своей дочери Марии. Услышав это, друзья, не церемонясь в выражениях, костерили светлейшего, узурпировавшего власть в стране.

Узнав об этом, Меншиков незамедлительно расправился и с Асечкой, и с ее неосторожными товарищами. Бестужевой было велено ехать в ее подмосковную деревню, Ганнибала отправили в сибирскую глухомань, Маврина и Бутурлина понизили в должности. Веселовский, важных улик против коего не нашлось, был все же для острастки снова выслан в Гилянь, а в августе 1730 года (уже после низвержения и смерти Меншикова) переведен в Дербент.

Императрица Елизавета Петровна

Здесь-то его застал высочайший указ императрицы Анны Иоанновны о его новом назначении секретарем канцелярских дел при Низовом (Персидском) корпусе, теперь уже под водительством генерал-майора И. И. Бибикова. При этом Исаак Павлович получил чин коллежского асессора. Далее он поступил в распоряжение главнокомандующего русских войск в Персии герцога Л. Г. Гессенгомбурского, разбившего с большим преимуществом в 1733 году непокорные орды татар и крымцев. Но на исходе того же 1733 года герцог был отозван в Петербург, а Веселовский продолжал отбывать ссылку: теперь уже в Астрахани и Царицыне. Из бумаг видно, что ему много лет не выплачивали жалованья. Освобожден он был только в октябре 1740 года, а в марте 1741 года отставлен от службы, как он писал, «за немощию».

Но «немощь» сразу же покинула Исаака Павловича, как только на российский престол взошла Елизавета Петровна. При ней вновь начался стремительный взлет карьеры Веселовского, далеко превзошедший его прежние дипломатические успехи. Императрица с благодарностью относилась к своему бывшему

учителю французского и весьма к нему благоволила. Помнил о нем и его прежний товарищ, а ныне кабинет-министр, канцлер А. П. Бестужев, ставший при Елизавете одним из самых влиятельных вельмож при дворе.

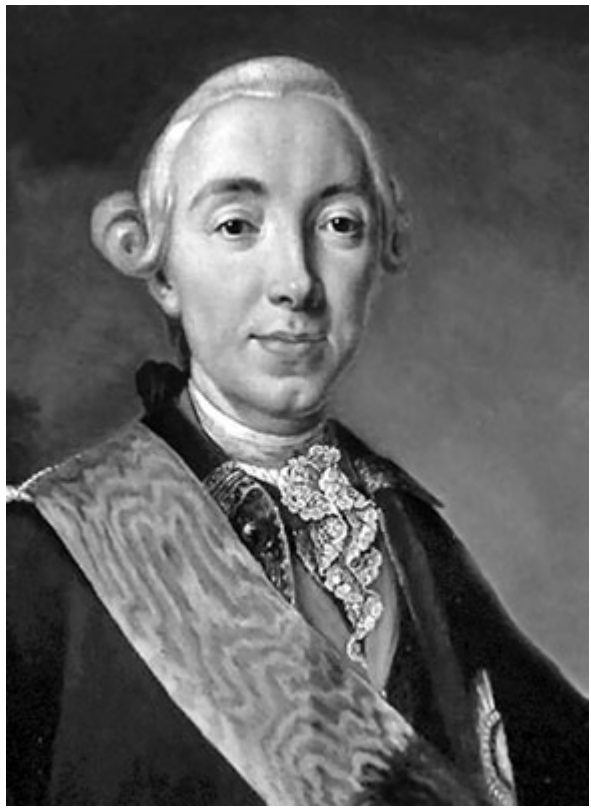
Уже в декабре 1741 года коллежский асессор Веселовский был произведен в действительные статские советники, перемахнув тем самым через целых четыре ступени в «Табели о рангах». «В титуловании подобное изменение, – говорит израильский историк С. Ю. Дудаков, – вознесло баловня судьбы из заурядного «ваше благородие» в почти «небожителя» – «ваше превосходительство». Востребованным оказался и его талант дипломата: Исаака Павловича назначили главой Секретной экспедиции Коллегии Иностранных дел. Как истый государственник, он вновь с головой ушел в любимую работу: принимал деятельное участие в переговорах со Швецией в 1743 году и с Англией в 1744–1745 годах; в 1744 году ратовал о постройке укрепленных линий в Сибири для защиты от набегов кочевых инородцев; был инициатором союза России с Саксонией против усилившейся Пруссии. В 1745 году Веселовский был произведен в тайные советники, а в 1746 году ему был пожалован орден Св. Александра Невского.

В 1742 году императрица приставила дипломата к наследнику престола Петру Федоровичу для обучения его русскому языку, которым тот, живя в Голштинии, не владел. По-видимому, ментором Исаак Павлович был превосходным, поскольку уже через год занятий великий князь свободно изъяснялся по-русски. Об этом свидетельствует дошедшее до нас ученическое сочинение венценосного отрока, переведенное им самим с немецкого языка на русский и датированное 1743 годом. Конечно, письменный русский язык наследника был далек от идеального, но не забудем, что и исконно русские люди (в том числе и придворные) писали порой с еще большими ошибками.

«Самый умный человек в России» (так назвал его один именитый иностранец), Исаак Павлович жил передовыми идеями эпохи. Он был завзятым книгочеем и напряженно следил за современной ему мировой словесностью. Так, «тема новейшей французской литературы, – свидетельствует историк В. С. Люблинский, – пронизывает его [Веселовского. – *Л. Б.*] деловую корреспонденцию столь настойчиво, что заслуживает специального изучения».

И впрямь, обратившись к эпистолярному наследию Исаака, мы почти в каждом письме найдем упоминания не только о Монтене, но и о П. Бейле, Вольтере и Ж.-Ж. Руссо, о многих других современных ему литераторах. При этом наш герой

обнаруживает завидную осведомленность в текущих культурных событиях Европы. Он, к примеру, весьма оперативно отзывается на арест Вольтера во Франкфурте в 1752 году, проявляя солидарность с писателями-философами. Симптоматично в этой связи, что «западник» Веселовский, заручившись поддержкой канцлера, поспособствовал снятию ограничений на ввоз иностранных книг в Россию. В результате эти издания стали регулярно поступать в книжные лавки Москвы и Петербурга. «Книг французских… – с удовлетворением писал Исаак Павлович графу М. И. Воронцову в 1753 году – на последних осенних кораблях надобно ожидать».



Император Петр III

Веселовский не побоялся перед лицом монархини-юдофобки настойчиво ходатайствовать о судьбе своих соплеменников (как некогда его старший брат хлопотал о них перед ее великим отцом). Какие только резоны он не приводил, объясняя все выгоды жительства евреев в Российской империи! Он склонил на свою сторону даже канцлера Бестужева. Но императрица была неумолима, она не пожелала отменять свой известный указ от 13

декабря 1742 года о высылке всех жидов из Малороссии, бросив свою знаменитую фразу: «От врагов Иисуса Христа не желаю интересной прибыли!» Как же отреагировала ненавистница иудеев Елизавета на это «дерзкое» прошение крещеного еврея? Во всяком случае, она его не наказала, не подвергла опале, демонстрируя лично к нему свою прежнюю приязнь. Может быть, она не видела, не хотела видеть в своем бывшем учителе врага Христа. Скорее всего, Елизавета приняла его настойчивость за проявление наивного благодушия, впрочем, извинительного для христианина.

Справедливости ради надо сказать, что при сей императрице Веселовский находился в полной безопасности и был надежно защищен от происков неприятелей. А придворным интригам он отнюдь не был чужд. Одна из них – склока графа М. И. Воронцова и канцлера Бестужева, в которой Исаак Павлович занял сторону Воронцова (хотя в прошлом и дружил с канцлером). Описывать все перипетии борьбы и противостояния этих знатных мужей мы не будем. Отметим только, что доведенный до бешенства канцлер настрочил на Веселовского верноподданнический извет, в котором доносил, что на одном из дипломатических приемов тот (о, ужас!) отказался пить за здоровье государыни.«… Один только Веселовский, – докладывал Бестужев, – полон пить не хотел, но ложки с полторы и то с водою токмо налил и в том упрямо перед всеми стоял, хотя канцлер из верности Ея Императорскому Величеству и из стыда перед послами ему по-русски и говорил, что он должен сия здравие полным бокалом пить, как верный раб, так и потому, что ему от Ея Императорского Величия много милости показано пожалованием его из малого чина в столь знатный». Ясно, что Бестужев мнил подвести Веселовского под уголовную статью об оскорблении Величества (за что в прежние царствования пытали в Тайной канцелярии). Но не вышло: Елизавета полностью проигнорировала донос и осыпала Исаака Павловича новыми милостями.

В последние годы тайный советник Веселовский часто проводил дни в тиши своего кабинета за любимыми книгами. Читал он чрезвычайно быстро. И спешил: видно, не хотел упустить в жизни то, что обогащает разум и возвышает душу. Он покинул мир в сентябре 1754 года еще не старым – 64-х лет от роду. Место захоронения его неизвестно.

III. Возвращение резидента Федор Веселовский

Будучи русским резидентом в Лондоне, еврей Федор Павлович Веселовский (ум. до 1776) добился возведения в английской столице православного храма – первого на Туманном Альбионе. Поистине, неисповедимы пути Господни!

Год рождения этого адепта православия неизвестен. Историк Д. О. Серов высказал предположение, что он был близнецом Исаака Веселовского. Так же, как и брат, он обучался в гимназии Э. Глюка (причем, тоже слыл изрядным шалуном), а затем был принят в Посольский приказ переводчиком немецкого и латинского языков. И, подобно жизни братьев Авраама и Исаака, жизнь Федора была исполнена драматизма: бурные взлеты чередовались в ней со столь же стремительными падениями.

Князь Б. И. Куракин

Поначалу карьера Федора Веселовского складывалась блистательно. Ему довелось служить под началом «державы

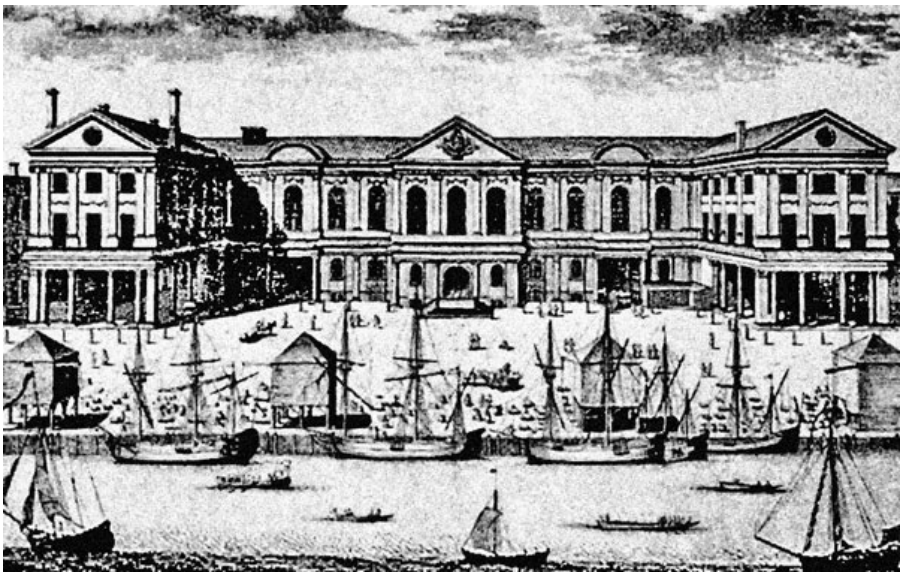
Российской посла» князя Б. И. Куракина. Классический русский аристократ, выдающийся деятель своего времени, Куракин был опытным дипломатом и отличался эрудицией, широтой интересов, холодным ироничным умом и пылким темпераментом. Он сразу же оценил и приблизил к себе Федора, и тот был всегда рядом со своим патроном. В 1707 году они отправляются в Рим, к папе Карлу XI, с заданием добиться непризнания Станислава Лещинского польским королем. Вместе с Куракиным туфлю его святейшества целовал тогда и юный Веселовский. Переговоры увенчались успехом, и после завершения миссии эти двое московитов исколесили всю Европу, останавливаясь в Венеции, Вене, Гамбурге, Амстердаме. Впрочем, путешествие их отнюдь не было праздным: они пытались воспрепятствовать вербовке наемников в шведскую армию, в чем тоже преуспели. В январе 1710 года Федор сопровождает Куракина, получившего должность полномочного министра, в Ганновер, где они ведут длительные переговоры с курфюрстом Георгом Людовиком. Благодаря усилиям Куракина и Веселовского была подписана союзная конвенция, обеспечившая гарантии дружественного нейтралитета курфюршества по отношению к России и ее союзникам.

В 1712 году Федор Павлович, уже в ранге секретаря посольства, был направлен в Гаагу, где они вместе с Куракиным пытались склонить Голландию к союзу с Россией против Швеции. Находясь в должности секретаря, Веселовский получает возможность и своего профессионального роста как дипломата – он уже обладает даром мыслить не только в масштабах отдельных стран, но и охватывать разом всю европейскую систему международных отношений. Постепенно Федор обрастает нужными связями среди государственных деятелей Европы, превосходно ориентируется в современной ему политической обстановке.

Наконец, наш герой выходит из тени Куракина и начинает вполне самостоятельную деятельность на дипломатическом поприще. В апреле 1716 года он направляется в Лондон, где вначале исполняет обязанности резидента при английском дворе, а в июне 1717 года официально получает эту высокую должность. Помимо непосредственных посольских обязанностей, Веселовский занимается вербовкой квалифицированных специалистов, заключением выгодных для России торговых контрактов. Федору Павловичу было доверено от имени Синода вести ответственнейшие переговоры о слиянии русской и англиканской церквей. Приходилось резиденту и приглядывать за оказавшимися в Лондоне шумливыми русскими студиозусами.

Казалось бы, положение его было как нельзя более прочным и

надежным. Но тут набиравшая обороты карьера Веселовского вдруг рухнула в одночасье! Ведь в резиденции русского посланника в Лондоне нашел пристанище его беглый брат Авраам. Познав об этом, российские власти немедленно отстранили Федора Павловича от британских дел, назначив на его место нового резидента, М. П. Бестужева. Последнему было приказано объявить Федору Павловичу, чтоб он «к двору Датскому немедленно ехал». В случае же его неповиновения Бестужеву предписывалось «трудиться пристойным образом, дабы Веселовский в Англии заарестован был, объявя причину, что он многие наши деньги имел при себе, а отчету не учинил».



Здание Лондонской таможни

Почуяв неладное, Федор ответил на приказ ехать в Данию категорическим отказом. «Очевидно вижу, – с горечью писал он, – что отзыв мой от сего двора и посылка моя в Копенгаген ни для какой причины, ниже в иное намерение чиниться токмо для брата моего Авраама, за которого определен быть страдателем, и вижу ясно, что намерение положено по прибытии моем в Копенгаген, бросить меня на корабль и отвести в С.-Петербург, и чрез жестокое и страдательное истязание о брате моем – хотя сведом или не сведом – спрашивать… Страх сей видимой и бесконечной моей беде привел меня в такое крайнее отчаяние, что я, отрекшись от всех благополучии сего миру, принял ныне резолюцию ретироваться в такой край Света, что обо мне ни памяти, ни слуха не будет, и таким образом докончаю последние бесчастные дни живота моего хотя в крайнем убожестве и мизере,

но спокойною совестью и без страдания». Впрочем, жизнь его на этом не кончилась (он проживет еще добрых пять десятков лет!), да и «ретироваться» на край света он не пожелал, а, как и его старший брат, стал невозвращенцем и обосновался в респектабельном Лондоне.

Лондон. Собор Святого Павла. XVIII век

Царь Петр долго не мог простить английскому правительству покровительства, оказанного Аврааму и Федору на проекте 1724 года о примирении России и Великобритании он собственноручно начертал, чтоб «Веселовские нам отданы были, понеже как в издержании денег, так и в иных вверенных им делах многое противу делали и требует розыску». Англия, однако, так и не выдала России беглых дипломатов.

Не знаем, тосковал ли Федор по русским березкам или по одетому в гранит Петербургу, только ностальгия разъедала его душу сильнее, нежели у старшего брата. С жизнью на чужбине он так и не свыкся и неоднократно ходатайствовал перед российскими властями о возвращении на родину. Еще при императрице Анне Иоанновне он начал посылать ценные сообщения вице-канцлеру, графу А. И. Остерману о внутриполитическом положении Англии, парламентских новостях, событиях придворной жизни и т. д. Он заверил графа в желании «употребить последние дни живота своего к услугам отечества… яко верному и всякому доброму подданному надлежит». Историк С. Ю. Дудаков даже полагает, что Веселовского намеренно не спешили впускать в Россию потому,

что такой важный «канал» информации «был нужен правящей верхушке именно в Лондоне».

Но Федор Павлович продолжал упрямо рваться в Россию. «Сегодня приходил ко мне бывший прежде сего при аглицком дворе резидент Ф. Веселовский, – доносил в реляции из Лондона в январе 1742 года русский посланник А. Д. Кантемир, – прилежно меня просил, чтоб я всенижайше исходатайствовал ему позволение возвратиться в отечество свое и употребить остатки жизни своей в службе вашей сродной своей государыни. Оную такую высочайшую милость ожидает от сродного вашего ко всем своим поданным великодушия. Делам вашим было бы не бесполезно, чтоб отсюда вызвали человека, которой один русскому языку здесь искусен и иногда в разбирании цыфирей употреблен быть может». Не о чтении ли тайных дипломатических шифров здесь идет речь?

И вот радость: в ноябре 1742 года наконец была получена высочайшая резолюция Елизаветы. В ней предписывалось: «На оное его [Веселовского. —*Л. Б.*] прошение всемилостивейше соизволяем, того ради вы ему о таком… позволении надлежащим образом объявить и к возвращению его сюды всякое вспоможение чинить изволите».

Федор Павлович возвратился в Россию в начале 1743 года. Он ходатайствовал, чтобы его приняли на службу «особливо в иностранных делах, в которых чрез многие лета обращался». Но взбалмошной и прихотливой императрице пришло в голову использовать его по придворному ведомству (напомним, что в то же самое время его брат Исаак находился при особе великого князя). Искушенный в европейском политесе, Веселовский стал (пожалуй, первым в истории!) евреем-церемониймейстером императорского двора – чин немалый, равный армейскому бригадиру (выше полковника и ниже генерала). На этом посту Веселовский находился до 1752 года, после чего был уволен в отставку с присвоением звания генерал-майора.

О последних годах его жизни известно немного. Дипломатические его способности при Елизавете так и остались невостребованными, если не считать порученных ему в 1757 году переговоров с Вольтером о написании этим великим французом истории царствования Петра Великого. Федор Павлович для сей цели отправился в Женеву где, между прочим, свиделся и со своим опальным братом Авраамом.

А П. Лосенко. Портрет И. И. Шувалова. 1760

В Петербурге Веселовский сближается с фаворитом Елизаветы, замечательным просветителем и меценатом И. И. Шуваловым. Последний привлекает его, как человека энциклопедически образованного, в недавно основанный Московский университет – куратором, и Федор служит там с августа 1760 по ноябрь 1762 года. Труды его были отмечены государыней, которая в 1761 году пожаловала Веселовского в кавалеры ордена Св. Александра Невского. В отставку он был уволен с присвоенным ему высоким чином тайного советника. Умер Федор Веселовский уже при императрице Екатерине II, прожив без малого девять десятков лет.

* * *

В истории прославились и потомки клана Веселовских, так же проявившие себя на гуманитарном поприще. Наиболее выдающиеся из них: академик Петербургской Академии наук А. Н. Веселовский (1838–1906) – представитель сравнительного литературоведения, основоположник исторической поэтики;

археолог и востоковед, профессор Н. И. Веселовский (1848–1918); академик Академии наук СССР, крупнейший специалист в области социально-экономической истории России и источниковедения С. Б. Веселовский (1876–1952); историки экономист, профессор Б. Б. Веселовский (1880–1954). Все они отмечены печатью яркого таланта, завещанного им далекими предками.

Главный самоед империи
Ян Лакоста

Когда-то, в лихие девяностые, известный российский политик Александр Лебедь придумал забавный оксюморон – «еврей-оленевод». И ведь не ведал тогда этот генерал-остроумец, что совсем скоро охотники и оленеводы изберут начальником Чукотки еврея Романа Абрамовича. Еврейская жизнестойкость, однако (прости, читатель, но без этого «однако» не обходится ни один анекдот про чукчей!), оказалась не только востребованной, но и удивительным образом созвучной чаяниям заполярных аборигенов. Но Абрамович был не единственным евреем в России, правившим северным народом – в позапозапрошлом веке император Петр Великий пожаловал своему любимому шуту, этническому еврею Яну Лакосте (1665–1740), титул короля другого «морозоустойчивого» племени – самоедов. Кем же был Лакоста и за какие-такие заслуги он удостоился чести главенствовать над самоедами?

Известно, что Ян был потомком маранов, бежавших из Португалии от костров инквизиции. Он родился в г. Сале (Северная Африка). До шестнадцати лет наш герой путешествовал, а затем с отцом и братьями обосновался в Гамбурге, где открыл маклерскую контору. Но торговля у него не задалась, доставляя одни лишь убытки. Обладая изысканными манерами версальского маркиза, Лакоста принялся было давать уроки всем «желающим в большом свете без конфузу обращаться зело премудреную науку, куплименты выражать и всякие учтивства показывать, по времени смотря и по случаю принадлежащие». Но и политес оказался делом неприбыльным. И тогда Ян решил «на ловлю счастья и чинов» отправиться в далекую Московию. Согласно одной из версий, он получил от русского резидента в Гамбурге разрешение приехать туда.

Ян Лакоста

Есть на сей счет и весьма авторитетное свидетельство друга Лакосты, лейб-медика при русском дворе Антонио Нуньеса Рибейро Санчеса: «Когда Петр Первый, император России, был проездом в Гамбурге, кажется, в 1712 или 1713 году Коста ему был представлен. Петр Первый взял его с собой… вместе с женой и детьми».

И в том, и в другом случае Ян (или, как его стали величать, Петр Дорофеевич) мог поселиться в России только при одном условии: его отказе от религии отцов.

Лакоста не был религиозным иудеем, значился католиком и потому-то беспрепятственно достиг Северной Пальмиры, а вскоре был принят на службу к русскому царю. «Смешные и забавные его ухватки, – говорит описатель «Деяний Петра Великого» И. И. Голиков, – полюбились Государю, и он был приобщен к

числу придворных шутов».

Назначая забавником еврея, ведал ли Петр о давней традиции живописать шута, равно как и иудея, отрицателем Бога? Причем образы эти подчас замещали друг друга. Ведь в патристике евреи иногда отождествлялись с шутами, да и в средневековой иконографии они представлены буффонами, глумящимися и насмехающимися над мучимым Христом. По логике таковых ревнителей благочестия, шута и еврея объединяло то, что оба они погрязли в грехе, оба заправские мошенники, оба похотливы и обладают повышенной сексуальностью. И в визуальном искусстве той поры буффон и иудей облачены в одинаковую (и дьявольски отвратительную) одежду, в том же головном уборе, и несут в себе все внешние атрибуты демонизма. Характерно, что на картине Иеронима Босха «Корабль дураков» один из шутов наделен характерным еврейским символом. А в Московии, во время расправы над так называемыми «жидовствующими» в XV веке, церковные ортодоксы наряжали их скоморохами и со словами «Се есть сатанинское воинство» возили по новгородским улицам. Впрочем, русский царь был сам главным шутником эпохи, и если даже был наслышан о подобных аллюзиях, ему не было решительно никакого дела до мнений оголтелых поборников старины – он издевался над ними и… грубо вышучивал.

А вот широчайшая эрудиция Петра Дорофеевича самодержца и впрямь покорила. Новоявленный шут свободно говорил на испанском, итальянском, французском, немецком, голландском и португальском языках. Был весьма сведущ в вопросах религии: цитировал наизусть целые главы из Священного Писания и вел с монархом бесконечные богословские дебаты. Находившийся при русском дворе голштинский камер-юнкер Ф.-В. Берхгольц вспоминает: «Я услышал спор между монархом и его шутом Лакостой, который обыкновенно оживляет общество… Дело было вот в чем: Лакоста говорил, что в св. Писании сказано, что «многие придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом»; царь опровергал его и спрашивал, где это сказано?». Тот отвечал, в Библии. Государь сам тотчас побежал за Библией и вскоре возвратился с огромною книгою, требуя, чтобы Лакоста отыскал ему то место; шут отозвался, что не знает, где находятся эти слова. «Все вздор, там этого нет», – отвечал государь». В этом диспуте прав, однако, оказался Лакоста, ибо он привел по памяти слова Иисуса из Евангелия от Матфея (Матф. 8:11). Смысл сего пророчества в том, что языческие народы признают учение Христово, а Израиль, то есть еврейский народ, христианства не примет.

Но едва ли выкрест Лакоста пытался приобщить Петра I к иудейской вере, как об этом рассказывает в своей повести «Еврей Петра Великого…» (2001) израильский писатель Давид Маркиш. Он рисует прямо-таки фантастическую картину: Лакоста, Шафиров, Дивьер и откупщик из Смоленска Борух Лейбов вместе празднуют Песах и побуждают русского царя надеть на голову ермолку, что Петр, кстати, без колебания делает. Сомнительна не только эта сцена, но и само существование в Петербурге начала XVIII века какой-то особой еврейской партии, покровительствующей своим соплеменникам и крепко спаянной корпоративными или религиозными интересами. Достаточно сказать, что иудей Борух Лейбов, облыжно обвиненный в прозелитизме, будет впоследствии сожжен на костре. К эпохе Петра I относится и первый случай кровавого навета в России (местечко Городня на Черниговщине, 1702 год).

Лакоста обладал внешностью сефарда; у него было умное и волевое лицо. «Он был высокого роста, – рассказывает его друг, тоже потомок маранов, лейб-медик императрицы Антонио Рибейро Санчес, – сухощавый, смуглый, с мужественным голосом, резкими чертами лица». И современники, и позднейшие биографы не забывали о еврейском происхождении Петра Дорофеевича. Историк С. Н. Шубинский, характеризуя Лакосту, замечает: «Свойственная еврейскому племени способность подделаться и угодить каждому доставила ему место придворного шута». Думается, однако, что Петр обратил на него внимание не за эти качества (присущие, кстати, не только евреям, но и всему роду человеческому), а, напротив, – за бескомпромиссность и прямоту. Он был исполнен достоинства, грозного царя-батюшку звал кумом, с сановниками разговаривал на равных, деликатностью и тонкостью обращения изумляя природных россиян. Лакоста называл вора вором, без обиняков высмеивал пороки и злоупотребления придворных, а когда те жаловались на бесцеремонное поведение шута, царь невозмутимо отвечал: «Что вы хотите, чтобы я с ним сделал? Ведь он дурак!»

Нередко Петр Дорофеевич в своей скоморошеской роли выступал своего рода дублером царя. Известно, что он помогал монарху резать боярам полы кафтанов и стричь ветхозаветные бороды.

Лучше Лакосты никто не мог ненавязчиво напомнить подданным о благе государства, о былых победах и достижениях. Неистощимое остроумие этого шута вошло в пословицу – он стал героем многочисленных литературных и окололитературных анекдотов. В них рассказывается о неизменной находчивости Петра Дорофеевича в любых житейских передрягах. Вот лишь

некоторые примеры.

Лакоста пускается в морское путешествие, и один из провожающих его спрашивает: «Как ты не страшишься садиться на корабль – ведь твой отец, дед и прадед погибли в море!?» «А твои предки каким образом умерли?» – осведомляется Лакоста. «Преставились блаженною кончиною на своих постелях». «Так как же ты, друг мой, не боишься каждую ночь ложиться в постель?»

Один придворный спрашивает Лакосту почему он разыгрывает из себя дурака. Шут отвечает: «У нас с вами для этого разные причины: у меня недостаток в деньгах, а у вас – в уме».

Лакоста в церкви ставит две свечи: одну перед образом Архангела Михаила, а другую перед демоном, которого Архангел попирает своими ногами. К нему тут же обращается священник: «Сударь! Что вы сделали? Вы же поставили свечу дьяволу!» «Ведь мы же не знаем, куда попадем, – невозмутимо отвечает Лакоста, – так что не мешает иметь друзей везде: и в раю, и в аду».

Лакоста прожил много лет со сварливой женой. Когда исполнилось двадцать пять лет со дня их женитьбы, друзья просили его отпраздновать серебряную свадьбу. «Подождите, братцы, – предлагает шут, – еще пять лет, и мы отпразднуем Тридцатилетнюю войну!»

Жена Лакосты ко всему прочему была мала ростом. «Почему, будучи разумным человеком, ты взял в жены такую карлицу?» – спрашивают его. «Когда я собирался жениться, то заблаговременно решил выбрать себе из всех зол самое меньшее», – парирует шут.

Лакоста якобы принял православие. Через шесть месяцев его духовнику сказали, что шут не исполняет никаких церковных обрядов. Духовник призвал новообращенного к себе и стал корить. «Батюшка, – ответствовал Лакоста, – когда я сделался православным, не вы ли сами мне говорили, что я стал чист, словно переродился?» «Правда, говорил, не отрицаюсь». «А так как тому не больше шести месяцев, как я переродился, то можно ли требовать чего-нибудь от полугодовалого ребенка?»

Имея с кем-то тяжбу, Лакоста часто наведывался в одну из коллегий, где судья, наконец, однажды говорит ему: «Из твоего дела я, признаться, не вижу для тебя хорошего конца». «Так вот вам, сударь, хорошие очки», – отвечал шут, подав судье пару червонцев.

Мы выбрали наудачу лишь несколько забавных эпизодов из жизни Петра Дорофеевича. Некоторые из них – плод безудержной фантазии (как и появившиеся в XIX веке анекдоты о проделках шута Ивана Балакирева). Но есть и истории, не только имеющие

под собой документальную основу, но и ярко свидельствующие об отношении Петра Великого к своему любимому шуту. Говорится, в частности, о ненависти Лакосты к гофхирургу И. Г. Лестоку. И действительно, влиятельный хирург соблазнил дочь шута. Какую же позицию занял в этом конфликте царь Петр Алексеевич? Он принял сторону отца поруганной дочери и жестоко наказал обидчика, сослав в 1718 году Лестока в Казань под крепкий караул и без права переписки (тот был возвращен из ссылки уже только в царствование Екатерины I). Историк С. М. Соловьев замечает по этому поводу, что Лакоста был главным шутом государя. А у Петра, между прочим, было не менее дюжины шутов.

Есть искус окунуться в ту далекую атмосферу неистового балагурства и скоморошества, где правил бал великий шутник своего времени – Петр I. Это он издал знаменитый указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье, соборно славить греческих богов» и воспевать здравицы и многая лета «еллинскому богу Бахусу и богине Венус». Это при нем был создан недоброй памяти Всепьянейший, Сумасброднейший, Всешутейший Собор, состоявший из людского отребья – чем дряннее человек, тем больше было у него шансов попасть в число «прихожан». При этом сам Петр занимал в этой шутовской иерархии скромную должность протодиакона, «исполняя обязанности свои с таким усердием, как будто это было совсем не в шутку». А знаменитые шутовские свадьбы, где невесте перевалило за шестьдесят, а жениху – за восемьдесят! А похоронные процессии карликов! А такое, к примеру, свидетельство очевидца: «Князя Волконского намазали смолой, поставили кверху ногами, забили ему в зад свечу, подожгли и стали водить хороводы с песнями. Дворянина Ивана Маслова надували мехом в задний проход, отчего тот и помер. К потехам царя все готовились, как к смерти». Шутовство Петра – тема отдельного обстоятельного разговора. Мы же сосредоточимся на одном забавном эпизоде того времени, а именно – на выборе потешного короля самоедов.

Здесь необходим исторический экскурс, иначе будет совершенно непонятно, кто же такие эти самоеды, как они жили в начале XVIII века и почему в голову царя пришла мысль поставить над ними главного.

Самоедами называли тогда кочевых ненцев. Русский географ XVIII века И. Г. Георги рассказывает, что живут они на Ямале и Мангазее, ведут кочевой образ жизни, а промыслы их состоят в звериной и рыбной ловле да в содержании оленей: «Семояди росту самаго небольшаго и редко бывают ниже четырех, а выше

пяти футов. Впрочем, они коренасты, ноги и шея у них короткий, голова большая, лицо и нос нарочито плоския, нижняя часть лица немало выдалась вперед, рот и уши большия, глаза маленькие черные, веки продолговатыя, губы тонкия, ноги маленькия, кожа смуглая; волосу кроме головы нигде нет… он у всех черной и жесткий. У мужчин виден на бороде один только пух. Женьщины их постатнее, ростом ниже, и черты лица их понежнее, но так же, как и мужчины, некрасивы».

Самоед и самоедка

Самоеды были язычниками и поклонялись идолам, питались сырым мясом и пили кровь с большей охотой, чем воду, отличались воинственностью. Зимнее одеяние, которое они носили на голое тело, было сшито из оленьих, лисьих и других кож, а летнее – из рыбьих «шкурок». Это были люди весьма своеобычной ментальности. Знаменитый шведский этнограф и путешественник Филипп Юхан фон Страленберг, побывавший у самоедов как раз в описываемое время, обратил внимание на то, что они пользовались даже особым способом подсчета: «Когда самоеды приносят свою дань, они связывают горностаев, белок и другие шкурки по девять штук. Но русские, которым это число девять не так нравится, при приемке развязывают эти связки и

делают новые, по десять штук в каждой». Дикари при этом не понимали, чем не устраивают их такие замечательно удобные для подсчета связки. Как водилось у аборигенов, самоеды имели своего вождя, которому беспрекословно подчинялись.

Но великому реформатору Петру не было никакого дела до их традиций и обычаев. Он отчаянно воевал с отжившей стариной и своих-то русских часто сравнивал с «детьми малыми», которых надлежало воспитать по его разумению. Что же говорить о каких-то там аборигенах! Самоедами должен править не невежественный дикарь-вождь, прислушивающийся к заунывным камланиям шамана, а именно «король» – политичный кавалер в европейском вкусе. Пусть даже экзотики ради он обрядится в самоедские шкуры!

Было это еще до приезда Лакосты в Россию, в 1709 году. Петр пожаловал тогда титул короля самоедов их «бледнолицему брату» по фамилии Вимени. Есть и другое свидетельство – этот авантюрист якобы сам объявил себя главным самоедом, а царь лишь подхватил и одобрил это. Так или иначе, Петр устроил Вимени шутовскую коронацию, для которой были специально вызваны двадцать четыре самоеда с множеством оленей, присягавшие новоявленному королю в верности.

Этот коронованный шут, сообщает мемуарист, принадлежал к «хорошему французскому роду, но в отечестве своем испытал много превратностей и долгое время содержался в заключении в Бастилии, что отразилось на нем периодическим умопомешательством». Приехав в Московию, он не разумел по-русски (не говоря уже о самоедском), и сохранилось письмо, в котором монарх приказывает: «Самоедского князя, который к вам из Воронежа прислан, вели учить по-руски говорить, также и грамоте по-славянски». С русским, однако, Вимени освоился довольно быстро и вскоре по приказу Петра перевел комедию Ж. Б. Мольера «Драгие смеянные» («Les Precieuses ridicules»). Впрочем, как замечает писатель Д. С. Мережковский в своем романе «Петр и Алексей», этот «перевод сделан… должно быть, с пьяных глаз, потому что ничего нельзя понять. Бедный Мольер! В чудовищных самоедских [писаниях] – грация пляшущего белого медведя». А впоследствии М. А. Булгаков в «Жизни господина де Мольера» назвал этот же перевод «корявыми строками».

Царь, однако, очень дорожил Вимени и, как свидетельствует Брауншвейгский резидент при русском дворе Ф. Х. Вебер, поселил самоедов из его свиты на Петровском острове близ Петербурга. Тут-то и произошла стычка между шутовским королем самоедов и их натуральным вождем. Рассказывают, что вождь «напал на людей, приехавших осматривать остров, изгрыз им уши и лица и

вообще ужасно зло и свирепо их принял», а когда его примерно наказали, вождь, словно подтверждая название своего народа, «вырвал зубами кусок собственного мяса из своей руки». Историк XVIII века В. Н. Татищев считал, что самоеды человеческое мясо «прежде ели и от того имянованы». В этой связи понятно, что, невзирая на любые литературные огрехи, Вимени был угоден Петру как человек европейской культуры и его назначение королем «дикарей» весьма симптоматично.

Кортеж самоедов с Вимени во главе принимал участие в триумфальном шествии 19 декабря 1709 года по случаю победы над шведами в Полтавской баталии. Датский посланник Юст Юль оставил детальное описание этой процессии. «В санях, на северных оленях и самоедом на запятках, – пишет датчанин, – ехал француз Вимени; за ним следовало 19 самоедских саней, запряженных парою лошадей, или тремя северными оленями. На каждых санях лежало по одному самоеду… Они были с ног до головы облечены в шкуры северных оленей мехом наружу; у каждого к поясу был прикреплен меховой куколь». И далее очевидец говорит об идейной подоплеке этого комического для европейского глаза действа: «Это низкорослый, коротконогий народ с большими головами и широкими лицами, – говорит он о самоедах и добавляет: – Нетрудно заключить, какое производил впечатление и какой хохот возбуждал этот поезд… Но, без сомнения, шведам было весьма больно, что в столь серьезную трагедию введена была такая смешная комедия». Вместе с тем шутовской король и его свита, по замыслу царя, символизировали сумасбродство настоящего шведского короля Карла XII, который пытался осуществить несбыточное – завоевать Россию, поделить ее на части и свергнуть Петра I с престола.

Вскоре после описываемого события француз-король самоедов ушел в мир иной. Очевидец описывает похороны, устроенные Вимени царем: «Много важных лиц, одетые поверх платья в черные плащи, провожали покойного, сидя на… самоедских санях, запряженных северными оленями с самоедом на запятках…»

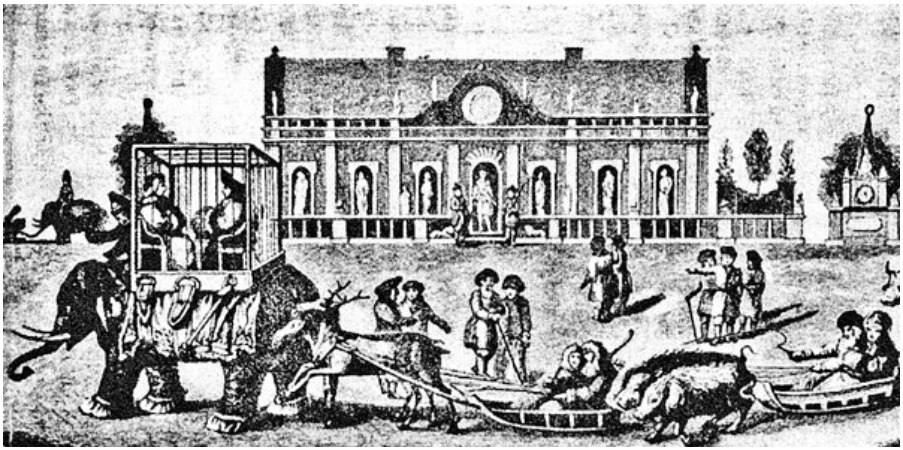
Свято место пусто не бывает! Вместо француза Вимени следовало найти нового властителя самоедов. Писатель А. Родионов в своем романе «Хивинский поход» вкладывает в уста Петра I следующую реплику: «Шут он [Лакоста. —*Л. Б.*] изрядный, скоро я повышу его в звании. Лакоста будет королем самоедов и станет управлять «шитыми рожами» при моем дворе, а именовать его надлежит титулярным графом и церемониймейстером увеселений».

Понятно, что Петра I вовсе не интересовала национальная

принадлежность начальника дикарей: Лакоста, как и его предшественник, был человеком политичным, образованным, и именно это определило выбор царя. По свидетельству современников, церемонию коронования шута царь отпраздновал в Москве с большим великолепием: на поклонение новоявленному «королю» явились двадцать четыре самоеда, приведшие с собой целое стадо оленей.

Трудно предположить, что шутовской король действительно правил самоедами. По-видимому, он играл чисто декоративную и представительскую роль и тем самым увеселял государя. Петр Дорофеевич, этот шут, изощренный в политесе, щеголял теперь своим самоедским одеянием. В таком виде он принимал участие в многочисленных маскарадах. За исправную шутовскую службу царь подарил Лакосте остров Соммерс, что в Финском заливе. Петр не расставался с ним и часто брал с собой в многочисленные поездки: в составленном А. Д. Меншиковым списке лиц, сопровождавших императора, значится и наш шут, и ему приказано приготовить трех лошадей.

И при императрице Анне Иоанновне Лакоста продолжал оставаться придворным шутом. В новых условиях он, однако, был вынужден мимикрировать. Дело в том, что в подборе шутов и шутих для двора императрицы обнаружилось смешение варварского, низменного и галантного, изысканного. Если при Петре I шутам поручалось высмеивать предрассудки, невежество, глупость (они подчас обнажали тайные пороки придворной камарильи), то при Анне шуты были просто бесправными забавниками, которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться политики. Теперь вся шутовская кувыр-коллегия подчеркивала царственный сан своей хозяйки – ведь забавники выискивались теперь все больше из титулованных фамилий (князь М. А. Голицын, князь Н. Ф. Волконский, граф А. П. Апраксин), а также из иностранцев (Педрилло).



Свадебный кортеж направляется в Ледяной дом. Гравюра. XVIII век

Остроты шутов отличались редким цинизмом и скабрезностью. Монархиня забавлялась, когда забавники, рассевшись на лукошках с куриными яйцами, начинали по очереди громко кукарекать. Ей были любы самые отчаянные выходки придворных дураков и дур – чехарда, идиотские гримасы, побоища. «Обыкновенно шуты сии, – писал мемуарист, – сначала представлялись ссорящимися, потому приступали к брани; наконец, желая лучше увеселить зрителей, порядочным образом дрались между собой. Государыня и весь двор, утешаясь сим зрелищем, умирали со смеху».

Чаша сия не миновала и Лакосту: писатель Валентин Пикуль в своем романе-хронике «Слово и дело» живописует нешуточную баталию шутов с участием Петра Дорофеевича. Впрочем, еврейский шут Петра I выделялся на фоне других забавников Анны Иоанновны: как отмечал ученый швед Карл Берк в своих «Путевых заметках о России», среди всех шутов монархини «только один Лакоста – человек умный». Петр Дорофеевич, надо думать, весьма потрафлял императрице – недаром был награжден специальным шутовским орденом св. Бенедетто, напоминавшим своим миниатюрным крестом на красной ленте орден св. Александра Невского. Орден сей «был покрыт красной эмалью с маленьким отшлифованными драгоценными камнями вокруг».

В. И. Якобы. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872

Иной историко-культурный смысл обрела и вся история с самоедским королем. В отличие от Петра I, при котором национальные костюмы служили мишенью пародии и сатиры, для Анны с ее любовью к фольклору они имели самостоятельную ценность. Ведь это под ее патронажем учеными Петербургской Академии наук был осуществлен целый ряд научно-этнографических экспедиций в отдаленнейшие уголки России. Очевиден и интерес императрицы к северным народам. Она не только подтвердила за Лакостой титул самоедского короля, но и указом от 22 июля 1731 года обязала архангельского губернатора, «чтоб человек десять самояди сыскать и с ними по одним саням с парою оленей, да особливо одни сани зделать против их обыкновения болши и к ним шесть оленей… И вести их, доволствуя, а не озлобляя, чтоб они охотнея ехали и за оленми смотрели». Известно, что в октябре 1731 года самоеды приехали в Москву.

А в 1735 году под водительством Лакосты состоялось карнавальное действо – «аудиенция самоядей» у императрицы.

Сообщается, что «шут Лакоста разыгрывал роль важной особы при представлении самоедских выборных и, выслушав их приветствие, в старинной одежде московского двора… сыпал серебро пригоршнями из мешка, с тем, чтобы для большей потехи государыни, смотревшей на шутовскую церемонию, самоеды, бросившись собирать деньги, потолкались и подрались между собою».

В. И. Якоби. Ледяной дом. 1878

Именем любимого шута монархиня распорядилась назвать фонтан в Летнем саду, строительство коего мастер Поль Сваль начал осенью 1733 года. Достоверно известно, что в 1736 году водомет уже действовал. До наших дней он – увы! – не дошел, однако петербургский археолог Виктор Коренцвиг полагает, что сей фонтан украшала фигура Лакосты в натуральную величину.

К празднованию свадьбы шута М. Голицына и шутихи А. Буженинoвой в знаменитом Ледяном доме зимой 1739–1740 годов императрица «повелела губернаторам всех провинций прислать в Петербург по несколько человек обоего пола. Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на иждивении ее Двора каждый в платье своей родины». Эти разодетые посланцы всех населявших Российскую империю племен ехали на санях, запряженных оленями, волами, свиньями, козлами, ослами, собаками и даже верблюдами; играли на народных «музыкалиях», а затем ели каждый свою национальную пишу и залихватски плясали свои туземные пляски. В числе участников процессии значатся и «копейщик один, во образе воина, в самоедском платье», «Лакаста во образе самоедского владельца», «самоеда, одного мужского, а другого женского вида».

Этнографическая пестрота костюмов призвана была продемонстрировать огромность могущественной империи и процветание всех ее разноплеменных жителей (и самоедов в том числе). Иными словами, она обретала ярко выраженный панегирический характер. Как возгласил в стихах на сей случай

пиит В. К. Тредиаковский: «Торжествуйте все российские народы, у нас идут златые годы!»

Россия представала здесь страной многоликой и экзотичной. И самоеды с Лакостой во главе, как и другие российские народы, в этом своем подлинном, но пересаженном в столичный антураж виде выглядели маскарадно-фантастично.

После свадьбы в Ледяном доме имя нашего шута нигде больше не встречается. Но известно, что Анна Леопольдовна, ставшая осенью 1740 года регентшей-правительницей России при младенце-императоре Иоанне Антоновиче, уволила всех придворных шутов, наградив их дорогими подарками. Она гневно осудила унижение их человеческого достоинства, «нечеловеческие поругания» и «учиненные мучительства» над ними. И необходимо воздать должное ей, уничтожившей в России само это презренное звание (в шутовской одежде шуты при дворе больше уже не появлялись). А что Лакоста? Он ушел в мир иной в том же 1740 году. Может статься, устав от светской мишуры и придворной кутерьмы, он скинул с себя одежду главного самоеда империи и доживал свои последние дни тихо и неприметно, предвосхитив горькую мудрость своего далекого потомка-соплеменника, писателя Лиона Фейхтвангера, сказавшего словами своего героя: «Зачем еврею попугай?»

Казус Липмана
Леви Липман

1550–1750-е годы в Европе называют периодом абсолютизма и меркантилизма. Именно в это время на историческую авансцену выходят придворные евреи, без коих не обходится ни один европейский венценосец. Они занимали высокие посты и рядились в пышное платье, словно опровергая слова из известной песни Александра Галича: «Ах, не шейте вы, евреи, ливреи!» Обладая аналитическим умом и предприимчивостью, «еврей в ливрее» обычно служил своему государю как финансовый агент, поставщик драгоценностей и ювелирных изделий, главный квартирмейстер армии; он начальствовал над монетным двором, создавал источники дохода, заключал договоры о займах, изобретал новые налоги и т. д.

Почему на сем поприще подвизались именно евреи? Дело в том, что в Средние века для иудеев наличествовал запрет на многие профессии, и они искусились в разрешенных им коммерции и бизнесе – делах, которые христиане традиционно считали презренными и заниматься коими не хотели, да и не умели. Потому, когда предпринимательская сметка и оборотистость оказались особо востребованными, евреи и заполнили образовавшуюся лакуну. И служили они королю, герцогу, курфюрсту верой и правдой, проявляя и завидную инициативу и исполнительность. При этом низкий правовой и социальный статус иудея (как представителя национального меньшинства, дискриминируемого по религиозному признаку) тоже пришелся к монаршему двору, ибо делал еврея фигурой более зависимой и управляемой, нежели христианина.

Самуэль Оппенгеймер

Карьера многих придворных евреев в Европе складывалась весьма успешно. Так, в Вене строительством оборонных укреплений руководил Самуэль Оппенгеймер (1630–1703), который утверждал, что каждый год «готовит для монарха две армии». Его коллега, богатейший еврей Германии Самсон Вертхеймер (1628–1724) (его даже называли «еврейским императором»), с честью служил трем правителям габсбургской династии, выполняя важные дипломатические поручения; в его дворцах висели портреты королей и герцогов, пользовавшихся его услугами. Придворный еврей курфюрста Саксонского Августа II Беренд Леман (1661–1730) в 1697 году сумел собрать 10 миллионов талеров, с помощью которых его патрон выиграл «выборы» и стал королем Речи Посполитой. Даже ревностный католик Карл V имел своего «еврея в ливрее» Иосефа из Росгейма (1476–1554), столь могущественного министра финансов, что император никак не мог обойтись без его услуг. При этом финансисты Вены, Гамбурга и Франкфурта были тесно связаны с банкирами и агентами Амстердама, Гааги, Лондона, Парижа, Венеции, Рима, Варшавы и т. д. И единая иудейская вера служила им своего рода порукой, гарантией надежности финансового партнера.

Но едва ли здесь следует видеть пресловутый «тайный еврейский заговор» в действии, исполнение якобы вековой мечты сынов Израиля верховодить целым светом. Если можно говорить о

чем-то заговорщицком и бунтарском, то лишь о подкопе под основы феодального миропорядка. Очень точно выразил эту мысль американский историк-популяризатор Макс Даймонт: «Придворный еврей был революционером, провозгласившим приход совершенно нового, капиталистического государства, уничтожавшим власть и привилегии знати. В придворных евреях знать предвидела свою погибель».

Но обратимся к России первой половины XVIII века. До капитализма, а тем более до погибели знати здесь было, прямо скажем, далековато. Кроме того, в отличие от более веротерпимого Запада, где в большинстве стран к тому времени существовали еврейские общины, страна сия, как сказал тогда один титулованный юдофоб, была «доселе единственным государством европейским, от страшной жидовской язвы избавленным». Не только жительствовать, но даже въезжать иудею в ее пределы строго-настрого возбранялось.

Однако, как посетовал когда-то историк-антисемит Александр Пятковский, «почти каждая ограничительная мера против евреев вела за собою и разные личные исключения». Есть таковые и в нашем случае, хотя их можно пересчитать по пальцам одной руки. Сохранившиеся сведения о таких евреях по преимуществу крайне скудны и отрывочны. Так, известно, к примеру, что некоему Абраму Роту Петр I дозволил открыть аптеку в Москве. А царскому фактору и торговому агенту уроженцу Вильно Израилю Гиршу в 1715 году за подписью «полудержавного властелина» Александра Меншикова был выдан патент на проживание в Риге – городе, традиционно закрытом для иудеев. Его сын, Зундель, обосновался с семьей в Петербурге и вместе с компаньоном Самсоном Соломоном стал поставщиком государева Монетного двора. Зундель занимался также доставками леса на судостроительные верфи и колесил по всей стране. Он и его сын Моисей Гирш оставались в Петербурге и после указа Екатерины I от 20 апреля 1727 года о высылке всех евреев из империи. В своем письме на высочайшее имя, подписанном «нижайший раб жид Зундель Гирш», он просил продлить их пребывание в России, что и разрешил император Петр II указом от 6 января 1728 года. Впрочем, все названные лица – фигуры третьестепенные, не сыгравшие в российской истории какой-либо роли.

Гораздо более интересен весьма приметный иудей Леви Липман. Два десятилетия он вращался в самых высших сферах государства Российского. Его жизнь и судьба весьма показательны, ибо за всю историю Дома Романовых он был единственным некрещеным евреем[2] при Императорском дворе.

То, что было типичным явлением для европейской придворной жизни, в российских условиях становится феноменом исключительным, казусом, выламывающимся из общепринятого порядка.

Фортуна широко улыбнулась Липману в мрачные годы царствования императрицы Анны Иоанновны, которые называют иногда временем засилья инородцев. При этом охотно цитируют Василия Ключевского: «Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении». С легкой руки писателей XIX века правление Анны получило название Бироновщина по имени фаворита императрицы. И хотя видные российские историки (Сергей Соловьев, Александр Каменский, Евгений Анисимов) показали всю неосновательность преувеличения роли Эрнста Иоганна Бирона, равно как и существования при дворе какой-то особой «немецкой партии», некоторые исследователи и сейчас продолжают муссировать тезис о происках злокозненных русофобов.

По логике некоторых из них, получается, однако, что ту эпоху следовало бы именовать не Бироновщина, а Липмановщина, поскольку фаворит императрицы был якобы полностью обезличен приближенным к нему придворным банкиром Леви Липманом. Александр Солженицын в книге «Двести лет вместе» утверждает, что Бирон якобы «передал ему все управление финансами» и «обращался за советами по вопросам русской государственной жизни». А иные мемуаристы и литераторы прямо говорят, что Бирон вообще не принимал ни одного решения, пока оно не было одобрено этим евреем, и делают однозначный вывод – это Липман правил Россией! Спорное, мягко говоря, заявление! Нам остается, следуя историческим фактам, показать истинную картину.

Известно, что Липман был придворным евреем герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха (1700–1739) – отпрыска шведских королей. Хотя еврейская община в Голштинии была не слишком многочисленна и не все города проявляли к иудеям одинаковую толерантность (в Киле и Любеке, к примеру, евреям жилось хуже, чем во Фридрихштадте, Глюкштадте и Ренсбурге), Карл Фридрих национальными и религиозными фобиями не страдал и услугами евреев-финансистов охотно пользовался.

Надо сказать, что император Петр Великий связывал с этим герцогом, претендентом на шведский престол, насущные геополитические интересы империи, прочил ему в жены свою дочь и летом 1721 года радушно принимал его в России. Герцог прибыл в Московию со своей свитой, в коей были и придворные

Моисеева закона, получившие специальное (!) разрешение въехать в страну как сопровождавшие такую высокую особу. Первое упоминание о Леви относится именно к этому времени. Голштинский камер-юнкер Фридрих-Вильгельм Берхгольц в своем «Дневнике» от 23 июня 1721 года сообщает о своей остановке на пути в Петербург в известном трактире «Красный Кабачок», что в 15 верстах от города. «Вскоре после меня, – продолжает он, – приехал туда же с почтою из Ревеля наш жид Липман и немедленно отправился дальше»[3]. Пребывание Карла Фридриха в России затянулось на долгие шесть лет: он сочетался браком со старшей дочерью императора Анной, стал членом Верховного тайного совета. И именно благодаря своему патрону Липман обрел полезные связи.

Судьбоносным стало для него знакомство с будущей императрицей Анной Иоанновной, в то время вдовствующей герцогиней Курляндской. Историк Мендель Бобе в книге «Евреи Латвии» (2006) утверждает, будто бы Липман при Анне «управлял всеми финансами герцогства». На наш взгляд, это маловероятно. Ведь известно: жизни Анны в Курляндии сопутствовало хроническое безденежье, о чем герцогиня постоянно жаловалась в письмах прижимистому «батюшке-дядюшке» Петру I и «тетушке-матушке» Екатерине I. Она всегда была в долгах, как в шелках. «Принуждена в долг больше входить, – писала она в Петербург, – а не имея чем платить, и кредиту не буду нигде иметь». Понятно, что заниматься финансовыми делами нищей Курляндии нашему еврею не имело никакого резона. А потому более логичной представляется нам версия историка Юлия Гессена: герцогиня тогда сильно нуждалась в деньгах, а Липман имел случай быть ей в этом полезным. Все денежные поручения Анны выполнял Эрнст Иоганн Бирон, ставший с 1722 года камер-юнкером ее двора. С ним-то и довелось вести дела Леви.

Эрнст Иоганн Бирон

По-видимому, Липман заслужил благосклонность русского двора: когда со смертью Екатерины I поддержка притязаний Карла Фридриха на шведский престол ослабела, тот утратил какое-либо влияние при дворе и был вынужден летом 1727 года вернуться в Голштинию. Леви же остался в Петербурге. Примечательно, что вскоре после отъезда герцога, а именно 26 июня 1727 года, согласно указу, подписанному временщиком Александром Меншиковым, «еврею Липману» выплачивается 6000 рублей «за сделанные три кавалерии (ордена) Святой Екатерины с бриллиантами». Баснословно дорогие перстни и «разные золотые и серебряные с бриллиантами вещи» доставлялись через Липмана юному императору Петру II и его августейшей сестре Наталье Алексеевне, за что в 1728 году ему было заплачено 32001 рубль. (Надо понимать, что рубль тогда ценился дорого и по современным масштабам это действительно астрономические суммы!) Леви признавали авторитетным знатоком ювелирных изделий: после кончины цесаревны Натальи Алексеевны именно ему было поручено оценить все оставшиеся ее драгоценности.

Но особенно преуспевал Леви в царствование Анны

Иоанновны. По-видимому, при всех ее недостатках, Анна помнила добро. Как заметил датчанин Педер фон Хавен, «как скоро императрица достигла престола, то в особенности наградила очень щедро некоторых купцов, которые именно решались давать деньги в заем». Одним из них был, несомненно, Леви Липман. И думается, не вполне правы те историки, которые полагают, что он – ставленник исключительно Бирона, а Анна Иоанновна будто бы не решилась перечить своему фавориту и лишь потому возвысила его протеже. В действительности императрица была снедаема самыми противоречивыми чувствами: ее врожденный антисемитизм утишила благодарность к Леви за его прежние услуги, а нетерпимость к басурманам разбилась о неукротимое стремление не отставать в роскоши от дворов политичной Европы. Итак, чаша весов склонилась в сторону «полезного» еврея Липмана. «Щедра до расточительности, любит пышность до чрезмерности, отчего ее Двор великолепием превосходит все прочие…» – говорили об императрице знатные иноземцы. И никто лучше Липмана не мог угодить самым прихотливым вкусам охочей до роскоши русской монархини. Уже в самом начале ее царствования, 30 июня 1730 года, «купцу Липману… за взятые у него к высочайшему Двору алмазные вещи» пожаловано 45000 рублей; в 1732 году приобретен бриллиантовый перстень ценой в 15000 рублей; в 1733 году последовал монарший указ об уплате еврею около 160000 рублей.

В 1734 году происходит важное в жизни Липмана событие – иудей становится поставщиком двора не только де-факто, но и де-юре, получив официальную придворную должность обер-гофкомиссара, а в 1736 году – камер-агента. Историк князь Петр Долгоруков отмечает, что должности эти «были созданы специально для Липмана». На самом же деле все как раз наоборот: это Липман был создан для должностей, в коих так нуждался новообразованный русский двор.

Императрица Анна Иоанновна

Надо помнить, что Анна Иоанновна научила русскую знать жить по-европейски. Утверждая придворный штат с множеством новых чинов по примеру немецких венценосцев, она не могла не видеть, что в Вене, Гамбурге, Франкфурте и даже у мелких курфюрстов везде в услужении находятся придворные евреи. А иные вознеслись так высоко, что отстроили себе великолепные хоромы, закатывали такие празднества, кои сами августейшие особы посещать не брезговали, держали дома открытые столы, ездили цугом с лакеями на запятках и т. д. И при этом имели должности гоф-фактора, гофкомиссара, обер-гофкомиссара, камер-агента, а кое-кто из них даже дворянский титул заполучил. Нет, в России, конечно, тому не бывать, ибо евреям тут не то что жировать, но и жить заказано, но – так и быть! – пусть будет при ее дворе один такой придворный жид, чтобы злые языки на

Западе не судачили: дескать, в этой варварской Московии все не как у людей. Тем более Липман был личностью в Европе небезызвестной: по его векселям платили и в Вене, и в Мадриде.

И вот, как и его европейские сотоварищи, Леви стал обер-гофкомиссаром, камер-агентом и выполнял сходную работу. Он занимался и ювелирным делом, и переводом денег русским дипломатам для чрезвычайных нужд, и финансированием российской армии за границей, и торговал вином и поташом, и даже ведал переговорами о найме на службу иноземной театральной труппы и специалистов-врачей и т. д. Двор отпускал ему суммы все более внушительные – десятки, да что там – сотни тысяч! Достаточно сказать, что в одном только 1734 году он получил более 95000 рублей!

Мы вправе назвать Липмана «евреем в ливрее». Интересно отметить, что в государствах более религиозно толерантных придворные евреи предпочитали иногда носить свою национальную одежду и не подчинялись в этом диктату Двора. Так, Беренд Леман отказался исполнить просьбу Августа II сбрить бороду и надеть парадный камзол, хотя тот предлагал ему за это 5000 талеров. А богатейший германский банкир Самсон Вертхеймер тоже был при бороде, с пейсами, в неизменном платье «на польский манер», который носили тамошние евреи. О том, какое впечатление производил на русских такой наряд, свидетельствует Андрей Болотов в своих «Записках»: «Странное их черное и по борту испещренное одеяние, смешные их скуфейки, и весь образ их имели в себе столь много странного и необыкновенного, что мы не могли довольно на них насмотреться». Щеголять в таком виде перед русской самодержицей было бы неслыханной дерзостью, совершенно недопустимой. И Липман, понятно, должен был примениться к условиям русской придворной жизни.

Не меньше удивлял иудеев того времени облаченный в богатое платье собрат, о чем рассказывает Леонтий Раковский в историческом романе «Изумленный капитан» (1936). Писатель, изучив реалии придворной жизни XVIII века, живописует одежду Липмана и воссоздает характерный диалог простых корчмарей, ею впечатленных:

«– Так он еврей?

– Да, но какой еврей! Как он одет!

Лейзер, зажмурив глаза, покачал от восхищения головой.

– Я видел, как лет пятнадцать тому назад в Могилеве был царь Петр, когда евреи принесли царю живого осетра на полтора пуда. Так Липман одет не хуже царских министров.

– Что, у него такой красивый жупан?

Лейзер усмехнулся.

– Жупан. Ха! У него не жупан, а кафтан с золотыми пуговицами. Если б мне одни пуговицы с его кафтана, я бы, ей-богу, каждую субботу надевал бы чистую рубаху!

– Как пуговицы? – удивилась Сося-Бася. – Ты же говоришь, что он еврей?

– Да, Липман – еврей, но он не носит этих застежек, как мы, а пуговицы. И его щеки гладки, как моя ладонь! – добавил без восторга Лейзер.

Сося-Бася разочарованно плюнула:

– Паскудство он, а не еврей, если так!»

Впрочем, согласно книге Раковского, дома Леви ходил в ермолке, соблюдал субботу и кашрут, и фаршированная щука была для него лакомством.

Для своей успешной деятельности Липман заручился и покровительством Бирона. Леви был его постоянным кредитором и вел с ним на паях крупные коммерческие дела, а когда тот стал герцогом, стал управлять финансами вверенной Бирону Курляндии.

Очень точно сказал о Бироне А. С. Пушкин в письме к Ивану Лажечникову от 3 ноября 1835 года: «Он имел несчастие быть немцем: на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты». В свою очередь, Липман имел несчастие родиться евреем, чем и вызвал озлобление почвенников, хотя тоже обладал и умом, и талантом. При этом временщика Бирона неизменно рисовали в самых черных красках. Но еще больше досталось гофкомиссару: трудно отыскать в исторической романистике фигуру более отталкивающую.

Достаточно обратиться к внешности Липмана, какой ее живописует Иван Лажечников в романе «Ледяной дом» (1835), чтобы читатель мог проникнуться омерзением к этому персонажу: «Вытянутая из плеч голова Липмана, с ее полудиском рыжих волос, разбежавшихся золотыми лучами из-под черного соболя шапки, с раскрытою пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву… Глаза его вцепились, как когти дьявола в душу». У него «бледное вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя фосфорический блеск», «двигающиеся взад и вперед орангутановы уши», и он так улыбается «огромными своими губами, что в аде сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архидьявольской улыбке». Нам, однако, почему-то не хочется рукоплескать словеснику, давшему волю своему воспаленному воображению: ведь портрета гофкомиссара не сохранилось, потому живописать его с натуры автор никак не

мог и оказался в плену навязших в зубах юдофобских клише (о трафаретных изображениях евреев в русской словесности XIX века существует обширная литература; среди наиболее ярких работ – исследования Савелия Дудакова, Габриэлы Сафран, Михаила Вайскопфа).

«Интриганом и канальей прекомплектной», «христопродавцем» величает Липмана герой повести Василия Авенариуса «Бироновщина», который «при имени придворного банкира Липмана, бывшего в то же время шпионом, наушником и ближайшим советчиком Бирона, сердито поморщился». «Графский жид», продувная бестия, кровосос, пекущийся только о собственной выгоде и окруживший себя такими же отвратительными «жуликами без роду и племени, алкавшими сребра и злата от России», – таким предстает Леви в романе-хронике Валентина Пикуля «Слово и дело» (1971). При этом Бирон, хотя и восторгается финансовым гением еврея, памятует о свойственном тому корыстолюбии. «Подлый фактор, – говорит он Липману – наверняка знаю, что тебе известны еще статьи доходов, до которых я не добрался! Ну-ка, подскажи…»

Однако эти голословные обвинения и оскорбления в адрес нашего героя в прах рассыпаются при обращении к историческому материалу. Примечательно, что отличавшийся юдофобией испанский посол герцог Иаков Франциска Лириа-и-Херика (он считал иудеев «народом грязным и свинским») в сердцах назвал Липмана «честным евреем», а такая похвала дорогого стоит! Известно также, что Леви всегда был готов протянуть страждущему руку помощи. В критический момент он поддержал, причем совершенно бескорыстно, начинающего ювелира, швейцарца Еремея Позье (1716–1779), когда тот задолжал немалую сумму и потому вздумал бежать за границу. Липман не только ободрил его и убедил остаться в России, но погасил его долг и предоставил выгодные заказы. По словам Позье, Леви будто бы сказал ему, что в России тот может «честно заработать весьма приличные деньги». Благодаря Липману молодой ювелир стал лично известен Анне Иоанновне, и дела у него пошли. По словам писателя Евгения Карновича, «знатные господа и в особенности знатные госпожи приглашали к себе Позье на дом с его изделиями и быстро раскупали их; нередко также именитые покупщики и покупщицы удостаивали своими посещениями его скромное жилище».

Показательно, что Леви Липмана называют «честным», и сам он говорит о «честном» труде. Как ни пытались марксистские идеологи втолковать, что коммерция суть «торгашество» и сродни жульничеству, сегодня словосочетание «честный бизнес» является

общепринятым и вовсе не воспринимается как оксюморон. Было и такое понятие, как корпоративный кодекс чести, «честное купеческое слово» (как потом скажет русский драматург Александр Островский). И Липман, надо сказать, слово свое держал крепко, в делах был надежен, и – это знали все! – на него всегда можно было положиться. Он знал счет деньгам и работу свою выполнял безукоризненно и точно в срок.

Между прочим, в случае с Позье проявилось еще одно свойство Леви – проницательность, дар распознавать людей. Ведь он поверил в молодого швейцарца, угадал в нем будущего любимого ювелира русских императриц, «Фаберже XVIII века», как того потом аттестовали.

Спешил он делать добро и попавшим в беду единоверцам. В 1734 году у шкловского еврея Кушнеля Гиршова некий поручик Бекельман и солдат Иванчин украли малолетнего сына, Берка. И вот последовал именной указ от 19 ноября – вернуть сына отцу и наказать похитителей. Вдумаемся в сам факт: в России действует закон о недопущении иудеев в империю, а императрица вдруг озаботилась судьбой какого-то там еврея (да где? – в медвежьем углу, захолустном белорусском местечке) и приняла в нем участие. И это заслуга исключительно Липмана: именно ему была отослана копия этого указа. Можно только догадываться, сколько дипломатии, такта, да и смелости, употребил Леви, чтобы побудить юдофобствующую самодержицу помочь его злополучным соплеменникам!

Он, как и его европейские сотоварищи, ходатайствовал перед троном за своих единоверцев, и ему удавалось что-то сделать. По словам современника, он получил разрешение от императрицы «держать при себе евреев, сколько ему угодно, хотя вообще им возбранено жить в Петербурге и Москве». А историк Лев Тихомиров утверждает, что благодаря Липману в столицах прочно укрепилась целая еврейская колония. Факты свидетельствуют, что фигура Леви стала своеобразным центром жизни иудеев, как это было принято и в Европе, где вокруг придворных евреев группировалась обычно религиозная община. Липман поддерживал тесные отношения, и не только коммерческие, но и приятельские, с откупщиком Борухом Лейбовым (1663–1738). Тот жил в Москве, в Немецкой слободе, в доме «у золотаря Ивана Орлета». При этом Лейбов и его зять Шмерль, также житель слободы, выполняли обязанности резников при Липмане и его слугах, как и Авраам Давыдов, который был на это «благословлен от синагоги в польском местечке Копуст». Давид Исаков и Авраам Самойлов состояли там приказчиками, а некий Файвес – писарем Липмана, и все они проживали «у

иноземши Болденши». Эти иудеи часто наезжали в Польшу, в местечко Дубровна со значительным еврейским населением, где обосновался с семьей сын Лейбова Меер. Здесь, вдали от досужих глаз, была проведена брит-мила (обрезание) новорожденному внуку Лейбова Иуде, а также злополучному капитан-поручику Александру Возницыну впоследствии сожженному за это на костре. Моэлем выступал Файвес, который, как говорится в следственных материалах дела о Возницыне, был «от рабинов благословен на обрезание рождающихся от жидов младенцев».

Однако едва ли Липман оказал какое-либо влияние на общее положение иудеев в России, как полагает Александр Солженицын. Руку Липмана он видит в том, что указы Анны о запрете евреям арендовать земли в Малороссии (1739) и о высылке оттуда за рубеж шестисот иудеев (1740) на практике остались невыполнены. Но очевидно, что гофкомиссар тут вовсе ни при чем, а виной всему как головотяпство местных властей, так и заинтересованность малороссийских помещиков в еврейских арендаторах. О том, что Леви веса и влияния тут не имел, свидетельствуют и действия Бирона в Курляндии, где он был «своя рука – владыка». Иудеи селились там давно и традиционно занимались ремеслами, мелкой торговлей и арендой. И показательно, что 3 июля 1738 года, а затем 4 июля 1739 года последовали постановления о том, чтобы все они, без исключения, уплатив налоги, покинули герцогство ко дню Св. Иоанна, то есть к 8 марта 1740 года. А помещикам, укрывающим иудеев у себя, пригрозили немалым денежным штрафом! И это в то время, когда Липман был фактическим министром финансов Курляндии! После этого как-то слабо верится в то, что Бирон «следовал только тем советам, которые одобрит жид Липман».

Если бы Леви был всемогущ, неужели он вообще бы допустил дискриминационные антиеврейские законы? И уж, конечно, отнюдь не с его благословения 15 июля 1738 года при большом стечении народа были бы сожжены на костре Борух Лейбов и якобы «совращенный» им в «жидовство» Возницын. Кстати, именно в деле Лейбова и Возницына Липман проявил себя как самоотверженный друг. Семидесятипятилетний Лейбов, облыжно обвиненный в прозелитизме иудаизма, был обречен на мученическую смерть. Его должны были допрашивать с пристрастием и поднять на дыбу в зловещей Тайной канцелярии. Леви, конечно, не мог предотвратить казнь, но сделал все возможное и невозможное, чтобы облегчить участь товарища. И он не убоялся вызвать огонь на себя и обратиться к разъяренной на сего «жида-совратителя» Анне Иоанновне с просьбой не

подвергать старика пыткам. И своего добился!

Некоторые историки утверждают, что Липман и Бирон были связаны самым теснейшим образом. Но близость их, на наш взгляд, не столь бесспорна. Ведь иудей был отнюдь не единственным кредитором герцога: Бирон испытывал постоянную нужду в деньгах и занимал их у кого угодно (даже у своего камердинера). И богатеи, к евреям никакого отношения не имевшие, ссужали временщика куда большими суммами, чем наш гофкомиссар.

Регентша Анна Леопольдовна

Едва ли Липман, как утверждается, и сам был наушником герцога, и дворец опутал сетью своих шпионов. Говорят, он предупредил своего патрона о готовившемся против него заговоре и перевороте. Драматург Николай Борисов в своей исторической комедии «Бирон» (1899) рисует подобную сцену, где временщик отвечает на такое предостережение с ужасающим немецким акцентом: «Полни вздор болтай… Ах, Липман! У каво поднельси штоб рука на мой особ?» Однако подобная беспечность как-то не вяжется с присущей герцогу подозрительностью, а потому весьма

сомнительна. Современники-мемуаристы свидетельствуют: когда ночью 9 ноября 1740 года 80 гвардейцев ворвались в опочивальню Бирона с целью его ареста, ошарашенный герцог истошно закричал: «Караул!» Ясно, что низложение регента явилось для того полной неожиданностью.

И вот еще что примечательно: после опалы Бирона его якобы ближайшего клеврета Липмана почему-то никто не тронул. Между тем регентша Анна Леопольдовна расправилась со всем окружением герцога. Когда в иностранных газетах появились вести об отставке финансиста, столичные «Санкт-Петербургские ведомости» от 13 января 1741 года их опровергли. «Обер-комиссар, господин Липман, – писала газета, – коммерцию свою по-прежнему продолжает и при всех публичных случаях у здешнего Императорского Двора бывает». Правда, некоторые историки говорят, что Леви якобы потому сохранил свое положение при регентше, что сообщил ей, где находятся капиталы низложенного Бирона. Но это явный абсурд, ибо известно, что сам Липман так и не смог получить от Бирона крупную сумму, которую тот ему задолжал. Причина «непотопляемости» Леви в другом – лакомые до роскоши венценосцы остро нуждались в его услугах. Достаточно сказать, что за год своего правления Брауншвейгская фамилия приобрела через посредничество еврея бриллиантов и ювелирных изделий на сумму около 160000 рублей.

Однако все в жизни Липмана переменилось и прахом пошло, когда на престол взошла дщерь Петрова Елизавета. И это при том, что фанатичная страсть к драгоценностям и модам сей императрицы вошла в пословицу. Как писал современник князь Михаил Щербатов, при ней «подражание роскошнейшим народам возрастало и человек становился почтителен по мере великолепности его жилья и уборов». Казалось бы, расторопный и исполнительный обер-гофкомиссар, угождавший самым изысканным монаршим вкусам, мог ей очень пригодиться. Но исследователи говорят о ее мистическом страхе перед иудеями. Хотя антисемитизм Елизаветы носил преимущественно религиозный характер (став императрицей, она возвысила несколько выкрестов, в том числе дважды перекрещенца, сержанта гвардии Петра Грюнштейна), здесь была и зоологическая подкладка. «Жидов множество: и видела их, собак!» – писала ей из Нежина в 1738 году ближайшая подруга Мавра Шувалова. И, по-видимому, эта «веселая царица», помешанная на модах и щегольстве, ненавидела этих «собак» больше, чем любила роскошь и пышность.

О том, сколь одиозной фигурой был Липман в глазах

окружения Елизаветы еще в ее бытность цесаревной, можно заключить из записок близкого к ней маркиза Жака-Иоахима де ла Шетарди. Этот французский аристократ, лоббировавший интересы Елизаветы при русском дворе (за что потом был награжден ею орденом Св. Андрея Первозванного), повторяет миф о всемогуществе «придворного жида», говорит о его хитрости и способности «распутывать и заводить всевозможные интриги» и делает вывод: «можно сказать, что Липман правит империею!»

После низложения Брауншвейгского семейства Леви предъявил счет на все забранное и заказанное у него бывшей правительницей, ее мужем и фрейлиной Юлианой Менгден.

Новая императрица распорядилась допросить, подлинно ли они задолжали еврею. И хотя все подтвердили точность и правильность расчетов Липмана (один только Антон-Ульрих недодал ему 14000 рублей), нет данных, получил ли банкир должную сумму. Известно другое: Елизавета, бросившая знаменитую фразу «от врагов Иисуса Христа не желаю интересной прибыли», не собиралась терпеть «христопродавца», да еще у кормила власти, и тут же прогнала его со двора. Она незамедлительно упразднила даже сами придворные должности обер-гофкомиссара и камер-агента, напоминавшие о ненавистном инородце. (Забавно, что она осыпала милостями и приблизила к себе «бриллиантщика» Еремея Позье, который сделался одним из влиятельных лиц в ее кругу. Знала бы она, чем был обязан этот ее любимец «кровососу» Липману!)

Теперь Леви стали скромно аттестовать «конторским служителем». И «интересную прибыль» ему пришлось поубавить. Сохранилась «Роспись живописным картинам и другим куриозным вещам», которые Липман приобрел для Кунсткамеры и оценил в 252 рубля. Библиотекарь Императорской Академии наук Иоганн-Даниель Шумахер 15 апреля 1742 года распорядился: мастеру живописных дел Иоганну-Элиасу Гриммелю дать свою оценку этим вещам и подать о сем надлежащий рапорт. Поражает здесь не только ничтожность суммы, о коей радеет в недавнем прошлом финансовый воротила, но и недоверие к нему начальства как к знатоку драгоценностей и предметов искусства (а ведь раньше Леви оценивал при дворе царские украшения, и его мнение никто не оспаривал!)

Знаменательно, что императрица отставила и финансового партнера Липмана, агента Симона, представлявшего российские торговые интересы в Вене, хотя тот даже «не желал ни малейшего жалованья». Причина проста – сия монархиня «не соизволила иметь на своей службе ни одного жида».

2 декабря 1742 года Елизавета всемилостивейше повелела

«под угрозой Высочайшего гнева и тягчайшего истязания за неисполнение… из всей Нашей Империи, как из Великороссийских, так из Малороссийских городов, сел и деревень, всех мужеска и женска пола Жидов, какого бы кто звания или достоинства ни был… немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не впускать».

Последний раз наш герой упоминается в декабре 1742 года, но уже после того, как «указ печатный состоялся о высылке жидов из государства». Согласно «дневнику» полковника, выкреста Якова Марковича, еврей принимал его с несколькими друзьями в своем московском доме и угощал обедом. После этого следы Леви Липмана теряются…

Однако в истории российской он не затерялся. Антисемитская охота на ведьм в XIX веке сделала из Леви вредителя, низкого мздоимца и русофоба, и на него повесили многие грехи и беззакония эпохи Анны Иоанновны. Писатели и историки-почвенники тщились вылепить из Липмана фигуру всесильного серого кардинала при дворе, но – и это важно! – они не допускали даже мысли о том, что Россией мог править некрещеный еврей. Вот такой казус! Характерно, что в упомянутом уже романе «Ледяной дом» Лажечников говорит о Липмане: «Родом жид, он остался жидом, хотя по наружности обновил себя святым духом!» и называет его «перекрещенцем». Русский писатель тут ошибается, ибо наш герой, как и его европейские сотоварищи, не осенял себя крестным знамением, но был тверд в иудейской вере.

Придворные евреи Запада способствовали выходу своих соплеменников из средневековых гетто, их эмансипации и ассимиляции. В России, где еврейского населения тогда практически не было, Липман довольствовался тем, что «остался жидом» и делал для горстки своих единоверцев все, что мог. Его судьба интересна тем, что еврей благодаря уму и таланту, вопреки адским препонам, достиг высокого положения при дворе и при этом остался верным своему народу.

Невольно вспоминается реплика, брошенная героем «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» еврею-кредитору: «Проклятый жид! Почтенный Соломон!» Слова эти обладают высокой исторической точностью: когда в евреях нуждались, их привечали и называли «почтенными». Так и было в жизни Липмана, пока оголтелые юдофобы не объявили его «проклятым». Однако то повышенное внимание, которое уделяли современники и историки этому придворному еврею, то исключительное значение, которое они ему придавали, говорят

лишь об одном – Леви Липман был яркой, крупной и запоминающейся фигурой. Он был известен и в Европе, и не исключено, что в зарубежных, а может статься, и в российских архивах обнаружатся новые материалы об этом незаурядном деятеле, вызывающем и сегодня наш живой интерес.

Лейб-медик императрицы Антонио Нуньес Рибейро Санчес

Стоящий за конторкой человек лет тридцати пяти быстро водит пером. Сама его наружность сразу же приковывает к себе внимание и властно врезается в память: умное волевое лицо, лысый череп, худая шея аскета, выдающиеся скулы, сильно выраженные надбровные дуги, глубоко посаженные миндалевидные глаза. Человек этот – потомок португальских маранов, доктор Антонио Нуньес Рибейро Санчес, он же Санхец, Саншес, Санше (1699–1783), определившийся на русскую службу четыре года назад. А пишет он трактат о преследованиях в Португалии и Испании так называемых «новых христиан» (маранов), то есть евреев, насильно обращенных в католичество.

Здесь, в холодной Московии, доктор сделал завидную карьеру: поговаривают даже, что совсем скоро его назначат лейб-медиком императрицы Анны Иоанновны. Но хотя русская Фортуна и благоволит к Санчесу, инстинктивное чувство подсказывает еврею: все до поры до времени, монаршая милость может в одночасье смениться гонениями и опалой. Потому и в пору благополучия он не перестает думать о злоключениях своих соплеменников, и эта глубоко выстраданная, личная для него проблема никогда не теряет своей болезненной остроты. Вот он остановился, отложил перо и отдался воспоминаниям…

Антонио Нунъес Рибейро Санчес

Вспомнилось ему, быть может, как он бежал из Португалии, которую так любил и которая отторгла его как чужака. То была страна, где бесчинствовала инквизиция: не сыном, а недостойным пасынком был для власть имущих отпрыск маранов, повинный лишь в том, что ему случилось родиться евреем. В 1497 году евреи Португалии были поставлены перед выбором: крещение или выселение из страны. Многие уехали, а те, кто остались и назывались «новыми христианами», вызывали (и небезосновательно) подозрение в тайном исполнении иудейских обрядов. Положение особенно усугубилось с 1536 года, когда неистовые ревнители веры Христовой стали открыто вести против маранов яростную кампанию, жестокость которой постоянно нарастала. Несчастных преследовали в городах и деревнях, в лесах и горах, и, казалось, земля горит под их ногами. Запылали

и костры – печально знаменитые аутодафе, в которых погибли тысячи «новых христиан». И многие умирали с иудейской молитвой на устах.

Дамоклов меч инквизиции был занесен и над Санчесами, которые, даже достигнув богатства и широкой образованности, привыкли жить в постоянном ожидании расправы, хотя в XVIII веке неистовства католиков несколько утишились. Антонио с детства внушали: он, как изгой в этом ощетинившемся мире, должен быть лучше, образованнее, талантливее других. И эта извечная еврейская жажда знаний, стремление к внутреннему совершенству овладели им сызмальства.

Он не пошел по стопам отца – видного коммерсанта, зато последовал примеру дяди, Диего Нуньеса, – известного лиссабонского эскулапа, который и привил отроку интерес к медицине. Семнадцати лет Санчес отправляется в город Коимбра, где учится в Иезуитском университете изящных искусств. Затем, с 1721 года, углубленно изучает медицину в университете в Саламанке. В 1724 году он получает, наконец, диплом доктора и начинает свою врачебную практику в городе Бонавенти. Там он пишет свой первый ученый труд о свойствах целебных вод.

В 1726 году Атонио бежит из страны в туманный Альбион. Некоторые историки утверждают, что побег этот был связан с опасным положением евреев в Португалии, и напоминают о событии, прямо повлиявшем на это решение Санчеса: как раз в 1726 году инквизиция обвинила в тайном иудействе его кузена Мануэля Нуньеса, и семья Санчесов подверглась новым преследованиям. Но очевидно и то, что причиной побега юноши могла быть неукротимая страсть к знаниям, которые он мог обрести только за границей – в странах с передовой медицинской наукой.

В Англии Антонио провел два года, усиленно штудируя столь необходимые лекарю естественные дисциплины: физику, натуральную историю, химию, фармакологию, анатомию. Есть предположение, что здесь он свел знакомство с местными евреями (называют, в частности, имя его коллеги-еврея доктора Якоба Де Кастро Сараменто), был тайно обращен в иудаизм и даже сделал обрезание. Впрочем, он никак не афишировал свое иудейство, на которое тогда косо смотрели даже в «просвещенных» странах: карьера была прежде всего! Далее путь нашего героя лежал во Францию, где в университетах и больницах Парижа, Марселя, Монпелье и Бордо он жадно постигал науку врачевания.

Одно событие кардинально изменило жизнь и научное мышление Санчеса: в 1727 году он познакомился с сочинениями

великого нидерландского врача, ботаника и химика Германа Бургаве (1668–1738). Последнего называют основателем так называемой лейденской медицинской школы. Он первым применил к медицине идеи эпохи Возрождения и вывел ее из области схоластического средневекового мудрствования, пытаясь связать основы анатомии и физиологии с практическим опытом. Им была устроена в Лейдене первая в то время клиника научного исследования болезней, сделавшаяся средоточием медицинской мысли эпохи. Туда-то незамедлительно и устремился Антонио, и через три года был назван одним из лучших учеников знаменитого голландца. Потому, когда в 1730 году русское правительство обратилась к Бургаве с просьбой рекомендовать ему ученого-медика для важной врачебной должности в России, он указал на Санчеса как на достойнейшего кандидата.

Герман Бургаве

В Северную Пальмиру наш герой прибыл в 1731 году и служил на благо России свыше шестнадцати лет. Обучал медицинским премудростям русских фельдшеров, повитух и фармацевтов в Москве. Затем определился в военное ведомство и

«не малое время находился при войсках, с которыми неоднократно бывал в походах». Позже перебрался в Петербург, где получил назначение на должность главного медика при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе (это привилегированное учебное заведение для дворян называли Рыцарской академией). Одновременно он состоял домашним врачом кабинет-министра А. П. Волынского. Талант и мастерство доктора Санчеса обратили на себя внимание самой императрицы, которая призвала его ко двору и сделала своим лейб-медиком. Известно, что он часто пользовал Анну Иоанновну особенно при обострении мочекаменной болезни.

Официально числясь католиком, он, казалось, должен был быть спокоен за свою судьбу во время гонений на еврейство в России. А потому его не коснулся введенный еще Екатериной I в 1727 году указ, запрещающий евреям жить на всей территории Российской империи. Но он, тайный иудей, не мог не содрогнуться, когда в 1738 году грянул процесс над евреем Борухом Лейбовым и обращенным им в иудаизм капитаном Александром Возницыным. Лейбову вменялось в вину и то, что он построил синагогу в местечке Зверовичи (Белоруссия), которую впоследствии власти, конечно же, сожгли вкупе с молельными книгами. Следствие вел начальник вездесущей канцелярии Тайных розыскных дел А. И. Ушаков – человек со зловещим лицом, чем-то смахивавший на великого инквизитора. И приговор вынесли поистине инквизиторский: Лейбова и Возницына «казнить смертию и сжечь!» Аутодафе над отступниками произошло в Петербурге, на углу Невского и Большой Морской, при большом стечении народа. Хотя Санчеса прямо не коснулась чаша сия, событие это отозвалось болью в его сердце, как и в сердцах всех этнических евреев империи. В их числе был и его друг, шут императрицы Ян Лакоста, тоже потомок португальских маранов.

Хотя и говорят «жид крещеный – жид прощеный», Санчесу время от времени напоминали о его еврейском происхождении. Писатель и стихотворец XVIII века А. П. Сумароков в одном частном письме говорит о некоем иностранце, как он пишет, «жидовской породы». Эта-то «порода» и вызывала у придворных неприятие и высокомерную брезгливость. Известный своим антисемитизмом исторический романист В. С. Пикуль в книге «Слово и дело», на наш взгляд, весьма достоверно показывает юдофобию русской императрицы. Санчеса она называет не иначе как «христопродавцем». «Ну, жид! – сказала ему Анна Иоанновна, до подбородка одеяла на себя натягивая. – Смотри мое величество… Но одеяла снять не давала: – Ты так меня… сквозь

одеяло смотри… Твое счастье, что я больна лежу. А то бы показала тебе… Пиши рецепт, гугнявец такой!.. Чтобы я, самодержица всероссийская, тебе ж… свою показывала? Да лучше я умру пусть, но не унижусь!» Униженным, однако, предстает здесь лейб-медик. И едва ли случайно, что в декабре 1740 года он, сказавшись больным, не присутствовал на торжественных похоронах этой самодержицы.

Кратковременное правление прямодушной и милосердной регентши Анны Леопольдовны при младенце-императоре Иоанне Антоновиче было звездным часом карьеры Санчеса. В ноябре 1740 года его назначают императорским гофмедиком с жалованьем в три тысячи рублей. Правительница настолько уверовала в чудесного доктора, что доверила ему свое августейшее чадо и посылала к нему на просмотр и утверждение все рецепты, выписанные другими врачами.

Историки говорят об искренней приверженности доктора Брауншвейгскому семейству, что, с их точки зрения, и явилось причиной его последующей опалы. Едва ли! Ведь вступившая на престол Елизавета Петровна Санчеса не преследовала. Она сохранила за ним пост царского лейб-медика и часто пользовалась его услугами. И это при том, что была ярой противницей евреев.

По-видимому, в то время императрица не подозревала португальского врача-католика в иудействе (как благоволила она и к возведшему ее на престол сержанту лейб-гвардии, еврею-перекрещенцу Грюнштейну, которому даровала сотни христианских душ). Тем более что доктор был весьма полезен: в 1744 году он излечил опасно больную плевритом невесту великого князя Петра Федоровича, будущую императрицу Екатерину П.

Когда Санчес из-за болезни глаз подал в отставку, его проводили из России во Францию с большими почестями. Вот копия выданного ему аттестата (абшида) за высочайшей подписью: «Оказатель сего, Медицины Доктор Антонио Рибейро Санхес, выписан и принят был в службу Нашу с капитуляцией в 1731 году, с которого в оную Нашу службу, в исправлении по искусству его медицинского дела, будучи в разных местах, доныне препроводил, как искусному доктору и честному человеку надлежит, добро похвально; так что за оказанные в том его труды и искусство Всемилостливейши от Нас пожалован и обретался при Императорской Нашей Особе вторым лейб-медиком с рангом Действительного Статского Советника, а понеже он, доктор, за болезнями, которыми он одержан, просил из службы увольнения, того ради указали Мы дать ему сей абшид за собственноручным

подписанием. Елисавет. С. Петербург, Сентября 4-го 1747 года». Петербургская Академия наук поспешила избрать Санчеса «почетным членом физического класса, с определением Ея Императорского Величества жалованья 200 руб. в год» с тем, чтобы он из-за кордона «для здешней Академии разные пьесы и диссертации присылал».

Перед отъездом Санчеса Академия приобрела у него значительную часть его книжного собрания: более 700 томов – они и поныне хранятся в фондах Библиотеки Российской Академии Наук (Петербург). Состав коллекции свидетельствует о широте интересов доктора. Достаточно сказать, что здесь содержатся издания на латинском, французском, английском, итальянском, испанском и португальском языках. Преобладает литература по медицине: практические пособия, атласы, справочники, исследования в области анатомии, физиологии, хирургии, акушерства, фармакологии, гигиены и т. д. Доктор имел в своем распоряжении труды античных и средневековых врачей (Гиппократа, К. Галена, А. К. Цельса, Авиценны, А. Везалия, А. Паре, Р. Граафа), а также современных ему эскулапов: Г. Бургаве, Ж. Астрюка, А. Галлера, И. Юнкера и др. Но тематика книг одними естественными науками не ограничивается. Имеются фолианты по теологии, древней и новой истории, эстетике, юриспруденции, математике, искусствам, риторике, поэзии, филологии, библиографии, торговле и т. д. Среди сочинений по истории трактаты Ж. Бодена и Н. Маккиавели, П. Сарпи и Фридриха II. Обращает на себя внимание содержащееся здесь жизнеописание Лючилио Ванини, итальянского вольнодумца, сожженного на костре инквизиции. Большинство экземпляров снабжено владельческими надписями, разного рода маргиналиями и памятными записями. Детальное изучение коллекции Санчеса еще ждет своего исследователя, оно могло бы приоткрыть творческую лабораторию этого энциклопедически образованного ученого.

Слава об императорском лейб-медике облетела всю Европу. Парижская Академия наук избрала его своим действительным членом. Санчес и отправился во Францию, чтобы после продолжительного отдыха снова практиковать медицину и писать научные трактаты. Выполнял он и поручения петербургских академиков: вел, в частности, переговоры о поступлении на русскую службу видных ученых-иностранцев. Тем неожиданнее и обиднее стал для него полученный из России указ Елизаветы Петровны от 10 ноября 1748 года о том, чтобы Санчеса «из академических почетных членов выключить и пенсии ему с сего числа не производить». Лишившись ученого звания и важного

источника существования, недоуменный доктор пишет президенту Петербургской Академии К. Г. Разумовскому покаянное письмо. Полагая, что опала постигла его из-за обвинения в политической неблагонадежности, и припоминая случай, который мог подать повод к неприятным для него толкам, Санчес оправдывается, доказывая свою невиновность.

Причина немилости была, однако, совсем в другом. Вот что пишет по этому поводу канцлер А. П. Бестужев: «Г. Саншее обеспокоен тем обстоятельством, которое вовсе не было поводом к его опале. Ея Императорское Величество почитает ученых и покровительствует наукам и искусствам в высшей степени. Но она хочет также, чтобы члены ее Академии были добрыми христианами, а она узнала, что доктор Саншес не принадлежит к числу таковых. И так, сколько мне известно, причиною, по которой он лишился места своего, было его иудейство, а вовсе не какие-либо политические обстоятельства». В том же духе высказался в письме к Санчесу К. Г. Разумовский: «Она прогневалась на вас не за какой-то проступок или неверность, совершенные непосредственно против Нее. Но Она полагает, что было бы против Ее совести иметь в Своей Академии такого человека, который покинул знамя Иисуса Христа и решился действовать под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков». Почему же покровительствовавшая ранее ученому Елизавета Петровна вдруг, одержимая поистине инквизиторским пылом, обвинила его в отходе от христианства? Историки полагают, что, оказавшись в Париже, доктор сошелся с еврейской общиной города и посещал синагогу, о чем и донесли русской императрице.

Отчаявшись, Санчес прибегнул к заступничеству известного математика-швейцарца Л. Эйлера, бывшего членом Петербургской Академии со дня ее основания.«… Ее Императорское Величество, – пишет доктор, – не гневается на меня ни за какой политический промах, но что ее совесть не дозволяет, чтобы я оставался в Академии, когда исповедую иудейскую веру. Я отвечал на это с большой умеренностью, что такое обвинение ложно и есть тем более клевета, что я католической религии, но что я не забочусь опровергнуть это, потому что мне от рождения суждено, чтобы христиане признавали меня за еврея… и сверх того Провидением это предназначено крови, текущей в моих жилах, той самой, которая была и у первых святых церкви и св. апостолов, униженных, преследованных и мученных при жизни, чтимых и поклоняемых после их смерти». Писано в XVIII веке, а как современно звучит эта отповедь всем юдофобам от религии, кои называют семитов

потомками «колена Иудина». Они почему-то делают вид, что не знают, да и не желают знать, что еврейская кровь текла в жилах не только ветхозаветных пророков, но и первых христиан и евангелистов. Как сказал один остроумец после прочтения Библии: «Тогда все были евреи. Время было такое!» Есть и такой анекдот: одна богомольная русская старушка говорит другой: «Ты знаешь, оказывается, Христос-то был еврей!» – «Ну и что, – утешает ее вторая, – Он же нашу веру принял!»…

Ни ходатайство Л. Эйлера, написавшего: «Я сильно сомневаюсь, чтобы подобные удивительные поступки могли содействовать распространению славы Академии наук», ни явное расположение к Санчесу К. Г. Разумовского положения его не изменили: Елизавета Петровна была непреклонна.

Лишенный пенсии, а потому стесненный в средствах, доктор тем не менее работает во Франции с удвоенной энергией. Он бесплатно лечит бедняков, активно занимается научными изысканиями, ведет оживленную переписку со светилами медицины. В 1750 году он издает на французском языке первую свою большую работу – о происхождении и лечении сифилиса. Книга принесла автору громкую известность и была дважды переведена на немецкий язык. Труд этот почитается классическим и не потерял своего значения и сегодня.

Рационалист по убеждению, Санчес защищал науку и опыты, ратовал за образование светское, освобожденное от церковных пут, настаивал на открытии общедоступных школ. Его трактат по педагогике «Письма об образовании юношества» (1760) одушевлен идеями Просвещения и в ряду произведений Вольтера, Д. Дидро, Ж. Л. ДАламбера, П. Х. Гольбаха, Ж. Л. Л. Бюффона (с которыми доктор был знаком лично) является памятником просветительской мысли. А вот отзыв современника, русского князя Д. А. Голицына, об экономических воззрениях доктора: «Почтенный старец обладает в этом вопросе такими познаниями, что удивляешься их встретить в человеке, столь удаленном всю свою жизнь от управления делами. В разговорах с ним мы исчерпали этот предмет до дна».

О

ПАРНЫХЪ

РОССІЙСКИХЪ

БАНЯХЪ,

полезну споспѣшествуютъ онѣ укрѣпленію, сохраненію и возстановленію здравія;

Сочиненія Господина *Саншеса*, бывшаго при Дворѣ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
славнаго Медика;

переведено съ Французскаго Рукописанія,

доставленнаго

ИМПЕРАТОРСКОМУ Воспитательному Дому,

для изданія въ пользу Общества.

печатано 1779 года.
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Сухопутномъ Шляхетномъ
Кадетскомъ Корпусѣ.

А. Н. Р. Санчес. О парных российских банях… Спб. 1779. Титульный лист

Антонио Рибейро с полным основанием можно назвать энциклопедистом, и дело не только в его широчайшей эрудиции: Санчес писал словарные статьи для знаменитой французской «Энциклопедии», с которой активно сотрудничал. Имя Антонио Рибейро Санчеса стало почитаться и в Португалии, где после прихода к власти маркиза С. Ж. Помбала (он правил с 1750–1777 гг.) были введены реформы против католической церкви и иезуитов. Фактический диктатор, Помбал насаждал просвещение жесткими авторитарными мерами. В 1773 году он решил проблему, о которой грезил Санчес: отменил все юридические различия между «старыми» и «новыми» христианами, уравняв их в правах. И хотя инквизиция будет окончательно уничтожена только в 1821 году, ее активность во времена правления маркиза

существенно снизилась. И симптоматично, что именно Помбал с его просветительским запалом инициировал печатание трудов Санчеса в Португалии и восстановил его славу. Академия реальных наук в Лиссабоне избрала его своим действительным членом.

Санчес привечал русских, оказавшихся во Франции, о чем свидетельствовал К. Г. Разумовский в своей докладной записке, поданной в канцелярию Академии наук сразу же после кончины Елизаветы Петровны: «Санше… живучи в Париже, по всегдашнему своему усердию к России, приезжающим туда для приобретения себе в науках и художествах вящего знания россиянам оказывал всякие полезные услуги, коих бывшие в Париже довольно похвалить не могут». Разумовский предлагал возвратить ему звание и пенсию.

Это стало возможно только при императрице Екатерине II, которая сохранила к доктору глубокую благодарность. Монархиня распорядилась: «Бывшему наперед сего в здешней службе лейб-медиком, ныне же обретающимся в Париже доктору Санше производить из комнатной суммы пенсиону по тысяче рублев в год, по смерть его, для того, что он меня, за помощью Божию, от смерти спас».

Санчес и раньше негласно приятельствовал с русскими вельможами, теперь же они стали дружить открыто. Так, граф М. А. Воронцов писал И. И. Шувалову из Берлина в Париж: «Прошу сказать дружеский поклон г. Саншесу». Это Санчес составил для И. И. Шувалова программу преподавания медицины в Московском университете и записку «О значении науки в деле гражданского и политического развития России». Тесные контакты поддерживал доктор и с президентом Академии художеств, выдающимся русским педагогом и просветителем И. И. Бецким. Доктор послал ему написанное им наставление и другие материалы для открывшегося в 1764 году Воспитательного дома в Москве. Бецкому же он переслал в Россию для перевода на русский язык свою рукопись трактата о русских банях, впоследствии знаменитого. В России книга была издана дважды: в 1779 и 1791 годах. На титульном листе прижизненного издания значится: «О парных российских банях, поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и возстановления здравия; сочинения г. Саншеса, бывшаго при дворе ея Имп. Величества славнаго медика…»

Тема эта была тем более актуальна, что известный оппонент Екатерины II, французский ученый аббат Ж. Шапп д'Ортош в своей книге «Путешествие в Сибирь» (1768) всячески доказывал вред русских бань, и императрица вынуждена была отвечать ему

на это в самых резких выражениях. В предисловии к своей книге «славный медик» Санчес пишет: «Искреннее желание мое простирается только для показания превосходства бань российских пред бывшими вдревле у Греков и Римлян и перед находящимися ныне в употреблении у Турков, как для сохранения здоровья, так и для излечения многих болезней». Между прочим, главное преимущество русской бани он видит в том, что здесь «возобновление паров чинится через всякие пять минут. Сим образом производимый пар расслабляет твердых частей тела, ибо сей пар составлен стихийными частицами огня и воздуха… Он мягчит кожу, а не расслабляет ее… Расширяет орудия дыхания, боевые и другие жилы, оживляет и восстанавливает оные части…»Далее автор говорит о русских банях как о драгоценнейшем благе, которое может послужить для «крепости и здравия тела» не только у себя на родине, но и в других странах. Показательно, что Санчес был инициатором устройства во Франции русских бань с парильнями, о которых писал Н. М. Карамзин: «В Париже есть и теплые бани, в которые часто посылают медики больных своих. Самые лучшие и дорогие называются русскими… паровые или с окуриванием, простые и смешанные». И с легкой руки нашего доктора русские бани стали строить в Германии, Швейцарии, Англии и США. А книга его, переведенная на несколько европейских языков, стала классическим произведением всемирной медицинской литературы и не утратила своего значения и по сей день.

Антонио Рибейро была отпущена долгая, насыщенная творчеством жизнь. Он скончался в Париже, в тиши своего кабинета 11 сентября 1783 года. Парижская Академия наук посвятила его памяти специальное заседание.

В бумагах доктора были найдены 28 законченных рукописей, две из которых заслуживают нашего особого внимания: «Размышления об инквизиции. Для моего личного употребления» и «О причинах преследования евреев». Названия говорят сами за себя: он и под старость был озабочен судьбой своих соплеменников.

В то же время он как-то признался, что смысл жизни видит и в «службе Империи Российской». И в самом деле, этой стране были отданы лучшие его годы. Он не только врачевал россиян и помогал им, но и всячески популяризировал на Западе российскую культуру и цивилизацию. А потому Санчеса можно назвать и сыном России, ибо он усердно трудился ей во славу. В 2004 году в Российской Национальной Библиотеке (Петербург) развернулась большая экспозиция, посвященная нашему лейб-медику.

Своим великим сыном объявляет Санчеса и современная Португалия. Один тамошний поэт посвятил ему комплиментарную оду, где назвал доктора «новым португальским Гиппократом». И в энциклопедиях этой страны неизменно подчеркиваются его португальские корни. В 1999 году 300-летие со дня рождения Антонио Рибейро Санчеса было торжественно отмечено в Лиссабоне.

Но какой бы стране ни служил Санчес, он был все-таки прежде всего евреем, и только потом «русским», «португальцем» или «французом». В нем теплилось бессознательное влечение к иудейству – преклонение перед вечными идеалами добра и любви, завещанными религией Моисея.

Светлейший юдофил

Во время своего путешествия на юг империи в 1787 году Екатерина Великая приняла депутацию новороссийских евреев. Те подали петицию с просьбой отменить употребление в России оскорбительного для них слова «жид». Императрица согласилась, предписав впредь использовать только слово «еврей». Сговорчивость Екатерины тем понятнее, что речь шла не об искоренении национальной и религиозной нетерпимости к евреям, а лишь о слове, ни к чему ее не обязывавшем. Слова, слова, слова… Подобный прецедент уже был: императрица незадолго до того издала указ, запрещавший в письмах на высочайшее имя уничижительную подпись «раб», заменив ее на просвещенное «верноподданный». Любопытно, что нашелся пиит (В. В. Капнист), который написал по этому поводу хвалебную «Оду на истребление звания раба», где толковал монарший указ не иначе как освобождение от крепостного права. И что же Екатерина? Она велела передать зарвавшемуся стихослагателю: «Вы хотите уничтожения рабства на деле… Довольно и слова!» Сказанное императрицей можно отнести и к евреям, тем более что табу на бранное слово «жид» распространялось только на официальные правительственные документы; в устной же речи, равно как и в произведениях «изящной» словесности, употребление этого слова отнюдь не возбранялось.

Если говорить об отношении Семирамиды Севера к еврейскому племени, то явственно прослеживается ее неукротимое желание примирить, казалось бы, непримиримое: передовые идеи века Просвещения и вытекающие из них эмансипацию и интеграцию этого малого народа в составе многонациональной империи – и вековую заскорузлую ненависть к нему большинства населения, приправленную вдобавок религиозным антисемитизмом и ксенофобией.

Классический пример образа еврея в глазах народа представлен в романе «Отцы и дети» И. С. Тургенева, где мать Базарова, богомольная Арина Власьевна, свято верила, что у всякого жида на груди – кровавое пятнышко.

Екатерина, по счастью, была лишена подобных предрассудков и изначально чужда юдофобии. В ее окружении мы находим евреев, в том числе и некрещеных: эскулапа Менделя Льва, провизора Самуила Швенона, банкира Левина Вульфа, подрядчиков Абрамовича и некоего «жида Давида». Монархиня закрывала глаза и на незаконное пребывание в Петербурге нескольких иудеев, разместившихся в доме… ее духовника (!).

«Их терпят вопреки закону; делают вид, что не знают, что они в столице», – откровенничала императрица. Вот уж поистине «евреи, которых не было»!

Но то было внутреннее отношение Екатерины к евреям; в государственных же решениях она приспосабливалась к требованиям текущего политического момента. Вот что произошло, когда в Сенате обсуждался вопрос о разрешении евреям селиться в стране. Предоставим слово самой Екатерине. В своих «Записках» она писала: «На пятый или шестой день по вступлении на престол явилась в Сенат… Случилось по несчастию, что в этом заседании первым на очереди… оказался проект дозволения евреям въезжать в Россию. Екатерина, затрудненная по тогдашним обстоятельствам дать свое согласие на это предложение, единогласно признаваемое всеми полезным, была выведена из этого затруднения сенатором князем Одоевским, который встал и сказал ей: «Не пожелает ли Ваше Величество прежде, чем решиться, взглянуть на то, что императрица Елисавета собственноручно начертала на поле подобного предложения?» Екатерина велела принести реестры и нашла, что Елисавета… написала на полях: «Я не желаю выгоды от врагов Иисуса Христа». Повторив, что со вступления ее на престол не прошло и недели, Екатерина пишет о себе в третьем лице: «Она была взведена на него для защиты православной веры; ей приходилось иметь дело с народом набожным, с духовенством, которому не вернули его имений и у которого не было необходимых средств к жизни… умы, как всегда бывает после столь великого события, были в сильнейшем волнении: начать такой мерой не было средством для успокоения [умов], а признать ее вредной было невозможно. Екатерина просто обратилась к генерал-прокурору после того как он собрал голоса и подошел к ней за ее решением, и сказала ему «Я желаю, чтобы это дело было отложено до другого времени». Императрица резюмирует: «Так-то нередко недостаточно быть просвещенным, иметь наилучшие намерения и власть для исполнения их; тем не менее часто разумное поведение подвергается безрассудным толкам».

Императрица Екатерина II

По-видимому, опасаясь «безрассудных толков», Екатерина на заре ее царствования в Манифесте о дозволении иностранцам селиться в России (от 4 декабря 1762 года) специально оговорила: «кроме жидов». Московский историк Д. З. Фельдман усматривает в этом реверанс в сторону старомосковской политики и особенно благочестивой Елизаветы Петровны, отличавшейся яростной нетерпимостью к иноверцам.

Но, укрепившись на троне, прагматичная Екатерина принимает уже другие решения. Руководствуясь идеями «общественной пользы» и «интересной прибыли» (что ранее отвергала ортодоксальная Елизавета), она облегчает положение евреев. Императрица вполне осознает их роль в торговле и промышленности, почитает их полезными и для государства. В то же время она опасается, что еврейские торговцы составят для русского купечества слишком сильную конкуренцию, «так как (признавалась она Д. Дидро) эти люди все притягивают к себе». Любопытно в этой связи напомнить, что в свое время Петр

Великий, отказывая евреям в праве торговать и селиться в России, говорил прямо противоположное: «Хотя они [жиды. – *Л. Б.*] и считаются искусными обманщиками в торговле целого света, однако, сомневаюсь, чтобы им удалось обмануть моих русских». Кто же прав? Думается, Екатерина, которой были хорошо известны свойства купеческого сословия России и способность евреев конкурировать с ним. Только не о мошенничестве и обмане иудеев надо здесь говорить, а об их особой оборотистости, находчивости и жизнестойкости…

Видя в колонизации Причерноморья важнейший этап в установлении господства России на Черном море, императрица в 1764 году позволяет евреям селиться в пустынной Новороссии, признав за ними право записываться купцами и мещанами. Некоторым еврейским финансистам было разрешено жить в Риге и даже в Петербурге. Тогда же еврейским купцам поволили «временно» приезжать в Малороссию.

Исследователи обращают внимание на скрытые действия императрицы в пользу иудеев. И действительно, в ее ранних письмах и реляциях мы не найдем ни одного прямого упоминания о евреях. Монархиня словно стыдится произнести это неудобное для нее слово. Так, в письме к генерал-губернатору Риги от 29 апреля 1764 года она требует снабдить новороссийских купцов паспортами, без указания национальности и без различия вероисповедания. Речь-то шла о евреях, и Екатерина приписала своей рукой: «Держите все в тайне!»

Нашелся, однако, в русской истории XVIII века государственный муж, который без обиняков и лавирования говорил о правах иудеев во весь голос. То был всесильный сподвижник и фаворит Екатерины, фельдмаршал и светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739–1791). Блистательный администратор и военачальник, покоритель Крыма и строитель Черноморского флота, Потемкин был личностью харизматической. «Гений, потом гений – и еще гений, – рисует его психологический портрет современник, – природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздаянии наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей». Влияние Потемкина на императрицу трудно переоценить. «Усердия и труд твой, – писала ему Екатерина, – умножили бы мою благодарность, естьли б она и без того не была такова, что увеличиться уже не может».

И. Б. Лампи-старший. Портрет светлейшего князя Г. А. Потемкина. Начало 1790-х годов

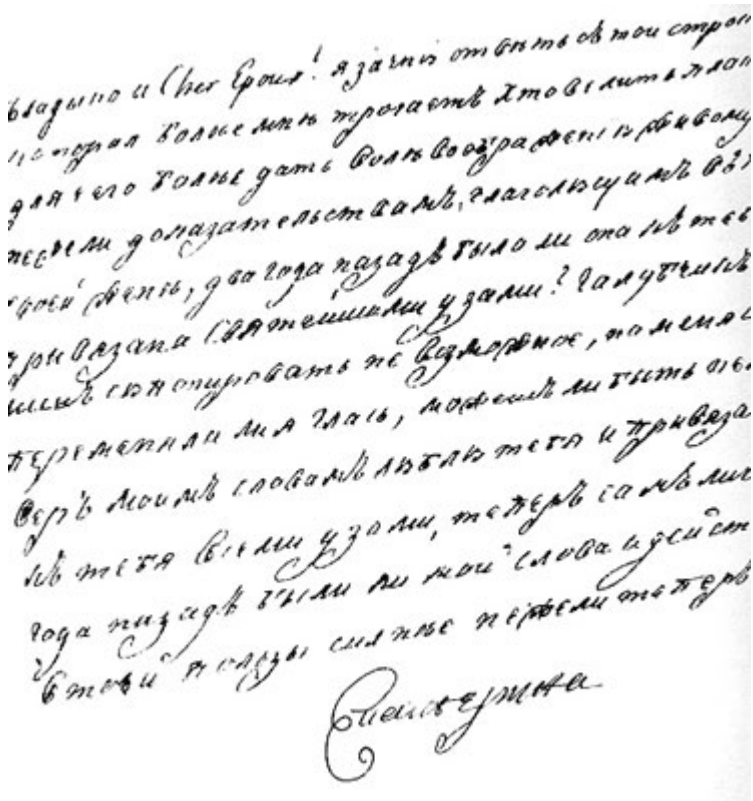
Годы головокружительного взлета карьеры этого фактического соправителя императрицы (1772–1790) совпали по времени с первым разделом Польши, в результате которого под российским скипетром оказалось стотысячное еврейское население. И во многом благодаря светлейшему князю преобразования века Просвещения распространились и на новообретенных евреев.

«Почти уникум среди русских военных и государственных деятелей, – подчеркивает английский историк С. Монтефиоре, – Потемкин был больше, чем просто толерантным к евреям: он изучал их культуру, наслаждался обществом их раввинов и стал их покровителем». Где же искать истоки такой благосклонности светлейшего князя к «сынам израилевым»? Он происходил из

Смоленского края, где исстари селились евреи (это оттуда вышли прославившиеся впоследствии роды Шафировых и Веселовских). Известно, что родственники Григория Александровича непосредственно общались с местным еврейским населением. Один из них, смоленский шляхтич Николай Потемкин, в 1740-е годы даже расследовал запутанное дело о «претензиях шкловских евреев и российских купцов». Документальных данных о подобных контактах самого Григория нет, но вполне очевидно, что уже в детские годы он общался с евреями, и его симпатии сложились в их пользу.

Получив в дар от монархини огромное поместье Кричев-Дубровна на Могилевщине, в Белоруссии, частично отошедшей к России после первого раздела Польши, князь приглашает сюда деловых людей без разбора племени и веры.

Потемкин вообще отличался исключительной веротерпимостью: недаром в 1767 году он исполнял должность «опекуна татар и иноверцев» в Уложенной комиссии. И в окружавшей его разноязыкой толпе явственно слышался и идишский говор. Причем светлейший проявлял живой интерес не только к делам практическим – его занимали и материи высокие: поэзия, философия, греческий и латинский языки и особенно богословие («Хочу непременно быть архиереем или министром», – часто говорил он друзьям). Современник рассказывает о пристрастии Григория Александровича к богословским диспутам: «Он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях».



Письмо Екатерины II Г. А Потемкину

Не исключено, что отчасти под влиянием Потемкина Екатерина в 1772 году предоставила евреям присоединенных территорий определенные права гражданства. В официальном плакате от 11 августа 1772 года провозглашалось: «Еврейские общества, жительствующие в присоединенных к Империи Российской городах и землях, будут оставлены и сохранены при всех тех свободах, коими они ныне в рассуждении закона и имуществ своих пользуются». Стоит отметить, однако, что, хотя иудеи и получили права отправления религиозных обрядов и пользования имуществом, осторожная Екатерина не уравняла их в правах с остальными новыми подданными: в отличие от последних она лишила евреев возможности свободно передвигаться по всей России.

В 1775 году, когда разрабатывались проекты по привлечению новых поселенцев в южные губернии России, именно Потемкин настоял на добавлении в проект небывалой оговорки: «включая и евреев». Он представил целую программу привлечения иудеев в Новороссию, чтобы как можно скорее развернуть торговлю на отвоеванных землях в течение семи лет не взимать с них налогов,

предоставить право торговать спиртным, обеспечить защиту от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т. д. В целях увеличения народонаселения края поощрялся ввоз в Новороссию, а впоследствии и в Таврию, женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил пять рублей. Известно, что на сем поприще подвизался «еврей Шмуль Ильевич». Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Как и христианам, евреям было предложено записываться в сословия в зависимости от рода занятий и наличия собственности. Все иудеи оказались причисленными к купеческому или мещанскому сословиям, платили налоги и были подсудны магистратам и ратушам. То есть, по существу, христианскому населению верховная власть предложила общаться с евреями, как с равными. Показательно, что в 1783 году на запрос по сему поводу из Петербурга последовал недвусмысленный ответ: граждане облагаются налогами и участвуют в городском управлении «без различия веры и закона». И указ Сената от 7 мая 1786 года подтвердил полное равноправие евреев. Как отметил американский историк Р. Пайпс, указ «впервые формально провозгласил, что евреи наделены всеми правами их сословия и что дискриминация их на основе религии или происхождения является незаконной».

Смерть Г. А. Потемкина в Бессарабской степи 5 октября 1791 года

Чтобы понять, насколько прогрессивными и беспрецедентными в судьбе евреев стали эти узаконения вдохновленной Потемкиным Екатерины, достаточно бросить взор на «просвещенную» Европу того времени. Мы увидим и

венценосного юдофоба, короля прусского Фридриха II, инициатора жестоких гонений на евреев; и императрицу Священной Римской империи Марию Терезию – зоологическую антисемитку, сравнившую иудеев с чумной заразой (заметим в скобках, что в то время единственной страной в мире, уравнявшей евреев в правах с основным населением, была Тоскана).

В своей книге «Двести лет вместе» (т. I, 2001) А. И. Солженицын подчеркивает, что евреи находились в более привилегированном положении, чем абсолютное большинство русского народа: «Евреи в России от начала имели ту личную свободу, которой предстояло еще 80 лет не иметь российским крестьянам». Что ж, действительно, получается, что к инородцам правительство относилось лучше, чем к своим собственным крепостным рабам. Только уж не иудеи в этом повинны!..

В окружении светлейшего князя было немало выдающихся евреев, крещеных и некрещеных. О Ноте Ноткине и Карле Габлице читайте главы этой книги. Одним из доверенных лиц Потемкина был и Николай Штиглиц (1772–1820). Он происходил из семьи Якова Гирша, «придворного еврея» при княжеском дворе в Мюнхене, в России обосновался в конце XVIII века. Будучи херсонским купцом, Николай имел контору в Одессе и взял на откуп добывание соли из озер. А какого небывалого торгового оборота добился он в Крыму под патронажем князя! Уже после смерти Потемкина он крестился и стал видным чиновником министерства финансов. Штиглицы впоследствии получат титул баронов и станут банкирами российских императоров и крупнейшими меценатами. В окружении Потемкина было немало художников, и среди них значится «ученик из евреев» Кифа Ицкович.

Но, пожалуй, наибольшее влияние на Григория Александровича оказал крупный купец и ученый-гебраист Иехошуа Цейтлин (1742–1822). Он путешествовал с князем, управлял его имениями, строил города, оформлял займы для снабжения армии и даже возглавлял монетный двор в Крыму. Ученик раввина и талмудиста Арье Лейба, Цейтлин был неизменным участником всех богословских диспутов, сохраняя набожность и нося традиционную еврейскую одежду. По свидетельствам очевидцев, он часто «расхаживал вместе с Потемкиным, как его брат и друг». По воле своего сиятельного покровителя, Иехошуа в 1791 году стал обладателем богатого имения в Могилевской губернии. Некрещеный еврей вдруг стал владельцем сотен христианских душ – случай в России беспрецедентный! Но кто мог тогда перечить всесильному

властелину Тавриды?!

Не исключено, что именно Цейтлин привил Потемкину интерес к иудаизму. Достаточно сказать, что в личной библиотеке князя хранился драгоценный свиток из пятидесяти кож с «Пятикнижием Моисеевым», написанный, предположительно, в IX веке.

В беседах друзей родилась сколь дерзновенная, столь и фантастическая по тем временам идея о размещении евреев в отвоеванном у турок Иерусалиме. Исследователи видят в этом «попытку связать «стратегические» еврейские интересы с имперским визионерством Потемкина». Вот что сообщает современник: «Он [Потемкин. – *Л. Б.*] стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет наконец разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Иерусалим будет не во власти неверных. А тогда должно в Палестину выселить всех евреев… На родине же своей они возродятся». Таким образом, можно без преувеличения сказать, что наш светлейший юдофил стал первым (и единственным) в российской истории государственным мужем – ревностным сторонником сионистской идеи!

И важно то, что князь не ограничился бесплодными разглагольствованиями на сей счет – он пытался претворить сию идею в жизнь. В 1786 году Потемкин создает сформированный целиком из иудеев так называемый «Израилевский» конный полк, который, по его мысли, и надлежало в дальнейшем переправить в освобожденную от турок Палестину. Со времени римского императора Тита, разрушившего в 70 году н. э. Иерусалимский Храм, это была первая в мировой истории попытка вооружить евреев!

Надо признать, что «Израилевский» полк Потемкина не походил на сегодняшнюю победоносную израильскую армию. В дошедших до нас характеристиках боевой выучки еврейских ратников сквозят комизм и издевка. Так, историк и романист Н. А. Энгельгардт с иронией живописует их лапсердаки, бороды и пейсы, говорит об их неумении держаться в седле и т. д. В этом же духе высказывается о «жидовском полке» и принц Шарль де Линь, хотя он всегда симпатизировал евреям: его даже называли одним из первых «сионистов» XVIII века.

Израильский историк С. Ю. Дудаков полагает, что подобные уничижительные характеристики грешат тенденциозностью и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описываемых событий в мятежной Польше вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под командованием Берека Иоселевича. Пятьсот волонтеров

этого полка доказали свое мужество и стойкость и пали смертью храбрых при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.

Светлейший князь организовал паломничество евреев в Палестину. Известно, что по его представлению 1 июля 1784 года был выдан паспорт Юзефу Шишману следующему в Иерусалим вместе с группой иудеев.

Что же касается Потемкина, российские евреи героизировали его, понимая, что нашли в его лице надежного защитника и покровителя. Сохранились свидетельства об их радушных приемах светлейшего, о величальных одах в его честь. И в самом деле, пока был жив князь Тавриды, их благополучию и покою, казалось, ничто не угрожало. Но 5 октября 1791 года, в дороге под Яссами, что на бессарабских холмах, светлейший князь испустил дух.

И сразу же после смерти Потемкина в отношении правительства к евреям намечается заметный откат от прогрессивных реформ. Уже 23 декабря 1791 года Екатерина II подписывает известные дискриминирующие евреев указы, отмененные лишь Февральской революцией 1917 года: для них вводится пресловутая «черта оседлости», принимается реакционнейший антисемитский закон: «Все, что прямо не разрешено евреям, им запрещено» и т. д.

Историки сходятся на том, что внезапная немилость монархини к евреям вызвана причиной косвенной – Великой Французской революцией с ее Национальным собранием, осенью 1791 года уравнявшим евреев с другими гражданами.

Может статься, будь жив Потемкин, он остудил бы антиеврейский пыл Екатерины. Но, как известно, история сослагательного наклонения не имеет…

Неоспоримо одно: Григорий Потемкин знаменует собой целую эпоху, которая может быть названа «золотые годы русского еврейства». Неутомимые заботы князя о сынах Израиля делают его фигурой знаковой и исключительно притягательной не только для евреев, но и – шире! – для всех поборников прав личности и общечеловеческих ценностей.

«Хотя и еврей, но преблагородный человек» Нота Ноткин

«Хотя и еврей, но преблагородный человек!» – так вполне в антисемитском духе отозвался о нашем герое граф, отставной фаворит Екатерины II, обладатель подаренных ему императрицей богатейших земельных владений, Семен Гаврилович Зорич (1745–1799). Эта характеристика иудея Ноты Хаимовича Ноткина (он же Натан Шкловер, Натан Ноте) в устах завзятого юдофоба на этот раз не грешит предвзятостью, а потому столь же лестна, сколь и справедлива.

Сведения о первой половине жизни Ноткина (ум. 1804) довольно скудны. Он родился в городке Шклове, что на Могилевщине, до раздела Польши 1772 года относившемся к Речи Посполитой, но год его рождения даже предположительно неизвестен. Долгое время он был купцом в Могилеве и за плодотворную коммерческую деятельность получил от польского короля чин надворного советника. Первое документальное упоминание о «еврее Ноте» связано с Витебском и относится к 1770 году.

Затем он становится компаньоном русских купцов и в начале 1780-х годов ведет большие торговые дела в Москве, а с 1788 года, в русско-турецкую войну, занимается поставками для армии «великолепного князя Тавриды» Г. А. Потемкина. Вот что говорит об этой стороне его деятельности Зорич: «Служил Отечеству со всевозможным усердием; употреблен будучи по секретным комиссиям, неоднократно рисковал потерять жизнь; поставлял для войск провиант и фураж, а на фронт и гошпитали потребную провизию в такое время, когда никто другой кроме его и приступить не хотел». Внезапная смерть Потемкина привела к банкротству Ноткина, поскольку он не смог добиться от казны возврата причитавшейся ему суммы (около 200 тысяч рублей). Может быть, если бы этот еврей осенил себя крестным знамением (как это сделали некоторые расчетливые его соплеменники), деньги бы ему в конце концов вернули. Но Нота Хаймович изберет иную стезю: он останется иудеем, «еврейским печальником», остро переживающим боль своего народа и действующим ему во благо! Он по существу станет родоначальником русско-еврейской интеллигенции…

Но вернемся к его биографии. После кончины Потемкина

Нота возвращается в родной Шклов. С незапамятных времен там жили иудеи. Заезжий иноземец Иоганн Корб в конце XVII века писал, что евреи «составляют в городе богатейшее и влиятельнейшее сословие людей». В XVIII веке их насчитывалось около 50 процентов населения Шклова. По словам историка Д. Шифмана, город сей являлся «метрополией русского еврейства» и стал как центром раввинской учености, так и средоточием распространения научных знаний и идей Хаскалы (Еврейского Просвещения) в России. Здесь работала иешива, была открыта большая каменная синагога, велись бурные диспуты между хасидами и так называемыми «шкловскими мудрецами» о сущности веры.

С. Г. Зорич

Однако главой и хозяином Шклова стал в то время уже знакомый нам граф Зорич. Ноткин и становится его финансовым советником. Бывший фаворит жил здесь этаким местным царьком с многочисленным двором, царскими выездами и балами, театром, где ставились французские оперы и итальянские балеты. Деньги он проматывал огромные. Нечистый на руку карточный

шулер, безалаберный и невоспитанный, привыкший к исполнению всех своих прихотей, этот, как его называли, «шкловский деспот» любил, чтобы перед ним лебезили и не терпел препирательств. Особенно роскошествовал Зорич на празднествах по случаю окончания основанного им Шкловского благородного училища. Вот что говорит о роли Ноткина в организации сего торжества писатель М. Алданов в своем произведении (части трилогии) «Девятое Термидора»: «Пышно отпраздновал Семен Гаврилович школьный выпуск 1792 года. К тому времени было почти отстроено и развернулось овальным полукругом, в шестьдесят сажен длины, на правом, возвышенном берегу Днепра новое трехэтажное здание училища. *Нота Ноткин, министр финансов Зорина, раздобыл для графа большую сумму денег* [курсив наш. —*Л.Б.*], и воспитанникам была сшита новая парадная обмундировка». Известно также, что Нота доставил Зоричу из Саксонии великолепный фарфоровый сервиз стоимостью в шестьдесят тысяч рублей.

То, что Ноткин потрафлял сиятельному «шкловскому деспоту», было бы в наших глазах извинительным: ведь на дворе все-таки стоял тогда монархический и чинопочитающий XVIII век. Но есть одно труднообъяснимое на первый взгляд обстоятельство. Дело в том, что Зорич жестоко издевался над еврейским населением Шклова. Его юдофобство было поистине преступным: граф лишал евреев имущества, словом, как потом жаловались они императору, «оставил без платежа один только воздух», а то и подвергал телесным наказаниям, словно жестокий барин своих крепостных рабов. Но Нота, зная об этом, не порывает с этим зарвавшимся самодуром, а прибегает к его помощи, связям и влиянию. Что это? Малодушие? Конформизм? Не будем спешить с укорами, ибо из дальнейших действий Ноткина станет понятно, что приязнью Зорича он воспользовался в сугубо тактических целях, рассчитывая привлечь внимание высших властей к нуждам своего народа.

В самом деле, 24 мая 1797 года Зорич отправил Ноту в Петербург с письмом к генерал-прокурору князю А. Б. Куракину. В письме он просил Куракина принять Ноткина под свое покровительство и вознаградить его за труды. Речь-то шла о возврате денег, а Нота Хаймович, воспользовавшись моментом, подал на рассмотрение влиятельного царедворца подготовленный им «Проект о переселении евреев колониями на плодородные черноморские степи для размножения там овец, земледелия и прочего: там же заведения по близости черноморских портов фабрик суконной, прядильной, канатной и парусной, на коих мастеровые люди были бы обучены из сего народа». В этом

документе, говоря о российском еврействе, Ноткин проявляет завидную образованность: видно, что он использовал и творчески переработал опыт законодательств многих стран галута, в частности, Австрии и Пруссии, где всячески поощрялись занятия евреев производительной деятельностью. Замечательно, что в сем проекте он первым в России высказывает мысль об использовании евреев как промышленных рабочих. Говоря о необходимости постепенного устранения евреев от винных промыслов, он ратует за их приобщение к сельскому хозяйству, разрушая миф об органической непригодности иудеев к труду на земле. При этом он апеллирует к ветхозаветным временам: «Употребленные к сему [сельскому труду. – *Л. Б.*] евреи от рук своих возымеют себе пропитание… подражая древним праотцам своим, государству со временем немалую пользу принесут, и со временем необходимость их научит земледелием сыскивать хлеб». Ноткин настаивает также на преимущественном расселении евреев именно в колониях Черноморского побережья, что сулило державе большие выгоды благодаря плодородию тамошней земли и близости портов для транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Белорусские евреи конца XVIII века

Хотя мгновенной реакции на Проект не последовало, его автор сделался известным и стал пользоваться весом в высших петербургских сферах. Показательно, что император Павел I знал и ценил Ноткина. За заслуги перед Россией он даровал ему богатое имение на Могилевщине.

Нота Хаймович вновь привлек внимание к своему Проекту в 1800 году. Тогда Белоруссию посетил сенатор Г. Р. Державин, занимавшийся законодательством о евреях, и Ноткин познакомил его со своими разработками. Державин воспользовался его трудом, но (оговоримся!) в той лишь части, где предлагалось приобщить иудеев к общеполезной деятельности. В остальном же приходится признать, что великий стихотворец XVIII века снискал себе сомнительную славу сторонника принудительных, запретительных, репрессивных и «скулодробительных» мер по

отношению к евреям. Подробно рассматривать взгляды Державина по сему вопросу мы не будем (они достаточно раскрыты в работах историков Ю. Гессена и М. Эдельмана и не являются предметом нашей статьи). Скажем лишь, что считаем излишним опускаться до полемики с нынешними национал-патриотами, выставляющими этого русского поэта чуть ли не жертвой еврейского заговора (См.: Михайлов О. Державин. М.: ЖЗЛ, 1977).

Однако непримиримость позиций Державина и Ноткина выйдет наружу позднее. Поначалу же между ними установились вполне дружеские отношения. «Мне надобен такой человек, который бы имел подобные Вашим качества и не был ослеплен предрассудками и закоренелым обычаем, столь ревностно желал, как Вы, всякого добра своей нации», – писал Державин Ноткину и пригласил последнего к участию в работе только что учрежденного императором Александром I Комитета для составления Положения о евреях (1802). Теперь радение об интересах евреев было вменено Ноте в обязанность – ведь он стал депутатом Еврейского комитета. Неужели осуществилась, наконец, его мечта, и он сможет ходатайствовать за своих соплеменников перед самим русским монархом?!

Ноткин перебирается в Санкт-Петербург (вместе со своим сыном Саббатаем). К началу 1803 года, когда в северную столицу съехались депутаты из всех кагалов, здесь уже обосновалась целая еврейская община в несколько десятков человек. И душой ее стал, как значилось в общинной книге, «уважаемый и почтенный Натан Ноте из Шклова». Эта небольшая сплоченная группа вела еврейский образ жизни и даже содержала своего резника. Именно благодаря Ноткину евреи приобрели здесь и собственный участок на лютеранском погосте (позднее Волкове кладбище), основав таким образом первое еврейское кладбище в Петербурге.

Г. Р. Державин

За время работы в Еврейском комитете заботы Ноткина о благе соплеменников тесно сплелись с деятельностью другого замечательного еврея – литератора Лейбы Неваховича (1776–1831). Любопытно, что Невахович в 1803 году издал книгу с характерным названием «Вопль дщери иудейской», затем он переложил ее на иврит под заглавием «Кол Шават бат Иегуда» и посвятил Ноткину которого назвал «защитником своего народа». Примечательно, что издание это вышло в свет в родном городе Ноты Хаймовича – Шклове. В книге заключен горячий призыв христиан к толерантности по отношению к иудеям. Есть здесь строки, выражающие настроения и чувства всех российских евреев начала XIX века, под коими вполне мог бы подписаться и Ноткин: «Имя [иудей] учинилось поносным, презренным, поруганным и некиим страшилищем для детей и скудоумных… О христиане, славящиеся кротостью и милосердием, имейте к нам жалость, обратите к нам нежные сердца ваши!.. Ах, христиане!.. Вы ищете в человеке иудея, нет, ищите в иудее человека, и вы без сомнения его найдете!.. Клянусь, что иудей, сохранивший чистым образом свою религию, не может быть злым человеком, ниже – худым гражданином». В концовке книги сквозил, однако, пессимизм: «Тако вопияла печальная дщерь Иудейская, отирала слезы, воздыхала и была еще неутешаема».

Представленное в Комитет «Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных помыслов евреев, о их преобразовании и прочем»,

замешанное на явной национальной нетерпимости, не прибавило еврейским депутатам уверенности в радужном будущем. Ноткин был ошеломлен прямой антиеврейской направленностью «законотворчества» своего бывшего сотоварища. Он убедился, что сведения о быте и обычаях евреев, почерпнутые у Ноткина во время их сотрудничества, Державин перерабатывал таким образом, чтобы доказать зловредность «нехристей», ведущих якобы паразитический образ жизни за счет эксплуатации, спаивания, обирания и развращения христиан. Чтобы ограничить зло, исходящее от евреев, Державин предлагал еще больше ограничить их права. А ведь сколько было говорено ему Ноткиным о реальном положении евреев в России – все без толку!

Вот как повествует об этом историк С. Е. Резник: «Нота Ноткин объяснял Державину, что основные массы евреев, скученные в городках и местечках бывших польских губерний, не находят приложения своему труду. Землей им владеть запрещено, работать на государственной службе тоже. Большинство из них – мелкие торговцы, ремесленники, корчмари, маклеры и всякого рода посредники, но для малоподвижной экономики края их слишком много. Живут они впроголодь, нещадно конкурируя между собой и с христианами, занимающимися такой же деятельностью. К тому же они бесправны и ненавидимы, чем пользуется местная администрация, за все требующая от евреев взяток и тем развращающая и себя, и их… В глазах окружающего населения, объяснял Нота Ноткин, евреи считаются богатыми и жадными, потому что они за свои услуги требуют деньги и знают им счет. К тому же слишком много евреев… вынуждены заниматься винокурением и виноторговлей. Доходы от этого промысла идут помещикам, так как им и государству принадлежит винная монополия. Евреи-виноделы платят непосильную арендную плату и едва сводят концы с концами, но в глазах населения именно к ним уплывают все деньги, они «спаивают» народ. Нелепость этого навета очевидна: в коренной России, где не было и нет евреев, народ пьет не меньше и живет не лучше».

Ноткин решает парализовать юдофобское «Мнение…» Державина и в мае 1803 года посылает в Комитет свою Записку о преобразовании быта евреев. Между этими двумя документами – дистанция огромного размера! Ноткин в пику Державину ратует за уравнение евреев в правах с остальными подданными, дозволении селиться везде, где они могут приложить свой труд, об освобождении от обременительной двойной подати, получении права покупать и арендовать землю. Державин – за принудительное привлечение евреев к земледелию и фабричному

труду, а в случае отказа за наказание вплоть до ссылки в Сибирь, «в вечную работу в горные заводы и без жены»; Ноткин же – за добровольное приобщение евреев к этим занятиям. Невозможно всех евреев превратить в земледельцев, пишет Нота в Записке, «… это нелепо. Нельзя всем вести одинаковый образ жизни. Евреи занимаются теми ремеслами, в которых другие не упражняются». Надо позволить им «в спокойствии сыскивать себе пропитание полезными трудами». И прежде всего, подчеркивает Ноткин, следует «образовать нечувствительным образом состояние сего народа, отвратить злоупотребления с его стороны, а главнейшим образом, уничтожить источник сих злоупотреблений – именно бедность». Запрет жить по деревням, считает он, бесполезен – куда же денутся тогда сто тысяч еврейских бедняков? А если переселять их в «пустопорожние земли», то откуда взять деньги на обзаведение и пишу? Да и кому там они будут сбывать свои сельскохозяйственные изделия? Он говорит также о необходимости общего образования евреев, выступает за открытие в каждом обществе еврейских школ с преподаванием общих предметов, в том числе и иностранных языков. Как сын своего Отечества, он отдает предпочтение преподаванию языка русского. Более того, толковых евреев, знающих русский язык, он предлагает всячески поощрять, определять на государственную службу и даже выбирать для работы в министерствах, не допуская при этом никакой дискриминации.

Из Петербурга он чутко следит за положением и настроениями евреев в самых отдаленных местечках. Вдруг он узнает, что среди белорусских иудеев разнесся слух, будто бы Еврейский комитет представляет для них опасность и угрожает их житью-бытью. И тут же правительство, с подачи Ноткина, через губернаторов рассылает по городкам и весям успокоительное письмо о злонамеренной ложности сей клеветы. Когда ретивые местные чиновники вознамерились выселить евреев из Смоленска, Ноткин пишет проникнутое пафосом письмо министру внутренних дел графу В. П. Кочубею: «Это выселение – неприятное для еврейского народа, усугубляет только уныние его и производит в нем плачевнейшие заключения о будущей своей участи… Сжальтесь над сим несчастным народом! Подкрепите великодушно упадшее его сердце!» И переселение было незамедлительно приостановлено.

«Бесшумно и беспрерывно, спокойно и равномерно работает он в пользу русских евреев, – говорит о Ноткине историк Ю. Гессен. – Натан Ноте в течение ряда лет выкладывал перед правительством в своих проектах и письмах горе и слезы, извлеченные из глубин еврейской жизни. Знакомя правительство

с нуждами еврейской массы, Натан Ноте посильно творил историю Положения 1804 года, и в этом его громадная заслуга».

Но позволительно спросить: а чем обернулось для иудеев России упомянутое «Положение об устройстве евреев» 1804 года? Да, с некоторыми одиозными мерами, предложенными Державиным, члены Еврейского комитета не согласились (не исключено, что известную роль сыграл здесь и контрпроект Ноткина). Но утвержденные в 1804 году законы были по-прежнему крайне жестокими: за евреями была официально закреплена черта оседлости, сохранялся запрет на аренду и покупку земли, им возбранялось жить в деревнях и селах, нести государственную службу и т. д. Так что в эпоху, которую А. С. Пушкин образно назвал «дней Александровых прекрасное начало», положение евреев так и осталось вовсе не «прекрасным», но бесправным и унизительным.

Нота Хаймович, по счастью, не дожил до принятия Положения 1804 года. Можно предположить, что оно вызвало бы у него разочарование. Не узнал он и о том, что впоследствии, после войны с Наполеоном, будет отклонено прошение еврейских депутатов собраться на съезд в Петербурге, в 1820 году последует запрет евреям иметь слуг-христиан, в 1824 году им будет возбранен въезд в Россию из-за границы, в 1825 году не дозволено селиться в городах и деревнях Могилева и Витебска. А ведь Ноткин свято верил, что разумное государство во главе с просвещенным монархом-реформатором – Александром Благословенным – может положить предел заскорузлой антисемитской ненависти и злобе.

Синагога в Шилове

Сохранилось семейное предание, рассказанное уже потомками нашего «еврейского печальника». Будто бы однажды дом Ноткина посетил сам Александр I. «Остановись!» – воскликнул вдруг Нота Хаймович, увидев царя. Государь спросил, что это значит. Тот объяснил, что счастье человеческое имеет границы и, когда оно доходит до крайнего предела, то начинает убывать. «Счастье же мое с приходом Вашего Величества в дом, – продолжал Ноткин, – достигло своего апогея. Вот я и кричу ему: «Остановись!»»

Конечно, непосредственно к Ноте Хаймовичу Александр I относился уважительно и благосклонно (именными указами то объявлял ему благодарность, то жаловал драгоценную табакерку, то осыпанный бриллиантами золотой), но не это было главным для Ноткина. Для него важнее прочего были интересы всего еврейства. А потому он едва ли был бы удовлетворен политикой своего кумира-царя, видя, как стонут и страждут иудеи под его скипетром. Когда его евреи несчастливы, не «Остановись!» впору было кричать Ноте, а громко взывать о помощи…

Но безмолвно Петербургское еврейское кладбище… Здесь на могильном памятнике в первом ряду выгравировано: «Высокопоставленный и знатный господин Натан Ноте из Шклова». До вечного своего успокоения на кладбище, им же созданном, Ноткину по счастью, не довелось узнать о

бесплодности своей долгой вдохновенной работы.

Открыватель Тавриды Карл Габлиц

Титулом «Таврический» увенчан светлейший князь Г. А. Потемкин, одержавший блистательные победы в баталиях с турками и присоединивший Крым к империи Российской. Но звание «Таврический» заслужил еще один деятель – ученый-натуралист Карл Габлиц, которого часто называют «открывателем земли Крымской»…

Род Габлицов прославил Отечество целым рядом замечательных имен: кроме академика Карла Ивановича Габлица (1752–1821), в анналы истории вошли композитор и музыкальный критик Александр Николаевич Серов (1820–1871), а также живописец и график Валентин Александрович Серов (1865–1911). Происходил род из прусского Кенигсберга, и в том, что соединил он свою судьбу с Россией, невольная заслуга первого куратора Московского университета И. И. Шувалова. Тот озаботился обустройством словолитни при только что открывшейся университетской типографии. Дело встало, а все потому, что нужен был ей многоопытный литейщик. Да такой, чтоб и ментором был не из последних, дабы в ремесле своем словолитном учеников наставить мог. А такового искусника ни в Петербурге, ни в Первопрестольной Москве приискать не сумели. И весной 1758 года Шувалов посылает командующему армией в Пруссии (оккупированной русскими во время Семилетней войны), генералу В. Фермору депешу: просить пожаловать к нам изрядного типографа «с прибавлением жалованья того, что он в Кенигсберге получал, в полтора».

Шувалов обратил взоры к Кенигсбергу вовсе не случайно. С давних пор сей знатный прусский град приковывал внимание просвещенных россиян и даже получил русское прозвание – Королевец. В тамошнем университете – Альбертине, основанном в XVI веке, уже в петровские времена обучались школяры-московиты. И многие российские ученые взращены в Кенигсберге: выпускник Альбертины Х. Гольбах стал первым секрета рем Петербургской Академии наук, а профессора того вуза Г. З. Байер и И.-С. Бекенштейн вышли в петербургские академики. Авторитет Альбертины в XVIII веке был весьма высок, туда ежегодно для «совершенствования в науках» наезжали питомцы Московского университета. Примечательно, что и мемуарист А. Т. Болотов в своих «Записках» говорит о десяти русских студиозусах, коих он заприметил в Кенигсберге.

Герб рода Галицов

И печатное дело было поставлено в Королевеце на широкую ногу. Первая типография открылась здесь еще ранее университета, в 1523 году. А в 1529 году сюда, между прочим, пригласили «славного мужа», первопечатника Ф. Скорину В историю просвещения и немецкой культуры вписаны имена таких выдающихся типографов, как Г. Вайрайх, Г. Люффт, И. Даубманн, Г. Остербергер, И. Ройснер. Но особенно впечатляющей была деятельность крещеного еврея И. Г. Гартунга, создавшего в 1730-е годы универсальное предприятие, в коем соединились издательство, печатание и книжная торговля (типографская фирма Гартунга, продолженная его наследниками, преобразуется позднее в «Грефе унд Унцер» и прекратит существование только во время III рейха). В Кенигсберге издавались книги религиозного содержания, научные и литературные произведения, а также учебники, словари, справочники, календари, лечебники на немецком, латинском, польском, литовском языках. Велась, правда, не слишком бойко, и издательская деятельность на русском языке (привилегию на печатание «славянских книг»

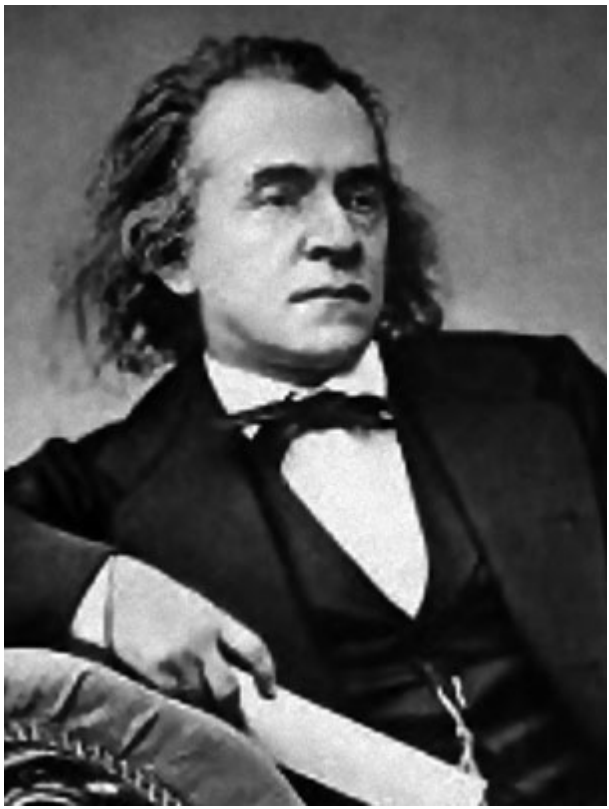
получил в 1724 году магистр философии Б. Квасовский).

Не знаем, в какой именно типографии (не исключено, что как раз у Гартунга), но Фермор подходящего человека вскоре сыскал и в письме к Шувалову от 16 апреля 1758 года указал на «словолитного мастера» Иоганна Венцеля Габлица, который «добрую репутацию в искусстве своем имеет». После такой лестной аттестации русские заключили с Габлицем долговременный контракт. Университет ассигновал также 1200 талеров на приобретение имевшегося у сего мастера оборудования («к тому литию всех инструментов и многого числа для набору слов»), обещал немалое жалованье – 400 рублей в год (такую сумму получал экстраординарный профессор), а также должность «над пунсонной инспектора». И Иоганн Венцель с многодетной семьей благополучно достиг Белокаменной и приступил к новому делу…

Тут впору остановиться, ибо все у Иоганна Габлица получается как-то уж на диво споро и гладко. Между тем, если верить некоторым историкам, одно обстоятельство могло стать необоримой препоной на его пути в Россию: ведь, по их сведениям, Габлицы были евреями, а известно, что въезд иудеев в империю при ортодоксальной Елизавете категорически возбранялся. Стоит, правда, заметить, что далеко не все биографы придерживаются мнения об иудейском происхождении этого рода: некоторые называют его «немецким», и словарная статья об одном из Габлицов включена в авторитетный справочник «Немцы России». Кто же прав?

А правда состоит в том, что в российских официальных документах и литературных источниках XVIII века о Габлицах говорят исключительно как о людях «прусской нации». Казалось бы, тема закрыта, но имеется весьма достоверное и неоспоримое свидетельство об их происхождении. Есть искус перенестись из века XVIII почти на столетие вперед и обратиться к воспоминаниям видного деятеля культуры В. В. Стасова. Он рассказывает, что в 40-е годы XIX века был завсегдатаем в доме Серовых и давал уроки музыки даровитому отпрыску рода Габлицов, в будущем известному композитору Александру Серову и его сестре (Иоганн Венцель приходился им прадедом по материнской линии). «Однажды, – рассказывает Стасов, – я нашел [Александра] со старшей сестрой Софьей в необыкновенном, еще не виданном состоянии духа. Они прыгали и били в ладоши около фортепиано, на котором только что играли, и громко кричали мне: «Вольдемар, какое счастье! Какое счастье! Вообразите – мы жиды!»… Они подбежали ко мне и, продолжая хлопать в ладоши, объявили мне, что вот только сейчас мама

рассказывала им, что они оба такие способные и живые прямо в дедушку, Карла Ивановича, ее отца, а он был еврей родом. И мы все вместе принялись радоваться: у нас давно евреи считались самым многоспособным и талантливым народом». Антисемит сему, конечно, не возрадуется и попеняет рассказчику на юдофильские пристрастия. Но очевидно, что память о еврейских предках почиталась, передавалась из поколения в поколение и была предметом гордости в этой семье. Ведь, по словам того же Стасова, Александр Серов «всегда с радостью пускался в рассмотрение своего еврейства» (позднее он и женится на еврейке).



Композитор Александр Серов

А вот что говорили о внешности самого Серова: «Еврейский физический тип с годами все больше и больше обозначался в самых резких чертах». Такую характерную внешность Александр, с его четвертушкой еврейской крови, унаследовал именно от Габлицов. А потому ясно, что и в Габлицах (хотя их портреты до нас не дошли) распознать семитов особого труда не составляло. Однако те, надо думать, не афишировали свое еврейство,

опасаясь гонений и преследований. Оно и понятно: в Пруссии, откуда родом был Иоганн Венцель, иудеям запрещалось заниматься многими видами ремесел (в том числе и типографским делом), вступать в купеческие гильдии, торговать скотом, шерстью, кожей и т. д. По данным конца 1750-х годов, в Кенигсберге официально числилось 307 евреев, и только в 1756 году (хотя иудеи жительствовали здесь достаточно давно) была освящена единственная в городе синагога. А вот протестантских кирх там насчитывалось до 20-ти! По-видимому, Иоганн Венцель (какому бы Богу в душе он ни молился) в списках еврейской общины не значился и был прихожанином лютеранского храма. Вероятно, он имел надежное свидетельство о том, что он христианин, и потому, невзирая на наружную «жидовскую породу», был впущен в Российскую империю и занял в Московском университете не последнюю должность.

По словам историка И. М. Снегирева, Иоганн Габлиц «обогатил [типографию университета] новыми шрифтами, виньетками, фигурами, вырезанными на дереве и меди» и стал «лучшим словолитным мастером». В руководимой им словолитне изготавливались не только русские, но и готические, латинские, греческие и даже арабские литеры, а также шрифты миттель антиква с курсивом, цицеро антиква, корпус антиква с курсивом, которыми снабжались и другие российские печатни. И при сем умельце постоянно обретались подмастерья-литейщики, получавшие более высокое, чем ученики типографии, жалованье. За время его двадцатилетней беспорочной службы было выпущено в свет около тысячи изданий. В 1779 году, когда типография была передана в аренду Н. И. Новикову, Иоганн Габлиц вышел в отставку с сохранением ему полного жалованья и поселился в Курске, где и окончил свой век.

Героем нашего рассказа является, однако, не сей достойный муж, а его старший сын Карл, приехавший вместе с отцом в Первопрестольную в шестилетнем возрасте. Человек книжный, Иоганн Венцель определил своих детей Карла, Фридриха и Генриха в гимназию Московского университета, взяв на себя расходы на их образование. И своекоштный ученик Карл Габлиц штудировал там арифметику, геометрию, историю, географию, логику, метафизику, риторику, постигал латинский, греческий и французский языки. «Российскому же языку принужден был научиться самоучкою, потому что в оной гимназии тогда еще не было особого для сего класса». Впрочем, Карл овладел им настолько, что вскоре говорил без акцента, а писал складно и без ошибок, не уступая природным русакам. Учился он самозабвенно и легко, знания хватал с жадностью и не единожды получал

награды за прилежание. 30 июля 1768 года, шестнадцати лет от роду, он как один из лучших выпускников был благополучно произведен в студенты.

Отец хотел, чтобы сын стал искусным врачевателем, почитая это делом и почтенным, и весьма доходным. И хотя тот твердил, что не по душе ему докторское ремесло, а он «великую наклонность к путешествиям» имеет, Габлиц-старший упрямо стоял и настоял на своем: Карл начал слушать лекции на медицинском факультете. Одна отрада, что будущие медики обучались тогда натуральной истории, географии, земледелию, минералогии, «рудокопной и пробирной химии», и эти предметы были любы новоиспеченному студенту. И все же он «скучал школьною жизнью в университете». Может статься, Карл бы и свыкся с ней и выбился в конце концов в эскулапы, и в эскулапы изрядные. Но случилась судьбоносная встреча, все поставившая разом на свои места, – и наш герой стал заниматься в жизни тем, что было ему по сердцу и к чему, как оказалось, он был призван: «Провидение Божие, располагающее судьбами человечества, предначертало мне совсем иное поприще, на коем проходя разные многотрудные должности, наконец достиг до высших чинов и достоинств, також по разным временам и в разные царствования удостоен был от монарших щедрот различных за заслуги мои наград, чем и устроилось мое благосостояние», – так несколько высокопарно изъяснится он по сему поводу уже на закате дней.

А тогда, на исходе лета 1768 года, московский дом Габлицов посетил молодой профессор ботаники, ординарный академик Самуил Готлиб Гмелин (он незадолго до того «нечаянно» познакомился с нашим литейщиком). Профессор готовил тогда экспедицию Петербургской Академией наук на юг России и в Персию для физических наблюдений и вербовал туда людей пытливых и умом острых. Он сразу же обратил внимание на Карла, оценил его смекалку, тягу к новому и нашел в нем своего горячего сподвижника. Осталось уговорить Иоганна Венцеля, но тот отпускать сына вдаль от себя и университетских пенатов не хотел нипочем. Ведь Гмелин, хоть и профессор, но так непозволительно молод, что доверить ему свое чадо отец страшился.

Неизвестно, на какие педали нажимал Гмелин, убеждая упрямого родителя смягчиться. Возможно, говорил ему о том, что он сам сын лекаря и лекарь, о чем и диплом Тюбингенского университета имеет, что в экспедиции доктора очень даже надобны (и то была сущая правда!) и он, Самуил Гмелин, лично обучит Карла навыкам врачевания. Ему настойчиво вторил и Карл, то отчаянно ораторствуя (не зря риторику изучал), то

заунывно канюча. Да еще привлек на свою сторону «некоторых приятелей, притом бывших», – тех, что у отца весом пользовались. И вот победа – Иоганн Венцель сдался, и наш студент стал готовиться к экспедиции, разрешение на участие в которой получил от Академии в марте 1769 года. «И тогда же я, на семнадцатом году от роду, – пишет далее Карл, – оставя впервые родительский дом, отправился в путь до Воронежа, где Гмелин зимовал. По прибытии моем туда он принял меня весьма ласково и вскоре полюбил меня так, что до самой кончины своей… оставался мне другом».

В то время подобные вояжи были делом крайне рискованным: люди зачастую исчезали, словно сгинули. Путь наших путешественников пролегал через Дон и низовье Волги на побережье Каспия. В 1769 году они посетили Черкасск и Астрахань; в 1770 году морем отправились в Дербент; отсюда сухим путем в Баку, Шемаху и Сальяны, далее морем – в Энзели; в 1771 году останавливались в Реште и Балфруше. В начале 1772 года они вернулись в Астрахань, откуда через Сарепту направились в Куманскую степь и Моздок; затем Тереком и степью вновь прибыли в Астрахань.

Экспедиция была сопряжена с огромными трудностями: исследователи страдали от жары, тяжелых лихорадок, испытывали множество лишений. Кроме того, жизнь их зависела подчас от самовластных восточных царьков и князьков. В июне 1772 года отряд с Гмелиным во главе выехал морем в Персию в сопровождении военной команды из сорока человек и уже намеревался пройти сухим путем в Кизляр, как был ограблен и захвачен кайтайским эмиром Гамзой, который чаял получить за русских заложников немалый куш. Гмелина держали одного в глубоких ямах, переводя из аула в аул…

«Путешествие по России для исследования трех царств природы» Гмелина, изданное позднее Академией наук в трех томах на немецком, а затем в четырех томах и на русском языке, получило широкую известность. Но о «человеческом факторе» в экспедиции (тяготах похода, болезнях, кознях вероломных эмиров) здесь нет и полслова. Зато находятся удивительно яркие, точные, с интереснейшими подробностями характеристики. Перед нами проносятся дикие кони воронежских степей; предстают во всей красе Астрахань, Дербент, Шемаха, русская крепость Азов, где нет еще домов, отчего солдаты живут в камышовых шалашах; остатки старинного ордынского города; священная гора калмыков Богдо при соленом озере Баскунчак и сами калмыки; генуэзская пушка, найденная при исследованиях грунта. Живописуется колония «меренских братьев» (община

немецких поселенцев) в Поволжье. В общем, Гмелин сознательно сосредотачивается на том только, что может иметь общественный интерес, повествует «О нынешнем политическом состоянии Персии и об образе правления», «О персидском законе», «О персидских монахах».

Любопытно одно замечание, сделанное здесь о передвижении экспедиции: «…Для рассматривания трав ехали тихо». И Карл Габлиц вместе с другими изучал науку о природе, поспешая медленно, хотя, по его словам, «в первый же год путешествия приобрел особую наклонность к естественной истории, а особливо к ботанике, в коей упражняться более имел случая и которою Гмелин преимущественно занимался». И Габлиц энергично помогал Гмелину собирать растения и составлять их точные описания, а также заведовал дорожной библиотекой.

В Карле поражала какая-то особая одержимость, без чего не вышел бы он ни в какие испытатели. «Я в сие время так пристрастился к своим занятиям, что забыл весь мир», – признается он. И познавал он таинства натуры к этой натуре лицом к лицу и в этом находил отраду и счастье. «С раннего утра я каждый день до обеда был в разъездах, – описывает он свою жизнь в то время, – а после обеда до глубокой ночи занимался рассматриванием и описанием растений, зверей, птиц, насекомых и пресмыкающихся, мною собранных; и чрез то приобрел основательные познания во всех частях натуральной истории, которая потом, даже до самой старости моей, служила мне немалым утешением».

Изучая природу, он испытывал и воспитывал собственную натуру, искал и находил жизненные силы для вдохновенного труда. Можно сказать, что именно тогда Габлиц вырос в подлинного профессионала, в чем важную роль сыграл, безусловно, Самуил Гмелин. Однако постепенно наш герой выходит из тени своего наставника и заявляет о себе как вполне самостоятельный исследователь. В 1772 году Гмелин оставляет его в Астрахани для изучения в губернских архивах сведений по истории калмыков; а в 1774 году ученый отправляет его в Гилянские горы для естественнонаучных изысканий и сбора уникальных экспонатов. Сам же начальник экспедиции летом того же 1774 года умер в кайтайском плену в возрасте тридцати лет от унижений и глубокой тоски. Весть о трагической кончине профессора настигла Карла только по возвращении в Зелинский порт. Трудно было передать его горе – ведь Гмелин был для него всем. Но надо было служить делу, которому учитель был верен до конца.

На высланном ему пакетботе Габлиц переправляется морем в

Астрахань, где остается до весны 1775 года, приводя в порядок свои бумаги и коллекцию. В Северную Пальмиру он прибывает только в июне и на первом же заседании Академии наук представляет собранную им коллекцию, а также своеручные «заметки и примечания» о путешествии в Гилянь. И вот первый успех молодого натуралиста – Академическое собрание изъявило по сему поводу «полное свое удовольствие» и распорядилось «заметки» опубликовать (они будут преданы тиснению дважды), а их автора произвести в академические переводчики. Более того, его знания и опыт были оценены Академией столь высоко, что ее директор С. Г. Домашнев обратился к светлейшему князю, всесильному генерал-губернатору Новороссии Г. А. Потемкину с просьбой подыскать Габлицу достойное место. И в октябре 1776 года Карл Иванович с повышением чина был назначен в Астраханскую Садовую контору помощником директора. При этом Академия официально объявила его своим членом-корреспондентом.

Казенные сады в Астрахани, которые еще в XVII веке живописал путешественник по Московии А. Олеарий, являли собой тогда крупное и обширное хозяйство. Поражали воображение богатые винные погреба и винокуренные заводы; рощи виноградных, померанцевых, абрикосовых, сливовых, грушевых, а также миндальных, тутовых и оливковых деревьев; парники с экзотическими растениями и южными цветами; раскинувшиеся широким полукругом аптекарские огороды. Легкий шелест листвы, щебетанье птиц, яркие плоды в зеленых кущах – ничто, казалось, не напоминало здесь о суетности мира (недаром великий А. В. Суворов, будучи в Астрахани, так любил в сии сады удаляться, забывая об интригах, коварстве и изменах!)

Карл Габлиц знал о Садовой конторе не понаслышке: был там частым гостем еще в бытность Гмелина. Тот же постоянно сносился с тогдашним директором конторы Н. А. Бекетовым: то просил квартиру в городской Безродной слободе; то требовал астролябию и компас; то хлопотал, чтобы в экспедицию прислали некоего саратовского жителя Бауэра, искусного в рисовании. Причем Гмелина весьма беспокоила судьба Садовой конторы – он буквально бомбардировал письмами астраханского губернатора Н. А. Бекетова, предлагая и даже навязывая помощь в том, как сберечь эту уникальную природную коллекцию. А потому позволительно сказать, что, заступая на должность «помощника» директора Садовой конторы, Габлиц следовал по пути своего учителя.

По словам самого Карла Ивановича, должность эта была для него «занимательна, ибо, находясь при ней, [он] беспрестанно

упражнялся в опытах над улучшением виноделия, садоводства, шелководства и над разведением разных полезных иностранных растений». Не забывал он посылать свои изыскания и в Академию наук, которая, «выхваляя беспрестанно в отзывах своих усердие» Габлица, в 1779 году наградила его медалью.

Молодой ученый работал под началом директора, князя Н. С. Долгорукова, переведенного в Астрахань из Петербурга за какую-то провинность. Этот энциклопедически образованный вельможа знал несколько языков, имел лучшую в городе библиотеку, увлекался литературой, поэзией, путешествиями и получил прозвание «филозоф». Он был ревнителем садоводческого дела – стремился поднять урожайность винограда, весьма споспешествовал развитию винокурения, для чего часто наезжал в Кизляр. Общение с ним было в радость и приносило Габлицу душевную пользу. Тем более что он был страстным книгочеем и часто пользовался библиотекой патрона.

Однако после кончины Долгорукова в 1781 году должность директора Садовой конторы упразднили, а Карл Иванович, «против всякого своего чаяния», получил новое назначение. Потемкин озаботился тогда важной государственной задачей – найти удобное место для торговли россиян с Востоком и Индией. Оттого из Астрахани в Каспийское море отправили экспедицию капитана II ранга графа М. И. Войновича, в ходе которой намеревались «делать физические и другие наблюдения, к приращению познаний о Каспийском море служить могущие». Потому-то искушенный в сем деле Габлиц, ранее уже бывавший в Персии, был к ней прикомандирован. Всего же в ее состав вошли 600 человек.

В июле эскадра, «из трех фрегатов, одного бомбардирного корабля и трех ботов состоящая», вышла в открытое море и по осмотре западных и восточных берегов Каспия направилась к Астрабадскому заливу, который и был признан пунктом, отвечавшим видам правительства в торговле с Персией, Индией, Хивой, Бухарой и Бадахшаном. Но восток, как известно, – дело тонкое, тем более что в персидской администрации царил тогда полнейший беспорядок. Владетель Ашхабадской провинции Ага-Мохаммед-хан возмечтал стать шахом и заигрывал со всеми потенциальными союзниками.

Он приветствовал идею создания русской фактории на восточном берегу Каспия. Хан тут же заключил с русскими договор о дружбе и даже предлагал послать в Петербург своего племянника. Граф Войнович, однако, продемонстрировал и беспечность, и дурацкую самонадеянность – вместо мирной фактории учредил военный форт. Как отмечают историки, граф

«доказал, что он такой же плохой царедворец, как и политик».

И судьба экспедиции была предрешена: салютуя пушечным огнем, русские переполошили местных воевод, до коих дошел слух (пущенный англичанами), что по Дагестану идет Суворов с 60-ю тысячами солдат. Ага-Мохаммед-хан решил, что надо избавиться от непрошеных гостей. По его приказу Войнович и Габлиц вместе с несколькими морскими офицерами, находясь в деревеньке, в 12 верстах от берега, были схвачены и десять дней содержались под крепким караулом, а потом отправлены в город Сари, что в ста верстах от Астрабада. Россиянам предложили либо сложить головы, либо убираться восвояси. У них хватило благоразумия выбрать последнее. В результате флотилия вернулась домой бесславно, в чем Габлиц винил, конечно, не Войновича, а дипломатично поносил «коварного» и «вероломного» восточного самодура. В отличие от опростоволосившегося Войновича, натуралист Габлиц был на высоте положения. Огромный научный интерес представляет его обстоятельный отчет о плавании («Исторический журнал бывшей в 1781 и 1782 годах на Каспийском море российской эскадры под командою флота капитана втораго ранга графа Войновича…» – М., 1809). Во всех представленных ученым описаниях природных явлений, растительного, животного мира видны и зоркость и умная наблюдательность автора. Характеристики Карла Ивановича уточняют и дополняют труды его предшественников – Ф. И. Соймонова, С. Г. Гмелина, Г. Ф. Миллера. На острове Огурчинском его внимание привлекают тюлени, «красные гуси» (фламинго), розовые скворцы, на горе Балхан – «барсы, кабаны, волки, лисицы, дикие волки или так называемые джайраны и каменные бараны»; в устье впадающей в Каспий реки Карасы он удивлен несметным числом «знатных рыб» по весне – белуги, осетра, севрюги, «так что, ловя их тогда баграми, можно в короткое время нагрузить несколько судов как ими, так и выливающеюся из них икрою»; на косе Дервиш рассматривает «в земле трещины и горный деготь, который перпендикулярными слоями садится и наподобие смолы от солнечного зноя высыхает»; изучает залежи соли на Нефтяном острове, о которой верно говорит, что она «не каменная, как некоторые утверждают, а озерная». Дорогого стоят и его этнографические записи о быте и торговле красноводских и кочевых туркменов, о морских разбойниках – «огурджалах». Точна и составленная им карта Каспия (она будет приложена к его книге). Словом, это был блистательный труд, в конце 1782 года он был представлен Потемкиным Екатерине II, и государыня пожаловала за него Габлица в надворные советники и перевела его в ведомство

светлейшего князя. В 1783 году Петербургское Вольное Экономическое общество избрало Карла Ивановича своим действительным членом.

Габлиц оказался сразу же востребован на новом поприще: летом 1783 года, то есть вскоре после опубликования манифеста Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», его в те края и направляют. Потемкин поручает ему составить естественнонаучное описание Крыма «по всем трем царствам природы» и снабжает всем необходимым для топографических съемок. Однако на полуострове началась эпидемия чумы, и Карл Иванович принужден был, узнав об этом, с полпути повернуть назад, в Петербург. Только ранней весной следующего года емуудалось вновь попасть в Тавриду и с мая по осень объехать Крымские горы, степную часть полуострова и Тамань.

Постоянно подгоняемый светлейшим, Габлиц и сам со свойственной ему страстностью работал, не щадя сил и здоровья, и завершил свой труд в рекордные сроки. При этом он из-за эпидемии чумы вынужден был обосноваться в землянке, где «трудился в течение двух месяцев, так что во все оное время не выходил на воздух и целые ночи просиживал за работою». Тем не менее уже в декабре 1784 года «Физическое описание Таврической области по ее местоположению и по всем царствам природы» было отправлено Потемкину, а в 1785 году по Высочайшему повелению издано за казенный счет.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ОПИСАНІЕ
ТАВРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПО ЕЯ МѢСТОПОЛОЖЕНІЮ,
И ПО ВСѢМЪ ТРЕМЪ ЦАРСТВАМЪ ПРИРОДЫ.
БИБЛІОТЕКА
АКАДЕМІИ
Въ Санктпетербургѣ,
печатано въ Императорской типографіи
у Ивана Вейтбрехта
1785 года.

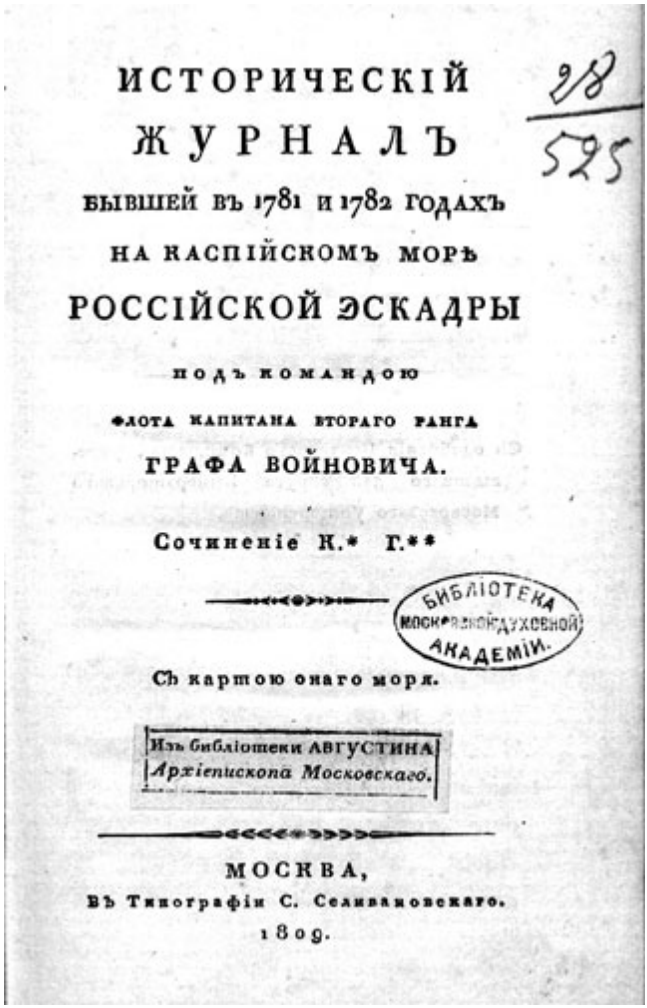
К. И. Таблиц. Физическое описание Таврической области… Спб., 1785. Титульный лист

Этот классический труд ученого стал первым геологическим, ботаническим и биологическим описанием полуострова. Многие термины, названия, характеристики географических объектов Крыма введены в научный оборот именно им. Исследователь представил первое схематическое природное районирование Крыма, разделяя его на части: «плоскую или ровную», «горную» и «полуостров Керченский». В горной же части полуострова он, опять-таки впервые, выявил три гряды: «передовые», «средние» горы и «крайний Южный хребет»; впервые назвал в качестве самостоятельной географической единицы «Полуденный» (Южный) берег Крыма.

Он обнаружил известковые, глинисто-сланцевые, вулканические горные породы, исследовал почвы различной

мощности и качества; отметил значительную крутизну южных склонов горных гряд и пологий характер северных, а также неровности плоских вершин в горах и ледяные пещеры, впервые описал 20 рек, в том числе и неизвестный доселе водопад Учан-Су.

Это благодаря Габлицу в России узнали о минеральных богатствах Тавриды, о соли ее озер, нефти Керченского полуострова, железной руде, мраморе, серном колчедане, железистой глине, белом мергеле. Рассказывая о флоре Крыма, он не только раскрыл богатства травянистой растительности в степи, а лесной – в горах, но и указал на ее многообразные родственные связи с растительностью южной Европы, Азии, северных областей. Всего же в списке растений Габлица, который называют «первым научным ботаническим реестром Крыма», 511 видов, в том числе лекарственных, кормовых, технических трав. Поведал он и о том, что здесь в обилии произрастали гранаты и оливки, дикие финики, фисташки и рай-деревья. Столь же интересны сведения о животных края: например, о том, что в то время в Крыму дикие мустанги и волки водились «во множестве», а у берегов полуострова, «особенно в Севастопольской бухте, обитали тюлени».



ИСТОРИЧЕСКІЙ
ЖУРНАЛЪ
БЫВШЕЙ ВЪ 1781 И 1782 ГОДАХЪ
НА КАСПІЙСКОМЪ МОРѢ
РОССІЙСКОЙ ЭСКАДРЫ
ПОДЪ КОМАНДОЮ
ФЛОТА КАПИТАНА ВТОРАГО РАНГА
ГРАФА ВОЙНОВИЧА.
Сочиненіе К.* Г.**
Съ картою онаго моря.
Изъ библіотеки АВГУСТИНА
Архіепископа Московскаго.
МОСКВА,
Въ Типографіи С. Селивановскаго.
1809.

918
525
БИБЛІОТЕКА
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ.

К. И. Габлиц. Исторический журнал бывшей в 1781 и 1182 годах на Каспийском море российской эскадры… М., 1809.Титульный лист

Рассказывается здесь и о некоторых географических объектах края. И показательно, что Габлиц уделил здесь внимание еврейским обитателям полуострова, причем говорит о них с нескрываемым сочувствием. Вот, к примеру, его описание так называемой Жидовской крепости близ Бахчисарая: «[Она] состоит на самой вершине крутой каменной горы и положением своим ясно доказывает, что она построена древним, угнетенным и искавшим себе безопасности и убежища народом. Теперь обитают в ней с давних уже времен одни Жиды, и они, невзирая на недостаток там воды, которую с великим трудом должны возить на лошаках вверх от самой подошвы горы, избрали место сие для своего пребывания». По-видимому, судьба еврейского народа

отзывалась в его душе.

Характерно, что в своем описании Крыма Карл Иванович пристрастен, чего и не скрывает, он намеренно привносит сюда свое ценностное отношение. Этот край выглядит у него загадочным и экзотичным. Он им восхищен и желает, чтобы и читатель восхищался вместе с ним: «В редких, может быть, других странах света можно найти столько совокупленных вместе совершенств!»

И очень скоро о совершенствах Тавриды узнали и другие страны света. В 1788 году русский посол во Франции, «дилетантствующий дипломат» князь Д. А. Голицын, издал в Гааге свой перевод «Физического описания Таврической области…» Габлица на французском языке, снабдив его примечаниями и комментариями. В предисловии Голицын отметил, что сочинитель книги «продолжил линию, проложенную путешествиями Палласа, Гмелина, Лепехина по обширным пространствам империи, в Персии и Грузии». В 1802 году в Париже вышло 2-е издание этого перевода. А в 1789 году в Лондоне журналист У. Радклифф (между прочим, муж классика «готического романа» Анны Радклифф) издал книгу на английском языке, тоже с просвещающими комментариями. В том же году под редакцией академика П. С. Палласа в Ганновере вышел в свет и немецкий перевод книги.

За этот труд Карл Иванович был удостоен монаршего «благоволения» и получил от императрицы осыпанную бриллиантами табакерку. Екатерина II повелела также составить историческое описание полуострова, чем он и занимался в 1785 году в Москве и Петербурге (причем в любое время дня и ночи должен был являться к Потемкину для выполнения по его хотению справок о Таврической области). Задача была не из легких, поскольку Габлиц, хотя уже и работал в астраханских архивах, все же был натуралистом, а не историком. Но и здесь он проявил недюжинный талант: сразу же обложился фолиантами, углубился в чтение трудов древних авторов и преуспел.

Уверовав в разнообразные дарования Габлица, светлейший не придумал ничего лучшего, как назначить в декабре 1784 года надворным советником в Палату уголовного суда. «Должность сия нимало не соответствовала моим желаниям и склонностям», – сетовал Карл Иванович. Хорошо еще, что судебных дел в новооткрытой губернии было немного, и наш герой мог по-прежнему заниматься тем, к чему был охоч. Он, как и Потемкин, мечтал превратить Тавриду в шелководческий край и искал места для посадки тутовых деревьев – обследовал район Старого Крыма, который признал «преудобным к разводу шелковых червей», и тем

самым положил начало крымскому шелководству.

В деятельности на благо России Габлиц видел высшее свое предназначение: его согревала вера в то, что его жизнь и труды Богу угодны и Богом хранимы. А между тем смерть ходила за ним по пятам. Однажды во время разъездов вдоль реки Кубани он едва не стал жертвой нападения воинственных черкесов и спасся чудом, покинув место стоянки по какому-то наитию. Карл Иванович видел в этом в перст Божий: «Десница Всевышнего, охранявшая меня во всех опасностях, спасла меня и в сем случае». Позднее эта его вера перерастет в глубокую религиозность.

В поездках Карла Ивановича иногда сопровождал правитель Таврической области, бригадир В. В. Каховский, с коим они душевно сблизились, так что «тесное знакомство превратилось в искреннюю дружбу». Каховский, по словам Габлица, его «обласкал всячески», предложил переехать в «заводимый» областной город Симферополь, где подыскал ему «пустопорожний татарский дом». А свой собственный дом губернатор предоставил под его коллекцию, которую составляли обширный гербарий, чучела животных, насекомые, камни, минералы. По существу то был первый естественно-исторический музей в Крыму!

Потемкин-Таврический тоже не оставлял Габлица своими милостями: в 1786 году пожаловал Карла Ивановича виноградным садом в Судакской долине, а также одной из лучших дач близ Балаклавы. Эта дача, называемая Чоргунь (ныне поселок Черноречье под Севастополем), вскоре стала аттестоваться местными жителями Карловкой – по имени ее хозяина. Она утопает в зелени. «Габлицевы сады достойны вкуса того, кто описал нам произведения Крыма, – отметил в своем «Путешествии в Полуденную Россию» (ч. 3, 1802)

В. В. Измайлов. – От чего именно нравится сия дача Габлица? От того, что нет в ней никаких украшений, кроме украшений природы». Карловка была приметна и каменной многоярусной двадцатиметровой башней в виде двенадцатигранника, построенной в XV веке одним турецким вельможей. По указанию Габлица, башня была украшена античными барельефами, собранными им во время натурных обследований Крыма и Таманского полуострова. «Прелестное место! Если когда мне вздумается писать роман в рыцарском вкусе, я здесь запрусь с Ариосто и 1001 ночью», – воскликнет в восторге посетивший дачу литератор И. М. Муравьев-Апостол («Путешествие по Тавриде в 1820 году»).

Габлиц, занимаясь историей Крыма, всемерно пытался примениться ко вкусам просвещенной императрицы, считавшей

этот благословенный край «жемчужиной в короне Российской империи». И он упорно работал над завершением своего труда, хотя служебных обязанностей у него все прибавлялось и прибавлялось. В январе 1787 года он получает назначение директором домоводства Таврической области, а в феврале – директором экономии, с предписанием «вступить между тем в действительное управление казенных в сей области поселян». А в Крыму в то время желали обосноваться тысячи, да что там – десятки тысяч (только в апреле туда были направлены 4000 «заштатных дьячков»), однако же, по словам Потемкина, «большое число поселенцев терпели великую нужду». И от Карла Ивановича потребовались и распорядительность, и организаторский дар, чтобы всем выделить «в Таврической степи удобных и выгодных для жилищ и хлебопашества мест».

В мае 1787 года в Крым прибыла совершавшая путешествие по южной России Екатерина П. В роскошном дворце, выстроенном на речке Каланчаке, императрица по представлению Потемкина приняла Габлица, и тот лично поднес ей свое историческое сочинение о Тавриде. Она непринужденно беседовала с автором, задавая множество вопросов и о прошлом края, и «по части натуральной истории». Карл Иванович был зван к императорскому столу во всякое время, а по отъезде монархини из края был пожалован орденом св. Владимира 4-й степени и бриллиантовым перстнем.

Путешествие Екатерины II в Крым

Как писал позднее митрополит Евгений Болховитинов об этом произведении Габлица, «книга сия и все приложенные к ней карты оставались неизданными», а все из-за начавшейся войны с

Оттоманской Портой. Географическая часть этого труда была напечатана только в 1803 году. А одну из карт с описанием Гераклийского полуострова, приложенных к рукописи Габлица, Болховитинов опубликует уже после смерти автора, в 1822 году в «Отечественных записках» П. П. Свиньина и переиздаст ее в 1828 году в трудах Общества истории и древностей российских при Московском университете. Любопытно, что в отделе рукописей Российской Национальной библиотеки (Петербург) хранится анонимное «Историческое описание Таврической области от древнейших до нынешних времен», которое некоторые исследователи приписывают Габлицу. А историк И. В. Тункина обнаружила в Российском Государственном Военно-историческом архиве «План развалинам города Херсона», который был поднесен императрице, с автографом Карла Ивановича.

В конце 1787 года сражения с оттоманами шли и у самых берегов Крыма. Не исключалась высадка на полуострове турецкого десанта. А потому Карлу Ивановичу пришлось на некоторое время оставить науку и сосредоточиться на вопросах обороны и снабжения действующей армии продовольствием и фуражом. К тому же в феврале 1788 года его произвели в коллежские советники и назначили вице-губернатором Таврической области, коим он оставался до 1796 года. Летом же, когда губернатор Каховский был отозван под Очаков, дабы принять должность генерал-провиантмейстера, Габлиц на пять месяцев принял на себя обязанности правителя Тавриды, что в ту военную пору было задачей многотрудной.

Достаточно сказать, что после двух неурожайных лет требовалось накормить и снабдить зерном «на посев» голодных поселенцев. Провизией надобно было обеспечивать и армию под Очаковым. Потемкин только и слал депеши – в августе требовал, к примеру, поставить 2000 голов скота! При этом на Габлице лежала еще и ответственность за безопасность полуострова. Готовились к вражескому десанту, а когда опасность его миновала, пришлось заниматься переводом в Симферополь правительственных учреждений. Но он с блеском справился с этими поручениями.

Примечательна его переписка с прославленными русскими полководцами – героями той войны. Великий А. В. Суворов знал его лично и называл «высокоблагородным и высокопочтенным». Самые добрые отношения связывали Габлица с легендарным адмиралом Ф. Ф. Ушаковым, который в те годы командовал Севастопольской эскадрой. Сохранилась корреспонденция Габлица с тогдашним русским послом в Турции М. И. Кутузовым.

Да и после прибытия в январе 1789 года в Тавриду нового

губернатора, бригадира С. С. Жегулина, работы у Карла Ивановича не убавилось. А в 1793 году ему вновь пришлось на время возглавить управление краем. К старым проблемам добавлялись новые, и кто, как не он, должен был их решать!

Это при Габлице население Симферополя увеличилось с 815 жителей (1783) до полутора тысяч (1792); появились первенцы промышленности – пивоваренный, винокуренный и кирпичный заводы; открылись первая аптека и Главное народное училище (1793) – первое в Крыму среднее учебное заведение; закладывались виноградники, разбивались парки, сады. Показательно, что в историческом романе В. С. Пикуля «Фаворит» «ученый садовод Габлиц» говорит: «Вряд ли даже в Италии сыщем такое блаженное место, каковым является Таврида». И в Крым с его легкой руки были завезены кипарис, лавр, пиния, иудино дерево и другие средиземноморские иммигранты. Не случайно в первый день 1794 года императрица сделала Карлу Ивановичу новогодний презент – наградила его орденом св. Владимира 3-й степени.

Севастополь. Вид со стороны северных фортов

В том же году ему доверили надзор над Таврическим соляным промыслом. Он рьяно взялся за дело, разоблачил имевшиеся злоупотребления и удвоил соляные доходы, за что в феврале 1796 года был пожалован в статские советники. В том же году Карла Ивановича избрали в действительные члены Академии наук.

По восшествии на престол Павла I Габлица увольняют с должности вице-губернатора и отзывают из Крыма, что толкуется

некоторыми историками как государева опала. На самом же деле этот взбалмошный император прогневался вовсе не на Карла Ивановича, а на… саму Тавриду, освоению и превращению коей в цветущий край столько сил отдали Екатерина, Потемкин да и Карл Габлиц. В пику византийским проектам матери, Павел в декабре 1796 года одним росчерком пера упразднил Таврическую область, переименовал Севастополь в Ахтияр, Феодосию в Каффу а Симферополь из областного города разжаловал в уездный.

Наш герой покидал дорогую ему Тавриду «с прискорбным сердцем». Но оказалось, что лично к Габлицу этот венценосец относился с «отличною милостью», и именно на краткое царствование Павла выпал наивысший взлет служебной карьеры Карла Ивановича. Тотчас же по приезде из Крыма ему поручили состоять при генерал-прокуроре по хозяйственной части. А когда под ведением генерал-прокурора учредили особую Экспедицию для управления делами государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства, Карл Иванович был назначен ее членом. То была творческая работа – Габлиц изобретал новые положения для усовершенствования «сельской экономии», а именно шелководства, виноделия, овцеводства, сбережения и умножения лесов и т. д. Кроме того, он как знаток оценивал оригинальные проекты других радетелей государственной пользы, «до крайности озабочен был делами», и делами для него интересными.

В день коронации Павла 5 апреля 1797 года Габлицу было пожаловано 250 душ крестьян в Нижегородской губернии. В сентябре его производят в действительные статские советники и назначают первым товарищем министра Департамента уделов. Помимо прежних забот, в его ведении оказались еще и все удельные имения империи с полумиллионом человек, каковые надлежало «привесть в должное устройство».

«Неусыпные труды мои не остались без наград», – не без удовлетворения скажет Карл Иванович. И действительно, в 1798 году ему сверх жалованья была определена пенсия 2000 рублей в год. В 1799 году он получает орден св. Анны 1 – й степени; наконец, в 1800 году – высокий чин тайного советника.

Новый император Александр I сразу же привлек Габлица к работе Комитета по устройству Новороссийских губерний. А в июле 1802 года Карла Ивановича командируют в Поволжье инспектировать иностранные колонии. Габлиц предложил дать поселенцам угодья и лес, выделить им пособие для заведения фабрик, усилить надзор за их нравственностью (для чего открыть смирительные дома), «преобразить и улучшить местное начальство». Император остался доволен инспекцией Габлица и в

своем указе 19 декабря 1802 года учел все его предложения. Он пригласил тайного советника к монаршему столу, имел с ним беседу и пожаловал Карлу Ивановичу столовые деньги 300 рублей в месяц. Не было такой порученной ему должности, на коей наш герой не проявил бы свои таланты.

В декабре 1802 года его назначают президентом Мануфактур-коллегии, а в 1803 году одновременно управляющим Экспедиции государственного хозяйства и Лесного департамента в звании главного директора государственных лесов. Заслуги Габлица в развитии лесного дела России еще недостаточно оценены. Между тем именно по его инициативе в Царском селе в 1803 году открылось Практическое лесное училище, ставшее первым высшим учебным заведением по лесоводству не только в России, но и в Европе (где подобное откроется только в 1814 году, в Австрии). Именно Габлиц разработал Устав и Положение об училище. По инициативе Габлица «для научения людей в лесоводственных науках» в 1804 году было открыто лесное училище и в городе Козельске Калужской губернии.

Он пекся не только о подготовке российских лесных чиновников, но и добивался сбережения природных богатств, «усугубив лесную стражу в важнейших местах». В то же время и о народе помышлял – отменил нелепые ограничения отпуска древесины крестьянам на их нужды. Между прочим, при Габлице лесные доходы империи увеличились втрое! Когда министр финансов А. И. Васильев доложил об этом императору, тот пожаловал главного лесовода орденом св. Владимира 2-й степени и мызой в Виленской губернии с годовым доходом 1500 рублей.

Непризнание выдающегося вклада Габлица в русское лесоводство труднообъяснимо, хотя и при жизни предпринимались попытки замолчать его достижения. Показательно, что в 1809 году сразу же после увольнения Карла Ивановича от управления отраслью, выходит книга П. В. Дивова «Краткое руководство к сбережению и поправлению лесов в Российском государстве», где скрупулезно и с придыханием перечисляются все мало-мальски отличившиеся на сем поприще натуралисты и географы, все – кроме Карла Габлица!

«Чрезмерные труды» и «беспрестанное напряжение телесных и душевных сил» отразились на здоровье тайного советника, и без того не богатырском. Император почел за благо освободить Габлица от непосильных тягот, сделав его обязанности по преимуществу представительскими. Карл Иванович уже не столько служит, сколько участвует, состоит, присутствует. Однако даже эти должности были не синекурой: он и теперь истово отдается делу, ибо не умеет иначе, и «по долговременной своей

опытности и знанию» приносит неоценимую пользу. В ознаменование заслуг перед Отечеством в 1810 году Габлиц получил бриллиантовые знаки к ордену св. Анны 1 – й степени.

В 1813 году тайный советник Габлиц решает подвести итог своим трудам и дням и поверяет бумаге свое «Краткое описание жизни и службы» (в 1821 году, уже после его кончины, оно будет опубликовано Н. И. Гречем в журнале «Сын Отечества», а затем и издано отдельной брошюрой, по-видимому, П. Х. Безаком). При этом Карл Иванович подчеркивает, что составил автобиографию «не из самолюбия и не для тщеславия, но единственно в честь и славу Всевышнего Творца…»

Следует признать, что еврей Карл Габлиц имел все резоны сказать вслед за поэтом С. Я. Надсоном о своем отношении к соплеменникам: «Твоих преданий мир… мне чужд, как и твои ученья». В нем звучал голос крови, однако он не знал веры предков, воспитывался и жил в нееврейском окружении и, как и его отец, исповедовал протестантизм. Позднее он примкнул к лютеранской секте гернгутеров, основанной в Саксонии моравскими братьями и гуситами и получившей в царствование Елизаветы Петровны некоторое распространение среди российских немцев. Вероучение адептов этой секты называют иногда «религией сердца» (интересно, что постулируемое гернгутерами чувственное приближение к Богу и мистическое единство с Ним несколько сближает их с хасидами). Главное внимание уделялось ими не догматике, а морали, не столько просвещению ума, сколько «образованию сердца». Благодушие, непоколебимость веры и аскетизм были категорическим императивом Карла Ивановича. Известный литератор Н. И. Греч сказал о нем: «Муж отличного ума, глубокой учености, редких добродетелей и истинный христианин».

Немало душевных сил и энергии Габлиц отдал миссионерству и благотворительности. В 1805 года он стал попечителем Петербургской Евангелической церкви св. Анны, что на Кирочной улице. Его стараниями здание этой церкви в 1807 году было исправлено до основания и преобразилось в легкое изысканное строение в стиле раннего классицизма с полукруглой ротондой, поддерживаемой изящными ионическими колоннами (нынче оно признано выдающимся памятником архитектуры России). Под его же попечением процветал учрежденный при той же церкви евангелический сиротский дом. Когда в декабре 1812 года было организовано Российское Библейское общество – христианская межконфессиональная организация, занимавшаяся распространением и переводом книг Ветхого Завета и Нового Завета на территории Российской империи, Карл Иванович вошел

в его комитет в качестве вице-президента.

Символично, что самая последняя его почетная обязанность связана с Крымом, которому наш герой отдал столько сил, ума и таланта. «В царствование Александра I, – радовался он, – обращается на сей край особенное внимание и попечение Правительства, чтобы… воспользоваться теми выгодами, коими одарен он от природы». В 1819 году он стал председательствующим в Комитете по рассмотрению жалоб, принесенных императору касательно Таврической губернии, и оставался на сей должности до конца жизни. По словам В. В. Стасова, Габлиц «до глубокой старости сохранил весь свой чудесный, благородный и великодушный нравственный склад, всю силу прямого и светлого ума».

Последние свои дни Карл Иванович провел вдали от садов Карловки и благословенного крымского неба с крупными звездами, куда всегда рвалась его душа, и скончался в дождливый петербургский день 9 октября 1821 года на 70-м году жизни. Он погребен на Волковом лютеранском кладбище. На его могильной плите выгравированы слова:

Пусть кровью в прахе я истлею,
Но тот, кто смертью смерть попрал,
Господь бессмертье мне стяжал
Святою кровию своею.
Он мрак могильный разженет,
Меня вновь к жизни воззовет
И даст мне лик нетленный с нею.

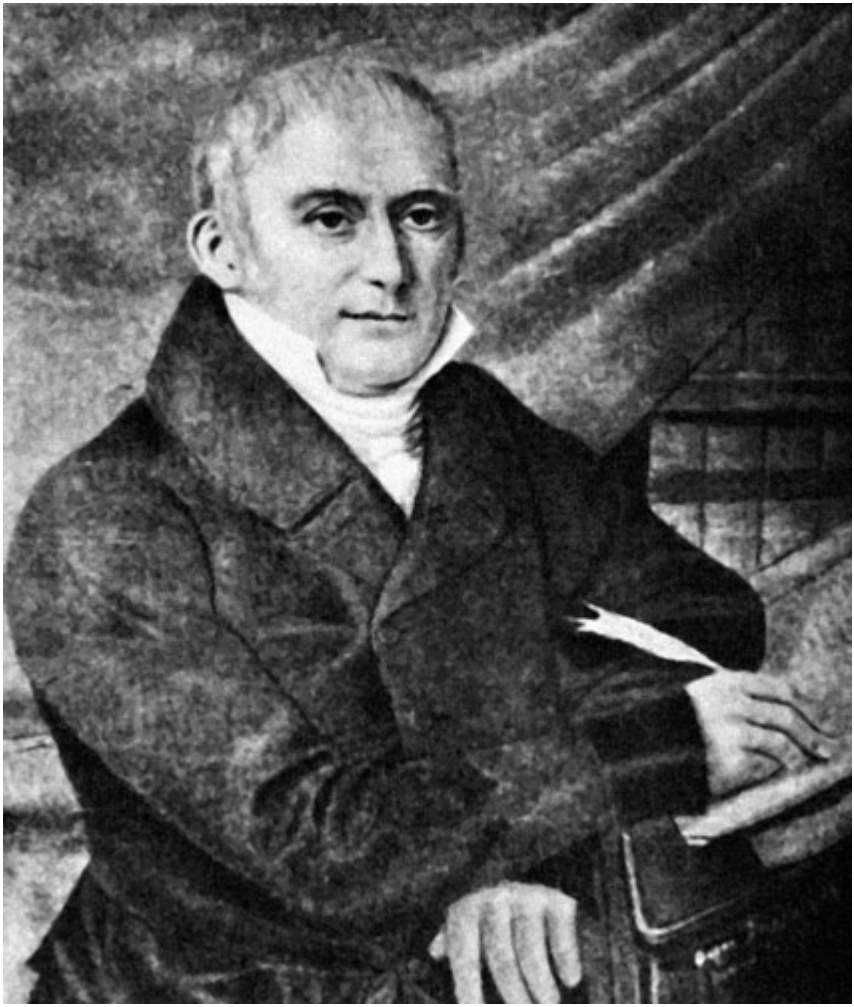
Имя Габлица присвоено Карстовой полости в Крыму и трехметровому многолетнему вьющемуся растению – кавказскому шпинату со съедобными листьями, или Hablitzia tamnoides. Трудам же и научным открытиям Габлица Господь стяжал бессмертье. Они будут жить, доколе живы будут прославленная им Таврида и Великая Россия, которой беззаветно служил этот этнический еврей, прусский уроженец, тайный советник, академик-натуралист Габлиц. Карл Габлиц Таврический.

Острый Перетц
Абрам Перетц

Один мемуарист начала XIX века воссоздает в своих «Записках…» характерный диалог: «А кто ж такой Перетц?» – «Перетц – богатый еврей, у которого огромные дела по разным откупам и подрядам и особенно по перевозке и поставке соли в казенные магазины». – «Ну, это должен быть именно тот, о котором говорят: где соль, тут и перец». О русско-еврейском общественном деятеле, крупном банкире и откупщике Абраме Израилевиче Перетце (1771–1833) и пойдет здесь речь. Обыгрывая его фамилию с помощью омонима «перец», наш мемуарист разумел его природную «остроту», что на языке того времени означало: «способность душевная скоро понимать что, проникать во что… острота разума, понятия» (Словарь Академии Российской… т. IV. Спб., 1822, с. 447).

И действительно, Абрам Перетц изострил свой разум еще сызмальства – за изучением Торы и Талмуда. К этому его приобщил отец – раввин городка Любартова, что в Люблинской губернии, где и родился наш герой. Он получил традиционное еврейское образование сначала дома, а потом в иешиве; овладел светскими науками; свободно изъяснялся на немецком и русском языках. Но наиболее глубокое влияние на отрока оказал выдающийся талмудист, тесно связанный с кругом идей Хаскалы (Еврейского Просвещения), главный раввин Берлина Гирш Лебель (1721–1800), приходившийся Абраму родным дядей. В берлинский дом последнего Перетц частенько наезжал, а потому был лично знаком со многими германскими «маскилим» (просвещенными). Притягательным оказалось для него и само это течение общественной мысли, идеологом которого был Мозес Мендельсон. Подобно другим подвижникам Хаскалы, он был против культурной обособленности еврейства и видел в усвоении европейского образования залог улучшения положения своих соплеменников. Он был сторонником изучения евреями языков тех государств, в которых они жили, развития у них стремления к гражданскому равноправию и одновременно гражданской лояльности, изменения их внешнего облика и поведения, включая ношение европейской одежды и усвоение европейского этикета. Он мечтал об изменении характера экономической деятельности евреев, о том, чтобы по своей социальной принадлежности они ничем не отличались от населения тех стран, в которых они проживают. В то же время он выступал и за национально-

религиозную идентичность евреев.

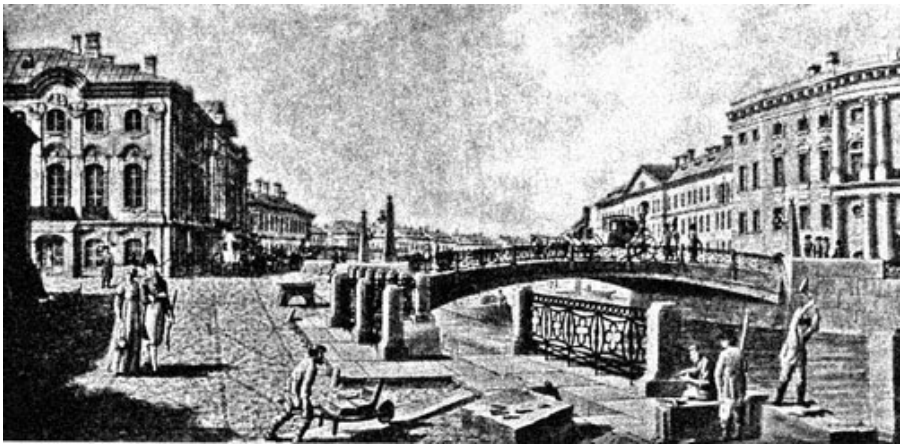


Абрам Перетц

Ярым приверженцем подобных идей был и Иошуа Цейтлин (1742–1821) – уроженец города Шклова, считавшегося в конце XVIII века одним из мировых центров Хаскалы. Крупный ученый-гебраист и тонкий толкователь Талмуда, Цейтлин был одновременно крупным купцом и управляющим светлейшего князя Г. А. Потемкина, с которым часто вел талмудические дискуссии. Друг светлейшего, он получил титул надворного советника, а значит, и дворянское достоинство и владел богатым имением в Велижском повете Могилевской губернии. Некрещеный еврей, он по воле своего покровителя стал владельцем 910 крепостных душ! В другом своем владении, «Устье» в Чериковском уезде, Иошуа, как подлинный еврейский

меценат, построил дворец для своих единоверцев. Здесь на его средства была создана «бет-га-мидраш», нечто вроде народной академии, в которой многие талмудисты, получая все необходимое для жизни, могли свободно заниматься наукой и пользоваться собранной хозяином уникальной библиотекой. Среди «маскилим», пользовавшихся поддержкой Цейтлина, были известный писатель и педагог Мендл Сатановер, знаток библейского языка и его грамматики Нафтали-Герц Шулман, великолепный медик, пионер белорусского просвещения Барух Шик, популяризатор науки Менахем Мендл Лефин и др.

Цейтлин часто ездил в Берлин, и есть свидетельства, что он неоднократно навещал одного из основателей Хаскалы – философа Мозеса Мендельсона. Следует, однако, оговориться, что при всей близости взглядов немецких и русских «маскилим», не могли не сказаться и различия. Если говорить о Цейтлине, то это проявлялось даже чисто внешне: он часто носил не европейскую, а традиционную еврейскую одежду. Но, что еще более важно, взгляды шкловских «маскилим» испытали на себе и очевидное влияние раввинизма, связанного с именем Залмана Элиаху бен Шломо (Виленского Гаона) (1720–1797), идеалом которого была «жизнь в Торе и для Торы». Хотя, с точки зрения европейских «маскилим», «митнагдим» (последователи традиционного раввинизма) были органически чужды и даже враждебны Хаскале, их российские адепты пытались не только сгладить противоречия, но и объединить эти два течения. Не случайно в научно-популярной литературе иногда смешивают эти понятия и одних и тех же деятелей называют то «маскилим», то «митнагдим». По существу, многие из них и объединяли в одном лице еврейских просветителей и раввинистов. Вот как охарактеризовал воззрения Цейтлина американский историк Д. Фишман: «Цейтлин являет собой уникальный сплав раввинистской и русской культуры… Он наводит мосты между традиционным религиозным миром, открывшимся ему в юности, и миром Запада, с которым он познакомился уже в зрелые годы».



Дом Перетца в Петербурге

В Берлине же Цейтлин знакомится с Перетцем, к которому сразу же чувствует особое душевное расположение, не покидавшее его потом до конца жизни. Быть может, по складу личности Абрам чем-то напомнил Цейтлину его самого в молодые годы: способности подающего надежды талмудиста сочетались в нем с деловой хваткой коммерсанта! И нет ничего удивительного, что Иошуа решает породниться с Абрамом: он отдает ему в жены свою дочь, красавицу Сарру, которую за минитюрность и малый рост прозвали «Фейгеле» (птичка). В шестнадцать лет Перетц становится уже не только женатым человеком, но и правой рукой своего именитого тестя, с которым переезжает на жительство в Шклов. Однако даже рождение сына Гирша и дочери Циррель не сделали этот брак счастливым. Когда в конце XVIII века Абрам отправился в Петербург, где представлял торгово-финансовые интересы тестя, жена за ним не последовала. При ней остались и дети, и только в 1803 году, после бар-мицвы, Гиргпу было разрешено переехать к отцу.

Перетц обосновывается в Петербурге в конце 1790-х годов и сразу входит в немногочисленную еврейскую общину, проживающую в столице вопреки законодательному запрещению, но с высочайшего ведома. Дела Абрама в Северной Пальмире пошли очень успешно: помогли старые связи с князем Г. А. Потемкиным и, конечно, острый ум и оборотистость. Он вскоре сделался известен как богатый откупщик и подрядчик по кораблестроению и даже много лет спустя был «долго памятен столице по своим достоинствам и по своим огромным делам». Перетц в товариществе с херсонским купцом Николаем Штиглицем заключил контракт с правительством на откуп крымской соли. Контракт сей обсуждался в Сенате и был собственноручно утвержден государем. Тогда же Павел I

пожаловал ему титул коммерции советника.

Со временем окрепли связи Перетца с элитой высшего общества столицы. Особенно дружен он был с фаворитом Павла I графом И. П. Кутайсовым, а также с видными государственными мужами Е. Ф. Канкриным и М. М. Сперанским. Последний даже некоторое время жил в его доме на углу Невского и Большой Морской. Говорят, что Перетц вел «открытый дом», принимая у себя и потчуя «весь город», без различия чина, рода и племени. Интересно, откуда бы в этом еврее истинно русское хлебосольство? Но достаточно оглянуться назад, чтобы убедиться: благотворительность – это и типично еврейское свойство. Ведь еще в Торе сказано, что каждый иудей должен пожертвовать на это дело десятину (одну десятую часть своего дохода). Да и пример тестя, дававшего приют и пропитание нищим евреям, всегда стоял у него перед глазами.

Бытует мнение, что, перебравшись в Петербург, Перетц оторвался от еврейских корней. Архивные материалы, введенные недавно в научный оборот, позволяют поколебать это утверждение, ибо установлено, что Абрам тесно общался здесь с выдающимися представителями Хаскалы: Менахемом Мендлем Лефиным и видным общественным деятелем, поборником эмансипации еврейства Давидом Фридлиндером. Они встречались в доме Перетца на Невском (ныне кинотеатр «Баррикада»), где, между прочим, проходили и собрания еврейской религиозной общины. Глубоко символично, что как раз на месте этого дома во времена Анны Иоанновны были заживо сожжены смоленский купец Борух Лейбов и обращенный им в иудаизм капитан-лейтенант Александр Возницын. Шумные еврейские посиделки в доме Абрама вселяли уверенность: в конце XVIII века такое варварство по отношению к иудеям уже невозможно.

В. А. Тропинин. Граф М. М. Сперанский

Примечателен один эпизод, истолкованный историком Ю. И. Гессеном не в пользу Перетца, хотя на самом деле он свидетельствует как раз о заботе последнего о своих несчастных единоверцах. Известно, что Шклов принадлежал тогда бывшему фавориту императрицы Екатерины II графу С. Г. Зоричу разорявшему и притеснявшему местных евреев. Те долго сносили оскорбления и побои (доходило и до этого!) графа-самодура и только в 1798 году, когда спознали, что их соплеменник Абрам Перетц стал дружен с всесильным фаворитом царя И. П. Кутайсовым, выступили с обвинениями против своего притеснителя. Трудно согласиться с Гессеном, что только «дела денежные сблизили Перетца с царским любимцем Кутайсовым», что «Перетц пользовался знакомством с влиятельными сановниками лишь в видах собственной выгоды», а о делах своего

народа и не помышлял. Очевидно, что не Перетц, а Кутайсов, который «употреблял всякие уловки и интриги, чтобы приобрести Шклов у Зорича», воспользовался жалобой на этого злодея в своих корыстных целях. Абрам же, выступивший в роли штадлана (представителя еврейства), желал любым путем облегчить участь своих соплеменников, а потому и прибегнул к помощи сановного мздоимца. (Также «беспринципно», кстати, поступил в свое время и известный общественный деятель Нота Ноткин (ум. 1804), когда в 1797 году заручился лестным рекомендательным письмом из рук гонителя иудеев С. Г. Зорича, что и использовал на благо еврейству).

Есть свидетельства, что Перетц размышлял о судьбах своего народа в исторической перспективе. Сохранились воспоминания литератора Ф. Н. Глинки о его беседах с сыном нашего героя, Григорием Перетцем, где тот поведал о сокровенных мыслях отца. «В одно утро, – рассказывает Глинка, – он [Григорий Перетц] очень много напевал о необходимости общества к высвобождению евреев, рассеянных по России и даже Европе, и поселению их в Крыму или даже на Востоке в виде отдельного народа; он говорил, что, кажется, отец его… имел мысль о собрании евреев; но что для сего нужно собрание капиталистов и содействие ученых людей и проч. Тут распелся он о том, как евреев собирать, с какими триумфами их вести и проч. и проч. Мне помнится, что на все сие говорение я сказал: «Да видно, вы хотите придвинуть преставление света? Говорят, что в писании сказано (тогда я почти не знал еще писания), что когда жиды выйдут на свободу, то свет кончится». Что ж, действительно, в Священную книгу Глинка и не заглядывал! Зато искушенный в изучении Торы Абрам Перетц твердо знал радовавшие его сердце пророчества:«… Возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих, и смилуется над тобою, и снова соберет тебя из всех народов… И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, которой владели отцы твои, и станешь ты владеть ею…» (Дварим, 30:3,5).

Обращает на себя внимание, что переезд евреев на новую родину Перетц мечтал обставить торжественно, с помпой. Чтобы другие народы видели: наступил праздник и на еврейской улице. Вечные изгнанники и молчальники обретали, наконец, свободу и право говорить об этом во весь голос! Нелишне отметить, что мысль о создании еврейского государства была навеяна Абраму все тем же Иошуа Цейтлиным. Последний ранее внушил ее Г. А. Потемкину, который даже разработал проект: после победы в войне над турками собрать всех иудеев вместе и поселить на территории освобожденной Палестины. И это были не только слова – светлейший князь для воплощения в жизнь сего дерзкого

плана начал формирование состоявшего из одних евреев Израилевского конного полка и даже выделил для его обучения специального офицера. И хотя проект этот остался нереализованным, он, по-видимому, продолжал будоражить просвещенные еврейские умы.

Но в своем отношении к евреям Перетц был избирателен: как истый «митнагдид», он резко отрицательно относился к хасидам, которых воспринимал как заклятых врагов иудаизма. С его точки зрения, хасидские представления о молитвенном экстазе, чудесах и видениях – ложь, оскорбляющая иудаистское богослужение, а почитание ими праведников «цадиков» есть не что иное, как идолопоклонство и «сотворение кумира» из человека. Тем более, мнилось ему, «цадики» завоевывали свой авторитет невежеством и суеверием массы. Как зять талмудиста и ревнителя знаний Иошуа Цейтлина и как светски образованный человек, он не мог не питать неприязни к религиозной партии, которая не придавала учености первостепенного значения.

До нас дошла рукописная биография одного из основателей белорусского хасидизма, Шнеура Залмана Борухова (1747–1812), в коей описывается эпизод, когда сего хасида выпустили из Петропавловской крепости (он туда попал по доносу «митнагдим») и отвели в первую попавшуюся квартиру еврея, которая, как оказалось, принадлежала «крайнему митнагдиду»(!) Перетцу. «Когда Перетц, – говорится далее в рукописи, – к своему огорчению, увидел, что Залман вышел на свободу и явился к нему в дом, он велел поставить самовар и сам стал перетирать стаканы и в промежутке начал громко говорить с ним: «Вы воображаете, – сказал он ему, – что вы спасены, так знайте, что вы еще не на свободе – вы попали теперь в мои руки, и я вас не выпущу, пока вы собственноручной подписью не подтвердите, что вы уничтожаете новое учение и прочие вещи, которые не были в обычае у наших предков…» и т. д. Залман был очень опечален и не знал, как ему быть. Хасиды ждали весь вторник прибытия Залмана, но о нем не было никаких известий; они пошли искать его у «митнагдидов», а хасид Мордка Лепольский пришел в дом Перетца, – и каково было его удивление, когда он увидел, что Залман там сидит, а «митнагдид» стоит и оскорбляет его. После этого Залман пошел к Мордко в дом, говоря ему: «Вы меня оживили, ибо, поверите ли вы мне, что время, проведенное мною там, было хуже, чем в Тайной канцелярии…»

Когда в 1802 году, уже при Александре I, для составления законодательства о евреях был создан Еврейский комитет, Абрам Израилевич был одним из немногих евреев, приглашенных участвовать в его заседаниях. Вместе с известным Нотой

Ноткиным и еврейским публицистом Иехудой Лейбом Неваховичем (1776–1831) он участвовал в консультациях членов Комитета. Однако, если Ноткин подавал проекты об улучшении положения единоверцев, а Невахович выступал в печати против распространения в русском обществе антисемитских предрассудков, то роль Перетца как правозащитника иудеев не столь заметна. Как это ни странно, но о трудах Абрама на благо еврейства лучше всего рассказывают его враги. «Сперанский, – пишет сенатор-юдофоб Г. Р. Державин, – совсем был предан жидам, чрез известного откупщика Перетца, которого он открытым образом считался приятелем и жил в его доме». Да, именно М. Н. Сперанский был в Комитете одним из деятельных сторонников гуманного отношения к евреям. По его мнению, иудеи нуждались не в наказаниях и ограничениях, а, напротив, в том, чтобы им давали больше прав и возможностей, дабы, получая образование и доступ к промышленности и торговле, они могли бы применять свои способности к пользе Отечества и отвыкать от паразитического и непроизводительного труда. «Как можно меньше запретов и как можно больше свободы!» – так сформулировал Сперанский политику империи по отношению к евреям. И Перетца по праву называли «еврейским помощником Сперанского» в этом деле. Между тем отношения их часто изображались и изображаются превратно. Так, совсем недавно протоиерей Лев Лебедев заявил: «Очень богатый еврей Перетц дал крупную взятку Сперанскому, и, приняв ее, сей государственный муж сообщил делу такой оборот». Беспочвенность подобного утверждения показал еще в XIX веке весьма осведомленный барон М. А. Корф, который отметил: «Сперанский действительно состоял в близких отношениях к Перетцу… но, несмотря на все наши старания, мы не могли найти ничего достоверного ни о происхождении этих отношений, ни об их значении… Всего вероятнее, что наш государственный человек поддерживал эту связь потому более, что в огромных финансовых знаниях Перетца он почерпал те практические сведения, которых, и по воспитанию и по кругу своей деятельности, не мог сам иметь. Впрочем, связь с Перетцем… славившимся своим коммерческим умом, ни для кого не могла быть зазорною».

Еврейские купцы в Одессе. Литография. Первая половина XIX в.

В этой связи находит свое объяснение факт, из которого Ю. И. Гессен вывел умозаключение о незначительном участии Перетца в деле эмансипации евреев. Ученый обратил внимание на два посвящения, предпосланные книге Неваховича «Кол Шават бат Иегуда» («Вопль дщери иудейской») (Шклов, 1804): одно было адресовано «защитнику своего народа» Ноткину другое – «коммерции советнику» Перетцу. Отсюда следовал вывод, что Ноткин занимался исключительно делами еврейскими, в то время как Перетц сосредоточился на собственных финансах и торговле. Но ведь предельно ясно: наиболее яркой, бьющей в глаза чертой личности Перетца был именно его финансовый гений, что и отразилось в тексте посвящения. И, понятно, это вовсе не исключало его добрую заботу о своем народе, иначе стоило ли вообще посвящать ему книгу?

Напрашивается параллель: подобно тому, как Иошуа Цейтлин заслужил полное доверие Потемкина, так и Перетц, следуя примеру тестя, завязывает дружеские отношения с виднейшим реформатором начала XIX века Сперанским, который, как и «великолепный князь Тавриды», также отличался юдофилией. Те несколько лет, которые он провел в постоянном контакте со своим еврейским другом, генерировали не одну, а целый поток идей. В их число вошла и финансовая реформа 1810–1812 годов, которая, как считалось, во многом обязана своим успехом «наставлениям банкира Перетца» (он разработал основной ее план). И здесь Абрам в который уже раз обнаружил свой острый и подвижный ум: поначалу предложил создать выгодную систему разменных монет при серебряном рубле, а спустя два года, применяясь к новым условиям, объявил законным платежным

средством уже бумажные ассигнации.

Еврейские дети. Литография. Первая половина XIX в.

Во время Отечественной войны 1812–1814 годов Перетц вложил все свое состояние в организацию продовольственного снабжения русской армии; однако казна задерживала платежи, и он вынужден был объявить себя банкротом. Имущество его было распродано за полтора миллиона рублей, хотя его претензии к казне, так и не рассмотренные, составляли четыре миллиона.

В 1813 году Перетц принимает лютеранство. Причиной сего называют прежде всего его разочарование в вышедшем из-под пера Еврейского Комитета «Положении о евреях» (1804), где в результате возобладал не проект Сперанского, а все те же принудительные и ограничительные меры, за кои ратовали другие сановники. Это окончательно подорвало веру Перетца в

возможность эмансипации российских евреев. Существует также мнение, что он, с другой стороны, не мог смириться и с быстро набиравшим тогда силу хасидским движением. Возможно (впрочем, маловероятно), что Абрам Израилевич крестился, чтобы вступить в брак по сильной любви с девицей-христианкой Каролиной де Ломбор (1790–1853) (первая жена Сарра к тому времени умерла). Во всяком случае женитьба на де Ломбор состоялась сразу же после его крещения (от этого брака он имел потом четырех сыновей и пять дочерей).

Как же воспринимали окружающие обращение нашего героя в христианство? Вот что рассказывает в связи с этим литератор Н. И. Греч об отношениях нашего героя с неким П. Х. Безаком:«… Богатый откупщик Перетц, жид, но человек добрый и истинно благородный, зная ум, способности и опытность Безака, предложил ему место помощника по конторе, с жалованьем по 20 тысяч в год и, сверх того, подарил ему каменный дом. Безак решился принять эту должность, поправил свое состояние и испортил всю карьеру званием жидовского приказчика. Подумаешь, как несправедливы суждения света! Что тут дурного и предосудительного? Но это не принято, и дело конченое». Парадоксально, что «жидовским приказчиком» Безака стали аттестовать в 1815 году, то есть тогда, когда Перетц уже обрядился в христианские одежды и формально «жидом» уже не был.

А что сами евреи? Сохранилось такое заявление хасидов: «А что касается доносчика Перетца, да будет проклято его имя, то его низость стала всем известна, когда он, к стыду и позору миснагидов, переменил религию». Знаменательно также, что в большинстве дошедших до нас экземпляров уже упомянутой нами книги Неваховича посвящение Перетцу оказалось странным образом вырезано. Это, по-видимому, также косвенно свидетельствует об отношении иудеев к его отступничеству.

И только Иошуа Цейтлин не порывал связь со своим бывшим зятем даже после его крещения и второй женитьбы. Он не только упомянул Абрама в своем завещании, но и признал за ним право приобретения своего имения «Устье». Как видно, глубокая духовная связь между ними выдержала все испытания временем.

О последних годах жизни Перетца сведений нет. Известно, что он нищенствовал. В письме, написанном на иврите в 1822 году своему родственнику Соломону Цейтлину, Абрам жаловался: «Мои дела в ужасном состоянии, и я ни на кого не могу положиться, кроме нашего небесного отца, который дает пропитание каждому и всем нам. Надеюсь, что Он не оставит меня на посмеяние моим врагам». Последнее упоминание о нем

содержится в завещании Л. Неваховича 1830 года, где тот назначил Перетца своим душеприказчиком. Абрам Израилевич Перетцумер в Петербурге не ранее 1833 года.

Расскажем о некоторых его потомках. Старший сын Григорий (1790–1755) (Гирш) – участник декабристского движения. Получил воспитание в цейтлинском имении «Устье». С 1803 года жил у отца в Петербурге. В 1809 году поступил на государственную службу в чине титулярного советника, а в 1820 году был принят в тайную организацию, примыкавшую к Союзу благоденствия. По его предложению, паролем организации стало слово «херут» (на иврите – «свобода»). В своей революционной пропаганде для обоснования преимуществ конституционного строя он использовал цитаты из Ветхого Завета. Несмотря на то, что Григорий в 1822 году отошел от общества, после подавления восстания декабристов он был осужден на пожизненную ссылку и лишь в конце 1840-х годов получил разрешение поселиться в Одессе. Другой сын Перетца, Александр (1812–1872), – горный инженер, сыграл видную роль в промышленном развитии Урала, был в 1861–1866 годах начальником Корпуса горных инженеров. Младший сын, Егор (1833–1899), стал статс-секретарем Государственного совета (с 1872 года), в 1878–1883 годах – государственным секретарем, затем членом Государственного совета. Представитель либеральной бюрократии и сторонник реформ, он в своих мемуарах (изданных уже в советское время) коснулся и дискуссий в Государственном совете по еврейскому вопросу. Известен и правнук Перетца Григорий Николаевич (1870–1935) – литературовед, академик Российской АН (с 1914 года), член Украинской АН (с 1919 года). Среди его многочисленных трудов имеются исследования о «жидовствующих» и о влиянии средневековой еврейской литературы на русскую. Отдаленным потомком Перетца являлась и замечательный исследователь древнерусской литературы, доктор филологии Варвара Павловна Андрианова-Перетц (1888–1972)…

Ныне имя Абрама Перетца в исторической литературе упоминается редко и почти забыто. Но подлинное долголетие оно обрело в уже известном нам каламбуре «Где соль, тут и Перетц», властно ворвавшемся в городской фольклор Петербурга.

Первый русскоязычный писатель Лев Невахович

Термин «русскоязычный писатель» был, кажется, пущен в ход во времена горбачевской перестройки. Его придумали писатели-почвенники, выдававшие себя за истинных патриотов России, дабы отмежеваться от пишущих на русском языке инородцев (читай: евреев).

Однако первый еврейский культурный деятель, вполне отвечающий определению «русскоязычный писатель», появляется в России еще в начале XIX века. Жизнь и судьба этого литератора весьма поучительны, ибо ему – на удивление национал-патриотам! – удалось соединить в себе то, что кажется им несоединимым: заботу о судьбе евреев и горячую любовь к России и русскому народу. Речь идет о публицисте, драматурге и философе Иехуде Лейбе бен Ноахе, или, как его называли на русский манер, Льве Николаевиче Неваховиче (1776–1831).

Сведения о ранних годах нашего героя весьма скудны. Известно, что родился он в 1776 году в древнем, упоминаемом еще в летописях XIII века польском городке Летичеве Подольского воеводства (ныне Хмельницкая область Украины), где евреи жили еще с незапамятных времен и составляли довольно значительную часть населения. Здесь была синагога и два еврейских молитвенных дома. Когда Иехуде Лейбу исполнился год, Летичев подвергся разорению воинственными гайдамаками, учинившими погромы и избиение еврейских обитателей города, многие из коих вынуждены были спасаться бегством. Но Всевышнему было угодно, чтобы родители Неваховича уцелели в сей кровавой бойне. О них мы знаем лишь то, что они были правоверными иудеями и что отец семейства какое-то время был банкиром в Варшаве. Можно предположить, что Невахович-старший взял на себя расходы по обучению сына и, видимо, привил ему жадный, всепоглощающий интерес к наукам. Факты свидетельствуют: Иехуда Лейб уже до бар-мицвы (!) получил универсальное, поистине энциклопедическое образование. Помимо иврита, немецкого, польского и русского языков, которыми он владел свободно, Иехуда Лейб делал переводы со многих европейских наречий. Он глубоко постиг не только премудрости Торы и Талмуда, но и прекрасно ориентировался в современных ему русской и немецкой литературах. Он всегда отличался неукротимым стремлением к самообразованию (черта, проницательно замеченная историком

Ю. И. Гессеном), постоянно пополняя свой интеллектуальный багаж.

В 1790 году он попадает в белорусский город Шклов – признанный мировой центр Еврейского Просвещения XVIII века, и вскоре становится учителем Абрама Израилевича Перетца (1771–1833), в будущем крупного коммерсанта. С последним они станут потом соратниками и друзьми до конца жизни, о чем мы еще расскажем, а пока зададимся вопросом: какими уникальными знаниями надо было обладать, чтобы стать ментором этого европейски образованного человека?! Ведь Перетц к тому времени не только получил традиционное еврейское образование (он был выпускником иешивы), но свободно говорил на русском и немецком языках, владел светскими науками, был ревностным сторонником Еврейского Просвещения (Хаскалы), идеологом которого был Мозес Мендельсон. Понятно, что учить такого школяра было столь же почетно, сколь и ответственно.

Оказавшись в Шклове, Невахович окунулся в атмосферу напряженной интеллектуальной жизни. К тому времени здесь нашли себе приют выдающиеся представители Хаскалы. Тесть Перетца Иехошуа Цейтлин – крупный гебраист и толкователь Талмуда – был основателем бет-га-мидраш, своего рода народной еврейской академии, где многие маскилим, получая все необходимое для жизни, могли предаваться своим ученым занятиям. Иехуда Лейб свел знакомство и с медиком, пионером белорусского просвещения Барухом Шиком; и с известным писателем и педагогом Мендлем Сатановером; и со знатоком библейского языка и его грамматики Нафтали-Герцем Шулманом и др.

Ревностным последователем учения Мендельсона становится и Невахович. Но в отличие от Цейтлина и Перетца, испытавших на себе влияние раввинизма (меснагдим) с его резким неприятием духовного движения хасидов, он обнаруживает в этом вопросе завидную широту и толерантность, акцентируя внимание не на том, что разъединяет евреев, а на том, что их объединяет. Еще одна отличительная черта Неваховича, обозначившаяся еще в юности, – это его неизменный и неподдельный интерес к русскому языку, на коем он писал и говорил безупречно. Этим он резко выделялся на фоне остальных маскилим, которые в сущности были космополитами. Это признает и А. И. Солженицын: «Невахович, из просветителей-гуманистов, но не космополит, а привязанный к русской культурной жизни, исключительное тогда явление среди евреев».

В конце 1790-х годов Иехуда Лейб обосновывается в Петербурге, где живет в доме своего бывшего ученика и друга

Перетца. Перетц и Невахович сразу же вливаются в еврейскую общину столицы, основанную другим выходцем из Шклова, ревнителем эмансипации иудеев Нотой Ноткиным (ум. 1804). Их духовные связи с деятелями Хаскалы не прерываются.

В 1798 и 1800 годах Невахович занимается переводом с иврита письменных материалов по делу лидера белорусского хасидизма рабби Шнеур-Залмана бен Баруха, дважды арестованного русскими властями по ложным доносам меснагдим. При этом он не только сочувственно отнесся к несправедливо обвиненному хасиду, но и, как полагает историк А. Рогачевский, способствовал его освобождению. Чтобы понять всю смелость и нестандартность такой позиции Неваховича, достаточно вспомнить обращение с Шнеур-Залманом того же Абрама Перетца. Последний жестоко оскорблял хасида, насильно запер его в своем доме, чем напомнил ему мрачные застенки Тайной канцелярии…

Человек книги, Невахович всецело отдается творчеству. Свои размышления и душевные переживания он поверяет бумаге. «Тайная некая сила призывает меня к перу», – признается он. Дебют Иехуды Лейба как литератора являют собой его «Стихи» на день восшествия императора Александра I на престол 12 марта 1801 года, подписанные «Верноподданейший Еврей Лейба Невахович». Это ода, стихотворный текст которой написан на древнееврейском языке и сопровождается русским прозаическим переводом. Как отмечает культуролог В. Н. Топоров, «в оде нет и следов сервильности или неумеренности славословий. Зато она весьма дипломатична… автор подчеркивает и свою принадлежность к евреям и избранную им поэтику, ориентирующуюся на образы еврейской библейской традиции». Вот какой панегирик слагает сочинитель императору:

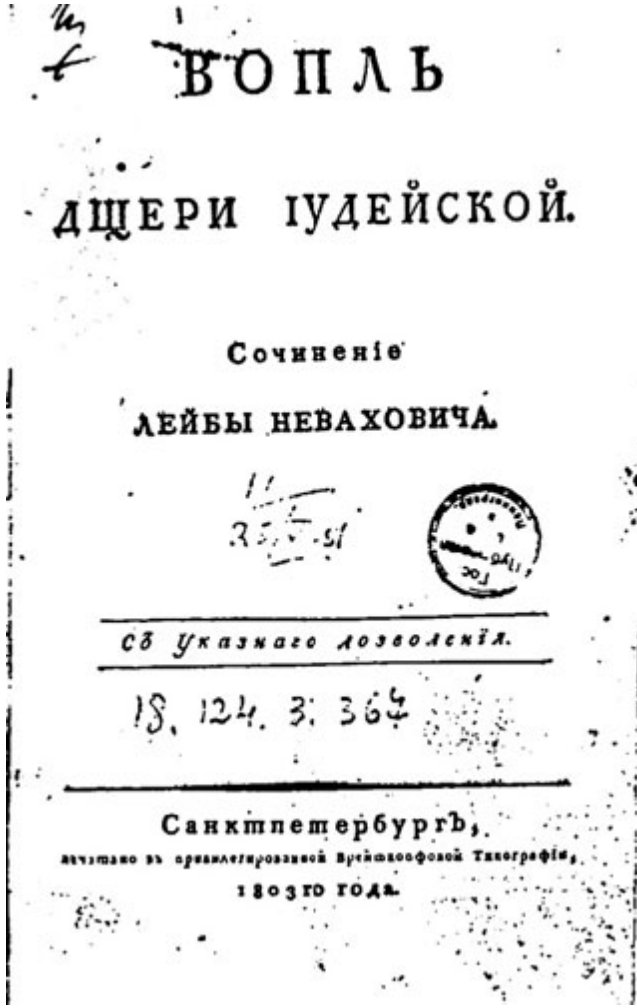
> Красота Иосифа блистает в чертах образа Его,
> а разум Соломона царствует в душе.
> Народы о сем восхищаются во глубине сердец своих
> и взывают подобно как древле пред Иосифом:
> Се юн в цветущих летах, но отец в научении!
> Под его токмо Скипетром живущие народы чают,
> что никогда не произыдет между ними крамола
> от нетерпимости и разнообразия вер.

Использование славянизмов (атрибутов высокого «штиля») для жанра торжественной оды вполне оправданно и понятно. Заслуживает внимания другое – нарочитое использование автором-евреем ветхозаветной образности (царь Соломон,

библейский патриарх Иосиф). Как заметил филолог О. А. Проскурин, «во всех основных европейских языках… само название еврейства как бы свидетельствовало о свершившемся отделении современного еврейства (несущего на себе «печать проклятия») от древнейшего, библейского бытия».

Примечательно, что и в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина такое отделение и даже противопоставление явственно прослеживается. Он пишет: «Мне хотелось видеть их Синагогу. Я вошел в нее как в мрачную пещеру, думая: Бог Израилев, Бог народа избранного! здесь ли должно поклоняться Тебе? Слабо горели светильники в обремененном гнилостию воздухе. Уныние, горесть, страх изображались на лице молящихся; нигде не видно было умиления; слеза благодарной любви ничьей ланиты не орошала; ничей взор в благоговейном восхищении не обращался к небу. Я видел каких-то преступников, с трепетом ожидающих приговора к смерти и едва дерзающих судию своего просить о помиловании».

Для Неваховича, озабоченного бесправным положением своих соплеменников, важно снять с них эту «печать проклятия». Потому, употребляя библеизмы, он обозначает тем самым духовную связь и преемственность нынешних иудеев с пророками и мыслителями далекого прошлого. В этой связи приобретает особый смысл и упоминание автором Екатерины II («В тебе водворяется небесная душа Екатерины Великой»). Ведь именно эта императрица запретила в государственных документах употреблять оскорбительное слово «жид», заменив его на «еврей». Слово же «еврей» ассоциируется с Библией, и когда Невахович указывает: «Сочинил по-еврейски… Еврей Лейба Невахович», он словно подчеркивает, что произведение свое написал представитель богоизбранного народа на языке Священной книги. К слову, не только Невахович, но и другие борцы за права евреев прибегали к сравнениям бытия иудеев с их древними праотцами. Яркий пример тому – Нота Ноткин в своем Проекте 1797 года обосновывает пригодность евреев к земледельческому труду именно ветхозаветной традицией.



ВОПЛЬ

ДЩЕРИ ІУДЕЙСКОЙ.

Сочиненіе

ЛЕЙБЫ НЕВАХОВИЧА.

35.F.51

Съ Указнаго дозволенія.

18. 124. 3. 364

Санктпетербургъ,

печатано въ привилегированной Вольной типографіи,

1803 го года.

Л. Н. Невахович. Вопль дщери иудейской. Спб., 1803. Титульный лист

В 1802 году в Петербурге начинает свою деятельность Комитет по благоустройству евреев (так называемый Еврейский комитет), в коем в качестве помощника принял участие и Невахович: он консультировал иудеев-членов Комитета Ноткина и Перетца. Именно в связи с работой Комитета Лейба выпускает в свет свою книгу «Вопль дщери иудейской» (Спб., 1803) с посвящением министру внутренних дел В. П. Кочубею – аллегорическое изображение положения евреев в России начала XIX века. В 1804 году книга в переработанном виде выходит на иврите в Шклове (там была типография с древнееврейскими литерами) под заглавием «Кол Шават бат Иегуда» с посвящениями «защитнику своего народа» Ноткину и «коммерции советнику» Перетцу «Вопль дщери иудейской» –

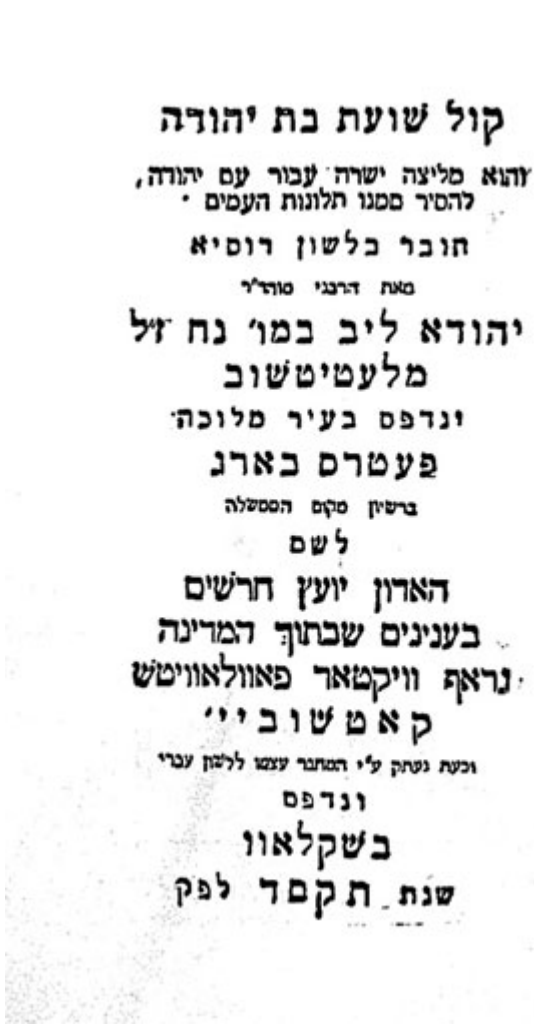
первое в российской словесности произведение еврея на русском языке. И символично, что появилось оно в то время, когда, возвысив голос в защиту своего человеческого достоинства, представители русского еврейства отстаивали право своего народа на гражданские свободы. А потому – то был вопль не только дочери, но и всех российских иудеев, униженных и экономически, и нравственно. И унижение нравственное для автора тягостнее реальных последствий общественного остракизма. Невахович обнажает душевные раны евреев. «Быть презренным – сего не довольно! – пишет он. – О, мучение, превосходящее всякую горесть на свете! О, мучение, меры которого ни один смертный изъяснить не может! Если бы громы, ветры, бури и шумное треволнение океана, смешиваясь с воплем человека презренного, составили единый глас: то разве бы тогда такой ужасный вопль мог выразить великость страдания оного!»

Обладая боевым темпераментом, автор в порыве бурного возмущения гневно обличает извечную заскорузлую ненависть к евреям: «Веки – народы обвиняют Иудеев… то обвиняют их в чародействе, то в неверии, то в суеверии… Веки еще не успели открыть тщеты умыслов против них, как уже наступали новые. Подобно звеньям неразрывной цепи соединены оные к утеснению только сего народа, подобно жребием своим несчастному сыну, страждущему среди семейства ненавидящего его. Братья его толкуют все его поступки в худую сторону, и, если когда открывается пред ними его невиновность, то они, как бы стыдясь прежних своих ошибок, стараются навлечь на страдальца новые обвинения, дабы продолжать его мучения и заглушать укоризны совести».

Писатель апеллирует к чувствам добрым христиан, живущих бок о бок с евреями: «О, христиане, славящиеся кротостью и милосердием, обратите к нам нежные сердца ваши!..

Ах, христиане!.. Вы ищете в человеке Иудея, нет, ищите лучше в Иудее человека, и вы без сомнения его найдете. Примечайте только… Клянусь, что Иудей, сохраняющий чистым образом свою религию, не может быть злым человеком, ниже худым гражданином!!!» Свои мысли и чувства он от имени дщери иудейской адресует непосредственно к россиянам: «Возлюбленные Россияне! – К вам преимущественно обращаюсь; пред вами осмеливаюсь отверсти уста мои; пред вами, снисходительные и непоставляющие себе за стыд быть собеседниками с несчастною дщерию Израиля, не взирая на то, что я другого племени, закона и униженного жребия… Пред вами изливаю я сердце мое. Так, находясь в бездне ничтожества, я видела благодетельного сына вечности, протекший 18 век, век

человеколюбия, век терпимости, век кротости… век беспримерный в Истории, век, который возвел Россию на вышнюю степень благополучия, – Россию, которою я принята как дщерь».



קול שועת בת יהודה

והוא מליצה ישרה עבור עם יהודה,
להסיר מפנו תלונות העמים.

חובר בלשון רוסיא

מאת הרבני מוהר"ר

יהודא ליב במו"ה נח זאל
מלעטיטשוב

ונדפס בעיר מלוכה

פעטרס בארג

בדפוס סקם הממשלה

לשם

הארון יועץ חרשים
בעניים שבתוך המדינה
נראף וויקטאר פאוולאוויטש
קאטשובי'

וכעת נעתק ע"י המחבר עצמו ללשון עברי

ונדפס

בשקלאוו

שנת תקסד לפק

Л. Н. Невахович. Кол Шават бат Іегуда. Шклов, 1804. Титульный лист

И Невахович настоятельно подчеркивал, что был сыном своего Отечества, считал себя русским Моисеева закона. «Любовь к Государю и Отечеству, восхищение о нынешних просвещенных временах, удовольствие и некоторый род любочестия и гордыни, что могу наименовать Россиян соотчичами, и соболезнование, снедающее мою душу в рассуждении моих соплеменников – вот изображение духа, который водит здесь слабым пером моим», – пишет он в предисловии «От сочинителя». Историк Ю. И. Гессен говорит в этой связи о своего рода двойственности нашего героя;

о том, что, выразив соболезнование своим единоверцам, он тут же изливает любовь и привязанность к сынам «народа знаменитого, народа великого», часто столь нетерпимого к евреям. Однако никакого противоречия здесь нет. Действительно, его любовь к русским по своей силе не уступала, если не превышала, его привязанности к родному племени. Касательно же распространенных антисемитских настроений, цель Неваховича как раз и состояла в том, чтобы умножить число сторонников евреев – мысль утопическая, но какое творчество обходится без утопии?!

Английский историк Дж. Клир говорит о непосредственном влиянии на это произведение идей Хаскалы, французской просветительской мысли XVIII века, теорий Дж. Локка и т. д. Он указывает и на свойственный повествованию «сентиментальный стиль». А американский исследователь Д. Шифман усматривает здесь воздействие сочинений зачинателя русского сентиментализма Н. М. Карамзина. В самом деле, Невахович апеллирует здесь не столько к разуму, сколько к чувству, сердцу (он часто употребляет это слово!) «соотчичей», т. е. соотечественников. Близко было писателю-иудею и сочувственное изображение его единоверцев, представленное Карамзиным в «Письмах русского путешественника».

Выработанное Комитетом «Положение о евреях» 1804 года вызвало у Неваховича горькое разочарование и похоронило в нем надежды на эмансипацию и интеграцию иудеев – даже просвещенных и добродетельных! – в русское общество. Писатель отходит от еврейской тематики. Зато все громче звучит у него патриотическая нота. В 1804 году он публикует философский трактат «Человек в природе. Переписка двух просвещенных друзей», проникнутый идеями просветительского рационализма. Казалось бы, это лишь отвлеченное теоретизирование, но в первом же письме автор вдруг клянется в любви к родине. И это несмотря на то, что народы, населяющие Россию, различны по вероисповеданию и что есть среди них такие, которые, как он пишет, «не признают в нем брата»! Он верит в победу разума над «предрассудками», ратует за веротерпимость, за «братское» сосуществование народов – без войн, грабежей и взаимного «ожесточения».

Обращают на себя внимание опубликованные Неваховичем в журнале «Лицей» «Примечания на рецензию, напечатанную в… «Allgemeine Literaturzeitung»… на «Опыт повествования о России», соч. Елагина» (1806, ч. 3, кн. 2). Автор не столько защищает исторический труд И. П. Елагина от нападок иноземных критиков, сколько рассуждает о престиже и авторитете России. В

первой же фразе «Примечаний…» он признается: «Давно уже я желал сказать нечто касательно невыгодного мнения чужеземцев о России». И далее продолжает в чисто русофильском духе: «Сколь с одной стороны не простительно тем чужеземцам, которые позволяют себе без должного размышления осуждать Россиян и основывать суд свой на одних поверхностных сведениях, столь с другой стороны прискорбно, что Россияне доселе *допускали* [курсив Неваховича! —*Л. Б.*] еще иноземцам думать о них превратно и предосудительно».

Он называет русских «народом знаменитым по быстрым и чрезвычайным успехам» и призывает: «Самые оскорбительные нарекания должны наконец воспламенить ревность Россиян». Давая отповедь некоторым нелепостям и басням чужестранных историков, пишущих о России, он настоятельно подчеркивает: «Иностранцы, не зная Русского языка, не знают и не могут знать духа Российского народа в настоящем его существе… Россияне всегда имели мужественный дух, язык глубокий и обширный».

И тут с нашим героем происходит досадная метаморфоза: Невахович, который совсем недавно в «Вопле дщери иудейской» риторически вопрошал: «Есть-либ мы отвергли свой закон, чтоб уравняться в правах, то сделались ли бы чрез то достойными?», в 1806 году отказывается от иудаизма и принимает лютеранство (так же впоследствии поступит и его друг Перетц) и даже женится на христианке – немке Екатерине Михельсон (1790–1837). Нет сомнений, что Иехуда Лейб, который теперь уже называл себя не иначе, как Львом Николаевичем, предпринял этот шаг из карьеристских соображений. Тем более что живого интереса к своим соплеменникам он вовсе не потерял. Вот только одно свидетельство – в 1809 году мы находим его имя среди подписчиков еврейского просветительского журнала «Маасеф» («Собиратели»), сыгравшего важную роль в культурном движении Гаскалы (в нем принимали участие такие признанные его апологеты, как М. Мендельсон, С. Маймон, Н. Вессели и др.).

Теперь уже карьера Льва Николаевича вполне задалась. После крещения он получил потомственное дворянство и чин колежского регистратора, а вскоре и губернского секретаря. В 1809 году был зачислен в службу подканцеляристом в Экспедицию о государственных доходах Министерства финансов. В нем вдруг обнаруживается и предпринимательская жилка, и параллельно, при участии финансового гения – его друга Перетца – он успешно подвизается на ниве коммерции: занимается военными поставками. Постепенно он обрастает связями в бюрократическом мире (особенно полезным оказалось его близкое знакомство с влиятельнейшим сенатором, комиссаром

Царства Польского Н. Н. Новосильцевым) и деловых кругах. В 1815 году его производят в титулярные советники.

Его трагедия «Сульеты, или Спартанцы осьмнадцатого столетия. Историческое повествование в пяти действиях», поставленная на сцене Александрийского театра 30 мая 1809 года, имела шумный успех. Приуроченная к приезду короля греко-албанской республики Сулли, который вместе с Александром I посетил премьеру, пьеса была тем более злободневна, что повествовала о героической борьбе греков-сулиотов, обитавших в нижней Албании, против завоевателей-турок. Успешный исход этой борьбы за независимость не мог не привлечь внимание русского зрителя и, более того, самого царя. Говоря о драматургических особенностях пьесы, исследователи отмечают «экзальтированный патриотизм «неустрашимых греков», экзотичность аксессуаров, введение батальных сцен с хорами и особое внимание к женскому героическому характеру». Последняя партия пьесы обретала свою актуальность именно для российского патриота. Героиня трагедии Амасека, вдохновительница побед над турками, восклицала: «Потомки Лакедемонцев! Достойные братья храбрых Славян! [вот где ключевая идея! —*Л. Б.*] От собственных дел познавайте, что может произвести единодушный народ при истинной любви к отечеству, – народ, который не хочет быть побежденным, исполнен любви и доверенности к своим начальникам и уповает на Бога! – Поспешим во храм и принесем совокупное благодарение за спасение Отечества».

Автор посвятил эту пьесу известной даме сердца царя, фрейлине М. А. Нарышкиной, и удостоился высшей монаршей милости: был зван в императорскую ложу и получил золотую табакерку с бриллиантами. В спектакле участвовали лучшие петербургские актеры: А. Д. Каратыгина, Е. С. Семенова, М. И. Вальберхова, Рыкалова, Бобров, Сахаров и др. Рассказывали, что когда во время премьеры занавес опустился, правитель Сулли и делегация сульетов поднесли А. Д. Каратыгиной (она исполняла роль Амасеки) драгоценные подарки. «Сия драма есть одно из превосходнейших сочинений в своем роде», – восторженно писал о ней литератор Н. И. Греч. Пьеса не сходила со сцены почти два десятилетия.

Закономерно, что российский патриотизм приводит Неваховича в стан предтечей славянофильства в русской культуре. Еще в 1805 году он защищает от нападок критики стихотворца С. С. Боброва, ученика старовера и архаиста А. С. Шишкова. В статье «Мнение о разборе 2-й песни «Тавриды»…» («Северный вестник», 1805, № 8) он защищает

метафорическую усложненность стиля Боброва, ссылаясь на то, что вдохновение не подвластно правилам. А литературовед В. Л. Коровин высказал предположение, что Бобров пользовался советами Неваховича при написании эпической поэмы «Странствующий слепец, или Древняя ночь Вселенной» (1807–1809).

В 1809 году Лев Николаевич сближается и с известным поэтом и драматургом, будущим непременным членом «Беседы любителей русского слова» А. А. Шаховским, и даже живет у него в доме. Шаховской был занят написанием пьесы на ветхозаветный сюжет «Дебора, или Торжество веры» и обратился к еврею Неваховичу именно как к знатоку истории Израиля и Священного Писания. Вот что он потом напишет: «Я почитаю своей обязанностью сказать, что г-н Невахович, сочинитель «Сулиотов», воспомоществовал мне не только своими сведениями в еврейской словесности, но даже он (по сделанному нами плану) написал некоторые явления 1 – го и 2-го действий, переложенные мною с небольшими изменениями в стихи; многие мысли и изречения в роли первосвященика извлечены им из Священного Писания; политическая речь Деборы почти вся принадлежит ему. Итак, я с удовольствием признаюсь пред всеми, что его дарования, сведения и здравый ум много способствовали к успеху пиесы». В основе сюжета трагедии лежит библейский рассказ о подвиге еврейской пророчицы Деборы, избавившей свой народ от ханаанского ига. Однако для русской гражданской и патриотической поэзии начала XIX века библейская и, в частности, ветхозаветная образность приобрели особый смысл и значение. В сознании россиян (особенно накануне Наполеоновского нашествия) состояние гражданской ответственности за судьбу отечества ассоциировалось с Ветхим Заветом, с борьбой древних иудеев за освобождение Израиля. Так само еврейство Неваховича работало на идею русского патриотизма.

А. А. Шаховской

Интересно, что враждебные Шаховскому «арзамасцы»-новаторы приписывали писателю-еврею более значительное участие в создании трагедии. Литератор Д. В. Дашков в язвительной памфлентной кантате «Венчанье Шутовского» иронизировал:

Еврей мой написал Дебору,
А я списал.
В моих писаньях много вздору —
Кто ж их читал?

Примечательно, что эти шутливые строки переписал в свою тетрадь шестнадцатилетний лицеист А. С. Пушкин.

Трагедия «Оден, царь скифский» (1810), переведенная со шведского, была лишена литературных достоинств и повлекла за собой уничтожающий отзыв литератора А. Е. Измайлова, который назвал сей опус «рукодельем израильтянина Неваховича». Он писал: «От сотворения мира не было на театре такой глупой пиесы, но пиеса эта – трагедия, а трагедии очень любит наша

публика». Пьеса на сцене не удержалась и была поставлена всего дважды.

В дальнейшем Невахович сосредоточился на делах, от изящной словесности весьма далеких, в коих весьма преуспел. В 1813 году он под покровительством всесильного Новосильцева переезжает в Варшаву и становится главным поставщиком продовольствия и фуража для русской армии в Польше. Ему удается оттеснить докучливых конкурентов и в 1816 году (при поддержке того же Новосильцева) заполучить право на управление всей табачной монополией в Царстве Польском. Дальше – больше: в его руках оказывается продажа спиртного и мяса в Варшаве, аренда кошерного дохода и т. д. С 1821 года он служит уже в Правительственной комиссии финансов в Варшаве и в награду за усердие и рвение получает ордена Св. Станислава 4-й степени и Владимира 4-й степени. Обласканный властями, Лев Николаевич становится одним из самых богатых людей Царства Польского, владельцем многих домов и роскошного трехэтажного особняка в Варшаве. И хотя в деловых кругах он снискал себе репутацию надежного партнера и умелого организатора, мелкие торговцы и шляхта почитали его плутократом, разоряющим страну. Неудивительно поэтому, что в первый же день Польского восстания 29 ноября 1830 года мятежная чернь разгромила дом Неваховича в Варшаве. Но хозяин, по счастью, не пострадал – бежал за полтора месяца до сего события, прихватив с собой деньги и драгоценности. Своим детям он оставит потом весьма крупное состояние, назначив своим душеприказчиком друга юности Перетца.

Израильский исследователь М. Вайскопф утверждает, что «художественная фантазия на тему откупщика Лейба Неваховича, выкрестившегося во Льва Николаевича» представлена в повести Р. М. Зотова «Приезд вице-губернатора» (1839): «Ах, Боже мой! Да этот жид здесь? Теперь я вспомнил о нем. Он везде вертелся по передним… Его звали Лайбою, но он, кажется, перекрестился и ходит во фраке… Он у вас там понажился у откупов, записался в гильдию и стал уже чиновником. Он уже, брат, канцелярист, почти офицер». И хотя персонаж повести действительно аттестует себя Львом и действует на пару со своей женой-немкой, есть основания усомниться в направленности филиппики Зотова: ведь повесть была написана спустя восемь лет после смерти Неваховича, и, понятно, в этих условиях сей конкретный адресат совершенно терял свою актуальность.

Так или иначе, но реализовав себе вполне в сферах карьеры и благосостояния, Лев Николаевич как будто успокаивается на этом и пописывает лишь от случая к случаю. Прошла пора

читательского и зрительского успеха, и приходится признать: некогда талантливый писатель растерял и прежнюю свою мастеровитость, и литературный дар. Поздние опыты Неваховича заслуживают лишь упоминания. В 1817 году в журнале «Сын Отечества» (№ 30–31) появляется его перевод «Речи о просвещении» Т. Ф. Рейнбота; в 1823 году – пьеса на восточную тему «Абу-Хассан, или Прожектер» (на польском языке), она шла в Варшаве, но на сцене не удержалась. В 1829 году Невахович издает перевод первых пяти книг «Мыслей, относящихся к философической истории человечества» немецкого мыслителя и историка И. Г. Гердера. Перевод был подвергнут сокрушительной критике в журнале «Московский телеграф» (1829, № 17). В 1832 году, уже посмертно, в Императорском театре было поставлено его «историческое представление» «Меч провидения, или Надир Тахмас Кули Хан», но и оно прошло незамеченным.

Невахович похоронен на лютеранском (Волковом) кладбище в Петербурге. На его надгробном монументе выгравирована надпись: «Там обители, миры, пространства – они блистают в полной юности, после истечения тысящелетий; перемена времен не лишает их лучезарного света. Здесь-же под вашими взорами все истлевает, время угрожает разрушением земному великолепию и земному щастию… Из трудов покойного».

Очень выразительно и проникновенно пишет о жизни Неваховича культуролог В. Н. Топоров: «Он вкусил и немало горечи, испытал и неудачи, и неблагодарность, и разочарование, и крушение иллюзий. Как, умирая, оценивал сам Невахович свою «русскую» жизнь, мы не знаем, но в России на рубеже двух веков и двух тысячелетий память о нем сохраняется, точнее, оттаяла после десятилетий ледяной стужи, беспамятства и равнодушия, и эта память – признательная и благодарная: она прежде всего о самом человеке и о лучшем из того, что им сделано».

Свой среди чужих? Абрам Соломонов

Книга «Мысли израильтянина: В двух частях / Сочинение Еврея Абрама Соломонова» (Вильно: В типографии М. Зимилиовича, 1846) обойдена вниманием исследователей. «Еврейская энциклопедия» удостоила Соломонова лишь краткой биографической справкой Ю. И. Гессена. А небольшая главка в книге израильского слависта М. Вайскопфа «Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма» (2008) завершает круг главных источников.

«Мысли израильтянина» А. Соломонова не впечатлили современного израильтянина М. Вайскопфа. Труд сей он называет «несуразным», «хилым исчадьем неравного брака, заключенного между департаментом и синагогой». Да и о самом авторе книги исследователь говорит с нескрываемой иронией: он предстает у него рептильным и смиренным панегиристом власть имущих, который почему-то «ничуть не обижается» на то, что его как иудея «вернули в черту оседлости» (непонятно, правда, как надлежало ему в книге сию обиду выразить). А вот все свои укоризны Соломонов будто бы адресует «иудейской религии и коснеющим в неразумии единоверцам». Достается и слогу сочинения Соломонова, который М. Вайскопф аттестует не иначе, как «смесь клерикального и канцелярского жаргона».

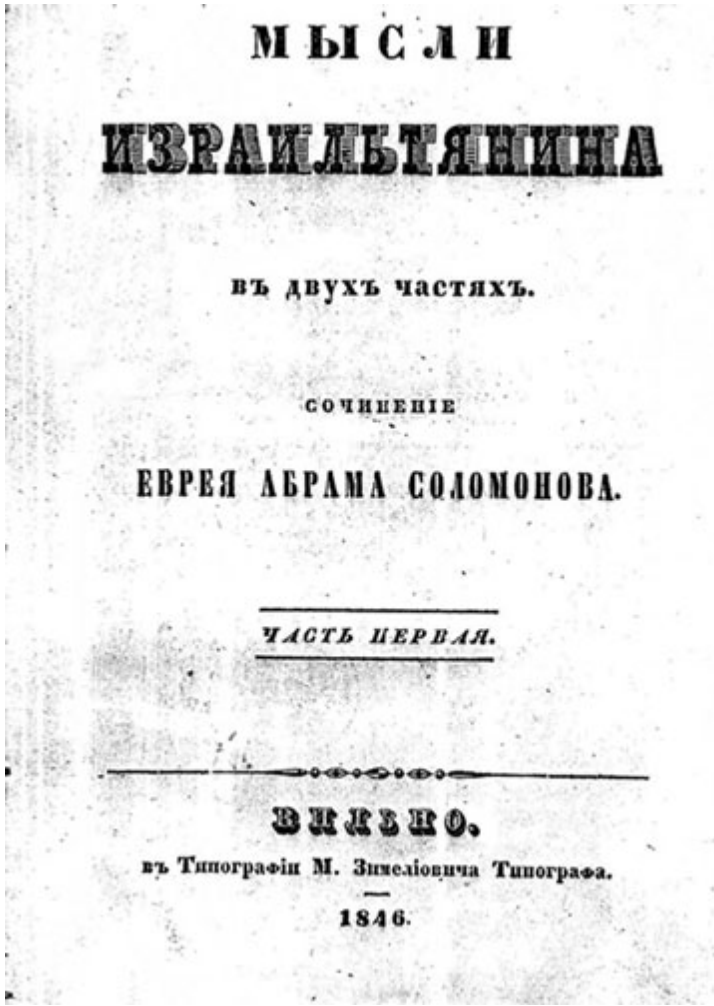
Между тем жизнь и судьба Абрама Соломонова замечательны, а его книга представляет несомненный историко-культурный интерес. Он родился 18 ноября 1778 года в Минске, в семье «священнослужителя, казначея и чтеца синагоги». Отец нашего героя, судя по всему, был человеком широко мыслящим, просвещенным и преданным еврейскому делу. Он не только наставлял сына «в правилах Талмуда Вавилонского», но и поощрял в нем стремление к общему образованию, «страсть к словесности», к изучению иностранных наречий. Наряду с глубокими познаниями в языке пращуров, Абрам овладел русским, польским и немецким языками, что по тем временам было большой редкостью среди иудеев. Интересно, что отец Соломонова на закате дней станет израильтянином в буквальном смысле слова: он, как пишет автор, «в 1823 году отправился в св. град Иерусалим, где увенчал свою старость теплыми молитвами».

Как это водилось в иудейских семьях, Соломонов женился рано и в 19 лет «увидел уже себя отцом целого семейства, требующего постоянного о нем попечения». Отец хотел «оставить

ему в наследство свой сан [раввина. – *Л.Б.*]», но сын избирает иную стезю, тяготея к трудам письменным. С 1800 года он служит в Минске переводчиком с еврейского на русский и польский языки; с 1802–1808 гг. работает письмоводителем в 1-ом департаменте Минского главного суда. По-видимому, Абрам проявил здесь себя наилучшим образом, ибо этого способного еврея назначают бургомистром Минского городского магистрата, и в сем звании он состоит «два трехлетия» (1814–1820).

Заприметило его и столичное начальство, и в 1820 году Соломонов попадает в закрытый для его единоверцев Петербург и определяется на недозволенную иудеям государственную службу, причем подвизается на сем поприще 18 (!) лет – сначала письмоводителем и переводчиком Депутации еврейских обществ, а затем «занимается стряпческими делами». Несмотря на ходатайства непосредственного руководства «из уважения его способности», Соломонов не был освобожден от подушного оклада: юдофобская власть «сделала ему в том преграду» из-за исповедуемой им веры, но нареканий по службе он, как видно, не имел и был лестно аттестован начальством. Однако в 1838 году он получил отставку и как иудей вынужден был оставить Петербург. А когда промедлил с отъездом, то за проведенные нелегально в столице три месяца был осужден в рекруты на два года. Надо представить себе шестидесятилетнего ветерана, к тому же жида, тянувшего солдатскую лямку при Николае Палкине! Абрам был помилован только через полтора года, «в уважение раздроенного положения» его семейства, а также «ввиду его преклонных лет».

После рекрутчины Соломонов обосновался в родном Минске, где и пишет «Мысли израильтянина», которые завершает к 1841 году. Чтобы издать книгу, он ищет влиятельного покровителя, коим становится «Господин Раввин Виленского Еврейского Общества Израиль Абрамович Гордон», которому и посвящена книга. И. А. Гордон был видным еврейским деятелем той поры и в 1838 году вошел в группу виленских маскилов, встречавшихся с министром народного просвещения графом С. С. Уваровым: обсуждались реформа еврейского образования, новые программы еврейских училищ. В Минске, в окружении многочисленного семейства (он был уже прадедом), Абрам и окончил свои труды и дни. Данных о времени смерти Соломонова нет. Известно лишь, что в 1844 году он еще здравствовал (год этот упомянут в тексте книги и указан в цензурном разрешении).



МЫСЛИ

ИЗРАИЛЬТЯНИНА

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

СОЧИНЕНІЕ

ЕВРЕЯ АБРАМА СОЛОМОНОВА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВИЛЬНО.

въ Типографіи М. Зимеліовича Типографа.

1846.

А Соломонов. Мысли израильтянина. Титульный лист

Книга «Мысли израильтянина» одушевлена идеалами Хаскалы, утопической космополитической мечтой о том, что во времена оны мир «примет на себя название одного града, и все народы одного семейства, то есть когда будет один язык, один пастырь и одно стадо». Многие высказанные здесь максимы не отличаются новизной и вполне созвучны просветительским установкам маскилов. Да и сам Соломонов на оригинальность не претендует. «Я не изобразил и не издаю в свет ничего нового, – признается он в предисловии. – Мой труд состоит только из св. Писания, из Талмуда и других богословских и философских сочинений разных известных авторов, и в систематическом изложении по предложенному мною плану». Он обильно цитирует Тору, Талмуд, а также труды Маймонида, Езекиля Дреченского, М. Мендельсона, Ж. Б. Капфига, Фридриха

Великого, митрополита Филарета, Г. Томсона, Евгения Булгариса и т. д., проявляя завидную эрудицию. И план, и сам отбор материала для книги, и некоторые высказанные здесь положения говорят о своеобразии мировоззренческой позиции автора.

Муштра рекрутов во времена Николая I. Зарисовка А Васильева

Сочинение предваряет краткий экскурс в правовое положение евреев в Европе после их рассеяния. Соломонов достаточно подробно останавливается на гуманных к евреям законах первого христианского императора Рима Константина Великого с его религиозной толерантностью. Средние же века видятся автору «тысящелетнею ночью нравственного мира и морем, внезапно взволновавшимся от крестовых походов, представляющих горестную картину… народов, особливо еврейского, как это видно из плаксивых элегий поэта, освященных Синагогою».

Истории евреев в Польше уделена целая глава. Автор с восхищением пишет, как во времена Болеслава II «в городе Праге евреи, пожертвовав собою для будущих сограждан своих, вступили с язычниками в бой и их совершенно разбили и рассеяли… Этот подвиг обратил на себя внимание всех европейских христианских государей». Но все меняется, и «ночь нравственного мира» опускается и на Польшу. Тон повествования Соломонова взволнован, перо как будто дрожит. Череда за чередой следуют описания гонений, преследований, изуверских

законов; Конституции 1538 года, когда иудеям предписывалось ходить в желтых шапках; насильственных крещений; сожжений на кострах за одно подозрение в прозелитизме.

Особенно ранит его сердце напраслина, возводимая на евреев. С горечью пишет он о ложных наветах об отравлении евреями колодцев, о том, что «довольно было одного слова: крестить, повесить!», и, конечно, об обвинениях в ритуальных убийствах. «Сии нелепые клеветы текли со всех сторон на несчастных евреев, – негодует Абрам, – дабы предать их всяким мучениям. Они занимались рукоделием и торговлею; их почитали богатыми, и знатное духовенство и дворянство нарочно возбуждало народ против потомков Авраамовых для того, чтобы по истреблении их захватить в свои руки все ими приобретенное богатство». Здесь Соломонов, казалось бы, говорит о кровавом навете в Польше, а вот выдержку приводит из сочинения российского писателя Н. М. Карамзина! И слова эти неожиданно обретают злободневность. Ведь именно тогда, в 1840 году, на весь мир прогремело ритуальное дело в Дамаске, когда группу евреев обвинили в убийстве миссионера патера Томаса, и в России еще свежа была память о Велижском деле по обвинению в умерщвлении мальчика Ф. Иванова. В отечестве Соломонова в тюремных норах годами томились десятки «потомков Авраамовых», а некоторые так и умерли в заключении. Оправдательный приговор вынесли только в 1835 году, благодаря усилиям сенатора Н. С. Мордвинова: он убедил Государственный совет в том, что «евреи пали жертвою заговора, жертвою омраченных предубеждением и ожесточенных фанатизмом следователей». Однако Николай I изволил заметить, что «внутреннего убеждения», будто тайны крови у евреев не существует, у него «нет и быть не может», и «между евреями существуют, вероятно, изуверы или раскольники, которые христианскую кровь считают нужною для своих обрядов». Государь дал указание главе Департамента иностранных исповеданий МВД В. В. Скрипицыну подготовить секретную записку «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их», которая вышла анонимно в 1844 году, а затем сию антисемитскую поделку тиражировали миллионами копий и освятили именем почтенного В. И. Даля.

Как истый маскил, Соломонов самое серьезное внимание уделяет просвещению своих единоверцев, при этом приводит ссылки на правительственные постановления, поощрявшие евреев к получению образования (1804 и 1835). Он обильно цитирует Талмуд («Незаконнорожденный, но просвещенный предпочитается первосвященнику-невежде» и др.) и резюмирует:

«Вот решительное заключение Талмуда, которое отдает просвещению право и преимущество самые высокие». Вообще, книгу Соломонова отличает своего рода «талмудоцентризм». И в этом ее огромная заслуга. Он говорит о Талмуде с благоговением, как о «великом творении», «самом блистательном у евреев учении», «священной книге». Важно и то, что получать общее образование он призывает только тех иудеев, «которые окажутся не способными к изучению Талмуда»(!), подчеркивая тем самым примат иудейских духовных ценностей. «Вера наша по ее началам чиста», – настаивает сочинитель.

Упоминаются здесь некие досужие толки о том, что Талмуд якобы «не допускает нас сближаться с другими народами и, если не повелевает, то не запрещает нам обманывать людей не своей веры», после чего следует едкая авторская ремарка: «Так думают умы поверхностные, которые хотят прослыть глубокомысленными». Беспрецедентная смелость и полемичность этого заявления станет понятной, если принять во внимание, что «умы поверхностные» обретались в Министерстве народного просвещения С. С. Уварова. Это они считали Талмуд книгой этически вредной и антиобщественной и всячески стремились вытеснить его из программы еврейских училищ. Но главным гонителем Талмуда в империи был тот, кого «смиренный» сочинитель сравнивал с Титом и Адрианом, кого «раболепно» возвышал до геркулесовых столпов. Как отмечал Ю. И. Гессен, именно «Николай I влиял на Уварова в том смысле, чтобы просветительская реформа направила свои удары против еврейского вероучения, чтобы она уничтожила Талмуд». Так что же, выходит (страшно вымолвить!), это Помазанник Божий – «ум поверхностный»!? И думается, а не показные ли славословия расточает монарху Соломонов? Не дипломатический ли это ход? Хотя М. Вайскопф принял их за чистую монету, предельно ясно: единомыслия между Абрамом и монархом уж точно никак не наблюдается. А потому, когда встречаешь в книге велеречивые панегирики венценосцам, веришь им с трудом, и похвала эта кажется нарочитой, неумеренной, фальшивой.

Вот хотя бы такой пример. Соломонов констатирует, что российское законодательство о евреях 1835 года резко ужесточилось по сравнению с 1804 годом – заявление само по себе достаточно дерзкое. Обвинять в этом верховную власть, понятно, никак нельзя – и по законам жанра, и по требованиям вездесущей цензуры, и, главное, просто из соображений безопасности (иначе жид-критикан вместо черты оседлости мог бы где-то и «во глубине сибирских руд» оказаться). Остается только одно – корить свой «несчастный народ» (это его,

Соломонова, слова). Но сколь же неубедительны его попытки объяснить причины «оскорбления» правительства народом Израиля! Вот Абрам толкует о недопустимости иудейского прозелитизма, ссылаясь при этом на Талмуд («Злополучие за злополучием да постигнет тех евреев, кои превращают в свою веру гаяуров»), но по существу он в открытую дверь ломится, ибо в качестве примера такового приводит лишь три «зловредных поступка» (и это на двухмиллионное-то население!). Да и их «зловредность», кстати, тоже белыми нитками шита. Тем не менее, следует вывод: «Правительство… имело в виду не то, чтобы стеснить или уменьшить существенные выгоды наши, но то, чтобы предотвратить беспорядки наши». Похоже, абсурдность подобного заключения ясна и ему самому. Он беспомощно разводит руками и выдавливает из себя нечто элегическое: «Впрочем, не нашим ограниченным умом постигать цель Верховного Правительства».

«Кошелек или кнут?» Карикатура О. Домье на обращение с евреями во времена Николая I

И Соломонов, обращаясь к «любезным братьям» – единоверцам, говорит о необходимости их «раскаяния перед Верховным Правительством». В чем же? Да в том, что к сельскому труду обратились из них лишь немногие (а «хлебопашество

составляет честный, самый надежный и завидный способ пропитания») и что еврейские массы чураются общего образования, приобщавшего их к европейской и, прежде всего, к русской культуре («А мы могли бы с удовольствием видеть многие тысячи братьев моих, получивших ученые степени»). Он призывает иудеев заниматься производительным трудом, промыслами, ремеслами, открывать фабрики (что отвечало как идеалам Просвещения, так и видам правительства), и цитату выразительную из Талмуда подыскал: «Не обучать сына своему ремеслу значит приучать его к разбою». Так-то!

Мысли Соломонова не могли не коснуться важнейшего вопроса, из-за коего напрягали лбы многие деятели Хаскалы – отношение христианства и иудаизма. Вообще-то, в пользу их сближения выступали практически все маскилы, но степень и градус разнились. Вот, к примеру, ученик Мозеса Мендельсона, известный берлинский просветитель Давид Фредлендер, дошел до жизни такой, что предлагал евреям, когда нет синагоги, молиться в протестантской кирхе. Он в духе деизма написал памфлет, где ни много ни мало предложил ввести рационалистическую общую религию и «сухое крещение» и готов был не только принять его сам, но и навязать немецким иудеям. Сближение еврейской нации с христианским населением и ее «коренное преобразование» были главной целью и российских властей. По существу, неафишируемая, но вполне внятная правительственная программа-максимум состояла в крещении как можно большего числа иудеев и, в конечном счете, искоренении иудаизма как такового. Достаточно назвать насильственное крещение солдат-кантонистов (по данным американского историка М. Станиславского, из 70 тысяч евреев, взятых в царскую армию в 1827–1855 гг., 25 тысяч человек были вынуждены принять православие; по другим сведениям, крещение приняли 33 тысячи иудеев). Но Соломонов ни о каком крещении евреев речи не ведет, он лишь ищет скрепы, наводит мосты между двумя верованиями. Говорит о терпимости к иноверным, о недопустимости употребления оскорбительного слова «гой».

Он утверждает, что «все догматы Евангелия основаны на точном разуме Моисеева Закона», подчеркивает монотеизм обеих религий. Ратуя за сближение евреев с русскими – «народом богобоязненным, кротким, сострадательным, над головой которого бдит сам Бог Саваоф», он снова обращается к прошлому: «В Риме евреи были почтены высоким званием римского гражданина, а в Испании до XV века они были врачами и советниками государей, занимали важные места, и самые гранды им кланялись, чего без существования между нами и

господствующим народом веротерпимости и доброго согласия, конечно, последовать не могло». Соломонов недоумевает, что же нынче мешает сближению двух народов, и преград не находит. «Христианская вера? – вопрошает он и сам же отвечает: – Она есть не новая, а старая… Антихрист? Пришествие его не отвергает и Синагога в той мысли, что он пребудет первым и последним. – Священные книги вообще? Они священны и для христиан. – Обряды? Они установлены церковью, как наши Синагогою. – Характер? Он украшен всеми качествами добродетелей. – Талмуд? Не только он своими последующими законоучителями, богословами и философами, но и сам Бог не дает нам пред другими народами никакого права на преимущество». Забавно, что Христова вера характеризуется здесь как «старая». Если вспомнить, что христианство рассматривает себя как новый и единственный Израиль и как новый завет Бога со всем человечеством, такая аттестация могла показаться если не кощунственной, то, по крайней мере, обидной для православных ортодоксов.

Впрочем, едва ли кто-либо внимательно и придирчиво вчитывался в каждую фразу труда Соломонова. По-видимому, бдительность цензора усыпили величальные слова сочинителя в адрес самодержца, а также его «благонамеренное» желание уничтожить сепаратизм и сблизить еврейскую нацию с коренным населением империи. Об этом писал в своей рецензии на «Мысли израильтянина» популярный русский журнал «Библиотека для чтения», издаваемый О. И. Сенковским: «Книга, написанная с прекрасным намерением уничтожить резкие предрассудки, отделяющие евреев от христиан. Автор убеждает своих единоверцев к различным преобразованиям, которые не противоречат их религиозным постановлениям».

Обращает на себя внимание стиль сочинения Соломонова, его литературный уровень нисколько не ниже писаний русских словесников той поры и отличается образностью и особой выразительностью. Вот, к примеру, как живописует автор агонию побежденного монотеизмом язычества: «Раздраженный истукан многократно испытывал свое счастие. Он то вспыхивал пламенем, то потухал, то снова оживлялся, снова ослабевал и еще через многие годы блистал довольно ярким светом в забытых капищах Венеры и Аполлона». А вот еще одна поэтическая картина: «Перейдем к каменистой Аравии, прочтем там со вниманием описание великолепной скинии, рассмотрим с благоговением ее зодчество, ее богато-тканные покрывала и завесы, кивот, золотой семивственный светильник, золотой щит, на коем вырезана большая печать святого имени Господа Бога, медный жертвенник,

золотые и серебряные сосуды, стол и двуличные хлебы, одежду верховного священника и его братии». Может быть, подобные пассажи не отвечают утонченному эстетическому вкусу М. Вайскопфа, но канцелярщины здесь нет и в помине, равно как и «клерикального жаргона» (сомнителен сам этот термин).

Кроме того, надо же ясно представлять себе реалии эпохи. Запертые в городках и местечках черты оседлости, иудеи были тогда отгорожены от российской жизни и культуры, русской грамотой владели из них лишь сотни (если не десятки), а писавших на языке Пушкина и Гоголя литературные произведения можно сосчитать на пальцах одной руки.

Соломонов одну из задач своей книги видит как раз в том, чтобы «познакомить своих единоверцев с русским языком и заохотить их к постоянному его употреблению сообразно правилам Синагоги», и уже одно это намерение достойно уважения. Он также в духе идей Еврейского просвещения призывает «ввести отечественный язык и в Синагогу». Нельзя не отметить, что в своем русификаторстве он следует за правозащитником Н. Х. Ноткиным, который в своей «Записке о преобразовании быта евреев» (1803), предлагал всемерно поощрять иудеев, овладевших русской грамотой, определять их на государственную службу и даже выбирать для работы в министерствах. Впрочем, о литературном языке своего сочинения автор говорит уничижительно и кается в «неплавности слога и недостатке в словах и выражениях», – скромность, на наш взгляд, чрезмерная.

Думы Абрама Соломонова не стали достоянием еврейских масс (хотя бы потому, что по-русски читали в то время лишь незначительное число иудеев). Однако подобные мысли в широких еврейских кругах почитались тогда отступническими и воспринимались настороженно, если не сказать, враждебно. Характерно, что в 1842 году минское общество освистало маскила Макса Лилиенталя с его проповедью идей Просвещения. Потому Соломонов был «чужим среди своих», и можно сказать определенно: если бы в Минске прознали о том, что их земляк тиснул в Вильно выкладки, что, мол, надобно русские книги читать да с «гоями» брататься, ох не поздоровилось бы нашему «вольнодумцу»… Но Соломонов не мог быть и «своим среди чужих». Для бюрократов из уваровского Министерства народного просвещения этот иудей с его преклонением перед Талмудом и нетерпимостью к антисемитским наветам тоже был вольнодумцем. Его «Мысли израильтянина» согреты любовью к еврейскому народу, верой в его животворные силы. «Любезные братья! – обращался Абрам к соплеменникам. – Тот тратит слова,

кто говорит с недостойным, а тот теряет человека, кто не говорит с достойным». Не в местечковом изоляционизме видел он будущее евреев, а в интеграции их в российское общество, чтобы они вошли на равных в семью других народов многонациональной империи, но обязательно сохранив при этом иудейскую веру…

Впрочем, о «прекрасном намерении» автора просвещать свой народ узнали из популярного журнала «Библиотека для чтения» преимущественно русские читатели. Может статься, кто-то заинтересовался книгой, открыл ее титульный лист и прочел: «Сочинение Еврея Абрама Соломонова». Било в глаза, что в пору религиозных гонений и дискриминационного антисемитского законодательства слово «Еврей» почему-то пропечатано здесь с заглавной буквы. Понятно, что так было принято в официально-деловой документации того времени, о чем говорит журналист Анатолий Рубинов: «Национальность писали непременно с большой буквы. Не только имя и фамилию, но и слово «Еврей»: чтобы оно было заметнее, чтобы было видно, что за человек, делами которого они вынуждены заниматься». Но в книге эта заметность обретала гордость, честь и достоинство. Что ж, пусть Еврей Абрам Соломонов останется таким в нашей памяти.

Произвели в евреи…

Когда однажды император Александр I спросил легендарного А. П. Ермолова о том, какую награду тот бы пожелал, генерал невозмутимо ответил: «Произведите меня в немцы, Государь!» Ермолов знал, о чем говорил, ибо сей самодержец (равно как и другие русские цари) буквально окружил себя немцами, которых возвел на самые высокие должности. Об их засилье очень точно выразился князь П. А. Вяземский в стихотворении «Русский Бог»:

Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших на порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский Бог.

Да что там заезжие иноземцы, когда и о самом российском венценосце ходили частушки:

Царь наш немец прусский,
Носит мундир узкий…

А потому можно сказать без обиняков: быть немцем в России при «истинных арийцах»– императорах всегда было почетно. Показательно, что и в программных документах одиозного «Союза русского народа» особо подчеркивалась положительная роль немцев в русской истории.

А вот быть евреем на Руси модным и почетным никогда не было. Это прекрасно понимают нынешние национал-патриоты: они не устают повторять, что отмена графы «национальность» в российских паспортах была выгодна только евреям, которые якобы скрывают свое этническое происхождение, потому как стыдятся его. И тем не менее эти же самые квазипатриоты по своему хотению объявляют евреем всякого, кого им заблагорассудится (в том числе и своих соплеменников-русаков). Дело достигло таких масштабов, что даже сталинский сокол В. Бушин из газеты «Завтра» вынужден был вступить с такими, как он их аттестует, «ультрапатриотами» и «экстрарусофилами» в жаркую полемику и назвать подобные их потуги «фактом тяжелого и опасного умственного расстройства». Впрочем, негодует Бушин лишь когда в евреи производят людей уважаемых и достойных; если же к ним причисляют разные там ничтожества,

мерзавцев и прохвостов, его, надо думать, это вполне устраивает. Да оно и понятно: по его мнению, для борьбы с еврейским засильем в России все средства хороши!

Агрессивный поиск «исторического компромата» на еврейский этнос особенно рьяно и упорно ведется в сфере литературы, точнее – в области русской поэзии. Нам пытаются внушить мысль, что в смерти великих поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина повинны именно евреи, которые якобы повязаны вековечным тайным заговором против России и ее самобытной культуры.

Речь здесь пойдет о трактовке «патриотами» причины гибели М. Ю. Лермонтова и об отношении поэта к «врагам Отечества». И отправной точкой станет нашумевший в свое время фильм «Лермонтов». Сразу же после выхода этой картины на киноэкраны в Москве наблюдались выступления дюжих бородатых молодцов в защиту убиенного поэта, сопровождаемые угрозами сионистам. Да и сейчас, спустя более двух десятков лет, страсти все не утихают, и на интернетовских порталах и сайтах то и дело появляются возмущенные послания граждан о том, что, дескать, «нашего Лермонтова злодейски застрелил еврей Мартынов» и вообще надо бы всех этих жидомасонов поскорее призвать к ответу.

Казалось бы, какое отношение имеет к евреям человек по фамилии Мартынов? Помнится, как на одной читательской конференции в Библиотеке им. Ленина в 1987 году это пояснил писатель Василий Белов: «Убийца Лермонтова назван, наконец, полным именем, – сказал он и, сделав многозначительную паузу, победоносно объявил: – Николай Соломонович!»

И вот на экране возникает впечатляющая сцена: дуло пистолета Мартынова прямо направлено на исполненного спокойного величия русского поэта. Кажется, еще секунда – и прогремит выстрел, и гений, за которым стоят вся Россия и ее многовековая культура, падет от предательской пули подлых инородцев…

Между тем предельно ясно: майор Николай Соломонович Мартынов (равно как и его отец, Соломон Михайлович, дослужившийся до чина полковника) был человеком православным и дворянином. Нелишне при этом знать: род Мартыновых происходил от выходца из Польши, прибывшего в Московию в 1460 году. В «Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи» можно прочесть, что «фамилии Мартыновых многие Российскому Престолу служили стольниками, воеводами и в иных чинах и жалованы были от Государей в 1631 году и других годах поместьями» и к иудеям

они никакого отношения не имели. Среди пращуров Николая – Савлук Федорович Мартынов, участник военных действий против поляков под Смоленском в 1634 году, получивший вотчину в Рязанском уезде; Петр Иванович, воевода в Кадоме в 1704 году.; Федор Михайлович, прокурор Пензенского верхнего суда, вышедший в 1777 году в отставку в чине секунд-майора. И родной дядя Николая, то есть родной брат Соломона Мартынова, Дмитрий Михайлович, состоял Кирсановским (Тамбовской губернии) предводителем дворянства. Однако создателя и популяризаторов фильма все это, надо полагать, нисколько не убеждает. Поднаторевшие в борьбе с сионистами, они, как за спасительную соломинку, хватаются за характерное отчество «Соломонович» и на этом основании производят Мартынова в евреи со всеми вытекающими последствиями. К последствиям мы еще вернемся, пока же отметим упорное нежелание «патриотов» утруждать себя знанием исторических реалий своего Отечества, радетелями которого они себя объявляют.

Ведь еврейский след в гибели Лермонтова (на чем по существу строится вся «концепция» фильма) исчез бы в одночасье, если бы сценарист задался резонным вопросом, каким образом и по каким причинам православные христиане и Мартыновы, в частности, могли дать новорожденному библейское имя Соломон. Дело в том, что в Православной Церкви существует Неделя святых праотцев, и отмечается она в конце декабря, а рожденным в эту Неделю младенцам иногда давали древнеиудейские имена, как мужские – Соломон, Давид, Самуил, Товий, Исаак, Иов, Иона, так и женские – Сарра, Лия, Рахиль, Руфь и др. В наше время такими именами нарекают детей, как правило, родители-сектанты. А перевернув страницу истории чуть вспять, мы найдем и родственницу А. С. Пушкина Сарру Юрьевну Ржевскую и другую Сарру, дочь графа Федора Толстого-Американца. Вот имя Рафаил, к примеру, было очень популярно среди русского дворянства вплоть до начала XX века. О распространенности же таких имен, как Соломон, Самуил, Иаков, Израиль, Иона среди православных священнослужителей и монахов наших дней говорить излишне.

Николай Соломонович Мартынов

По счастью, из XVIII века до нас дошли «Воспоминания о Пугачеве», подписанные инициалами О. З. (они хранятся в одном из архивов США), где как раз рассказывается о том, как получил Соломон Мартынов свое не совсем обычное для современных русских имя. Здесь сообщается, что от расправы пугачевцев его, младенца-барчука, спасла кормилица, выдав за своего сына. Тогда-то мамка решила окрестить ребенка и пошла в церковь. «А как назвать его?» – спрашивает священник. – «А Бог весть! – отвечает кормилица, – уж и не знаю». – «По святому назовем, – решил священник. – На сей день святой будет Соломон-царь – так и назовем!» Так и назвали! И примечательно, что после кровавого исхода дуэли с великим поэтом «еврей» Мартынов был предан церковному покаянию и несколько лет отбывал суровую епитимью в Киеве. По словам современника, он «до конца своей жизни мучился и страдал оттого, что был виновником смерти Лермонтова».

В фильме Николай Соломонович предстает ходульным пошляком, пустельгой и бездарью без какого-либо понятия о моральных принципах и любви к Отечеству. Его стихия –

заштатный провинциальный трактир. Очень вольготно Мартынову с бокалом вина в руке в обществе падших женщин, чего так брезгливо сторонится Лермонтов (непонятно только, если поручик такой постник и трезвенник, как он вообще оказался в этом гиблом месте?) И, реанимируя застарелый антисемитский миф, создатель фильма заставляет поэта бросить Соломоновичу гневные упреки: «Напоили Россию!.. Твой отец винными откупами промышляет». И тут мгновенно вырастает фигура трактирщика с мясистой еврейской физиономией. Он лукаво щурится и разливает в бокалы зловредное пойло – опиум для русского народа.

Но, внушается далее, Соломонович – сошка мелкая, за ним стоят птицы поважнее, они-то и науськали его на смертоубийство. И вот некие конспираторы-подстрекатели неславянской наружности что-то заговорщицки нашептывают ему перед дуэлью. И становится ясно: недалекий Мартынов лишь исполнитель чьего-то злодейского плана, последнее, видимое звено в цепи тайного заговора против России. Кто же за ним стоит? Ответ на вопрос дает все тот же экранный Лермонтов. «Бедная Россия, коли главные в ней люди из рода Нессельроде», – с горечью произносит он. Услышав звучную немецкую фамилию, вы можете подумать, что стихотворец метит в набравших силу при дворе иноземцев. Ан нет, читатель, у сей инвективы имеется другая, вполне определенная национальная подоплека. Речь идет именно о роде (то есть о происхождении) государственного канцлера Карла Васильевича Нессельроде. А его мать, баронесса Луиза Гонтар, была этнической еврейкой протестантского вероисповедания. Сейчас эти сведения можно обнаружить в любом биографическом словаре или справочнике. Не то в Николаевскую эпоху! Русский царь не испытывал к евреям ни малейшей симпатии, но был антисемитом религиозным, а никак не расовым. Потому ему не было решительно никакого дела до рода-племени матери своего ближайшего сановника (кстати, занимавшего пост канцлера сорок лет!) И вполне понятно, что еврейские корни министра иностранных дел никем тогда не афишировались, любые разглагольствования на сей счет пресекал бы, прежде всего, сам император, и весьма сомнительно, что Лермонтов вообще знал о них. Говорить же о всемогуществе Нессельроде, который якобы главенствовал в России, – тоже явная передержка, ибо известно, что сей канцлер был покорным и даже рептильным исполнителем воли авторитарного Николая I, которым был полностью обезличен.

Карл Васильевич Нессельроде

И хотя в фильме «Лермонтов» показывается враждебность к поэту шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа и самого царя (а ведь именно Николай, узнав о смерти Лермонтова, сказал в сердцах: «Собаке – собачья смерть!»), все же акцент делается именно на злокозненном Нессельроде. Происходит сцена поистине фантастическая: жена канцлера Мария Дмитриевна заискивает перед опальным поэтом, но тот говорит с ней запальчиво, резко, с нескрываемым презрением. Далее канцлер Нессельроде произносит сакраментальную фразу: «Если не можешь купить, убей!» Не вполне, правда, понятно, какую выгоду искал в поручике Лермонтове действительный тайный советник 1-го класса, почему он его так страшился и придавал такое огромное значение его поэзии. Но у зрителей сомнений на сей счет возникнуть не должно: Лермонтов будто бы задался целью докопаться до того, «как корысть по Руси растекалась, корень зла открыть». Нессельроде корили за политическую близорукость, безынициативность (отсюда его ироническое прозвание Кисельвроде), крайнюю реакционность, но только не за мздоимство. А по логике сценариста он из корыстолюбцев

главный! Не потому ли, что еврей? (Точнее было бы сказать «полуеврей», но, как заметил персонаж фильма Н. Михалкова «12», «евреев наполовину не бывает»).

И сразу все становится на свои места: еврей Нессельроде через своих тайных агентов-евреев настропалил еврея же Мартынова на убийство русского гения, и, главное, Лермонтов все это прекрасно понимает и на протяжении всего фильма бросает своим супостатам – «врагам России» из еврейского рода колкие язвительные филиппики. Подобное поведение Лермонтова должно базироваться на каких-либо фактах или по крайней мере на реальной нерасположенности поэта к иудейскому племени. Однако в действительности ничего похожего не было.

С ранней юности Михаил Лермонтов проявлял к судьбам еврейского народа живой и неподдельный интерес. Несомненное влияние оказало на него так называемое Велижское дело по облыжному обвинению евреев в ритуальном убийстве, воспринятое им с горечью и болью. Причем, сведения о сем деле он получал из первых рук – от адмирала Н. С. Мордвинова, с которым бабушка Лермонтова была в ближайшем свойстве (ее брат, обер-прокурор сената А. А. Столыпин, был женат на дочери адмирала) и которого сам маленький Мишель звал «дедушкой Мордвиновым». Именно Мордвинов представил в 1827 году записку Николаю I, в коей настаивал на полной невиновности евреев и стремился ввести этот тенденциозный процесс в рамки законности. Лишь когда в 1834 году дело поступило в Государственный совет (а Мордвинов был председателем одного из его департаментов), ему удалось доказать, что «евреи пали жертвою заговора, жертвою омраченных предубеждением и ожесточенных фанатизмом следователей». В результате Государственный совет вынес приговор: «евреев-подсудимых от суда и следствия освободить». Как отмечал литературовед Л. П. Гроссман, Велижское дело выглядело в глазах юного поэта не просто уголовным преступлением: он впервые столкнулся здесь с обвинением целого народа в изуверстве и бесчеловечности. В нем пробудилось чувство высшей справедливости и протест, и это одушевляет его первую трагедию «Испанцы» (1830). Вот что говорит об участи евреев один из персонажей трагедии, Ноэми:

> Гонимый всеми, всеми презираем,
> Наш род скитается по свету: родина,
> Спокойствие, жилище наше – все не наше.

В центре трагедии – судьба Фернандо. Несчастный найденыш,

он болезненно ощущает свое одиночество:

…совсем, совсем забытый сирота!..
В великом Божьем мире ни одной
Ты не найдешь души себе родной!..
Питался я не материнской грудью
И не спал на ее коленях…

Однако когда герой находит семью, его положение становится еще более мучительным: ведь родители у Фернандо – евреи. И важно то, что Лермонтов проявляет здесь симпатию к еврейскому народу, изображая его морально чистым и душевно возвышенным, несмотря на жестокие унижения, которыми он подвергался. Об этом говорит знаменательный диалог:

Испанец (сухо). Жидовка умереть одна не может?
Пускай она издохнет!.. И Фернандо,
Как говорят, был сын жида.

Сара. Он сын
По крайней мере человека – ты же камень!

Развязка трагедии проникнута темой человеческого бесправия: осуждением Фернандо на казнь и обрушившимися на его отца несчастьями. Пафос передает введенная в пьесу «еврейская мелодия»:

Плачь, Израиль! о плачь! – твой Солим опустел!..
Начуже в раздолье печально житье;
Но сыны твои взяты не в пышный предел:
В пустынях рассеяно племя твое.

Главный вывод «Испанцев» – христиане не имеют ни малейшего права ненавидеть и презирать евреев, и пропасть, созданная между людьми различием веры, есть не более чем предрассудок. К несчастью, он – неотъемлемая часть человеческой природы, злой и уклонившейся от велений Божества. Показательно, что по трагедии Лермонтова «Испанцы» поставил спектакль режиссер Московского еврейского театра С. Михоэлс, декорации к которому сделал Р. Фальк.

Несомненное влияние оказал на Лермонтова великий Рембрандт, запечатлевший на своих полотнах еврейские темы и

образы, близкие к творческим вкусам и художественным исканиям юного поэта. Отмечая схожесть творческого почерка двух мастеров, Л. П. Гроссман вопрошал: «Родственность ли гениев сказалась в этом обращении юного поэта к «рембрандтовскому» художественному иудаизму? Откуда это проникновение в еврейскую психологию, неуловимый еврейский привкус? Откуда это чутье у него самой сущности иудаизма, его мироощущения и откуда это понимание основного духа Библии?»

Очевидно и то, что гуманное отношение к евреям, которому поэт был верен всю жизнь, внушила ему Библия, и среди наиболее ярких его стихотворений «Плачь, плачь, Израиля народ!» (1830) и «Ветка Палестины» (1837). А среди его черновых заметок ранней поры есть и такая: «Демон». Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). Еврейка. Отец слепой. Он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела – как прежде. Еврей возвращается на родину. Ее могила остается на чужбине».

Исследователи отмечают непосредственное воздействие на гуманную позицию Лермонтова драмы Г. Э. Лессинга «Натан Мудрый» (1779). Можно указать еще один источник: в 1830 году друг и однокашник поэта по Московскому университету Н. Е. Шеншин перевел отрывок из книги графа Л.-Ф. Сегюра «Histoire de Juifs», который завершался словами: «Народ, рассеянный со времен Адриана по лицу земли, с твердостью сохранял свое имя, свои обычаи, обряды, законы; и даже в странах, где живет угнетенный, еще не потерял надежды чудесного избавления». Несомненно, Лермонтов был знаком с этим переводом.

А какой мощной художественной силы исполнены «еврейские мелодии» поэта, навеянные поэзией Дж. Байрона: – «Я видал иногда, как ночная звезда…» (1830) и «Душа моя мрачна…» (1836)! Между прочим, Лермонтов, с его обостренным интересом к творцу «Корсара» и «Чайльд-Гарольда» (по одной из версий, поэты находились даже в дальнем родстве), не мог не знать, что Байрон в своей знаменитой речи в палате лордов 1812 года выступил ревностным защитником еврейства. И в своем творчестве он неизменно подчеркивал стойкость иудеев в их тяжких несчастиях. Примечательно, что критик А. Волынский в еврейском журнале «Недельная хроника «Восхода» (1888, № 4) отмечал поразительную способность Байрона «проникать в сокровеннейшую глубь чужих страданий или смелым полетом орла сразу обозревать всю неведомую даль чужих идеалов». Как и у «гонимого миром странника» Байрона, у Лермонтова с его «русскою душою» сквозь поэтическую защиту древнего,

обреченного на скитание народа звучат сострадание и тревога за его современную участь.

Сказанному нисколько не противоречат зарисовки евреев в других произведениях поэта. Оставив в стороне ветреную красавицу полуеврейку Тирзу в поэме «Сашка», поданную довольно бледно, нельзя не упомянуть о светском заимодавце Шприхе из драмы Лермонтова «Маскарад» (1834–1835). Он аттестуется здесь в выражениях весьма нелицеприятных. Но, безусловно, прав историк В. Водовозов, отметивший, что «эта характеристика вложена в уста совершенно отрицательного героя Каразина, и, конечно, она совершенно не характеризует отношения Лермонтова к евреям».

Кстати, об отрицательных персонажах. В «Герое нашего времени» Грушницкий (а его прототипом был, как известно, Николай Мартынов) обращается к Печорину с такими словами: «Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!., как под мышками режет!» Все это должно укрепить нас во мнении, что Мартынов с евреями и рядом не стоял, Лермонтов же до конца своей краткой жизни оставался верен тем взглядам на иудеев, которые высказал в своих «Испанцах».

Любопытно отметить, что деятели, называвшие себя «истинными патриотами» Германии, тоже производили в евреи, только вот… самого Лермонтова. Дело в том, что в нацистской наукообразной книжке некоего Ганса Понтера «Rassenkunde des judischen Volkes» (Munich, 1930, P. 82) находится портрет Лермонтова, размещенный рядом с другими для характеристики еврейского типа внешности. Великий русский поэт оказался здесь в компании с Барухом Спинозой, Стефаном Цвейгом, Чарли Чаплиной, Альбертом Эйнштейном и др. Характерно, что и писатель И. А. Гончаров находил наружность поэта отнюдь не славянского типа: «Тут был и Лермонтов… тогда смуглый, одутловатый юноша с чертами лица, как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами».

В своей книге «Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России» (2000) С. Дудаков со ссылкой на известного знатока биографии поэта И. Андроникова и пушкиниста В. Гроссмана говорит о тайне рождения Лермонтова, которая должна вызвать у создателей «патриотического» фильма о нем и ужас, и праведный гнев. Согласно этой версии, подлинным отцом Лермонтова был личный врач бабки поэта Е. А. Арсеньевой, французский еврей Ансельм Леви. Как бы там ни было, тесное их общение несомненно, и некоторые исследователи отмечают влияние доктора Леви на развитие интереса Лермонтова к еврейству.

Литературовед Л. Лазарев задался вопросом, «откуда, каким путем Лермонтов, совершенно чуждый еврейству, уловил такие тонкие сокровенные движения еврейской души?» Ответа нет, как, впрочем, не вполне ясно и то, а столь ли чуждым еврейству был великий поэт? Ясно одно: рядить его в одежды юдофоба, милого сердцам лжепатриотов, так же нелепо, как производить в сионисты православного Мартынова.

И подумалось, кому могут быть любы эти упражнения на тему всесветного заговора против русской культуры, где в ход идут явные фальсификации, подтасовки, притягивание за уши? Ведь подобный обвинительный уклон, замешанный исключительно на национальной нетерпимости, направлен на разжигание розни между двумя великими народами – русским и еврейским. Воистину племенная вражда, равно как и человеческая глупость, границ не имеет.

Ученый еврей Леон Мандельштам

Он был первым евреем, окончившим российский университет, издавшим сборник своих стихотворений на русском языке и ставшим первым переводчиком А. С. Пушкина на иврит. Поэт Осип Мандельштам приходился ему внучатым племянником.

Этот еврейский юноша совершил беспрецедентный по тем временам поступок: он покинул отчий дом и отправился в Москву, чтобы учиться в тамошнем университете. По пути в Первопрестольную он встретил кантора, который, узнав о цели его путешествия, спросил: «Зачем вы едете? Вы могли бы быть первым в своем народе, а оставляете все, чтобы быть последним среди ученых христиан». – «В Талмуде сказано: будь лучше последним у львов, чем первым у зайцев!» – парировал наш герой. Звали его Леон Иосифович Мандельштам (1819–1889).

Впрочем, кантор был отнюдь не единственным в иудейской среде, у кого поступок этого молодого человека вызвал, мягко говоря, недоумение. О Леоне сокрушались, прежде всего, его домочадцы, воспринявшие сей его шаг как отступничество от еврейства. «Отец дал тебе платье, ты его переменишь, – взывал к беглецу его брат, – мать играла твоими кудрями, ты их срежешь. Ты станешь говорить языком, для нас непонятным, и будешь писать рукою, для нас незнакомою».

Между тем Леон происходил из семьи далеко не самой ортодоксальной. Он родился в городе Жагоры Виленской губернии, что располагался на границе с Курляндией (ныне между современными Литвой и Латвией). То был важный тогда торговый город с населением в 3 тысячи человек, половина из коих была иудейского происхождения. Благоприятную почву нашли здесь идеи Хаскалы и ее основоположника Мозеса Мендельсона, ярко и боевито изложенные в программе германского журнала на древнееврейском языке «Меассеф». Общий лозунг авторов сего издания – «Тора и мудрость, вера и разум», они стремились доказать совместность истинной религии и еврейского просвещения, свято веря в свой идеал.

Леон Мандельштам

Отец Леона, Иосиф Мандельштам, родившийся ок. 1780 года, был человеком эрудированным и весьма энергичным. Видный купец, он исколесил по торговой надобности Россию, Польшу, Германию; знаток Талмуда и иудейской книжности, он был не чужд и просветительских идей. Между тем борьба еврейских фанатиков старины против новых веяний принимала тогда подчас средневековый характер – «зловредные» книги они сжигали на кострах. Одно только хранение Библии в переводе Мендельсона почиталось подвигом самопожертвования; людей сживали со света, сдавали в солдаты за малейшее прегрешение против религии. Однако Леон благодаря родителю получил, по счастью, не только традиционное еврейское, но и общее образование, изучал иностранные языки и европейскую литературу. Вот как об этом вспоминает он сам: «Денно и нощно занимался Талмудом и в 12 лет получил эпитет «илуй» (отличный) и симптомы чахотки. Много читал, благодаря отцу и старшим братьям, из учеников Мендельсона, потом философию Маймонида, Спинозы». Он овладел, наряду с древнееврейским, немецким и французским языками и даже пробовал свои силы в сочинительстве на сих

наречиях в духе модного тогда романтического направления.

В шестнадцать лет он стал углубленно заниматься русским языком. О том, как постигали в ту пору язык Пушкина и Гоголя молодые евреи из местечек, рассказывает Ан-ский в повести «Пионеры»: «А как мы учились? Разве мы знали, с чего начать? Разве у нас были книги?! В полночь, прячась в подвалах и погребах, с риском для жизни учились мы русской грамоте. И как учились! Товарищ, умерший от чахотки, выучил наизусть русско-немецкий словарь – русско-еврейского тогда еще не было, и таким образом выучился по-русски. Другой товарищ выучил наизусть «Свод законов», чтобы сразу и по-русски научиться и законы узнать». Впрочем, Леон освоил русский язык настолько, что по прошествии нескольких лет легко мог писать на нем не только прозу, но и поэзию. При этом он проявил столь завидное владение версификацией, что мог справиться с прихотливой рифмовкой русского сонета. Из своих стихотворных опытов он составил целую рукописную книгу, которую всегда держал при себе.

Самообразование нашего героя оказалось, однако, на время прерванным из-за ранней женитьбы. Избранница семнадцатилетнего Леона (точнее, его отца, ибо на раннем браке настоял именно Мандельштам-старший) принадлежала к совсем иной среде. В доме тестя, в еврейском местечке Кейданы Ковенской губернии, куда после свадьбы переселился юный Леон Мандельштам, царила воинствующая ортодоксальность; занятие любыми «посторонними» предметами, такими, например, как чтение какой-либо неталмудической книги, воспринималось здесь как богохульство. Долго оставаться в этом доме Леон не мог; он вернулся под отцовский кров, а вскоре и развелся с женой, хотя у них родилась маленькая Гитель.

Он был полон решимости стать защитником и просветителем своего народа, в большинстве своем – увы! – далекого от европейской культуры того времени. И это поистине мессианское свое предназначение он ощутил очень рано. Вот какие сокровенные чувства поверяет бумаге двадцатилетний Леон: «Так я стою теперь – дикий, сильный, свободный сын природы, любящий свое отечество и язык родимого края, но несчастный несчастием моих единоверных братьев. Я разгневан на их ожесточение, губящее их способности, но я привязан узами родства и чувства к их бедствиям. Цель моей жизни есть оправдать их перед светом и помочь им удостоиться этого оправдания».

Жажда самых разносторонних знаний возбуждает в нем желание получить систематическое образование, что было

возможным только вдали от родных Пенатов, в столичном университете. Невольно вспоминается рассказ Шолом-Алейхема «Выиграшный билет», где еврейский юноша тоже покидает местечко и едет учиться в большой город. Финал рассказа, однако, трагичен: образованный еврей, дабы преуспеть, отказывается от веры предков, за что родные его проклинают и хоронят заживо. Не то Мандельштам! Он не только не изменяет своей религии, но обращает к еврейству все свои помыслы, делает заботу о соплеменниках смыслом всей жизни. Позднее, подводя итог своим трудам и дням, он скажет: «Три идеала управляли доныне моим духом и сердцем: образование, родина и моя нация!» А тогда, накануне отъезда из Жагор, он посвящает родному местечку вот какую «Прощальную думу»:

Спи, отчий дом, уж бдит твой друг,
Уж бдит твой гений над тобою;
Лишь за тебя ушел он вдруг
В чужую даль, борясь с судьбою;
За вас пошел он в дальний путь,
За вас открыл стрелам он грудь;
И только вы – его награда,
И честь, и слава, и отрада…

По счастью, «стрелы судьбы» пролетели мимо нашего героя: русская Фортуна к нему явно благоволила. Он приехал в Вильно, чтобы сдать экстерном экзамены за курс губернской гимназии. И не беда, что первая попытка оказалась неудачной, зато вторая дала свои плоды. Попечитель Виленского учебного округа пишет по сему поводу ректору Московского университета: «По вторичному испытанию Мандельштама совет Виленской гимназии, хотя и не признал за ним сведений соответствующими полному гимназическому курсу, но нашел их, однако же, достаточными для дозволения поступать в университет… Основываясь на этом заключении и приняв в соображение природные способности помянутого Мандельштама, составляющего необыкновенное среди единоверцев своих явление, его любовь к наукам и особенные дарования к языкам и словесности… я решился отправить его в Московский университет вольным слушателем». По приказу министра народного просвещения графа С. С. Уварова Мандельштам «без дальнейшего испытания» был допущен к слушанию университетских лекций.

Не правда ли, странно: еврей показывает на экзамене не слишком блестящие познания, а чиновник тем не менее выдает

ему аттестат да еще снабжает рекомендательным письмом; сиятельный же министр немедленно зачисляет его в студенты. Как-то не вяжется такой «режим наибольшего благоприятствования» с процентной нормой приема евреев в вузы, традиционно ассоциирующейся с царской Россией!

В дальнейшем Мандельштаму суждено будет дожить и до этих ограничительных (если не сказать, юдофобских) мер. Но тогда, в 30—40-е годы XIX века, иудеи вовсе не рвались в университеты – они были заперты в местечках, полностью отгороженных от русской жизни, языка и культуры. А потому и образовательная политика правительства по отношению к ним была совершенно иной. Объявив Талмуд и «фанатизм» раввинов виновниками сепаратизма сего народа, власти провозгласили тогда главной своей задачей нравственное и религиозное преобразование еврейской нации, ее сближение с христианским населением империи. А для этого надлежало создать сеть школ и казенных училищ, в коих наряду с иудаизмом (впрочем, модернизированным, ибо из программы всячески стремились вытеснить Талмуд, зато настоятельно рекомендовалась Библия в немецком переводе и с комментариями Мендельсона) преподавались бы предметы общеобразовательные: математика, физика, риторика, география, иностранные языки (и прежде всего русский), отечественная история, литература и т. д.

Министр народного просвещения граф С. С. Уваров

Проводить сию реформу в жизнь и стал министр народного просвещения С. С. Уваров. Именно при нем возникло полуофициальное деление евреев на «полезных» и «бесполезных». К числу «полезных» относились «маскилим»: на них-то и делало ставку правительство Николая I. Министр Уваров, не найдя в Отечестве «русского Мендельсона», привлек к делу просвещения немецкого еврея М. Лилиенталя и вел переписку с иудеями Европы, чтобы выписать из-за кордона учителей для будущих еврейских школ. И можно себе представить, какой музыкой для его ушей стало неожиданное известие о появлении здесь, в Вильно, своего русского еврея, стремящегося к высшему образованию! Именным приказом он санкционирует зачисление Мандельштама в Московский, а затем и в Петербургский университет, причем внимательно следит за его академическими успехами.

Будучи натурой сложной, Леон совмещал в себе склонность к наукам с поэтической мечтательностью. По прибытии в Первопрестольную он вскоре дебютирует и как сочинитель: издает за счет неизвестного благотворителя книгу

«Стихотворения Л. И. Мандельштама» (М., 1840). Это издание интересно уже тем, что является первым поэтическим сборником на русском языке, написанным еврейским автором.

Сохранилось письмо Мандельштама некоему Александру Васильевичу (не он ли спонсировал это издание?), где Леон раскрывает творческий замысел книги, ее цель и читательское назначение. Он говорит здесь о несовершенстве своего творения и просит критиков указать ему на «ошибки в выражениях, в размере, в слоге» и т. д. Но исключительно важен и значим пафос этого произведения. Вот что говорит об этом сам Мандельштам: «Я смотрю на свои стихи как на перевод с еврейского, перевод мысленный и словесный… мрачный мученический призрак духа без тела, так же, как иудаизм, вьется по ходу моего сочинения… Вы найдете [здесь] ту пылкую страсть, те болезненные стоны, свойственные «несчастным изгнанникам мира».

Создатели современной «Краткой Еврейской Энциклопедии» восприняли эти слова в буквальном смысле и заключили, что стихотворения и переведены с древнееврейского языка. На самом же деле Мандельштам, владевший русским вполне свободно, имел в виду совсем другое: речь шла об особом еврейском духе, коим проникнуты произведения сборника (автор так и называет их «плодами моего духа»). Он тем самым подчеркивает, что книга его – не столько достояние русской словесности, сколько часть русскоязычной еврейской культуры. В этом смысле он не мог не ощущать себя преемником писателя-еврея Л. Н. Неваховича, автора сочинения «Вопль дщери иудейской» (1803), написанного на русском языке в защиту соплеменников. «Это [мое] сочинение, – резюмирует Мандельштам, – как редкость со стороны русского еврея, может подать повод к разным беседам о моей нации и, если б можно было, одолжить моих единоверцев несколькими словами защиты и утешения!» Он гневно порицает здесь тех русских романистов и сатириков, которые стремятся «унизить евреев перед глазами света». Достаточно вспомнить карикатурное изображение иудеев в произведениях Н. И. Гнедича, Ф. В. Булгарина, И. И. Лажечникова, да и Н. В. Гоголя, чтобы понять, что подобные обвинения имели под собой серьезные основания.

Но обратимся к самой книге. Ее предваряет предисловие «К читателям», где также делается акцент на том, что «сочинитель, родом из Русских Евреев, не имел счастья получить воспитание пластически-Русское». Отмечается, что стихотворения извлечены из рукописи автора (причем это только малая толика его трудов!) и что в самом порядке их напечатания в книге «видна какая-то связь, знакомая, может быть, вполне его родственникам и

ближайшим друзьям». Совершенно очевидно, что таким связующим звеном между текстами выступает здесь сам сочинитель. Так, под пером Мандельштама впервые в русской культуре иудей становится лирическим героем книги, обретает эстетический статус. Названия произведений («К Родине», «К певцу», «Действительность», «Мечта», «Стремление» и т. д.) подчеркивают их исповедальный характер. И речь ведется здесь исключительно от первого лица:

Не счастлив ли здесь я, любовью родных
И дружбой знакомых, средь отчаго дома?
Зачем же душа моя, будто влекома,
Несется все в страны людей мне чужих?
О родине милой, о детских цветах
Горючие слезы в чужих краях канут;
Пока возвращуся, не все ли увянут
Любимые розы в родимых местах?

Переживания героя, оторванного от еврейской среды, естественны и глубоко прочувствованны, поскольку поверены жизнью самого автора. В то же время в стихах явлена и драма еврея-интеллигента, одинокого, чуждого новой Родине, коей несет он весь свой пыл. Вот как живописует он свои душевные борения:

Вот стоят друзья и братья, —
Милый круг родных,
Простираю к ним объятья,
Чтоб оставить их.
Там вдали я одиноко
Свету чужд всему,
Руки к ним простру далеко —
Их не обниму.
Что ж вы, чувства в вечном споре,
Рвете, рвете грудь, —
Выберете в тяжком горе:
Родину иль путь.
Одному мне плавать в море,
С братьями ль тонуть…

Подчеркнуто биографичны и стихи, навеянные прибытием в Москву:

Столица России! Мечта моей жизни! —
Изгнанника мира, как сына отчизны,
С любовию матери примешь ли ты?
Глядит он, глядит на твои красоты, —
И сердце в нем ноет, и рвется, и скачет, —
Он вспомнил о доме, – и плачет и плачет!

Порой автор поражает читателей неожиданными образами, явно опережая свое время. В своем программном стихотворении «Поэт» он, развивая традиционную тему о творце и невежественной черни, вдруг восклицает:

Не для торгов эдемский крин!..
Толпе не внятен запах цвета,
Толпе не внятен вздох поэта,
И чужд земным небесный сын!

В словах «запах цвета» заключен весь своеобычный художественный мир поэта, недоступный для понимания непосвященных. Так и кажется, что сия метафора взята из арсенала поэзии символистов начала XX века!

Вообще, стихотворения Мандельштама отличают метрическое разнообразие, как правило, богатые точные рифмы, что позволяет видеть в нем умелого версификатора. И хотя его опыты не обходятся без натужностей и поэтических штампов, для автора, пишущего стихи на неродном языке, это совсем неплохой результат.

Книга вышла в свет, когда Леон был уже студентом. Интересно, что Уваров никак не желает выпускать нашего героя из поля своего зрения. Вот знаменательный факт: в августе 1843 года он приглашает Мандельштама для участия в работе Раввинской комиссии (в качестве переводчика и писаря). Не правда ли, забавная картина: зеленый студент заседает за одним столом с признанными религиозными лидерами (среди коих знаменитый Мендель Шнеерсон!) и участвует в решении важнейшего вопрос о просвещении русского еврейства!

В 1844 году Леон с блеском заканчивает Петербургский университет и, защитив диссертацию «Библейское государство», получает степень кандидата философии по разряду общей словесности. Под патронажем того же Уварова он направляется за границу в серьезную научную командировку для изучения клинописи, где не только овладевает тайнами письма древних шумеров, но и несколькими европейскими языками (в том числе

английским, на котором весьма бойко пишет газетные фельетоны!) В 1846 году, по возвращении из чужих краев в Петербург, он, по примеру «Меассефа», намеревается издавать для своих соплеменников просветительский журнал на древнееврейском языке. Издание, однако, не состоялось, возможно, потому, что петербургская еврейская община находилась тогда в младенчестве и не располагала необходимыми средствами. Сыграло роль и то, что вскоре после приезда Мандельштама в столицу Уваров назначил его «ученым евреем» при Министерстве народного просвещения – должность, которая требовала от Леона полной отдачи и не оставляла времени для других дел. Ведь ему было вменено в обязанность осуществить на практике уваровский проект еврейской школьной реформы, а также курировать работу около полутора сотен открывшихся казенных училищ. На месте он не сидит – ездит с инспекцией то в Виленский, то в Киевский, то в Дерптский учебные округа…

Помимо таланта организатора и администратора, востребованным оказалось и литературное дарование Мандельштама. По поручению министерства он составляет ряд катехизисов и учебных пособий на иврите, немецком и русском языках. Страстный пропагандист русского языка и культуры, он в 1847 году издает «Опыт руководства к практическому упражнению евреев в русском языке», куда включает (первые в истории!) подстрочные переводы на иврит фрагментов из поэмы «Медный всадник» и трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина.

Из-под пера Мандельштама выходит и пятитомный труд «Извлечения из Маймонида» (1848) на древнееврейском и немецком языках. Текст средневекового гебраиста подвергся, однако, модификации, был приноровлен к условиям российской жизни. Прежде всего, это касалось вопроса об отношении евреев к неевреям. Пренебрежительное слово «гоим» (так в оригинале) он заменяет на нейтральное «акум» и подчеркивает, что иудеи, находящиеся под властью и покровительством христиан (читай: русских), обязаны не только уважать иноверцев, но и любить их, как своих братьев. Именем Торы он призывает евреев неукоснительно подчиняться законам России и воле ее августейшего монарха.

В числе подготовленных ученым евреем изданий мы находим и руководство по изучению иврита «Хиннух неарим» («Воспитание подростков»), напечатанное в 1849 году и очерки о гражданских обязанностях «Шней праким» («Две главы»), увидевшие свет в 1852 году.

Поистине неоценимы и составленные Мандельштамом

«Еврейско-русский словарь» (т. 1–2,1859) и «Русско-еврейский словарь» (I860), сыгравшие важнейшую роль в эмансипации русского еврейства. Целые поколения иудеев знакомились по ним с основами русского языка.

Чтобы дать представление о том, какие идеи внедрял Мандельштам в еврейские умы, обратимся к его «Учебнику иудейской веры», переизданному затем в 1870 году. Вот как комментирует он слова пророка Моисея «Люби ближнего, как самого себя»: «Кто такой наш ближний? Ближний наш – всякий человек, без различия народа, состояния и веры, каждый нуждающийся в помощи нашей и которому мы можем помочь… Наша любовь к ближнему должна простираться… даже на врагов наших». А ведь эта заповедь, особенно в части о врагах, традиционно связывается не столько с иудаизмом, сколько с христианством! Речь идет здесь, таким образом, об общечеловеческих ценностях, сближающих обе религии. Примечательно, что главным занятием иудеев он объявляет не столь распространенную среди них торговлю и промысел, а гораздо менее популярные земледелие и ремесло (тут он весьма к месту цитирует 128-й псалом Давида: «Если ты питаешься ручною работою, счастлив ты и благо тебе»). Тем самым он настаивал на приобщении евреев к производительной деятельности, что вполне отвечало программным заявлениям российского правительства, политику которого он как государственный чиновник неуклонно проводил в жизнь. Особое внимание он уделяет отношению евреев к их родине: «Мы должны любить наше Отечество, то есть стараться споспешествовать по силам и всеми средствами благоденствию его».

Учебники Мандельштама, введенные Министерством народного просвещения в обязательную программу, встречали неприятие главным образом тех еврейских староверов, кто не желал выходить за рамки традиционного образования. Они распространяли нелепые слухи, что новые школы якобы склоняют учеников к перемене религии, а сам ученый еврей, издававший одно пособие за другим, жирует на кровные денежки своих единоверцев. Ортодоксы превратно толковали тот досадный факт, что пособия сии были непомерно дороги и печатались на средства так называемого «коробочного сбора» – обязательного налога с иудеев. «Покупателей на эти книги не оказалось, – сообщает современник, – их навязывали меламедам [учителям. —*Л. Б.*]. Но так как плата за них (около 20 руб.) превышала иногда весь семестровый заработок меламеда, то ее должна была взять на себя община, в виде экстреннего налога».

Находились и лица, которые самого Мандельштама обвиняли

в жажде наживы на своих изданиях. Между тем сохранившиеся о нем воспоминания современников рисуют Леона личностью недюжинной с неукротимым авторским самолюбием, ощущением значимости собственного труда, чуждой своекорыстию. Вот что говорит о его изданиях очевидец: «Когда Мандельштам приступал к печатанию какой-либо книги, он не справлялся, сколько экземпляров может быть продано в течение такого-то количества лет, а давал распоряжение – отпечатать пять, десять, двадцать тысяч экз. И если книги затем лежали без покупателей в книжных магазинах, то это вызывало в нем не раскаяние, а лишь чувство презрения к современникам, неспособным воспринять добро в большом количестве; и принимаясь за печатание следующей книги, он поступал по-прежнему. Неужели из-за того, что эти невежды не умеют разбираться в том, что есть добро, он станет вдаваться в грошевые расчеты, подобающие лавочникам?»

В 1857 году Мандельштам оставляет службу в министерстве. Причину сего историки усматривают в его ярком, независимом характере, противостоявшем автократическим замашкам некоторых бюрократов от просвещения. Но, перестав исполнять должность ученого еврея де-юре, Леон продолжал оставаться им де-факто, и это вызывало в нем законную гордость. «Обязанный своим исключительным положением первого еврея, удостоенного университетской степени кандидата себе одному, своим способностям, энергии и трудолюбию, – замечает его биограф С. М. Гинзбург, – соединяя в себе огромную еврейскую эрудицию с обширною и разностороннею ученостью в области филологии и исторического знания, овладев в совершенстве большинством европейских языков, Мандельштам не мог не сознавать своего превосходства над поколением «маскилим» 30—40-х годов, не сумевшим выйти на широкую дорогу европейского образования, не сумевшим даже в область своих еврейских знаний внести необходимую систематичность, дисциплинированность… Он вносил во все, за что ни брался, широкий размах, крупный аллюр».

И оказавшись в отставке и проживая за границей, Леон Иосифович не оставляет своей просветительской деятельности. Он публикует, преимущественно на немецком языке, капитальные труды по методике изучения Библии и Талмуда.

Мандельштам также сотрудничает в ряде немецких, английских и русских периодических изданий. В 1862 году он издает в Берлине «в пользу русских евреев» свой перевод Пятикнижия на русском языке (в 1872 году вышло 2-е издание, дополненное переводом книги Псалмов). И здесь он выступает пионером, ибо это – первый перевод книг Ветхого Завета на

русский язык, выполненный евреем. Перевод не был допущен к обращению в России (из-за запрета пользования книгой Священного Писания на русском, а не на церковнославянском языке). Это издание, напечатанное за счет автора в большом числе экземпляров, существенно подорвало материальное положение Леона. Лишь в 1869 году на основании именного повеления Александра II, доступ этой книги в империю был разрешен.

Леон не уставал отстаивать интересы своих соплеменников и откликаться на злободневные темы современной ему жизни. Одна из его статей, вызванная известной полемикой вокруг публикации попечителя Одесского учебного округа Н. И. Пирогова «Одесская Талмуд-тора», так и называлась – «В защиту евреев!». В популярной газете «Русский инвалид» (1859, № 58) он напечатал апологетическое сочинение «Несколько слов о евреях вообще и русских евреях в особенности».

Занимается Мандельштам и литературным творчеством. В 1864 году он за собственный счет печатает в Берлине драматическую повесть в стихах «Еврейская семья». Однако Цензурное ведомство не допустило ее распространения в России ввиду «тенденциозности и предосудительности в содержании означенного сочинения». И это несмотря на верноподданический дух повести, завершающейся общим хвалебным хором «Боже, царя храни!», и на многократно повторяемые там славословия тому миропорядку, «когда все племена Отчизны стеною встанут вкруг Царя»! Но цензор был по-своему прав – Мандельштам действительно был необъективен, да и не мог быть объективным, когда воспевал величие и крепость духа своего народа. Вот какие слова он вкладывает в уста одного из ее персонажей – раввина Иосифа:

…Былых веков
Лишь книги наши я открою, —
И я живу не только снова,
Не только юностью своей,
Но тысячью и чуждых жизней;
Всех мучеников нашей веры,
Всех тех великих мудрецов,
Героев, праведных царей,
Которых нам послал Господь
В течение трех тысяч лет
По всем концам земного шара!
Поэтому и невозможно,
Чтобы народ такой, как наш,

Мог исторически погибнуть,
Пока есть люди на земле…

Героизирует автор и мучеников иудейской веры. Так, Иосиф рассказывает ученикам поучительную историю о том, как еврейский ребенок не пожелал поклониться языческому Зевсу и со словами: «Наш Бог один, о Израиль!» принял суровую казнь.

Принадлежность к еврейству знаменует здесь неразрывную связь и преемственность с деяниями славных пращуров б-гоизбранного народа. И на этом фоне особенно горьким и жгуче несправедливым выглядит положение семьи честного портного, еврея Баруха, отверженной, униженной и гонимой. Барух в сердцах восклицает:

…Позор
Невольно и невинно часто
Передает еврей в наследство
Своей семье; с моей нуждой
Сопряжена судьба детей;
Сто раз в неделю я, как нищий,
Прошу работы у вельмож;
Меня толкают, унижают,
Подшучивают надо мной;
Во мне не полагают чувства;
Я людям – жид, не человек.

А вот какие поистине пророческие слова говорятся здесь о немцах:

Ждать милости от них еврею —
Точно то же, что от скал
Просить воды, плодов древесных.

Мандельштам саркастически высмеивает господствующие антисемитские предубеждения того времени:

Чтоб слишком ходу не дать пьянству,
А с тем – и повода к буянству!
К торгам же, по всему пространству, —
Всех допускать, кроме евреев!» —

приводит он реплику некоего незадачливого юдофоба, облыжно обвинявшего иудеев в спаивании русского народа. Только в 1872 году книга была напечатана в Петербурге, причем со значительными купюрами.

Последним по времени изданием Мандельштама был поэтический сборник на немецком языке «Голоса в пустыне. Избранные еврейские песни» (Лондон, 1880), который так же, как и его «Стихотворения» 1840 года, остается достоянием прежде всего еврейской культуры. Исповедальность и непосредственность чувства облечены здесь в выразительную художественную форму, лишенную какой-либо выспренности и навязчивой рассудочности.

Под старость Леон, разорившийся на собственных изданиях, жил жизнью нелегкой. Он пробавлялся поденщиной в некоторых русских и заграничных печатных органах и не гнушался никаким заработком – писал то о работе почт, то о питейном сборе, то о государственном кредите, то о железных дорогах и т. д. Обширная библиотека, любовно собираемая им в течение всей жизни, была подвергнута описи и с согласия кредитора оставлена не во владении, а лишь на хранении у Мандельштама. Бодрость духа, однако, не покидала нашего ученого еврея. В часы досуга он деятельно трудился над составлением сравнительного словаря еврейских корней, вошедших в европейские языки, в том числе и в русский. Леон, по словам очевидцев, и на склоне лет отличался редкой отзывчивостью к чужому горю и обостренным честолюбием. «Его хлебосольство, радушие, предупредительность по отношению ко всем, кто обращался к нему, – сообщает его биограф, – напоминают собой черты родовитого барина старого времени, и с этим впечатлением гармонировала и внешняя осанка, исполненная достоинства, которая не покидала Мандельштама и в последние годы, когда он, одинокий и всеми забытый, доживал свой век в нищете, никому не жалуясь на свое положение».

Еврейское Преображенское кладбище в Санкт-Петербурге

Превратности судьбы, дававшие о себе знать при жизни Мандельштама, преследовали его и за гробовой доской. Так уж получилось, что он, всецело посвятивший себя еврейству, был поначалу похоронен на православном кладбище. А произошло это так: 31 августа 1889 года Леон скоропостижно скончался на пароходе, переплывавшем Неву. А поскольку никаких документов при нем найдено не было, тело его было отправлено в покойницкую при Выборгской части, а затем и захоронено на Успенском кладбище. И только когда его хватились и дворник дома, где он проживал, по приметам, платью и ключу от квартиры опознал усопшего, бренные останки Мандельштама были отрыты и 6 сентября перевезены на Преображенское еврейское кладбище…

[«Мы живем, под собою не чуя страны…»]

אֶת הָאָרֶץ תַּחְתֵּינוּ אֵינֶנּוּ חָשִׁים,
לֹא שִׂיחוֹת שִׂיחוֹתֵינוּ אֶלָּא לְחָשִׁים.

אֲבָל גַּם מִחֲצִי שִׂיג-וְשִׂיחַ
אִישׁ הָהָר הַקָּרְמְלִינִי יָגִיחַ:

אֲצַבְּעוֹת לוֹ עָבוֹת וּשְׁמֻנוֹת כְּתוֹלָע,
כְּמִשְׁקֹלֶת שֶׁל טוֹן נְכוֹנָה כָּל מִלָּה,

מְגַחֵךְ לוֹ בְּשָׂפָם מַקָּקִים,
כִּ֫הֵק עַז מַבְהִיקִים מְגַפַּיִם

וְסָבִיבוֹ מְנַהִיגִים דַּקִּיקֵי הַצַּוָּאר –
חֲצָאֵי אֲנָשִׁים יַעֲשׂוּ כָּל דָּבָר.

זֶה שׁוֹרֵק, זֶה נוֹהֵק, זֶה מְרִיעַ –
וְרַק הוּא מְהַמְהֵם וּמְצַבִּיעַ:

כְּמוֹ פַּרְסָה יְפַרְוֵל כָּל פְּקָדָה וּפְקֻדָּה –
יַךְ בְּשִׁן וּבְעַיִן, קְרָבִים יְגַדֵּעַ.

כָּל הֵין-מָוֶת כִּדְבָשׁ יֶעֱרַב לוֹ
וְחַוָּה אוֹסֶטִינִי רַחַב לוֹ.

נובמבר 1933

Израильское издание сборника стихов О. Мандельштама

Поэт Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938) приходился Леону Иосифовичу Мандельштаму внучатым племянником. Дедом же О. Э. Мандельштама был родной брат нашего ученого еврея, Вениамин Иосифович Мандельштам (ум. 1886), о котором скажем вкратце. Он также был уроженцем города Жагоры, но в то время, когда его ученый брат пекся об образовании и изучении языков, Вениамин Мандельштам занимался коммерцией. Правда, позднее он тоже стал еврейским писателем, причем писал исключительно на иврите. Впрочем, он был тонким стилистом, и сочинения его отличались яркой образностью, сочным и колоритным языком. В книге «Хазон ла мо'эд» («Еще не время», 1876), составленной в форме писем и мемуаров, он представил правдивую картину быта русского еврейства 30—50-х годов XIX века. Сторонник религиозной реформы иудеев, он предлагал здесь радикальные меры, с помощью которых «властной рукой» можно повести «глухих и слепых по пути жизни». В повести «Париз» («Париж», 1878), написанной по свежим впечатлениям его поездки в сей город, он сосредоточивается на правовом положении евреев во Франции. Его перу принадлежит и собрание притч и афоризмов «Мишлей Биньямин» («Притчи Биньямина», 1884–1885). Он также, как и его брат, выступал ревностным сторонником приобщения евреев к русской и европейской культуре.

А что же потомок братьев Мандельштамов, поэт Осип Эмильевич Мандельштам? Думается, что генетическая память о предках-литераторах материализовалась у него в виде книжного шкафа, составившего одно из самых сильных впечатлений детства: «Нижнюю полку помню я всегда хаотической: книги не стояли корешки к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был перевернутый в пыль хаос иудейский».

Но разве не символично, что выдающийся российский поэт, работавший на русскую читательскую аудиторию, Осип Мандельштам чтим и читаем в современном Израиле?! В 2007 году в Иерусалиме в издательстве «Филобиблон» (издатель Леонид Юниверг) вышел его сборник «Времена года в жизни и поэзии», где в приложении 20 стихотворений даны в переводе на четыре языка, включая иврит (автор ивритских переводов – Петр Криксунов). Так «хаос иудейский» обретает вдруг свой смысл и значение, подтверждая известную истину: история возвращается на круги своя.

Из иудеев – в славянофилы
Павел Шейн

Павел Васильевич Шейн (1826–1900) – фигура знаковая.

Его сборники русских народных песен занимают в мировой фольклористике самое почетное место. Благодаря усилиям Шейна, достоянием культуры стали более 2500 великорусских, 3000 белорусских песен, около 300 сказок и легенд, множество пословиц, заговоров, других произведений фольклора. Основной его труд, «Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах…» (1898–1900), явивший собой грандиозную попытку поэтического выражения духа русского народа с невиданной доселе шириной охвата, стал главнейшим источником для изучения обрядовой поэзии. В отличие от своих предшественников, Шейн стремился представить в своих изданиях массовое творчество, показать, как народная поэзия живет в крестьянском быту. Наряду с «Песнями» Петра Киреевского, «Пословицами русского народа» Владимира Даля, «Народными русскими сказками» Александра Афанасьева, «Онежскими былинами» Александра Гильфердинга, сборники Павла Шейна относятся к выдающимся книжным памятникам.

Жизнь и судьба Павла Шейна весьма примечательны. Выходец из иудейской среды, он только в семнадцать лет обучился русскому языку, крестился в двадцать два года – и вдруг стал страстным собирателем и популяризатором русского фольклора, отдал ему более сорока лет жизни. Да притом он был калекой, передвигался на костылях и трудился на сем поприще бескорыстно, тратя на это свое скромное учительское жалованье, – право, деятельность его можно назвать беспримерным подвигом во благо России. Характерно, что писатель Василий Розанов, говоря о выдающихся евреях, сравнил вклад Шейна в развитие русского духовного самосознания с творчеством живописца родной природы Исаака Левитана. «Время оценки Шейна еще настанет», – пророчески указал Розанов.

Павел Шейн

Многое в творческой биографии Павла Васильевича еще остается невыясненным. Не вполне понятно, ощущал ли Шейн свою еврейскую идентичность, почему он отказался от заложенных с детства религиозных традиций, какая работа мысли и душевные борения привели его к идее посвятить свою жизнь русскому народному творчеству. Его духовные искания представляют тем больший интерес, что и в сегодняшней России многие деятели еврейского происхождения отказываются от своих национальных корней и иудейской веры, жертвуя ими во имя христианства и русской культуры (по некоторым данным, в современной России около 25 процентов евреев приняли православие). А потому путь Шейна, его подвижничество на ниве русского народоведения оказывается глубоко симптоматичным. Признавая неотъемлемое право каждого на выбор пути и свободу совести, мы попытаемся воссоздать творческий путь Шейна таким, каким он был, руководствуясь исключительно требованиями исторической правды и не опускаясь до пристрастных оценок и навязчивого морализаторства. Может статься, наш рассказ наведет читателя на вопросы, не имеющие однозначных ответов. Смеем, однако, думать, что сама постановка таких острых вопросов, решение коих, по словам поэта Юрия Левитанского, «каждый выбирает по себе», и важна, и

своевременна.

Биографы Шейна говорят, что он был «воспитан в упорных еврейских антипатиях» к христианству и иным культурам, и, оказавшись в обществе русских людей, якобы «нравственно и интеллектуально превосходивших» его соплеменников, он раз и навсегда порвал с прежней средой, «заскорузлой и косной». Такая примитивная схема грешит тенденциозностью и действительности не соответствует.

Ноах родился в Могилеве на Днепре и был старшим сыном в семье небогатого торговца Мофита Шейна. Как это водилось в иудейских семьях, пятилетним мальчуганом он был отдан в хедер, где выучился свободно читать и писать на древнееврейском языке, под началом зоркого меламеда постигал Тору и премудрости Талмуда. Однако дальнейшее обучение Ноаху пришлось продолжить на дому, по причине неожиданно открывшихся у него неизлечимых телесных недугов. Вот что скажет об этом он сам: «До пятнадцати лет переболел я многими тяжкими болезнями, часто приковывавшими меня надолго к родимой берлоге, к одру страданий, а на пятнадцатом сподобился испытать участь Ильи Муромца, в первый период его жизни, то есть сделался калекой неперехожим». Сравнение с легендарным богатырем пришло на ум Ноаху позднее, тогда же в силу болезни он, прикованный к дому, не знал не только русского, но и белорусского языка, на коем говорило большинство жителей Могилева.

Зато поднаторел в еврейской учености, богословии и грамматике – ведь недаром говорят: чем слабее тело, тем сильнее дух! Помог ему в этом некий просвещенный раввин (имя его он не сообщает), уроки которого оплачивал Шейн-старший, озабоченный серьезным образованием сына. «Этот раввин, – отмечает этнограф В. Ф. Миллер, – принадлежал к тому типу еврейских либералов, которых русские евреи называли «берлинерами». То были поборники Хаскалы – Еврейского Просвещения (основоположником сего движения был знаменитый германский мыслитель Мозес Мендельсон), и иудейская масса относилась к ним настороженно, если не сказать враждебно. Дело в том, что, скованный бесчисленными запретами и предписаниями, еврей-традиционалист не тяготился ими, но видел в этом источник бесконечных радостей; ум его находил удовлетворение в тонкой диалектике Талмуда, чувство же – в мистицизме Каббалы. Знание грамматики почиталось такими староверами чуть ли не как преступление, кощунственной казалась и пропаганда светских знаний. Между тем идея просветителей (берлинеров, маскилов) состояла в том, чтобы

возрожденный древнееврейский язык стал средством приобщения иудеев к европейской культуре и цивилизации. И несомненно, помянутый раввин знакомил Ноаха с трудами на иврите по светским наукам – естествознанию, медицине, математике, истории. Кроме того, он воспитывал в нем поэтическое чувство, обучил законам версификации. Ведь, как отмечает «Еврейская энциклопедия», «витиеватый слог, звучная рифма, красивое выражение, составленное из обломков библейских стихов, почиталось [берлинерами] весьма ценными. Каждый считал долгом слагать оды в честь библейского языка, «прекрасного и единого».

То, что к образованию отрока привлекли такого раввина-либерала, не означает, конечно, что родители Шейна сами были людьми передовых взглядов. По всей видимости, выбор наставника был сделан случайно. А отцу, озабоченному торговлей и гешефтами, просто недосуг было слушать толки соседей, хотя те повторяли на все лады: «Этот учите лишка (болячка ему в бок!) воспитывает кинда из порядочной семьи как какого-нибудь гоя». Между тем именно благодаря ментору-берлинеру Ноах, помимо языкового чутья и глубокого знания древнееврейской литературы, уже в отрочестве обрел важное, определившее всю его дальнейшую жизнь качество – открытость к новым знаниям, иным языкам и культурам. Не случайно позднее русскоязычный писатель Г. Баданес оценит деятельность раввинов-маскилов как «фазис перехода к отщепенству» от еврейства («Записки отщепенца», 1883).

И видно, что отец любил своего первенца, который (вот это голова!), несмотря на недуги, помогал ему вести всю торговую бухгалтерию. Но болезнь Ноаха все усугублялась, а врачевание местечковых эскулапов впрок не шло. Хвала Всевышнему, что купцы-единоверцы насказали Шейну-старшему о Ново-Екатерининской больнице в Москве – там, дескать, обретаются настоящие медики-чудодеи, которые только мертвых не поднимают на ноги. И Мофит заторопился в Первопрестольную и добрался до Глебовского подворья, где останавливались на краткий срок заезжие иудеи (жить в Москве подолгу им строго возбранялось). И снова повезло – он сыскал подходящего грамотея, который написал ему прошение на имя столичного генерал-губернатора князя А. Г. Щербатова о дозволении показать больного докторам. Наконец разрешение было получено, и заботливый родитель на руках принес неподвижного сына в больницу. По счастью, главного врача, доктора А. И. Поля, болезнь заинтересовала, и Ноаха оставили на лечение. Какое-то время Мофит находился при сыне и доставлял ему кошерную

пишу, однако вынужден был удалиться восвояси, в родной Могилев. Между прочим, его отношение к сыну биографы изображают превратно: якобы Мофит повинен и в том, что Ноаха лечили в Могилеве невежественные лекари (будто он был дока в медицине и в выздоровлении сына заинтересован не был). И в Москву привез его из корысти (воспользовался болезнью юноши, чтобы самому остаться и торговать в этом закрытом для иудеев городе). Факты этого не подтверждают, и то обстоятельство, что отец, покуда его как иудея из столицы не выдворили, находился при Ноахе неотлучно и следил за его питанием, свидетельствует как раз об обратном.

Медиков привлекла возможность испробовать на пациенте новые методики врачевания – массажи, растяжки, а также только что изобретенные «тиски Штромайеровой машины». Обер-полицмейстер Н. П. Брянчанинов регулярно докладывал генерал-губернатору, что и больному надобно покинуть Москву, но главный врач стоял на своем, поскольку «к излечению еврея Ноаха Шайна имеется надежда». Минуло два года, и в рапорте Н. П. Брянчанинову от 31 марта 1845 года сообщалось: «Еврей Ноах Шайн, несмотря на медленное по упорности болезни лечение, получил значительное облегчение. Так что есть большая надежда к восстановлению владения в ногах, и старший врач Поль нужным считает оставить его, Шайна, в больнице для дальнейшего лечения». И вскоре произошло чудо – Ноах встал на ноги, и хотя мог передвигаться только на костылях, но уже самостоятельно, – и это было счастьем. Перед ним предстала Белокаменная русская столица, причем не из окна лечебницы, а во всей своей осязаемой красе площадей, набережных, извилистых улочек и закоулков. Он без посторонней помощи мог совершать по ней непродолжительные пешие прогулки…

Юноша вызывал сочувствие и симпатию окружающих. Странноватое еврейское имя Ноах они переиначили на русский лад и стали называть его Павлом. Этот Павел по части способностей к языкам оказался феноменом удивительным. Под руководством нескольких студентов и врачей больницы – выходцев из Германии он быстро овладевает немецким и открывает для себя поэтический мир И. В. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Ф. Рюккерта, Г. Ф. Фрейлиграта. При этом не ограничивается пассивным чтением: красоту и богатство немецкого литературного языка стремится привнести в родной ему идиш, сочиняет на нем стихи в духе Гейне, доказывая тем самым, что этот «жаргон» (так нелестно аттестовали идиш даже во второй половине XIX века) вполне пригоден для выражения высоких поэтических чувств. Нельзя не видеть в этих его опытах

продолжение традиций Менделя Левина, который стремился превратить идиш в полноценный литературный язык. Важно и то, что Шейн поначалу пишет стихи исключительно для своих единоверцев – он не мыслит себя вне еврейства, плотью от плоти коего себя ощущает.

Едва только один соплеменник-выкрест из бывших кантонистов обучил Павла начаткам русской грамоты, тот приохотился к чтению и требовал все новые и новые книги. Вообще, русские люди, окружившие его в Ново-Екатерининской больнице, своим участием и бескорыстной помощью внушили ему особое расположение и душевную привязанность к ним. Тора воспитала в нем чувство благодарности, которую, как учил его наставник-раввин, человек должен выражать всегда, словесно и на деле. Первое затверженное Шейном русское слово было «спасибо», и он не уставал повторять его семь раз на дню, вызывая понимающую улыбку окружающих. И сам он пытался понять умом, почувствовать и принять всем сердцем этот приютивший его симпатичный, добрый народ. Он жадно читает русскую классику и всматривается в национальные типы, представленные Н. В. Гоголем и В. И. Далем. Живо интересуется российской историей и проникается ее величием, штудируя сочинения бессмертного Н. М. Карамзина, М. М. Щербатова, В. Н. Татищева, И. Н. Болтина. Искушенный в древней поэзии, он восхищается мелодикой русского стиха, заучивает и читает наизусть стихотворения В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. А. Баратынского, Е. П. Ростопчиной. Он и сам пытается сочинять. Однако наряду со стихами на русские темы, думы о еврействе по-прежнему занимают и волнуют его. Он внимательно читает книги о своих соплеменниках на немецком языке и делает стихотворный перевод на русский язык классической трагедии поэта-маскила Иосифа Тропловица «Саул» на древнееврейском языке. Есть сведения, что он в то время был одержим идеей просвещения своих единоверцев. Что ж, сосредоточимся на его внутреннем убеждении служить своему народу (впрочем, сравнительно скоро покинувшем Шейна). История, как и жизнь, многовариантна. И все меняется порой из-за какой-то сущей случайности, в коей фаталисты видят неумолимый рок, а люди верующие – Божественный Промысел. Незадолго до Павла из черты оседлости в Москву отправился другой даровитый еврейский юноша, Леон Мандельштам (1819–1889). Он начал изучать русский язык почти одновременно с Шейном (в 16 лет), писал на нем незрелые, но искренние стихи об отчем доме, о дороге к знаниям, выпавшей на его долю. И он станет первым иудеем – выпускником российского университета,

защитит диссертацию, получит степень кандидата прав, и все это для того только, чтобы сеять просвещение и культуру среди евреев, чему и посвятит жизнь. В 1846 году Леон становится «ученым евреем» (была такая официальная должность!) при министре народного просвещения графе С. С. Уварове и ревностно будет проводить в жизнь николаевские реформы по «преобразованию» российских иудеев (курирует и инспектирует работу более 150 открывшихся еврейских училищ). Мандельштам станет первым автором-евреем, издавшим поэтический сборник на русском языке. Составитель еврейско-русских и русско-еврейских словарей, толкователь Библии и Талмуда, переводчик Моисеева Пятикнижия на русский язык, яркий публицист и журналист, первый переводчик произведений Пушкина на иврит, он стяжает негромкую, но почетную славу еврейского просветителя. Повернись жизнь иначе, может, и Шейну была бы уготована похожая участь. Однако…

В 1846 году лечение Павла в больнице подошло к концу, и надобно решать было, как жить дальше. Но – случайность ли это или рука Всевышнего! – в его еврейских пенатах происходят события чрезвычайные: мать, любящая мамеле Ноаха (ей так и не довелось узнать его нового имени Павел!) ушла в мир иной, а его дражайший родитель, недолго кручинясь, женился на другой, женщине вздорной и расчетливой. Она-то, окаянная, верховодит теперь и домом и отцом. Эта новоиспеченная мачеха смотрит на него, пасынка, как на постылого калеку, тягостную обузу для семьи. Понятно, попасть от нее в зависимость было для Павла смерти подобно. Потому-то о возвращении в Могилев он говорит не иначе, как с ужасом. И потому именно, а не из-за сродства с русской культурой (которое хотя и зрело в нем тогда, но еще не вполне укоренилось) он всеми правдами и неправдами стремится остаться в Москве. И вот, по счастью, врачи больницы испросили ему разрешение обучаться в столице, и Павел приемлет сие как дар небес и вскоре становится учеником-пансионером сиротского отделения училища при лютеранской церкви св. Михаила. Этот шаг имел для Шейна важные последствия, ибо по мере учебы все более ослаблялась его связь не только с родными (символично, что отделение называлось «сиротским»!), но и вообще с еврейскими корнями и традициями. Все свое сердце он обращает к России, ее культуре.

Здесь, в училище, русский язык и литературу преподает известный поэт Федор Богданович Миллер (1818–1881), который сразу же выделил этого пытливого юношу с недюжинными гуманитарными способностями. По признанию же Шейна, Миллер стал для не только учителем, но другом и «родным

братом», и объединили их «довольно сходные мнения и чувства», любовь к русской словесности и языку. Именно Федор Богданович приобщил Павла к устному народному творчеству. Искусный стилизатор и знаток старины, он сам творил яркие произведения по русским фольклорным мотивам: «Поток-богатырь и девица Лебедь» (это былина из времен князя Владимира Красного Солнышка), «Песня про Илью Волговича», «Русалка», «Помолодевший старец» и другие. Между прочим, его шутливые стихи «Раз, два, три, четыре, пять, // Вышел зайчик погулять» стали поистине народными. Именно Миллер вызвал в Шейне интерес к записям фольклора. А все началось с того, что чуткий Павел стал прислушиваться к живому московскому говору, подмечая в нем яркие слова, образные выражения. Уже в 1846 году то есть в самом начале своего школярства, он записал «длинный выкрик» молодого разносчика клюквы: «По клюкву, по клюкву!»; в другой раз – разговор с «незавидным» извозчиком, который на слова Шейна: «Экая, братец, у тебя лошаденка, настоящая мышка, того и гляди не довезет!» – метко отвечал: «Эх, барин, ведь не поется большой, а поется удалый!»

РУССКІЯ

НАРОДНЫЯ ПѢСНИ,

СОБРАННЫЯ

П. В. ШЕЙНОМЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

(вторая часть не выходила)

ИЗДАНІЕ

Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ.

Многоуважаемому Егору Васильевичу Барсову.

Отъ собирателя П. Шейна

Москва 31 дек. 1870.

МОСКВА.

въ Университетской Типографіи (Катковъ и К°), на Страстномъ бульварѣ.

1870.

П. В. Шейн. Русские народные песни. Спб., 1859 Титульный лист.

Федор Богданович пробудил в Павле то беспокойное чувство, ставшее со временем стойким состоянием души, которое называли тогда «деятельное народолюбие». Этому немало способствовали литераторы, группировавшиеся вокруг поэтов Федора Николаевича Глинки (1786–1880) и его жены Авдотьи Павловны (1795–1863), в московском доме которых на Садовой улице Павел по рекомендации Миллера был принят и вскоре стал желанным гостем. Расскажем лишь о тех завсегдатаях дома, кои оказали на нашего героя очевидное и непосредственное влияние.

Прежде всего, это сама хозяйка Авдотья Павловна Глинка. Историк Н. В. Новиков, исследовавший архивы Шейна, говорит об их тесной и трогательной дружбе. Глинка обладала замечательным качеством, которое в былое время на Руси

называли странноприимством. Женщина «высокой и теплой души», она благодетельствовала нищим, привечала стариков, калек (то, что Шейн был калекой, вызывало у нее особое сострадание), любила разговаривать с крестьянами и, выведав их нужды, спешила творить добро. Пожалуй, одна из первых она преподала Павлу урок заботливого внимания к русскому крестьянину: выступила популяризатором Священного Писания в народной среде. Из книг такого рода особым успехом пользовалась ее «Жизнь Пресвятой девы Богородицы из книг Четьи-Минеи» (1840), выдержавшая более двух десятков изданий. (Примечательно, что Ф. М. Достоевский сформулирует позднее положение, реализованное ранее в творческой практике А. П. Глинки: «Мы должны преклоняться перед правдою народной и признать ее за правду, даже и в том… случае, если бы она вышла отчасти из Четьи-Минеи»). Авдотья Павловна задалась целью переложить «книжный славянский язык, возвышенный, великолепный, [но]… не довольно слит[ый] с нашим бытом общественным» на «простой, почти разговорный русский язык». А в предисловии к своей книге она обратилась к читателям с такими словами: «Как же нам, воспитанным в Церкви православной, не ублажать Пречистую Матерь Господа? Отечество наше исполнено знамением ее милостей… Да утешит каждого… всеобщая Утешительница христиан!» Строгим христианским благочестием отмечена и лирика Авдотьи Глинки, изобилующая обличительно-назидательными интонациями с характерными укорами искателям «наслаждений и ума». Подавляющее большинство ее стихов религиозно-моралистического свойства с настойчиво повторяющимися заглавиями: «Тебе», «Себе», «Он все», «Никто более», «Верующим» и т. д. Не исключено, что Глинка приобщила Павла к христианским духовным ценностям.

Дружеские отношения связывали его и с Семеном Егоровичем Раичем (1792–1855), тоже человеком глубоко религиозным, сыном священника и выпускником Орловской семинарии (он, между прочим, был братом киевского митрополита Филарета Амфитеатрова). Преподаватель русской словесности Московского университета, Раич был и знатоком европейских литератур, переводчиком «Георгик» Вергилия, «Неистового Роланда» Л. Ариосто, «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо. О том, какое обаятельное и симпатичное впечатление производил Семен Егорович, говорит хотя бы тот факт, что его воспитанник-поэт Ф. И. Тютчев благоговел при одном упоминании имени С. Е. Раича и ставил его выше признанного корифея, профессора А. Ф. Мерзлякова. И хотя некоторые произведения поэта служили

объектом насмешек и пародий (например, печально известный стих: «Вскипел Бульон, течет во храм»), Шейн относился к поэзии своего старшего друга благоговейно, а спустя много лет, подводя итог своей жизни, будет цитировать стихи Раича:

Благодарю тебя, Всевышний!
И я на земле был не лишний!

Кружок Глинок посещала и графиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811–1858). Ее творчество производило на Павла самое сильное впечатление. Жизнь женской души, для которой любовь – смысл существования, составила ведущую тему ее стихотворений, в коих и взыскательный В. Г Белинский находил «высокий талант». Очень точно и лаконично сказал о ее стихах Ф. И. Тютчев: «То лирный звук, то женский вздох». Это «лирное», мелодическое начало поэзии Ростопчиной отозвалось в ее фольклорных стилизациях («Простонародная песня», «Русская песня», цикл «Простонародные мелодии и песни») и в романсах, положенных на музыку М. И. Глинкой, А. С. Даргомыжским, П. И. Чайковским, А. Г. Рубинштейном. Шейн ставил поэзию Ростопчиной очень высоко и не находил в ее стихах решительно никаких изъянов. «С тех пор, как Господь «книжному меня искусству вразумил», – поведал он Ф. Б. Миллеру, – ни один поэт из всех, читанных мною, не возбуждал во мне столько душевного участия и сочувствия, как графиня Ростопчина, потому что никто из них не говорил моей душе таким родным ей языком, как она».

Бывал в доме на Садовой улице и поэт Василий Иванович Красов[4] (1810–1854). Выпускник Вологодской семинарии и словесного отделения Московского университета, он до 1839 года исправлял должность адъюнкта Киевского университета. Стихи писать он начал рано и печатался в таких популярных тогда изданиях, как «Московский Наблюдатель», «Отечественные Записки», «Молва», «Москвитянин», «Библиотека для Чтения». Знаток древних и новых языков, переводчик Овидия, И. В. Гете, Г. Гейне, Дж. Г. Байрона, он благоговел перед У. Шекспиром и Вальтером Скоттом и в то же время был сторонником русской самобытности и писал песни в народном духе (кстати, был дружен со своим знаменитым земляком А. В. Кольцовым, о коем говорил: «Я люблю его задушевно»). Глубоко понимал Красов самые основы народного искусства, о чем говорит его работа над целым циклом российских песен, куда входили песни царевны, ямщика, новгородского удальца и где, по словам поэта, «должна кипеть вся широкая богатырская отвага древней Руси». Его песни обретали совершенные формы в их строгой простоте и

доверительности, идущей от народной поэзии интонации («Уж я с вечера сидела», «Старинная песня», «Уж как в ту ли ночь» и др.). О творческих исканиях поэта в этом жанре дает представление его «Русская песня»:

Ах, ты, мать моя, змея-мачеха!
Я пойду гулять – разгуляюся,
С молодым купцом повидаюся;
Я пойду гулять, наряжу себя,
Уберусь ли вся по-бывалому:
В косу длинную, в косу русую
Заплету – вот так – ленту алую…
У меня, младой, грудь высокая,
Глаза черные с поволокою,
На белой груди жар-кольцо горит…

Однако научная карьера у Красова не задалась (говорили, что помешала сему как раз его поэтическая натура – «восторженность», «необыкновенный жар», «особенность видеть в утрированном поэтическом свете самые обыкновенные вещи»). После отставки он перебрался в Белокаменную «в одной плохой шинельке и питаясь черным хлебом», учительствовал, пробавлялся частными уроками, а к моменту знакомства с Шейном преподавал русский язык в I Московском кадетском корпусе. Критик П. В. Анненков говорит, что Василию Ивановичу свойственны были «благородство чувств», «юношеская горячность в привязанностях, беспечность в жизни и неизменная доброта сердца». Натура экзальтированная и восторженная, Красов сразу же привязался к юноше-инвалиду, в коем более всего подкупала неподдельная любовь к русскому фольклору. Литературные и человеческие отношения связывали нашего героя и с другими участниками вечеров[5].

Первое выступление Павла Шейна в печати состоялось в 1848 году в альманахе с характерным названием «Панорама народной русской жизни, особенно московской…», к сотрудничеству в коем их с Василием Красовым привлек его издатель, писатель и знаток отечественной старины Сергей Михайлович Любецкий (1810–1881). Здесь было опубликовано стихотворение нашего двадцатидвухлетнего героя «Утренняя прогулка по Кремлю»[6]. Издание открывалось этим программным произведением, написанным Павлом к памятному событию – 700-летию Москвы (это видно из цензурного разрешения, которое было получено издателем альманаха 30 июля 1847 года).

Однако прежде чем обратиться к этому произведению Шейна,

есть резон вновь вспомнить его соплеменника Леона Мандельштама. По иронии судьбы именно в возрасте двадцати двух лет он тоже сочинил стихи, обращенные к Москве (они вошли в его книгу «Стихотворения Л. И. Мандельштама» (М, 1841):

Столица России! Мечта моей жизни!
Изгнанника мира, как сына отчизны,
С любовию матери примешь ли ты?..
Глядит он, глядит на твои красоты, —
И сердце в нем ноет, и рвется, и скачет, —
Он вспомнил о доме, – и плачет, и плачет.

Как пояснил сам Леон, эти стихи – «перевод с еврейского, перевод мысленный и словесный… Иудаизм вьется по ходу моего сочинения… Вы найдете здесь ту пылкую страсть, те болезненные стоны, свойственные «несчастным изгнанникам мира». Помимо темы вечных скитаний народа Израиля по свету, здесь звучит тоска по родному местечку, по своим соплеменникам, жажда еврейской духовной пищи. Москва для Мандельштама – мечта всей жизни, и он не ведает, обласкает ли она его своей материнской любовью, но знает наверняка: он признает себя сыном Отчизны только тогда, когда она, Отчизна эта, примет его таким, каков он есть, с его иудейской верой и еврейской идентичностью.

Читая после сего текст Павла Шейна, словно попадаешь в совершенно иной мир, иной строй дум и чувств открывается взору. Трудно даже предположить, что их авторы – сверстники и вышли они из одной среды, принадлежат к одному этносу. Ничего еврейского здесь нет и в помине. Сочинитель вовсе не ощущает себя пришельцем в чужой культуре – он глубоко укоренен в российскую жизнь и не только объявляет русских людей своими предками, но подает это как некую аксиому, о доказательстве коей нимало не заботится:

Мне дорога о предках весть,
Об их трудах, их прежнем быте.
Не верьте, верьте, как хотите…

Поэт взывает к авторитету почитаемого им Карамзина, объявляет себя «поклонником старины народной» и хранителем русских традиций:

Пускаясь в даль воспоминанья,
Пытливых глаз я не свожу
С недосягаемой твердыни,
С крестов Кремлевский Святыни,
С Кремлевских древле грозных стен.
С благоговением потомок
Кладет кирпичный их обломок,
Свидетеля былых времен,
На любознательный безмен.

Шейн использует слова, сравнения и метафоры, восходящие к народной поэзии. И хотя созданные им образы грешат вычурностью и картинностью и не всегда художественно выразительны, поиск и экспериментирование в этом направлении очевидны и говорят о его повышенном интересе к русскому фольклору:

…Едва
Заря ширинкою янтарной
С пурпурной яркой бахромой
Успеет алою каймой
Раскинуть пояс лучезарный,
Светлее всех земных корон,
На отдаленный небосклон,
Для встречи радостного солнца
Едва в небесное оконцо
Свое огнистое чело
Под жемчугом и перламутром,
Мир поздравляя с добрым утром,
Оно спросонья навело
На темя стража великана
Святыни древнего Кремля —
Проснулась Русская земля,
Москва вставать привыкла рано.

Автор слагает гимн Москве как твердыне православия, явлению русского национального духа:

Святого брашна сладкой пищей
За трапезой великих дум —
Здесь вечеряет Русский ум!
Идите в Кремль на богомолье;
Душе там Русской есть раздолье,

Свои размышления о «русской душе», характере (ментальности, как бы мы сейчас сказали) русского человека Шейн поведал бумаге. Понятно, что круг его общения был достаточно узок, потому питает его отечественная словесность. По разумению нашего героя, русский человек соединил в себе две крайности: едкую иронию и тонкий юмор. Первая имела свой «едва заметный источник в народных пословицах Даниила Заточника, закипела животворящим ключом сатиры в творениях Кантемира и Грибоедова, явилась прозрачным, излучистым потоком в произведениях Фонвизина, Хемницера, Измайлова, Крылова и наконец хлынула светлым, брызжущим, никого и ничего не щадящим водопадом в гениальных сочинениях Гоголя». Вторым – «проникнуты все старинные песни русского народа. Он составляет особенный отпечаток всех русских истинных поэтов, которые почти сплошь да рядом были преимущественно лирики. В особенности же эта безотчетная тайная, рыдающая грусть, это задушевное уныние, эта безутешная кручина встречаются на каждой почти странице лирических произведений Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Кольцова». Несмотря на спорность суждений Павла, оригинальность и глубина их бесспорны.

Публикации стихотворения в альманахе С. М. Любецкого и рассуждениям о русском характере сопутствовали отказ Шейна от иудейской веры и крещение в 1848 году по лютеранскому обряду. На фоне явной православной и славянофильской ориентации нашего героя его обращение в протестантизм может показаться странным: ведь те же славянофилы считали сию веру отравленной духом рационализма и органически чуждой русскому народу. Вот что писал по сему поводу один из основоположников славянофильства А. С. Хомяков: «Протестантство бежит на всех парусах от нагоняющего его неверия, бросая через борт свой догматический груз, в надежде спасти себе Библию, а критика, с язвительным смехом, вырывает из оцепеневших рук его страницу за страницей, книгу за книгой». Могут возразить, что подвижник русского слова В. И. Даль тоже был протестантом и при этом издавал и свои замечательные словари и сочинения в русском народном духе. Однако датчанин Даль был лютеранином с детства по воле родителей, в зрелые же годы он принял православие. Что же касается российских евреев, они в то время нередко крестились по протестантскому обряду (речь не о кантонистах, чье обращение в православие было преимущественно вынужденным и принудительным).

Показательна судьба первого русскоязычного писателя-еврея, маскила Лейба Неваховича (1776–1831). Автор книги «Вопль дщери Иудейской» (1803), где он выступил в качестве штадлана (ходатая за свой народ) перед власть имущими, Невахович затем сближается с предтечами славянофилов из окружения адмирала А. С. Шишкова. Он пишет апологетические сочинения о русских с их «мужественным духом, языком глубоким и обширным», в столичных театрах ставятся его патриотические пьесы о «храбрых братьях славянах». При этом Невахович, совершая в возрасте тридцати лет обряд крещения, почему-то тоже становится лютеранином. Случайно ли это?

Безусловно, обращение соплеменника в христианство воспринимался иудеями как тягчайший грех. Выкреста называли «мешумад» («уничтоженный»). Однако протестантизм (как и ислам) был в глазах иудеев отступничеством все же не столь вопиющим, как православие с его почитанием икон. Последнее толковалось как особо осуждаемое Торой и Талмудом идолопоклонство, и выкрест-неофит, вышедший из еврейской среды, так или иначе должен был убеждения этой среды учитывать. Терпимость иудеев к протестантизму была тем очевиднее, что некоторые раввины, если не было синагоги, разрешали молиться в реформистской кирхе, поскольку никаких изображений там не было. А толерантность маскилов к этой вере была и вовсе безгранична, и известный еврейский просветитель Давид Фридлендер даже призывал единоверцев ходить в лютеранские храмы, считая их рассадником европейской цивилизации (он, между прочим, в духе деизма вообще думал о сближении протестантизма и иудаизма и выдвинул идею рационального «сухого христианства»). Существенно и то, что лютеранство свободно от строгой обрядности и не требовало обязательного посещения церковных служб (кстати, оно в значительной мере повлияло и на так называемый «реформированный иудаизм»). И не случайно, что позже в России были разрешены браки между лютеранами и иудеями, и муж-протестант мог вызволить супругу-еврейку из черты оседлости. Нельзя не сказать и о том, что принятие иудеями православия, в отличие от лютеранства, было сопряжено с определенными трудностями и препонами, в том числе и бюрократического характера. Неофита проверяли на искренность обращения, строго экзаменовали в знании догматов православной веры и молитв (известен, например, случай, когда в 1834 году архимандрит отклонил петицию восемнадцатилетнего иудея-гимназиста из Вильно Каспера Бермана из-за его «недостаточных и бедных» наставлений в Законе Божьем). Впрочем, и обращение еврея в

протестантизм требовало, согласно закону 1827 года, специального разрешения министра внутренних дел. Хотя лютеране не пользовались в империи особыми привилегиями (их переход в православие всемерно поощрялся, а вот обращение православных в протестантизм считалось уголовным преступлением), однако и дискриминации они не подвергались, и вознамерившийся принять сию веру Павел Шейн мог получить право беспрепятственно жить в столице.

Характерный тип еврея-выкреста блистательно живописал А. П. Чехов в рассказе «Перекати-поле» (1887). Он показал здесь некоего индивидуума, кстати, тоже выходца из Могилевщины, нареченного Александром Ивановичем, который на вопрос о перемене веры «твердил только одно, что «Новый завет» есть продолжение Ветхого» – фразу, очевидно, чужую и заученную и которая совсем не разъясняла вопроса». Русский писатель указал здесь на весьма распространенный и общепринятый аргумент, ибо мысль эта повторяется на все лады в сочинениях православных знакомцев Шейна, и, возможно, на прямой вопрос и наш герой ответил бы точно также.

И все же случай Павла Шейна особый. Он, хотя прожил в Могилеве до семнадцати лет (а по еврейским меркам, это был возраст вполне зрелого мужчины; достаточно сказать, что Исаак Бер Левинсон в девять лет написал ученую книгу о Каббале, а Виленский Гаон Илия в тринадцать лет стал знаменитым талмудистом), понимал, что был в сущности «плохим иудеем». Запертый болезнью в стенах дома, он не посещал синагогальных служб, был оторван от еврейской народной жизни, и его эрудиция была исключительно книжной. То было знание, не согретое верой, живым общением с соплеменниками. В его памяти остались лишь сценки из далекого детства: вот они, школяры в хедере, громко зазубривают урок; вот въедливый меламед отвешивает ему незаслуженно обидный подзатыльник; а над крышей родного дома все играет и играет светлое нежаркое, но такое приветное солнце. Разве это солнце тоже было еврейским? Голос крови? Павел не мог понять, что сие означает. Хотя русские друзья говорили: когда он вспоминал о могилевском прошлом, в его речи чувствовался заметный еврейский акцент. Он явственно помнил голос и звонкий смех матери, своей аидише мамы. Она то и дело тайком от отца балует своего старшенького, подходит к его изголовью, подсовывает то пряник, то миндальную баранку, то какую другую вкусность, ее нежные руки касаются его лба. Сейчас мамеле уже нет, в комнате ее обосновалась совсем чужая женщина и всем заправляет в доме, да и сам он стал в этом доме совсем чужим. Да, остался отец, но он – человек сугубо

практического склада, помешан на своей коммерции, и обсуждать с ним то, что действительно волнует Павла, никакого резона нет – да и говорят они теперь на разных языках. И не только потому, что он уже не Ноах, а Павел и стал думать по-русски. И хотя идиш вроде тоже не забыл, не знает он, как сказать на нем: «Благовестительный орган Ивана Великого», «Святая брашна сладкой пищи». Не может он втолковать отцу, что такое русская литература, почему она великая, какие дали отверзли ему Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И не может выразить в словах, как и почему прилепился душой к русскому народу, отчего, когда переступает он порог православного храма, теплеет его сердце, душа будто вздымается ввысь. Удивительно точно все-таки сказал русский поэт: «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?» Горько, конечно, что этим «другим» был его родной отец, это от него Павел принужден таить сокровенные «мечты и помыслы свои».

Впрочем, и его русские литературные друзья высказывали подчас такое, внимать чему ему, урожденному Ноаху было неприятно и больно. Вот, к примеру, его кумир Евдокия Ростопчина писала: «С уловкой сатаны, как род еврейский, / Вы вкривь и вкось толкуете слова». А Федор Глинка заявил как-то, что «ежели жиды выйдут на свободу, то свет кончится». Да и Василий Красов, тот самый Вася Красов, который вроде бы души в нем не чаял, в стихотворении «Еврей» (1833)[7] разглагольствовал о вине всего народа Израиля за распятие Спасителя, патетически вопрошая:

> Скажи, Еврей, чего здесь ожидать?
> Чья грудь тебя заботливо согреет?
> Ты век гоним, ты низок сердцем стал,
> И над тобой проклятье тяготеет!
> Увы, Еврей, ты Бога распинал!

Но ни за собой, ни за своим народом Шейн вины не чувствовал. И в той крестной казни многовековой давности он видел ухищрения и злодейства горстки первосвященников и фарисеев (а крики «распни его!», так то ревела чернь, которая у всех народов одинаково неразумна и слепа). И он вспоминал слова апостола Павла о евреях: «Это народ закона и пророков, мучеников и апостолов, «иже верою победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования». Неизвестно, обсуждал ли Шейн эти тогда не совсем безразличные для него вопросы со своими русскими друзьями, с Красовым (возможно, стихотворение «Еврей» Павел имел в виду, когда написал позже, что «некоторые

его [Красова. —*Л. Б.*] пиесы… довольно слабы») или держал горечь в себе. Видно только, что подобные уничижительные отзывы о народе, из коего вышел наш герой, не стали препятствием на пути к его обращению в христианство, хотя этот его шаг повлек за собой полный и окончательный разрыв с отцом и братьями, еврейской средой. Что испытывал он, осеняя себя крестным знамением? Не казалось ли ему, как и персонажу рассказа В. Лоховой «Последний шаг» (1909), «что сотни глаз устремятся на него, как только он переступит порог церкви, и из толпы в упор будут смотреть на него знакомые, грустные еврейские глаза»?

Нельзя сказать, что Павел Шейн, подобно чеховскому Александру Ивановичу, «был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью». Уж чего-чего, а тупого самодовольства в нем не наблюдалось. Он глубоко переживал конфликт с родными и порой даже сомневался в правильности собственного духовного выбора, да и всей жизни. Вот что пишет Ф. Б. Миллеру: «Когда я подчас оглядываюсь назад, на свое прошлое, то ясно вижу, что вся моя судьба состоит из одних ошибок: не скажу *ошибкою родился* [курсив Шейна. —*Л. Б.*], но по крайней мере меня ошибочно воспитывали, ошибочно подвергали многим болезням, ошибочно очутился я христианином, ошибочно, к несчастью, меня понимали и учили преподаватели школы святого Михаила…» Как видно, единственно, в чем уверен здесь наш герой, это в том, что он не ошибкою родился – а Ноах-Павел был рожден в еврействе.

А другому письму Шейн предпослал эпиграф из Лермонтова: «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды». И продолжает: «Вот… эпиграф души моей со дня разлуки с бедными моими родителями, родными, родиной, которые с холодным презрением отвергнули, оттолкнули меня от себя, кажется, навек, как отчаянного грешника». Примечательно то, что тоска по еврейскому очагу вызывает у него чисто русские литературные реминисценции.

Павел, однако, не казнил себя и не каялся в своем отступничестве, а считал себя «невинно страдающим, отвергнутым родителями». Он не разумел того, что понял чеховский Александр Иванович: «Каждый народ инстинктивно бережет свою народность и свою веру». И Шейн как будто «старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменив религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил, как человек мыслящий и свободный от предрассудков…»

В 1851 году он вышел из стен училища св. Михаила, как он напишет, «с весьма скудным запасом сведений и с одной горячей

любовью ко всему русскому» и «без руля и ветрила пустился в море житейское на произвол судьбы». Он здесь явно скромничает: знаний, полученных им, было вполне достаточно, чтобы самому стать ментором не из последних. В поисках хлеба насущного он и занялся учительством, чем зарабатывал на жизнь, воспитывая барских детей в богатых помещичьих семьях. С лета 1851 до весны 1855 года он пребывает в доме Н. А. Загряжского; с лета 1855 по весну 1856 года у П. А. Оленина; лето и осень 1856 – в семействе Н. С. Краткова; с весны 1857 до осени 1859 у графини М. Ф. Соллогуб, сестры видного славянофила Ю. Ф. Самарина; с мая 1859 до конца 1860 года – в имении тверского генерал-губернатора графа П. Т. Баранова.

В 1851 году он вместе с семейством Загряжских направляется в их деревню Селихово Тверской губернии, где впервые близко знакомится с народным бытом, причем пытается понять всю сокровенную суть крестьянина, сам затевает с ним беседу и… сразу же располагает к себе. «Тут постоишь немного, – удовлетворенно пишет он, – с одним мужиком поговоришь, другого о чем-нибудь спросишь, третий и сам без спроса тебе наскажет с три короба». В то время деревенская жизнь виделась ему, однако, в самых радужных тонах и очень напоминала славянофильскую идиллию: «Солнце село за лес, и отовсюду раздается блеянье стад, крик пастухов, ржание и топот разгоняемых лошадей, веселый говор и песни довольных, неприхотливых поселян».

Характеристика, которую Павел дает Загряжскому, знаменательна и, прежде всего, свидетельствует о приоритетах и жизненных ценностях самого Шейна. Вот что он пишет о своем барине-работодателе: «[Загряжский] – большой патриот, сознательно и без предубеждений любит Россию, русский язык, русскую поэзию и в большом почете у всех окружающих…» Но подчас Павел чувствовал себя в помещичьем доме постояльцем и чужаком. Однажды в такую минуту он, досадуя на свое положение интеллигентного раба, выразит свою горечь словами из песни А. В. Кольцова. В письме к Ф. Б. Миллеру он процитирует:

У чужих людей
Горек белый хлеб,
Брага хмельная —
Не размывчива!
Речи вольные
Все как связаны;
Чувства жаркие

Мрут без отзыва.

Но Шейн начинает серьезно интересоваться и подлинными безыскусными народными песнями и преданиями. Он ищет сказителей и певунов: «Я обратился к подрядчику плотников, на которого вся барская прислуга указывала как на отличного певца, – пишет Павел, – и попросил мне спеть какую-нибудь песню про богатыря. Он после некоторых колебаний пропел мне былину про Илью Муромца, которую я тут же записал, вознаградив певца по достоинству. Это ему развязало язык и склонило на мои просьбы приходить ко мне по вечерам для записывания других былин, хранившихся в его счастливой памяти. Таким образом в течение недели я от своего почтенного барда Егора плотника и записал до шести довольно объемистых былин… Моей радости не было конца. Я стал отыскивать в нашей деревне других певцов. Нашлись и они. В течение осени я еще записал от 20 до 30 былин и исторических песен». В то же время он делает выписки из древнерусских летописей, статей языковедов Я. К. Грота, И. И. Срезневского, Ф. Миклошича и др. О Павле как о собирателе народных крылатых словечек говорит в 1852 году и Авдотья Глинка: «Мы часто Вас вспоминаем, – пишет она Шейну – особенно при каком-нибудь особенном выражении, но недостает терпения, как у Вас, записывать такие приобретения».

Однако интерес к еврейской просветительской литературе он тоже не потерял. В 1853 году Павел настойчиво рекомендует для прочтения сочинение духовного вождя Хаскалы Мозеса Мендельсона «Федон, или О бессмертии души» (изд. 1841). Он говорит о книге как о «душеспасительной» и «благодетельной», способной «принести человеку образованному более духовной пользы и назидательности, более истинной теплой любви к милосердному и всеблагому Творцу нашему, чем целые сотни проповедей самых красноречивых и набожных пасторов».

В 1856 году, оказавшись в Москве, он знакомится с известным писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791–1859), которого задолго до этого «издали и по сочинениям привык уважать и любить от души». Но, пожалуй, наибольшую роль в судьбе Шейна сыграла его встреча с профессором, академиком, «поэтом мысли» Степаном Петровичем Шевыревым (1806–1864). Ревностный сторонник идеи русской народности и патриархальных православных ценностей, он первым с университетской кафедры высказал мысль о составлении «Полного свода всех русских песен, сказок и пословиц». Шевырев

настаивал на скорейшем освоении фольклорного материала: «Как до сих пор мы не спешим уловить русские песни, столь родные нашему сердцу, которые, может быть, скоро унесет с собой навеки старое поколение?» Согласно профессору, собиратель песен должен обладать «большим запасом эстетического вкуса и чутья народности» – качествами, которые всемерно старался развить и воспитать в себе наш герой. И неудивительно, что между ним и маститым ученым вскоре возникли симпатия и привязанность. «Душевно уважаемый», «многочтимый Степан Петрович», – пишет ему Шейн и признается: «Задушевная моя мысль – трудиться на пользу русской литературы всем, чем только богат». И Шевырев уже называет Павла «милым другом» и «любезным доброхотом», делится с ним впечатлениями о литературной жизни Москвы.

Видимо, с подачи Шевырева Шейн попадает в московский дом «неисправимого славянофила» Юрия Федоровича Самарина (1819–1876), чьи взгляды повлияли на него самым решительным образом. Прежде всего это относится к основополагающей идее народности. «Говоря о русской народности, – настаивал Самарин, – мы понимаем ее в неразрывной связи с православной верою, из которой истекает вся система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнью русского человека». По мысли Самарина, выявлению начал, которыми русский народ поверяет себя в песнях, и должна быть одушевлена деятельность русского фольклориста. И, как отмечает биограф, Шейн «попадает в атмосферу славянофильства и народности и охватывается ею».

Огромное и, можно сказать, определяющее влияние оказало на него знакомство с русскими славянофилами: Алексеем Степановичем Хомяковым (1804–1860), Иваном Сергеевичем (1823–1886) и Константином Сергеевичем (1817–1860) Аксаковыми, Михаилом Петровичем Погодиным (1800–1875), Осипом Максимовичем Бодянским (1808–1877) и др. Хомяков и Аксаковы впечатлили Шейна даже своим внешним обличьем: они не брили бороду, демонстративно носили стародавнее русское платье, что было по тем временам шагом смелым и решительным. На их счет язвительная Евдокия Ростопчина злословила: «Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечесаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом – любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря, как человек, который из вящей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него

пренебрегал бы и ненавидел бы отца, мать, братьев, жену, детей и проч.» Хотя славянофилы преклонялись перед народом как перед стихией, неподвластной «формальному разуму», живущей обычаем и верой и чуждой историческим изменениям (философ В. С. Соловьев назовет это «особнячеством»), столь резкая их оценка грешит предвзятостью, что было свойственно сей экстравагантной графине.

Вера славянофилов в высокую силу и мощь народа, в творческий характер русской культуры определила их глубокий интерес к фольклору. И заслуги их на сем поприще столь масштабны, что для серьезного собирателя народной поэзии, каким старался стать Шейн, сближение с ними было и неизбежным, и необходимым. Петру Васильевичу Киреевскому (1808–1856), которого называли «великим печальником земли русской», принадлежит заслуга собрания тысяч лирических и исторических песен, народных былин, большинство из коих увидели свет уже после его жизни. Вдохновленный на собирательство А. С. Пушкиным, С. А. Соболевским и С. П. Шевыревым, Киреевский в письме к Н. М. Языкову дал очень точное определение своему труду: «Собрание Русских Песен будет не только лучшая книга нашей Литературы, не только из замечательнейших явлений Литературы вообще, но что оно, если оно дойдет до сведения иностранцев в должной степени и будет ими понято, то должно ошеломить их так, как они ошеломлены быть не желают! Это будет явление беспримерное!» Хотя первый выпуск «Песен» П. В. Киреевского увидел свет в 1860 году, методы работы этого замечательного фольклориста и содержание его сборника были ведомы Павлу значительно ранее.

Теорию фольклора и народной песни разрабатывал К. С. Аксаков, которого Шейн близко знал и состоял с ним в переписке. В статьях «О древнем быте славян вообще и русских, в особенности, на основании обычаев, преданий, поверий и песен», «Богатыри времен великого князя Владимира, по русским песням» он представил целостную концепцию народной поэзии. К. С. Аксаков итожит: «Песня равно принадлежит всякому в народе, поэтому народную песню поет весь народ, имея весь на нее равное право, поэтому на песне нет имени сочинителя, и она является вдруг, как бы пропетая всем народом». Он подчеркивал: «Везде, где есть народ, есть национальная поэзия и народные песни»; они выражают вечную и истинную сущность народа, раскрывают его смысл и характер и вместе с тем остаются «верною опорою» и «порукой за будущее народа», «к каким бы сомнениям и противоречиям ни привело нас его дальнейшее развитие». К. С. Аксаков резюмирует: «Все здесь принадлежит

каждому в народе, ибо здесь индивидуум – нация, здесь он живет под этим национальным определением… Разнообразные и истинные, всегда ровные, верные сами себе, всегда полные одною определенною жизнью, стройно и невозмутимо поднимаются песни над народом, живущим в периоде исключительной национальности». О том, какое значение придавал К. С. Аксаков русской фольклорной традиции, говорят его страстные стихи:

Пора домой! И песни повторяя
Старинные, мы весело идем.
Пора домой! Нас ждет земля родная,
Великая в страдании немом.

В былинном же образе Ильи Муромца ему видится «непреоборимая могучесть» русского народа, проявляется «спокойная, никогда не выходящая из себя и потому никогда не слабеющая сила». Он рассуждает о «глубоко правдивом и религиозно-нравственном миросозерцании», выраженном в песнях о богатырях.

Христианизация народного творчества характерна и для Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856). Даже отсутствие у русского народа застольных песен он связывал с религиозно-нравственными свойствами крестьянина, для которого якобы на первом месте – молитва.

А. С. Хомяков, с коим тоже непосредственно общался Шейн, говорил об исключительной жизненности русского фольклора и противопоставлял его «бесполезной для бытового человека» европейской народной поэзии. «Наши старые сказки отыскиваются не на палимпсестах, – писал он, – не в храме старых и полусгнивших рукописей, а в устах русского человека, поющего песни старины людям, не отставшим от старого быта. Наши старые грамоты являются памятниками не отжившего мира, не жизни, когда-то прозвучавшей и замолкнувшей навсегда, а историческим проявлением стихий, которые еще живут и движутся на нашей великой Родине». Для Хомякова, с характерной для него концепцией «ретроспективной утопии», русский быт с его устоями и народная поэзия неотделимы. И такое мнение разделяли большинство славянофилов. Примечательно, что близкий к ним литератор Н. Ф. Павлов в стихотворении 1853 года, обращенном к А. С. Хомякову, охарактеризовал его как личность харизматическую «с ясной мыслью, с звуком чистым», которого благословили на служение народу «Златоуст и Аполлон».

По мысли профессора славяноведения Московского

университета О. М. Бодянского (он будет активно сотрудничать с Шейном на ниве журналистики), песня – «дневник народов», их история, «хранилище всякого ведения и всякого верования», «их феогония, космогония, память, тризна по своих отцах и дорогих сердцу, надгробный памятник священной старины, живая говорящая летопись времен давно прошедших», «многосложная картина минувшего века, его духа», «верный очерк быта и всех его неуловимых простым глазом мельчайших подробностей». Совсем в духе А. С. Хомякова он заявляет, что славянский фольклор в гораздо большей степени отражает национальный характер и народный дух, чем фольклор других народов, ибо славяне – «самый песенный, самый поэтический народ в Европе».

С исключительной настойчивостью задачи собирания памятников фольклора и народного быта проводил в жизнь М. П. Погодин (Павел ходил на его лекции в Московском университете). Погодин не только сам записывал песни, совершая поездки по северу России, но и усиленно вербовал собирателей, поддерживал их начинания, популяризировал фольклор на страницах «Москвитянина» и других журналов.

Взгляды славянофилов на народ и его песенное творчество, их горячее желание глубоко изучить и сделать общим достоянием отечественный фольклор оказались созвучны чаяниям Шейна, решившего посвятить жизнь русскому народоведению. Однако, как заметил В. С. Соловьев, «господствующий тон всех славянофильских взглядов был в безусловном противоположении русского нерусскому, своего – чужому». И в их декларациях и историко-культурных построениях иудеям, к коим по рождению принадлежал Павел, отводилась весьма жалкая роль, и еврейство изображалось в самых черных красках. Вот, к примеру, какие ассоциации вызывают у А. С. Хомякова пресловутые миллионы барона Ротшильда: «В его денежном могуществе сказывается целая история и вера его племени. Это народ без Отечества, это потомственное преемство торгового духа древней Палестины и, в особенности, это любовь к земным выгодам, которая и в древности не могла узнать Мессию в нищете и унижении». И еврейским деятелям культуры А. С. Хомяков отказывает не только в оригинальности, но и в нравственности: «Имена многих великих музыкантов принадлежат к роду Еврейскому, – пишет он, – к нему же принадлежат многие литераторы, замеченные по остроумию, грации или силе ума и выражения (хотя все они представляют что-то ложное в чувстве и мысли)». Утверждая самобытные начала русской культуры, он не только не признает за современными ему евреями какого-либо значения, своеобычности, но и отрицает их право эту собственную культуру

иметь: «Иудей после Христа есть живая бессмыслица, не имеющая разумного существования и потому никакого значения в историческом мире».

Ему вторит И. С. Аксаков, в устах которого нетерпимость к иудеям обретает откровенно антисемитские обертоны: «Верующий Еврей продолжает в своем сознании распинать Христа и бороться в мыслях, отчаянно и яростно, за отжитое право духовного первенства, – бороться с Тем, Который пришел упразднить «Закон» – исполнением его».

А что Павел Шейн? Как отнесся он к подобным инвективам славянофилов? Приходится признать, наш герой последовал совету расположенного к нему Ивана Аксакова: «Логический выход из такого положения возможен только один: отречься от жидовства и принять те начала, которые составляют закон всего современного просвещенного мира. Это честный, прямой и вполне плодотворный выход…» Впоследствии русский философ Георгий Федотов заметит: «В XIX веке еврей, желавший забыть о своем еврействе, легко мог стать членом космополитического общества. Но ему уже много труднее было стать своим, скажем, в кругу русских славянофилов». А Павел Шейн таковым стал, истребив в себе последние остатки еврейского национального чувства. Может статься, он сделал это «честно, прямо», по глубокому внутреннему убеждению.

Плодотворной оказалась, однако, совсем иная его активность – на поприще литературы, журналистики и собирания памятников русского фольклора. Шейн становится непременным участником заседаний Общества истории и древностей российских – первого научного общества для изучения и публикации документов по русской истории; он также вовлечен и в работу Общества любителей российской словесности, целью коего было «способствовать успехам отечественной литературы как главному средству к распространению просвещения».

В 1859 году Павел по предложению своего давнего литературного наставника Ф. Б. Миллера начинает сотрудничать в издаваемом тем журнале «Развлечение», где под псевдонимами «П. Ш.», «Наум Словолюб» и «NN» в разделе «Библиографические известия» публикует свои мелкие рецензии и аннотации на вновь вышедшие книги. При этом Шейн представляется читателю (1859, № 16) как «простой любитель русской словесности, подчас марающий для своего удовольствия» и видит главной задачей своего участия в журнале – борьбу за сохранение чистоты русского языка от нелепых потуг «гнуть его как попало на тот иностранный лад, который временно у нас преобладает». С этой, вполне славянофильской, точки зрения он положительно

оценивает «Разные сочинения» С. Т. Аксакова, автора коих называет «Нестором нашей литературы»; перевод С. П. Шевыревым драмы Ф. Шиллера «Валленштейнов лагерь»; а также книгу «Украинские народные сказания» Марко Вовчок (М. А. Вилинской), переложенную «полным мастером и хозяином русского слова» И. С. Тургеневым. Он и выбирает для отзыва книги о народе и написанные в народном духе – «Очерки Печерского Края» (1859), «А. В. Кольцов, его жизнь и сочинения» Н. А. Добролюбова (1859). Вместе с тем он выступает ревностным пропагандистом христианской морали и нравственности. В рецензиях на педагогические сочинения он поднимает на щит книгу Ф. Г. Х. Шварца «Руководство к воспитанию и обучению» (1859), объявляющую христианство основой всякого образования. Рецензент настаивает на том, что религиозное чувство надо прививать с младых ногтей, приобщая детей к вдумчивому чтению Евангелия (показательно, что труд Ф. Г. Х. Шварца станет потом настольной книгой самого Шейна-педагога).

Ф. Б. Миллер горячо поддержал предпринятое Шейном издание книги стихов покойного друга, поэта-самородка Василия Красова, скончавшегося в безвестности от чахотки в 1854 году. В этом сборнике, по мысли издателя, заключалось именно то, чем «умственно жило и интересовалось образованное русское общество в далеком, как и близком прошедшем… [Произведения Красова] в тридцатых и сороковых годах печатались в лучших журналах того времени наряду со стихотворениями Лермонтова, Огарева, Кольцова; многие из них с увлечением читались, перепечатывались, заучивались наизусть просвещеннейшими современниками покойного поэта, у которых они до сих пор сохранились в памяти». Важно то, что Шейн решает печатать стихи Красова в хронологическом порядке, поскольку, как он считает, это позволяет «проследить постепенное развитие поэта» (именно такой «диалектический» принцип расположения материала он примет и в своих фольклорных сборниках и назовет его «календарно-биографическим»). Однако усилия Шейна сделать стихи Красова достоянием широкого читателя пропали втуне: почти весь тираж напечатанной книги сгорел во время пожара на складе. Уцелели лишь считанные экземпляры, ставшие библиографической редкостью.

Важную вдохновляющую роль в профессиональной судьбе Шейна сыграл известный немецкий филолог, основоположник мифологической школы в фольклористике Якоб Гримм (1785–1863). Шейн свиделся с ним во время поездки за границу (в качестве домашнего учителя в одной семье), когда ему довелось посетить Берлин. Автор (вместе с братом Вильгельмом)

знаменитого собрания немецких сказок, Гримм одобрил фольклорные труды Павла, с восторгом говорил о только начавших выходить «Народных русских сказках» А. Н. Афанасьева и все сокрушался, что Шейн, живя в Москве, незнаком с ним. «Непременно познакомьтесь с Афанасьевым, – настаивал Гримм. – И передайте от меня приветствие и благодарность за его сказки!»

В 1859 году в «Чтениях Общества истории и древностей российских» (кн. III), редактируемых О. М. Бодянским, был опубликован сборник былин и песен, записанных Шейном еще в 1856 году (он был издан и отдельным пятидесятистраничным оттиском под заглавием «Русские народные былины и песни, собранные П. В. Шейном»). И показательно, что именно А. Н. Афанасьев специально выделил книгу Шейна и охарактеризовал собранные им материалы как «прекрасные дополнения к сборникам Кирши Данилова и Академии наук».

Получив одобрение ученого знатока, Павел решает «отныне посвятить все свои силы и способности дальнейшему собиранию памятников народного творчества – и, по возможности, заинтересовать в пользу этого дела и других грамотных людей везде, где придется жить и служить». Он верит, что его труды послужат «маленьким подспорьем, хоть одним камушком для созидающегося фундамента народоведения у нас на Руси».

И Шейн хочет в духе времени идти в народ и просвещать его. Ненадолго он становится преподавателем одной из московских воскресных школ, в 1861 году по приглашению Л. Н. Толстого учительствует в Яснополянской школе, затем делается учителем и штатным смотрителем училищ в Туле и Епифани. И всюду он, елико возможно, собирает произведения фольклора, привлекая к сему и своих учеников, и коллег-учителей, и просто случайных знакомых. У него выработалось важное, необходимое фольклористу-профессионалу качество, о чем говорит В. Ф. Миллер: «В разговоре с простым народом Павел Васильевич умел скоро устранять всякие стеснения и заинтересовывать собеседника, напоминал сам ту или другую песню из богатого запаса своей памяти». Необходимо также отметить его участие в деятельности Русского географического общества, с коим он сотрудничал до конца жизни.

За время своего учительства, в переездах из губернии в губернию, он собрал множество народных произведений. Поразительно, что труд сей совершался калекой, которому передвижение и писание давались ценой физических страданий (он не мог даже одеться без посторонней помощи, а влезать и слезать с экипажа стоило ему настоящих мучений). Он еле-еле передвигался на костылях, пальцы сведены от ревматизма,

записывать трудно – и при этом Шейн обнаруживает самую завидную энергию. В 1868–1870 годах в «Чтениях Общества истории и древностей российских» выходят собранные Шейном песни детские, хороводные, плясовые, скоморошные, беседные, голосовые или протяжные, шутливые, забавные и сатирические, обрядные, свадебные и похоронные причитания и др. Они издаются и в виде отдельной 600-страничной книги: «Русские народные песни» (ч. 1. М., 1870), с посвящением «неутомимому деятелю на поприще русского слова» В. И. Далю. Сборник включал около тысячи великорусских песен в принятом собирателем календарно-биографическом порядке. «Везде я старался сближаться с народом, – признается Шейн в предисловии, – прислушиваться к его живой своеобразной речи, пользовался всяким удобным случаем для пополнения своего собрания». Он глубоко убежден, что песня до сих пор «остается верной спутницей многотрудной жизни русского человека от колыбели до могилы», и своим расположением материала стремится раскрыть всю биографию и быт крестьянина в последовательном порядке. Свою задачу он видит в том, чтобы познакомить читателей «очень близко со многими сторонами быта русского человека, с его верованиями… с неисчерпаемым богатством его языка, которым он так творчески умеет пользоваться». И, как отмечали исследователи, «искусным подбором песен Шейну удалось воспроизвести типические черты русского национального характера». Интересно, что одна песня из этого сборника «Спится мне, младешенькой» была включена Н. А. Некрасовым в поэму «Кому на Руси жить хорошо».

Рецензируя книгу, академик Я. К. Грот назвал Шейна одним из «самых ревностных» русских собирателей, подарившим науке сборник песен, «собранных на обширном пространстве великой России»; отмечал его необыкновенную преданность делу и удивительную опытность и сноровку в записывании песен. «По богатству содержания этот том, посвященный В. И. Далю, конечно, порадует всех, интересующихся разработкой русской народной поэзии», – резюмировал Я. К. Грот. А Н. И. Костомаров в статье «Великорусская народная поэзия. По вновь изданным материалам» (1872), так писал о Шейне: «Такое лицо, свято и бескорыстно посвятившее себя прекрасному делу, полезному для отечественной науки, достойно того, чтобы помочь ему, а помочь ему можно только одним – даровать ему средства и содействие к продолжению своего дела. Этот человек весь предан ему, любит его более всего в мире и, несмотря на свои немолодые лета и очень хилое здоровье, готов еще и, конечно, может сделать более десяти молодых и здоровых, с его необыкновенною любовью и

неутомимою деятельностью. Дай Бог, чтоб на Руси не переводились такие почтенные труженики, которые, не возносясь высоко, не принимая на плечи свои тягости, которой они нести не могут, работают скромно, но делают столько, сколько сделать в состоянии по своим способностям и обстоятельствам жизни».

Между тем обстоятельства жизни заставляют его сосредоточиться на учительской профессии: он изучает специальную литературу, ведет наблюдения над языком учащихся, их поведением. Осенью 1865 года Шейн переселился в Витебск и стал преподавателем немецкого языка в городской гимназии; работает он также в местных мужской и женской гимназиях.

Именно в Витебске Павел Васильевич вознамерился собирать белорусский фольклор. Разработал специальную памятку для записи песен, которую назвал «Просьба». Она была тиснута тиражом 600 экз. в Витебской типографии и разослана по Северо-Западному краю (а позднее неоднократно перепечатывалась). По существу это первая фольклористическая инструкция в России! Шейн настаивает здесь на необходимости точного сохранения говора, точного обозначения, к какому роду относится песня, как и от кого, когда и где записана – словом, излагает те требования, которые станут впоследствии общеобязательными для каждого собирателя. Особенно важно впервые установленное им правило повторять записанные песни с пения и говора «во всех его мельчайших оттенках».

«В то же время, – признавался Шейн, – и я сам не дремал, не сидел сложа руки, загребая ими время от времени то, что доставят другие». Переезжая из города в город, передвигаясь на костылях по непролазным сельским дорогам, останавливаясь в селах и деревнях, он по утвержденной методике точно записывал тексты песен и легенд, фиксировал особенности местного говора. Павел Васильевич обладал замечательным даром общения, и крестьяне проникались симпатией и сочувствием к барину-инвалиду. Более 400 песен он записал от Марии Васильевны Котковичовны из местечка Чашники, которую называет «знахаркой своего дела», женщины весьма колоритной, в коей знание народной жизни сочеталось с самодовольством и шляхетской спесью.

Сборник «Белорусские народные песни, с относящимися к ним обрядами, обычаями, суевериями, с приложением словаря и грамматических примечаний» увидел свет в 1874 году в «Записках Географического общества». 1006 произведений фольклора размещены, как обычно у Шейна, по «календарно-биографическому» принципу. Такая система помогала раскрыть

«общую картину» бытовой жизни белорусского крестьянина, «круготочение» которой составитель попытался проследить на песнях лирико-обрядовых – от колыбельных до похоронных. Наш герой впервые дал в руки исследователю множество белорусских песен – крестинных, колыбельных, детских и особенно трудовых (толочанских и жнивных). Он снабдил сборник и толковым научным аппаратом, что усиливало его достоинства. По свидетельству академика Е. Ф. Карского, «Белорусские народные песни» превзошли своими качествами все, что было создано до этого в белорусской этнографии на русском и польском языках. «Наиболее обширным сборником белорусской народной поэзии, исполненным без вычур» назвал труд Шейна историк литературы А. Н. Пыпин. А академик Л. Н. Майков характеризует сборник как «благообразный и занимательный». Русское географическое общество наградило Павла Васильевича малой золотой медалью. А по рекомендации академика О. Ф. Миллера, отметившего необычайную добросовестность, скрупулезность и скромность собирателя, Академия наук присудила ему Уваровскую премию.

Одновременно он продолжает и преподавательскую деятельность. В 1873 году переезжает в город Шуя и преподает немецкий язык в городской прогимназии, затем работает учителем русского языка и словесности в реальных училищах Зарайска (1874 – май 1875) и Калуги (1876–1881). И, приходится признать, что, по отзывам гимназистов, «учителем милостью Божьей» Шейн не был. Да и характер у Павла Васильевича, каким он предстает в сохранившихся письмах и документах, был взрывной, неуживчивый и конфликтный. В педагогических коллективах, где ему довелось работать, часто вспыхивали ссоры, и долго он на одном месте не задерживался. И это несмотря на покровительство инспектора Московского учебного округа А. Г. Семеновича.

Нельзя обойти молчанием и его крайне правые политические взгляды и установки, впрочем, созвучные доктринам официальной народности. Так, в письме к орловскому губернатору (и видному библиографу и историку литературы) М. Н. Лонгинову 26 января 1872 года Шейн заявляет о своей «политической благонадежности». А в многочисленных письмах помянутому А. Г. Семеновичу он честит «крамольников, нигилистов, разрушителей начал доброй гражданской нравственности». При этом он объявляет себя идейным сторонником Михаила Никифоровича Каткова (1817–1887), чье консервативно-оппозиционное отношение к реформам Александра II общеизвестно. В издаваемых им «Московских ведомостях» Катков иронизировал по поводу либералов и

«всякого рода добродетельных демагогов и Каев Гракхов» и ликовал, что «пугнул эту сволочь высокий патриотический дух, которым мы обязаны польскому восстанию».

Кстати, в типографии Каткова печатались и «Русские народные песни» Шейна. Любопытно отметить, что в Музее книги РГБ сохранился экземпляр этого издания (МК IV-6175) с автографом Павла Васильевича: «Ольге Алексеевне Киреевой в знак душевного уважения от собирателя. Москва. Январь 3. 1860». Адресат дарителя – О. А. Новикова (урожденная Киреева) (1840–1925), выступавшая под псевдонимом «Русская», публицист, представительница так называемого «патриотического консерватизма» и ревностная сторонница взглядов Каткова. «Ваш авторитет направляет мою деятельность и дает силу моим доводам», – писала она ему. «Патриотизм» О. А. Киреевой закономерно приведет ее позднее в Союз русского народа, деятельной активисткой которого она станет.

Нет данных, поддерживал ли Шейн националистические устремления Каткова и его нападки в печати на инородцев, но Павел Васильевич неизменно говорит о нем с придыханием как об «истинном патриоте», который «указывает бесстрашно на корень всякой неурядицы у нас».

1860-70-е годы ознаменованы в России борьбой иудеев за свои гражданские права и оживлением еврейской культурной жизни. Однако в творчестве Шейна мы не находим и следа интереса к подобным вопросам. В 1873 году он публикует свои «Дополнения и заметки к Толковому словарю Даля», где указывает, что в словарной статье на слово «Кстати» пропущена поговорка: «Кстати жид крестился и монах женился». Вдумался ли он в смысл сего высказывания? Понял ли заключенные в нем насмешку и сарказм? Ведь крещение еврея означено здесь событием столь же невероятным, как и женитьба человека, давшего обет безбрачия. А значит, совсем некстати было в глазах народа это крещение. Но, похоже, Шейн вовсе не хочет размышлять на эту тему. Что за блажь все примерять на себя! И он лишь механически воспроизводит то, что слышит, – и с него довольно!

Зато интерес Павла Васильевича к белорусской культуре только усиливается, и Отделение русского языка и словесности Академии наук, уже достаточно оценившее его энергию и трудоспособность, в 1877 году командирует его в Северо-Западный край, ассигновав на это 600 рублей. Собиратель находился там более пяти месяцев и объехал пять уездов, сделал более 3000 записей с подробными описаниями обрядов, обычаев, внешнего быта и самих произведений народного творчества.

По счастью, доверительная, с оттенком лукавинки, манера общения Шейна с крестьянами нам доподлинно известна, поскольку живое свидетельство такого общения оставил он сам: «Как начнут отнекиваться, – рассказывает Павел Васильевич, – я тотчас за свой сборник – открою в нем какой-либо отдел, прочту какую-либо песенку и давай экзаменовать: «Ци пяюць у вас, Гапуля, или там, Ганнуля, гэту песню?» – «Ня ведаю, панночек, ня чула». Тут я, не говоря более ни слова, затяну, как сумею, на голос названную песню, и тотчас на лицах кругом обстоящих меня певиц (реже певцов) непременно появится непритворное выражение удивления и нетерпеливости, и едва успею пропеть несколько стихов, как уже замечаю, что мои внимательные слушательницы потихоньку полушепотом начинают мне вторить, подтягивать, постепенно возвышая свой голос, а более смелая из них еще вздернет плечами, отвернется в сторону от негодования, плюнет, пожалуй, и скажет в сердцах: «Брэшець хто та бе так пеяу. Ци так пеюць гэту песню?» А мне это и на руку. Тотчас, разумеется, замолчу, а затем скажу и своей, сконфузившей меня при всей честной компании критиканке: «А як жа у вас пяюць? Я ня тутейший, сам ня ведаю як. Людзи кажуць у вас лепше поюць и ваше песни лепше. Спей гэту песню, альбо другую якую!» Ободренная этими словами, моя слушательница, после некоторых новых отговорок, сказанных просто ради чванства, непременно споет мне сперва желанную песню, затем другую, третью и т. д. Этим способом мне всегда удавалось до такой степени развязать язык и голос моих певиц, что успевай только записывать, а на другой день по первому моему призыву охотно являлись в назначенный час для нового сеанса». Как видно, Шейн был замечательным психологом: всем своим обликом, голосом, жестом, умением вести разговор вызывал предельную открытость и непринужденность собеседника. Можно назвать его беседу с крестьянами эстетической провокацией собирателя, поскольку беседа эта побуждала их к творчеству – активизировала память, заставляла говорить, скандировать, петь.

Шейн интересовался и мелодиями белорусских песен. Напевы не записывал, поскольку нот не знал, но с его голоса их записывали музыканты-профессионалы. По словам исследователя В. Н. Добровольского, Павел Васильевич сам был знатным певцом и особенно хорошо исполнял белорусскую песню «Научить тебя, Ванюша, ко мне не ходить». В. Ф. Миллер о командировке Шейна в Белоруссию писал: «Едва ли можно себе представить, что где-либо научные экспедиции совершались так дешево и приносили такие капитальные результаты».

А результаты были и впрямь впечатляющими. В 1887–1902

годах Академия наук издает капитальный четырехтомный труд Шейна «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края». Бросается в глаза универсальность сборника: вся жизнь белоруса, все виды народной поэзии раскрыты глубоко и разносторонне. Обильно представлены обряды (родины, крестины, рождественские праздники, святки, обряды колядные, великодные на Юрьев день, троицкие, русальские, петровские, купальские, жнивные) и песни (колыбельные и детские, беседные, бытовые, шуточные, разгульные, любовные, семейные, рекрутские, солдатские, свадебные, погребальные, причитания). Далее следует эпическая поэзия – духовные стихи, молитвы, сказки, анекдоты, предания, воспоминания, пословицы, поговорки, приветствия, пожелания, божба, проклятия, ругань, заговоры, заклинания, вирши. Завершают картину описания быта и материальной культуры белорусов их жилище, одежда, пища, занятия, препровождение времени, игры, верования, обычное право, а также чародейство, колдовство, знахарство, поверья и суеверья, приметы и т. д.

Нелишне отметить, что при анализе этих произведений Шейн использует и свои знания еврейской традиции и культуры. Так, комментируя белорусскую байку «Пошел козел за орехами» и говоря о бытовании ее сюжета в славянском и германском фольклоре, он возводит его к преданиям Агады – области талмудической литературы, возникновение которой относят ко II веку до н. э. Вместе с тем он демонстрирует эрудицию не только в древнееврейской книжности, но и в иудаике на немецком языке. Показательно, однако, что все цитируемые им сочинения германских гебраистов относятся к началу XIX века. И это верное свидетельство того, что проблема еврейства занимала Шейна когда-то давно, на самом раннем этапе его деятельности, и за текущей литературой в этой области он не следил. И в этом своем труде он выступает как бесстрастный выразитель, так сказать, «гласа народа». Вот какую озорную припевку предлагает читателю Павел Васильевич:

Пришли жиды под лужок,
Узяли с хаты семь мешок,
Пришли жиды у пятницу,
Узяли с хаты лопацицу,
Пришли жиды у субботу,
Узяли с хаты усю работу,
Пришли жиды у недзелю,
Узяли мою усю надзею.

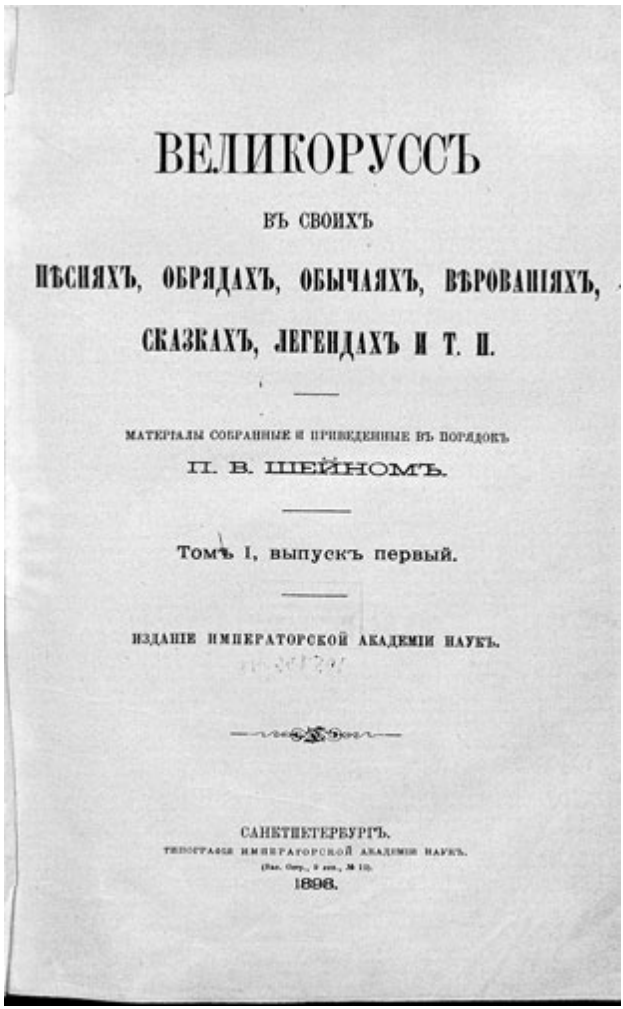
«Материалы…», между тем, не только получили высокую оценку ведущих ученых (академиков Е. Ф. Карского, А. И. Соболевского, А. Н. Веселовского, профессоров Н. Ф. Сумцова, П. В. Владимирова), но и были удостоены премии Академии наук имени Батюшкова.

С 1881 года Шейн решает полностью сосредоточиться на научной и собирательской деятельности, выходит в отставку, переезжает в Петербург и живет на учительскую пенсию – 61 рубль. Столь микроскопической суммы было недостаточно даже для такого аскетически-скромного труженика, тем более что этнографическая работа требовала немалых расходов. Коллеги и друзья Павла Васильевича понимали, что такое служение науке нуждается в государственной поддержке, и хлопотали об увеличении ему денежного довольствия. Однако бесконечные бюрократические проволочки все затягивали дело, и только в 1891 году, то есть в возрасте шестидесяти пяти лет, Шейн стал получать вдвое большую пенсию – 122 руб. 50 коп.

Называя себя «чернорабочим в науке», Павел Васильевич с 1876 по 1900 год публиковал свои научные изыскания на страницах редактируемого В. Ф. Миллером «Этнографического обозрения», в других периодических изданиях. Среди его статей: «О собирании памятников народного творчества для издаваемого Академией наук Белорусского сборника, с предисловием Я. Грота» (1886), «К вопросу об условных языках» (1899), «К диалектологии великорусских наречий» (1899). Шейн участвовал также в составлении академического словаря русского литературного языка, который пополнял народной фразеологией.

Под старость в одинокую жизнь Павла Васильевича был внесен проблеск радости и семейного уюта. «Улыбкою прощальной» ему блеснула любовь, и ею стала обыкновенная русская женщина, петербургская белошвейка Прасковья Антиповна Виноградова, младше его на целых тридцать лет. Натура сострадательная, отзывчивая, она всем сердцем прикипела к мужу-инвалиду, полюбив его просто таким, как он есть. Воодушевление и бодрость духа Шейна в ее присутствии современник живописует в самых восторженных тонах: «Большая подвижность, несмотря на калечество, выразительная игра лица, совершенно молодые, блестящие глаза, крупная и характерная голова с густыми белыми кудрями, живость и остроумие разговора и горячий живой интерес ко всему… Он так легко побеждал силой духа все свои немощи и убожество, и вы невольно забывали о них». Прасковья Антиповна, которую он называл полушутливо «моя сестра милосердия», словно оправдывая это прозвание, не уставала дарить ему свою широту

сердца, щедрость души – стала рачительной, домовитой хозяйкой, помогала ему во всем. Не беда, что читала с трудом, ибо с грамотой не дружила, но корректуры в типографию носить могла – и носила, и все желания его угадывала; не успеет сказать, а все готово уже. И вдобавок, как в том еврейском анекдоте, еще немного шила (ведь белошвейкой была), пополняя семейную казну.



ВЕЛИКОРУССЪ

ВЪ СВОИХЪ

ПѢСНЯХЪ, ОБРЯДАХЪ, ОБЫЧАЯХЪ, ВѢРОВАНІЯХЪ,

СКАЗКАХЪ, ЛЕГЕНДАХЪ И Т. П.

МАТЕРІАЛЫ СОБРАННЫЕ И ПРИВЕДЕННЫЕ ВЪ ПОРЯДОКЪ

П. В. ШЕЙНОМЪ.

Томъ I, выпускъ первый.

ИЗДАНІЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

1898.

П. В. Шейн. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах… Ч. 1. Спб, 1898

И вот на седьмом десятке у Шейна рождается дочь. Девочку сразу же крестят по православному обряду. Ее баюкают под напевы русской колыбельной. Она внимает сказкам об Иванецаревиче и Илье Муромце. И очень нескоро узнает, что она дочь еврея. Да и на фотографическом портрете самого Павла

Васильевича тех лет едва ли угадываются семитские черты: похоже, за долгие годы общения с крестьянами он настолько сроднился с ними, что обрел какой-то простонародный облик. Он очень напоминает мужика-великоросса средней полосы, и его окладистая борода тоже воспринимается как вполне русская, славянофильская, что ли, словно на эту русскость работает.

Последний и главный труд Шейна – «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» (1898–1900). Это была такая махина, для которой, по словам собирателя, «действительно нужно было иметь «силушку звериную», «потяги держать да лошадиные», как поет народ про свою жизнь и работу». И он трудился жадно и вдохновенно. Казалось, долгожданное семейное счастье достигнуто, стало надежным, стойким и помогало напряженной работе.

Но недаром говорят, пришла беда – отворяй ворота! Все оборвалось в одночасье! Наверное, немилосердный Иегова мстит ему за отступничество! Кто еще мог наслать напасти на его «сестру милосердия», Прасковью Антиповну, Пашеньку?! «Моя бедная, трудолюбивейшая и добрейшая жена, – пишет Шейн В. Ф. Миллеру 8 февраля 1896 года, – заболела такой болезнью, которой помочь без операции невозможно… Я решительно в отчаянии, как мне с дочуркой прожить на свете… Ведь ни я, ни дочурка не можем ни шагу сделать без мамули нашей: она нас и одевает, и раздевает, и кормит, и лечит; одним словом, она все в нашей ежедневной жизни». Через некоторое время он пишет другое, полное отчаяния письмо: «Моя милая многострадальная жена с прошлой субботы находится в Евангелической больнице, и сегодня утром ей там сделали операцию весьма серьезную. Что будет с нею и что ожидает меня с дочуркой – страшно подумать. У меня голова трещит, все нервы в страшном напряжении, – плачу поминутно, как старая деревенская баба… Какие вести принесет мне завтрашний день? Уповаю на милосердие Бога, что сподобит передать ему дух мой на руках моей милой, дорогой жены и не попустит смерти подкосить мою жизнь в одиночестве, нежели окончу свой небесполезный для моих соотечественников труд».

Однако и операция не помогла. Организм Прасковьи Антиповны оказался пораженным раковыми метастазами. Ее перевезли из больницы домой, и Павел Васильевич долгие месяцы сидел у одра страдалицы-жены. Обласканный всего на несколько лет семейным уютом, он остро переживал свалившееся на него горе, скорбно ждал одиночества, но ни на минуту не оставлял мысли о труде всей своей жизни: «Уже не говоря о том, что предстоящее мне испытание, когда Богу угодно будет призвать

меня к себе, убьет последнюю жизненную силу мою, которая каким-то чудом сохранилась во мне, в моем слабом организме с такою живучестью, но страдания мои душевные… высасывают всю мою кровь, сжимают мою слабую грудь до спазм, до бессонницы: не сплю до 4-х, 5-ти часов утра. А между тем меня академическая типография осаждает корректурами моего «Великорусса». Не знаю, хватит ли у меня сил для перенесения предстоящего несчастия, но мне не хотелось бы умереть раньше окончания моего сборника, на который я потратил столько лет жизни, энергии и всевозможных жертв. Для этой цели я готов, как нищий на улице, просить, клянчить у всех проходящих мимо меня и близ меня людей и приятелей, довлачить мне мою разбитую нежданно-негаданно жизнь, хоть кое-как, до окончания моего многолетнего, многострадального труда».

В феврале 1897 года Прасковья Антиповна отмучилась и покинула сей мир. «Какой тяжелый, сокрушительный удар нанесла мне судьба этой утратой, в особенности в мои годы! – воскликнул Павел Васильевич. – Страшно мне будет довлачить остаток жизни…»

А через год увидел свет первый том его «Великорусса», в коем Шейн намеревался собрать и объединить все свои многочисленные материалы, как опубликованные, так и хранившиеся в рукописях. Труд сей может быть назван энциклопедией поэтического богатства русского крестьянина. Хотя издание не завершено и в него вошел только песенный материал, но и в незаконченном виде он принадлежит к самым замечательным памятникам мировой фольклористики. В нем свыше 2500 песенных текстов из 22-х российских губерний с подробным описанием народных обрядов и обычаев. Содержание «Великорусса» богато и разнообразно. Художественное чутье и опытность помогли собирателю отобрать лучшие образцы русской народной песенной лирики. Новацией было и то, что к сборнику прилагались ноты к 17-и песням и объяснительное письмо к ним, способствовавшие полноценному восприятию народного творчества.

По словам литературоведа М. К. Азадовского, «для изучения обрядовой поэзии – это основоположный труд и один из важнейших классических сборников русского фольклора». Академик Е. Ф. Карский назвал его «выдающимся явлением великорусской этнографии». Однако, как верно заметил этнограф А. В. Марков, «Великорусс» стал «лебединой песнью неутомимого собирателя».

Шейн, однако, настойчиво продолжает свои труды, хотя им часто овладевает глубокое уныние. «И это нравственное

состояние тем тяжелее для меня, – откровенничает он, – что я по два, по три дня не выхожу из дому, редко дышу свежим воздухом… Сажусь за работу, над которой сижу до поздней ночи. Эта почти механическая работа убила наповал мою личную жизнь… Опасаюсь, чтобы отчаяние… не лишило меня возможности продолжать работать над собранным, не легко обозримым и, как смею думать, ценным для науки материалом».

В другом месте он, описывая свой распорядок дня, признается: «Как только встаю, сейчас за «Новое время», затем чай…» Из сего видно, что чтение антисемитского издания А. А. Суворина настолько вошло у него в привычку, что стало своего рода ритуалом, обязательным перед чаепитием. Что искал в ультраправой газете этнический еврей Шейн? Чем могли быть ему любы погромные настроения лютых «патриотов» и шовинистов? Нет ответа. Но, помня реакционные взгляды Павла Васильевича, можно утверждать, что его жгучий интерес к «Новому времени» далеко не случаен.

Хилый и физически разбитый, Шейн направился лечиться на берег Балтийского моря, где 14 августа 1900 года окончил свой жизненный путь. Он нашел успокоение вдали от России, на немецком кладбище в Риге. Но памятник Павлу Васильевичу был сооружен там на средства и по инициативе российского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, отдавшего дань бескорыстному служению фольклориста науке и русскому народу. И сегодня именем Павла Васильевича Шейна называют в России улицы, почетные студенческие стипендии; сведения о нем вошли во многие биографические словари и энциклопедии, причем не только литературные.

Знаменательно, однако, что хотя Шейн долгое время ничего общего со своими соплеменниками не имел, все биографы собирателя неизменно подчеркивали его еврейские корни. «Павел Васильевич Шейн, родом еврей, – писал Н. И. Костомаров, – в молодости принял христианство, не из расчета, как поступают нередко его соплеменники, а из убеждения, и с тех пор предался всею душою русскому народу, посвятив себя изучению его народности… Он исполнял свое дело с редкою страстною любовью и удивительным постоянством». «Своим свыше чем сорокалетним трудом, – вторил ему профессор Б. М. Соколов, – еврей Шейн явил достойный пример служения русскому народу и его самобытной культуре». В этом же духе высказывались ученые А. Е. Грузинский, Ф. В. Миллер, А. Н. Пыпин. И становится очевидным: Шейн, искренне принявший христианство и не только впитавший в себя русскую культуру, но и обогативший ее, был для части российской интеллигенции типом образцового,

идеального еврея. Ассимиляция, русификация, отказ от иудейских ценностей и традиций, хотя не декларировались прямо, но неизменно в такой идеальный образ вписывались. Об этом, кстати, рассуждает и Василий Розанов в статье «Пестрые темы».

Стоит ли доказывать, что духовный выбор Шейна – не единственный возможный путь для еврея в России? В ней имеют право быть и такие деятели, как, скажем, не отрекшийся от религии отцов Исаак Левитан. «Еврей не должен касаться русского пейзажа!» – предостерегали антисемиты-почвенники, но кто помнит тех, кто предостерегал, а пронзительные «Золотая осень» и «Над вечным покоем» живы и будут жить в памяти народной. И Леон Мандельштам служил Отечеству, сохраняя при этом свою веру и национальную идентичность. Их жизнь, как и жизнь Павла Васильевича Шейна, так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая.

Честный боец
Семен Надсон

Когда в 1884 году литературовед и библиограф С. А. Венгеров попросил Семена Яковлевича Надсона (1862–1887) написать автобиографию для издания «История новейшей русской литературы», тот о своем происхождении изъяснился весьма туманно: «Подозреваю, что мой прадед или прапрадед был еврей. Деда и отца помню очень мало» В этой декларации своей удаленности от еврейского племени поэт не вполне логичен: ведь менее чем через год он напишет свое знаменитое стихотворение «Я рос тебе чужим, отверженный народ…», где будет прямо отождествлять себя с гонимыми иудеями. Текст сей признают со временем поэтическим шедевром и новым словом русско-еврейской литературы, а имя его автора увековечат все еврейские энциклопедии и биографические справочники. А еще через год, в 1886 году, Надсон сблизится с известным еврейским ученым-просветителем, юристом и историком М. И. Кулишером (1847–1919), издававшим в Киеве либеральную газету «Заря» – одно из лучших изданий того времени. Кулишер разоблачал беспочвенную жестокость гонений на евреев, и Надсон, сделавшись энергичным сотрудником «Зари» (он станет еженедельно писать туда газетные фельетоны), в глазах российских антисемитов, помимо «подозрительного» происхождения, будет олицетворять собой еще и «иудейские органы печати».

Несомненно, в автобиографии Семен Яковлевич несколько слукавил, ибо о собственных иудейских корнях не только подозревал, но знал вполне твердо и определенно. Достоверно известно: евреем-выкрестом был его дед, а отец был крещен при рождении (интересно, что подруга Надсона М. В. Ватсон и о брате его отца говорит как о «принявшем православие», а сие значит, что был дядя поэта, по терминологии той эпохи, «рожденным в еврействе»). И хотя отца наш герой действительно мог не помнить (отставной надворный советник Я. С. Надсон умер в клинике для душевнобольных, когда мальчику едва минуло два года), он общался с родственниками по отцовской линии сначала в Киеве, где они имели недвижимость, а затем и на Кавказе, где один из них (некто Юрский) служил под Тифлисом в армии. Кроме того, о еврействе Семену постоянно напоминали дядя и тетя по материнской линии (русские дворяне Мамантовы), на чьих хлебах, он, оставшийся в восемь лет круглым сиротой, рос и

воспитывался.

«Когда во мне, ребенке, страдало оскорбленное чувство справедливости, – записал он в дневнике в 1880 году, – и я, один, беззащитный в чужой семье, горько и беспомощно плакал, мне говорили: «Опять начинается жидовская комедия», – с нечеловеческой жестокостью оскорбляя во мне память отца». Эти слова особенно остро уязвляли мальчика «с чуткой, болезненно чуткой душой», у него «сердце рвалось от муки», и он намеревался даже свести счеты с жизнью. «Я брошу вам в глаза то, что накипело у меня в больной душе, – взывал он к своим кормильцам, – и если в вас есть искра совести и справедливости… вы поймете, что дело пахнет уже не комедией, не жидовской комедией, а тяжелой, невыносимо тяжелой драмой!.. Не денег проклятых мне нужно – мне нужно чувство поддержки, доверия ко мне, уважения памяти моих покойных родных!»

Однако трудно было требовать от дяди, И. С. Мамантова, который считал брак матери Семена «с каким-то жидовским выкрестом» позорным, уважения к отцу Надсона. Тетя же частенько пеняла ему на «жидовскую невоспитанность». И тетя, и дядя восторгались консервативным критиком М. Н. Катковым и часто цитировали будущему поэту статьи из газеты «Московские ведомости» или из откровенно «погромных» изданий, в коих утверждалось, что «революцию делают подлые жиды, что они портят славного русского мужика». Мамантовы же пытались убедить Семена, что на нем, словно печать проклятия, лежит часть коллективной вины иудеев за распятие Спасителя. О том, что мог чувствовать тогда юный Семен, читаем в «Записках еврея» (1871–1873) Г. И. Богрова: «Быть евреем – самое тяжкое преступление: это вина, ничем неискупимая; это пятно, ничем не смываемое; это клеймо, напечатлеваемое судьбою в первый момент рождения; это призывный сигнал для всех обвинений; это каинский знак на челе неповинного, но осужденного заранее человека». По словам дяди, «позорное пятно еврейства он сможет смыть только военной службой… для него это единственный выход».

Но Семену была тягостна опека юдофобской родни и их докучливые советы. Марсово ремесло он называл искусством «убивать людей по правилам» и заявлял: «Мне ненавистны так называемые военные науки». А в годину правления «тучного фельдфебеля» на троне Александра III, когда по империи прокатилась волна погромов и антисемитская истерия охватила значительную часть русского общества, он особенно остро ощутил свою причастность к гонимому народу. Известен случай,

когда Надсон не постеснялся признаться в своем еврействе пред лицом завзятого юдофоба. Летом 1882 года, снимая со своим приятелем, армейским офицером и литератором И. Л. Леонтьевым-Щегловым дачу в Павловске, поэт услышал от последнего откровенно антисемитские высказывания. В ответ Семен Яковлевич, вспоминает Леонтьев-Щеглов, «привстал с постели, бледный, как мертвец, и с лихорадочно горячими глазами. – «Вы хотели знать тайну моей жизни? – произнес Надсон сдавленным голосом. – Извольте, я еврей». И устремил на меня растерянный взгляд, ожидая увидеть выражение ужаса». Приятель поспешил, однако, тут же утешить встревоженного поэта. «Вы похожи на еврея так, как я на англичанина… – парировал он, – мать Ваша русская, воспитывались Вы и выросли совершенно русским человеком».

Леонтьев-Щеглов был прав: Надсон получил чисто русское воспитание и образование. Сызмальства (а читать он начал с четырех лет!) Семен испытывал напряженный интерес прежде всего к отечественной словесности. Хотя, по его словам, он «проглотил… Майн Рида, Жюля Верна, Постава Эмара», все же «Божественной комедии» Данте почему-то предпочитал повести Карамзина. Ребенком он знал наизусть почти всего Пушкина, декламировал стихи Лермонтова, зачитывался «бессмертными повестями» Гоголя и «огненными статьями» Белинского, благоговел перед Некрасовым. Показательно, что героем его детских рассказов (а «мечтал о писательстве» он с девяти лет) стал мальчик с выразительным именем – Ваня.

С годами его интерес к русскому слову не только не ослабел, но заметно усилился. Книгочеем он был отчаянным, и можно сказать определенно: не было в России того времени известного литератора, книг которого Надсон не читал бы или не знал его лично. Особенно сильное впечатление произвели на него «виртуоз стиля» Гончаров (фрагменты из «Обломова» и «Обыкновенной истории» он даже цитировал по памяти) и «величайший честнейший граф» Толстой, а также книги Салтыкова-Щедрина, Короленко, Достоевского, Тургенева (последним двум поэт посвятил стихотворные послания). Тесные творческие узы связывали его с «литературным крестным» Плещеевым, при содействии которого он стал печататься в авторитетнейшем журнале «Отечественные записки». Поэт «положительно влюбился» в Гаршина, которого звал «Гаршинка» и чей замечательный талант оказался сродни музе Надсона.

Близок был он и с Мережковским, по его словам, своим «братом по страданию», с коим состоял в дружеской переписке.

Впрочем, то, что Надсон жадно впитал в себя великую русскую литературу, отнюдь не исключало его еврейства: ведь к 1880-м годам на ней выросло целое поколение ассимилированных иудеев и считало ее своим личным достоянием. Вот что писал об этом, обращаясь к антисемитам, еврейский писатель Г. Баданес в своих «Записках отщепенца» (1883): «Вот вам, господа, Белинский!.. Вот Добролюбов!.. Вот вам и Некрасов… Вот вам еще Тургенев, Лермонтов!.. Нет, это еще бабушка надвое сказала, принадлежат ли эти исключительно вам, головотяпам! Нет, этих не отдадим: они принадлежат всему человечеству, следовательно, и нам, евреям, потому что мы люди тоже!»

И русские евреи не только читали, но и творили литературу. Вместе с Семеном Яковлевичем в Петербурге подвизалось тогда немало писателей и деятелей культуры иудейского происхождения, и наш герой тесно общался с ними. На литературно-музыкальных вечерах он выступал вместе с Н. М. Минским и П. И. Вейнбергом, причем ценил первого за «крупный талант» и «горькую правду… образных и поэтичных строк», а второго – за мастерство стихотворных переводов. С большим пиететом относился он и к музыканту А. Г. Рубинштейну, об игре которого говорил: «Это что-то до того грандиозное и величественное, что словами не передашь: точно в первый раз Альпы увидел!» А вот стихи С. Г. Фруга (которого по иронии судьбы называли «еврейским Надсоном») считал «плохими» и находил в них литературные огрехи и словесные штампы.

Однако даже иные корифеи русской словесности относились к евреям-литераторам как к чужакам, уличая их в фарисействе и притворной приверженности православию. «Это – разные Вейнберги, Фруги, Надсоны, Минские… и прочие, – разглагольствовал И. А. Гончаров. – Они – космополиты-жиды, может быть, и крещеные, но все-таки по плоти и крови оставшиеся жидами… Воспринять душой христианство [они] не могли; отцы и деды-евреи не могли воспитать своих детей и внуков в преданиях Христовой веры, которая унаследуется сначала в семейном быту, от родителей, а потом развивается и укрепляется учением, проповедью наставников и, наконец, всем строем жизни христианского общества».

Думается, что насчет Надсона классик ошибается: сей поэт был тверд в христианской вере, ибо унаследовал ее именно в семейном быту (воспитывался православной матерью и ее

родней), а затем развивался и формировался как личность в нееврейском окружении (он скажет потом, обращаясь к иудеям: «Твоих преданий мир, твоей печали гнет // Мне чужд, как и твои ученья»). Но в Новом Завете его привлекали мотивы жертвенности, гибели за правду во имя любви к людям. И к трагедии еврейского народа он пришел через своеобычно осмысленные им христианские догматы. Ведь Христос в поэзии Надсона неизменно являет себя защитником гонимых и отверженных. Это «Бог страждущих, Бог, обагренный кровью, Бог – человек и брат с небесною душой». К людям-«братьям» он обращается с такими словами: «Знайте, певец страдает за вас, когда страдает за себя… Как волны рек, в седое море сойдясь, сплотились и слились, так ваша боль и ваше горе в душе его отозвались». Из сего органически вытекало творческое кредо поэта: «Я плачу с плачущим, со страждущим страдаю и утомленному я руку подаю». Именно в этом ключе написано знаменитое стихотворение 1885 года:

Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнет
Мне чужд, как и твои ученья.

И если б ты, как встарь, был счастлив и силен,
И если б не был ты унижен целым светом, —
Иным стремлением согрет и увлечен,
Я б не пришел к тебе с приветом.

Но в наши дни, когда под бременем скорбей
Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,
В те дни, когда одно название «еврей»
В устах толпы звучит как символ отверженья,

Когда твои враги, как стая жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою, —
Дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов,
Народ, обиженный судьбою.

Можно говорить о христианском юдофильстве Надсона, в чем поэт был не одинок. Незадолго до создания его стихотворения, в 1884 году, русский религиозный философ В. С. Соловьев в статье «Еврейство и христианский вопрос» высказался о том, что негативное отношение к евреям – это отрицание христианской доктрины, выраженной в Библии: «Если же евангельская заповедь

исполнима, если же мы можем относиться по-христиански ко всем, не исключая иудеев, то мы кругом виноваты, когда этого не делаем». (Отметим, что евреи служили ключевым элементом теологии Соловьева, и во многом благодаря этому философу отношение к ним стало в России своего рода лакмусовой бумажкой для определения степени либерализма писателя).

По своему страстному, остро публицистическому тону это произведение стоит особняком в творчестве Надсона, для лирики которого были характерны бессилие-безволие-безверие, а ведущей интонацией – сердечная усталость, «изнеможение слабого сердца». Поэт смело и бодро выступает здесь в ипостаси еврея-бойца, словно забывая о свойственных ему, представителю «страдающего поколения», настроениях рефлексии, пессимизма и «гражданской скорби».

Говоря о еврействе, Надсон отмечает, что сей народ «встарь был счастлив и силен». Тем самым он обозначает неразрывную связь нынешних иудеев с пророками, царями и мыслителями далекого прошлого. И в этом он продолжает традицию русскоязычной еврейской литературы, идущей еще с «Вопля дщери иудейской» (1803) Л. Н. Неваховича и драмы «Еврейская семья» (1864) Л. И. Мандельштама. В то время как русские антисемиты (в том числе и от религии) всячески пытались отделить современных «жидов» от древнейшего, библейского бытия евреев, Надсон подчеркивает преемственность нынешних иудеев и их ветхозаветных пращуров.

Иудеи предстают у него как народ несправедливо гонимый и «обиженный судьбою». Подобное определение особенно резко контрастирует со ставшим уже хрестоматийным в русской литературе и общественной мысли 1870—1880-х годов изображением евреев как капиталистов, эксплуататоров и кровососов, паразитирующих на девственно-неиспорченном русском народе.

Уместно вспомнить, как яростно нападал Ф. М. Достоевский на тех евреев, которые жалуются «на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество». Писатель негодующе вопрошал: «Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственными делами, нравственностью государств!?» Знаменательно, что наступающий капитализм воспринимался Достоевским как вселенское зло, олицетворяемое именно в «жидовстве». В «Преступлении и наказании» (1866) закадровый образ миллионера Ротшильда искушает и толкает на убийство Раскольникова. Герой романа «Подросток» (1875) одержим мыслью – самому стать Ротшильдом, чтобы «из

множества жидовских вредных и грязных рук эти миллионы стеклись в руки трезвого и скромного схимника». И в статье «Еврейский вопрос» (1877) вновь появляется все тот же пресловутый Ротшильд как представитель ненавистного ему «жидовства».

В стихотворении «Памяти Ф. М. Достоевского» (1881) Семен Яковлевич сочувственно говорит о чуждом этому писателю «мире торгашества и тьмы». И хотя поэзия Надсона тоже исполнена обличениями «ненасытного бога наживы», «сытых людей», «продажных фарисеев», «оргии крикливых торгашей», «тельцов золотых» и т. д., в отличие от Достоевского, сие зло у него не персонифицировано и не имеет никакой национальной подоплеки.

Нередко прибегает поэт и к образу Ваала – языческого божка древних семитов, которому приносились в достопамятные времена человеческие жертвы. Служителей Ваала, погрязших в грехе, сурово порицали древнееврейские пророки. «И крадете, и убиваете, и клянете лживо, и жрете Ваалу!» – обличал их Иеремия. В России конца XIX века сей идол олицетворял собой, по словам А. Ф. Писемского, «вряд ли не главнейший мотив в жизни современного общества: все нынче поклоняются Ваалу – этому богу денег и материальных преуспеяний, и который, как некогда греческая Судьба, тяготеет над миром и все заранее предрекает!.. Под гнетом его люди совершают мерзости… страдают и торжествуют». И в драме сего писателя «Ваал» (1873) этот идол прямо соотносится с еврейством. «Ваша жидовская порода всем миром ворочает!» – эта реплика обращена в пьесе к купцу 1-й гильдии (а потому получившему право жить вне черты оседлости) Симхе Рувимовичу Руфину о коем говорят как о каналье и «шельме первостатейной».

Ваал в поэзии Надсона также олицетворяет собой все самое низменное и пошлое, но снова образ этот универсален и подчеркнуто наднационален. В самом деле, поэт часто рифмует слова «Ваал» и «идеал» и производные от них, настойчиво противопоставляя эти понятия. В его стихотворении «По следам Диогена» (1879) подобная антитеза обозначена весьма резко:

Где же жизнь? Неужели мы жизнью зовем
Этот мрак без лучей идеала?..
И ушел я поспешно с моим фонарем
Из мятежного царства Ваала…
Люди-братья! Когда же окончится бой
У подножья престола Ваала
И блеснет в небесах над усталой землей

Золотая заря идеала!

В другом месте читаем:

Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь, —
Верь: настанет пора – и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

(1880).

Исследователи отмечают, что некоторые стихотворения Надсона «окрашены в народнические тона», и находят в его творчестве темы, мотивы и настроения, характерные для народнического поколения. Но дело в том, что и многие народники воспринимали и трактовали еврея как квинтэссенцию торгаша. «Взгляд на еврея как на эксплуататора в народническом мировоззрении уходит очень глубоко, – писал социал-демократ Б. И. Николаевский С. М. Дубнову. – Призыв к восстанию «на панів» и на «жидів» встречается уже в первой прокламации на украинском языке». Характерно, что и столь авторитетный представитель народничества, как М. А. Бакунин, допускал откровенно антисемитские выпады и нередко попрекал своих оппонентов (в том числе и К. Маркса) еврейским происхождением. Резко отрицательно относился к еврейству один из основателей «Народной воли» А. И. Желябов. Некоторые революционеры воспринимали погромы начала 1880-х годов как массовое народное движение, долгожданный бунт против эксплуататоров и одобряли их, а кое-кто из них даже участвовал в их подготовке. «На страницах народнической печати, – отмечает историк С. Колинчук, – [велась] кампания по «защите» погромщиков от возможного осуждения, создание легенды о «революционном» характере этого движения».

Надсон аттестует подобных супостатов и гонителей еврейства «стаей жадных псов» – трудно найти в его поэзии более резкую и уничтожающую характеристику! Показательно, что свидетельство нетерпимости поэта к любым проявлениям шовинизма и ксенофобии мы находим и в его письмах и журнальных публикациях.

Интересно, что слова «quasi-патриотизм и племенная нетерпимость» поэт ставил в один ряд и тем самым отождествлял, что и ныне позволяет им звучать весьма злободневно: ведь и сегодня активизация русского национального чувства соседствует

порой с проявлениями юдофобии. Заметим, однако, что в конце XIX – начале XX века русский патриотизм далеко не всегда окрашивался в антисемитские тона. Яркий пример – деятельность художественного критика В. В. Стасова, который вместе с бароном Д. Г. Гинцбургом издает альбом «L'ornement hebreu…» («Древнееврейский орнамент», 1905). Для таких, как Стасов, поиск национальной самобытности еврейского искусства был тесно связан с изучением основ искусства русского.

Надсон не жаловал и поэтов, «вкусивших от плода славянофильства», в коих усматривал почвенническую фанаберию. Он упрекал их в ограниченности и тенденциозности, однообразии и бедности тем и мотивов. Так, рецензируя стихотворный сборник А. А. Голенищева-Кутузова (1884), он отмечал его бессодержательность, обилие стихов «со специфическим славянофильским запахом», «литературные пустячки», «жалкие слова, трескучие монологи, рассчитанные на эффект ужасы». И литератора И. С. Аксакова он характеризует как «человека, целиком ушедшего в схоластику славянофильства», и находит в его творениях «порядочный сумбур»; о герое же одной из его пьес говорит, что тот «умудряется как-то вывести из всего обычную славянофильскую тенденцию, но вывод его для читателя является странным и немотивированным».

Интернационалист по убеждению (любопытно, что он одно время изучал искусственно созданный в 1879 году международный язык «воляпюк»), наш герой глубоко принимал к сердцу судьбы еврейства. Он внимательно следил за публикациями ежемесячника «Восход» (редактор – А. Е. Ландау). И, надо полагать, программа этого журнала «твердым, свободным словом бороться против всех внутренних преград, мешающих правильному развитию еврейства», была ему близка. Интересовался поэт и историей своих соплеменников в России. В своей неоконченной трагедии «Царевна Софья» (1880) он вкладывает в уста боярина Милославского такие слова о царе Федоре Алексеевиче:

Плох, не долго проживет!
Мне давеча фон Годен говорил,
Что дай-то Бог, чтоб он до завтра дожил!

Фон Годен, или Даниил фон Гаден – это придворный лекарь при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, этнический еврей, который покровительствовал иудеям и был растерзан мятежными стрельцами в 1682 году. Его облыжно обвинили в колдовстве и отравлении монарха, причем сей навет,

как обычно бывало по отношению к евреям, был замешан на невежестве и ксенофобии. И вот этот-то исторический персонаж приобретал для Надсона остро современное звучание.

Неравнодушно относился он к тому, как изображались евреи в литературе. Так, в сборнике К. К. Случевского «Поэмы, хроники, стихотворения» (1883) Семена Яковлевича неприятно поразили строки:

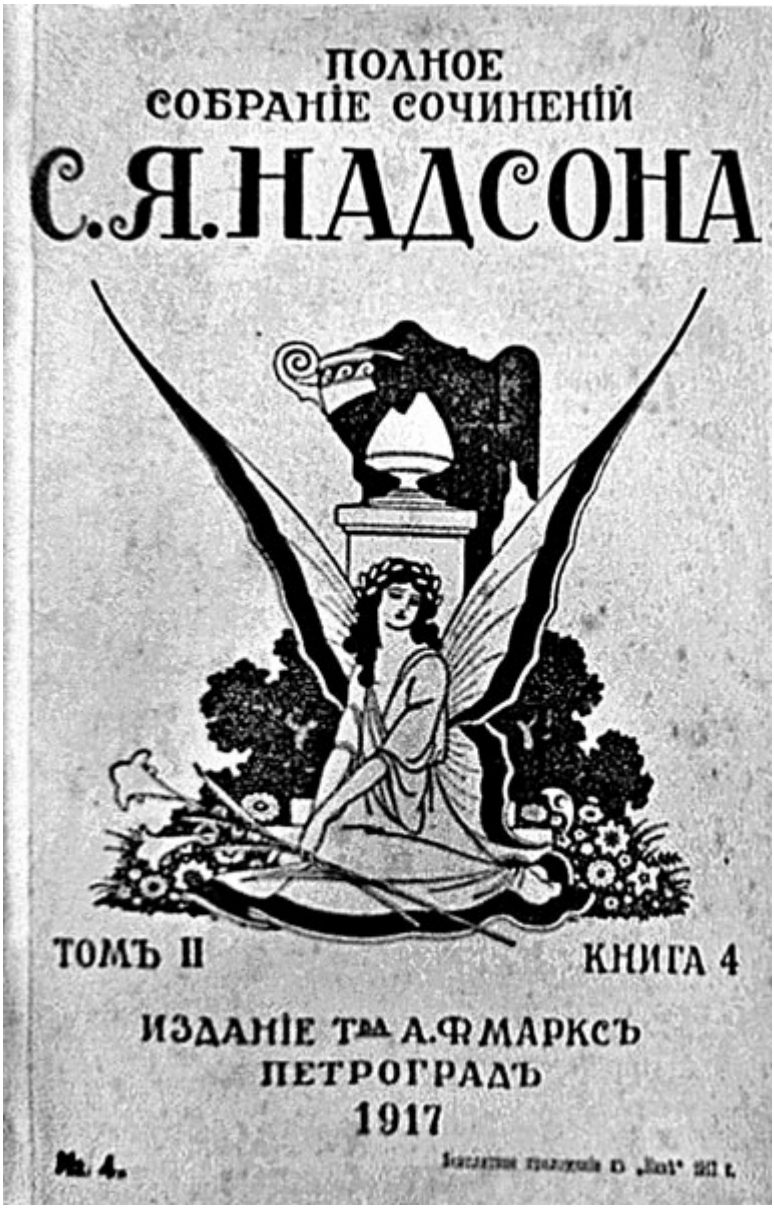
> У тебя на карете твоей
> Твой, как будто крещеный еврей,
> Весь обшит голубым галуном,
> Высоко восседает лакей.

«Из сравнения явствует, – иронизирует Надсон, – что все крещеные евреи [а к ним рецензент причислял и себя. —*Л. Б.*] все обшиты золотыми галунами». Думается, нет нужды объяснять, что действительно столь надуманный и нелепый образ может вызвать лишь горькую насмешку.

Надсон приятельствовал и состоял в переписке с блистательным адвокатом Л. А. Куперником (1845–1905), заступником своих еврейских соплеменников на многих громких судебных процессах (в том числе и на так называемом Кутаисском деле по обвинению иудеев в ритуальном убийстве грузинской девочки). «Куперник – всех Плевак соперник», – говорили о нем. В письме к нему от 29 октября 1886 года поэт пишет: «Уже кое-где проскользнули глупые нападки на евреев. Мне это решительно ненавистно!» А в обзоре материалов ежемесячника «Наблюдатель» он отметил, что один молодой поэт, некто Николаев, восхваляется здесь только потому, что он не еврей, хотя, цитирует он журнальную статью, «живет в стране, заполненной «кулишеровскими» (?) органами». Надсон иронически вопрошает: «И кого это «Наблюдатель» собирается поучать такой критикой?» В другом месте он возмущается тем, что в этом журнале «с усердием, достойным лучшей участи, преследуются евреи и при том в самом нетерпимом и неприличном тоне, во вкусе нападок «Нового времени».

Ультраправая газета А. С. Суворина «Новое время», поносившая либералов и евреев, вызывала у Семена Яковлевича особую ненависть и даже омерзение. Надсону было тягостно и горько от того, что первый его стихотворный сборник был издан по почину критика-юдофоба В. П. Буренина, на средства А. С. Суворина. Поэт хотел всячески отмежеваться от этих своих бывших «благодетелей», приуменьшить их роль. Именно о такой его оценке сего досадного эпизода своей литературной

биографии говорит мемуарист И. И. Ясинский: «Да, да, это ужасно, – нервно заметил Надсон. – Все равно книга моя пошла бы. Наконец, что же из того, что Суворин издатель, и он имел выгоду на моей книге, – ведь книга разошлась. Скажите, пожалуйста, разве я должен быть благодарен издателю за то, что он нажился на моей книге?» Примечательно, что наш герой не только сам стыдится иметь дело с людьми пошиба Суворина, но и порицает других литераторов за беспринципность и конформизм (в частности, О. Н. Чюмину и А. П. Чехова, печатавшихся одновременно в либеральных и реакционных изданиях, и прежде всего, «в уличной газете «Новое время»).



Титульный лист полного собрания сочинений Надсона

Самолюбию поэта только льстило, когда на него ополчались его литературные враги – quasi-патриоты. «Для меня быть обруганным Катковым – большая честь, и… я счел бы себя обиженным, если б [он] меня игнорировал», – признавался он в одном из писем. Жупелом махровой реакции стал для Надсона известный критик «Нового времени» В. П. Буренин, снискавший репутацию «литературного хулигана» с характерными для него развязностью и грубостью. Сохранилось свидетельство, будто бы

Семен Яковлевич однажды обронил в разговоре: «Я бы дорого отдал, чтобы Буренин, наконец, стал моим врагом». На это его собеседник заметил: «Так что ж, это легко сделать. Вам стоит только в своих критических статейках сказать несколько слов по адресу Буренина». Поэт ответил: «Я так и сделаю. Да, да, я сейчас же что-нибудь напишу. У меня уже рука чешется!»

В. П. Буренин

Позднее Буренин так охарактеризует действия своего новоявленного литературного противника: «Надсон, разжигаемый окружающими его еврейчиками и перезрелыми психопатками, необдуманно бросился в раздражительную полемику. Полемику эту он вел в одной киевской еврейской газетке и воображал, что он то «поражает» меня, то «засыпает цветами» своей поэзии… Я посмеялся над этими детскими претензиями полемизирующего стихотворца… Вот и вся история моих «яростных нападок», превращенная в уголовную легенду досужими сплетнями и клеветами перезревших психопаток и бездарных критиков из бурсаков и жидов». Буренин здесь явно передергивает, ибо именно он вел полемику нечистыми и недозволенными

методами, распространяя о Надсоне заведомую ложь и клевету, что, как полагали многие современники, ускорило безвременную кончину поэта. Но мы не будем рассматривать здесь все яростные нападки на нашего героя (они достаточно освещены биографами поэта). Остановимся лишь на тех из них, в коих явственно видна антисемитская подкладка.

Однако, прежде чем обратиться к выпадам поднаторевшего в интригах Буренина, сосредоточимся на актуальных для нашей темы нападках другого литератора. Малоизвестный киевский поэт С. А. Бердяев (1860–1914) (псевдонимом Аспид) тиснул в июньском номере журнала «Наблюдатель» пародийную поэму «Надсониада», откровенно юдофобскую. А уже в июле опус был отпечатан в Киеве отдельной брошюркой с издевательским посвящением: «Редакции киевской «Зари». Жало сего Аспида было направлено, впрочем, не столько на самого поэта, который «в роли критика и моралиста… показался крайне смешным», сколько на еврейскую «кулишеровскую газетку», за спиной которой стоят «грязные гешефтмахеры». Вот в каком тоне высказывается он о сотрудничестве Семена Яковлевича в «Заре»:

Раз в неделю киевлянам
Преподносит он статейки,
Где в «идеи» раздувает
С помпой чахлые «идейки»…
Оживить редактор хочет
Иудейский орган этим;
Но увы! Мы кроме скуки
Ничего в нем не заметим.

Бердяев изливает желчь на «беззастенчивых наемников киевского жидовского кагала» и прямо обвиняет сию «газетенку», как и вообще многих евреев, в антипатриотизме:

Да мелькнет порою шпилька
Против русского народа, —
Ведь «Заре» чужда, противна
Эта низкая порода!
(Из евреев «прогрессисты»
Видят в ней тупое стадо,
На которое трудиться —
Дуракам одним – отрада).

Характеристика самого Надсона, данная Аспидом, весьма

противоречива. Он вроде бы воздает ему должное как «бесспорно даровитому молодому поэту» и тут же порицает в нем «детски наивного» критика; называет его «человек бесспорно русский» и одновременно – «протеже известной клики», больной русофобской «тенденцией»; кроме того, в своей поэме Бердяев поставил ударение на втором слоге фамилии поэта, подчеркивая тем самым его еврейское происхождение (сам Надсон всегда настаивал на ином произношении).

Причиной шельмования «Зари» и известного поэта С. А. Венгеров назвал желание травмированного стойкой непопулярностью Бердяева «обратить на себя внимание», «заставить читающую публику заговорить о себе». Знаменательно, что сей зоил одно время сам сотрудничал в этой газете и был оттуда с позором изгнан. Именно это уязвляло пасквилянта, что и обыграл Надсон в стихотворной отповеди Бердяеву, написанной по горячим следам. Текст озаглавлен «Июль. Кругопев»:

Июль. Жара. Но, местию палимый,
Не покидал он едкого пера,
Казня врагов с враждой неумолимой.
Июль. Жара!
Был адский зной, но он строчил с утра…
Певец, «Зарей», как сикофант, гонимый,
Он закричать уж был готов «ура»,
В свой пасквиль вливши яд неуловимый,
О Аспид, о боец неумолимый,
Усни, усни, июльским днем палимый.
Июль. Жара.

Поясним: «Надсониада» была издана именно в июле. «Кругопев» – это придуманный Надсоном русский эквивалент зародившейся во Франции «твердой» поэтической формы рондо с повторяющимся рефреном. «Сикофант» есть шпион, доносчик, и такая аттестация Бердяева, вероятно, напомнила о каких-то его неблаговидных поступках во время былого сотрудничества с газетой. Главное же то, что действия пасквилянта одушевляла низкая месть.

Забегая вперед, скажем, что Бердяев потом вроде бы раскается в содеянном и напишет на смерть Надсона прочувствованное стихотворение, пытаясь, как он скажет, «хотя бы отчасти реабилитировать себя перед памятью покойного». Впрочем, С. А. Венгеров считает, что Бердяев и каялся только ради саморекламы. Однако апологетическая статья о нем научного сотрудника Института иудаики (Киев) М. Рыбакова

показывает, что Бердяев не только чуждался юдофобии, но и активно боролся за права евреев. Здесь сообщается, что сей Аспид, оказывается, был родным братом замечательного русского философа и убежденного юдофила Н. А. Бердяева; что «как демократ и просто честный человек, он не мог пройти мимо антисемитской вакханалии 80-х годов»; что в своей элегии «1885-му году» (то есть писанной практически одновременно с «Надсониадой»!) он предавался, например, таким вот мечтам:

Я б унесся туда, где добро и любовь
Прекратили раздоры людей,
Из-за низких страстей проливающих кровь,
Где бы стал моим братом еврей.

Если верить статье, Бердяев называл дело Дрейфуса «ненавистным и мрачным», защищал от нападок «Нового времени» благотворителя Л. И. Бродского, называл погромщиков «вампирами русского народа» и клеймил их как насильников и убийц. Интересно, что в одном из разоблачительных стихов он вслед за Надсоном уподобляет врагов еврейства злым псам. Вот что он пишет о киевском погроме:

Опять с цепи сорвалась свора
Звероподобных темных сил,
Наш древний Киев дни позора,
Залитый кровью, пережил…
И все нелепые преданья
Веков, унесшихся давно,
Терпеть обиды, истязанья.

Примечательно и то, что жена Бердяева, Елена Григорьевна (урожденная Гродзкая; 1866 г.) была автором жанровых очерков о жизни и быте еврейской бедноты. В журнале «Восход» она опубликовала проникнутые любовью к еврейству этюды «Новобранец» (1888) и «Фантазер» (1898), набросок «Торговый день Хаи» (1889), «захолустные силуэты» «Цветы и шляпы» (1890), «Самуил Абрамович» (1892), «Ребе Лейзер» (1893). Хотя литературовед А. В. Вадимов в книге «Жизнь Бердяева: Россия» (1993) утверждает, что писательница «полька по происхождению», однако сие сомнительно: ей присущ «взгляд изнутри», тонкое знание сокровенных извивов еврейской души, что свидетельствует о ее кровной связи с народом Израиля.

Так или иначе, не оставляет ощущение, что мы имеем дело не

с одним – а с двумя Бердяевыми-Аспидами! Один с «враждой неумолимой» изливал яд на русское еврейство, другой – столь же беспощадно жалил и язвил его гонителей. Если же это и впрямь один человек, остается только развести руками.

Но вернемся к Буренину. Общеизвестно, что смертельно больного Надсона он обозвал «мнимо недутующим паразитом, представляющимся больным, умирающим, чтобы жить на счет частной благотворительности», а также распространял о поэте прочие грязные сплетни и наговоры. В ходе его наскоков на поэта их юдофобская направленность все более возрастала. Если Бердяев все же признавал в Надсоне человека русского и изливал желчь главным образом на его иудейское окружение, то Буренин самого поэта поставил в ряд стихотворцев-евреев (наряду с Фругом и Минским). Этих, по его словам, «поставщиков рифмованной риторики» отличали «вздорность однообразных неточностей и банальность языка». А специально на примере еврея-Надсона критик пытался доказать, что «маленькие стихослагатели смело воображают, что они крупные поэты, и считают своим долгом представиться перед взором читателей со всякими пустяками, которые выходят из-под их плодовитых перьев».

Через две недели Буренин развил свою «теорию» о поэтах-иудеях. Он объявил нашего героя «наиболее выразительным представителем» «куриного пессимизма», когда «маленький поэтик, сидящий на насесте в маленьком курятнике, вдруг проникается фантазией, что этот курятник представляет «весь мир» и что он служит для него тюрьмою. Вообразив такую курьезную вещь, поэтик начинает «плакать и метаться, остервенясь душой, как разъяренный зверь», он начинает облетать воображаемый им мир «горячею мечтою», он начинает жаждать – чего? Сам не ведает чего, по его же собственному признанию».

Но апофеоза пошлости и бесстыдства Буренин достиг на последнем этапе своих отчаянных нападок на Надсона. Объектом осмеяния на сей раз стала бескорыстная забота М. В. Ватсон о тяжело больном поэте. Под пером зоила возвышенное благородное чувство (Семен Яковлевич называл свою подругу Ватсон «ангелом-хранителем») объявлялось пародией и лживым прикрытием истерической похоти. В одной из стихотворных сатир Буренин вывел Надсона под видом еврейского рифмоплета Чижика, чью животную страсть удовлетворяет грубая перезрелая матрона (М. В. Ватсон было тогда тридцать восемь лет).

Поэт чрезвычайно остро переживал шельмование и издевательства Буренина. «Если бы грязные обвинения и клеветы

шептались под сурдинку, у меня за спиной, – с горечью говорил он, – конечно, я был бы вправе пренебрегать ими, игнорировать их… Но эти нападки, позорящие мое доброе имя, эта невообразимо гнусная клевета бросается мне в лицо печатно, перед всей читающей Россией». И, уже будучи на смертном одре, он рвется из Ялты в Петербург, чтобы лично защитить свою честь и репутацию в дуэльном поединке. Мы, конечно, далеки от мысли, что в своем желании поквитаться с обидчиком Надсон был движим исключительно чувством оскорбленного национального достоинства. Тем не менее, как справедливо отметил Р. Весслинг, «для определенной группы читателей еврейское происхождение Надсона имело решающее значение. А обстоятельства его смерти для многих вписывались в имевшую глубокие корни историю преследования евреев Российской империи».

«Дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов, народ, обиженный судьбою!» – эти строки замечательны тем, что в них поэт являет себя в ипостаси еврея-бойца. И не случайно автор книги «Русско-еврейская литература» В. Львов-Рогачевский подчеркнет, что в них «громко звучит голос крови». Бой с клевретом «Нового времени» антисемитом Буреиным и стал для Надсона роковым, ибо он был чист душой и просто не готов к интригам и подковерным каверзам. Поэт искал честной борьбы. В его стихотворении 1883 года читаем:

Сойтись лицом к лицу с врагом в открытом поле
И пасть со славою и именем бойца, —
Нет выше на земле, желанней в мире доли…

Но далее автор вопрошает: «Но если жизнь душна, как склеп, но если биться ты должен с пошлостью людскою?..»Верил ли он в счастливый исход борьбы с «пошлостью людскою», олицетворением которой был для него Буренин вкупе с подобной ему юдофобствующей братией? Едва ли. В одном из писем Надсон приводит знаменательные слова:

Но пускай победных лавров
Не дождусь я до конца, —
Я погибну славной смертью,
Смертью честного бойца.

Надсону ушедшему из жизни так рано – в неполные двадцать пять лет, суждено было обрести не только всероссийскую, но и всемирную известность. Одно время он был наиболее читаемым

из русских поэтов. Пик его популярности пришелся на конец XIX – начало XX века, когда его произведения издавались в сотнях тысяч экземпляров (превысив даже тиражи признанных русских классиков); они переведены на английский, французский, немецкий, итальянский и польский языки и положены на музыку И. Бородиным, А. Рубинштейном, Н. Кузьминым, В. Ребиковым, А. Аренским, Ю. Блейхманом и др.

Но символично, что в начале XX века по стихотворениям Надсона постигали красоту русского языка учащиеся еврейских школ: они вошли в хрестоматию Л. М. Шахрая «Русское слово еврейским детям» (1900), переизданную дважды. Целью сего пособия было «внушение ребенку любви и беззаветной преданности к родине, а с другой стороны, глубокого уважения и горячей привязанности к своей национальности».

Семен Яковлевич Надсон, как точно сказали о нем, был «заражен болью» еврейского народа, а значит, и горячо привязан к нему. И помимо громкой славы русского поэта он снискал себе славу бойца с антисемитизмом. Честного бойца. И этим притягателен для нас вдвойне.

Наследие баронов Гинцбургов

История знаменитой еврейской династии баронов Евзеля (Осипа) Гаврииловича (1812–1878), Горация Осиповича (1833–1909) и Давида Горациевича (1857–1910) Гинцбургов стала вдруг неожиданно актуальной в 1989–1991 годах. Весь сыр-бор в тогда еще существовавшем СССР разгорелся из-за любовно собранной тремя поколениями баронов коллекции средневековых еврейских манускриптов, хранившейся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (в то время Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина – ГБЛ). А произошло тогда нечто неслыханное: законно требуя доступа к священным для иудеев текстам, в библиотеку ворвались хасиды и в знак протеста против запрета пользоваться ими забаррикадировали в служебном кабинете одного из руководителей ГБЛ. Они настаивали на том, что каждый религиозный еврей имеет право изучать любой еврейский манускрипт библиотеки.

Не менее пристальное внимание к собранию Гинцбургов обнаружили и патриоты-почвенники. Призывая к тому, чтобы еврейские рукописи никому не выдавались и подозрительные лица (то бишь сами евреи) к ним не допускались, они тоже ратовали за их изучение. Но за изучение с пристрастием, ибо, мнилось им, патриотический историк, при необходимых усилиях, мог обнаружить там материал о закабалении евреями матушки Руси. Страсти достигли поистине шекспировского накала! Атмосферу той поры вполне передает наша статья, опубликованная в № 544 альманаха «Панорама» (Лос-Анджелес) от 13–20 сентября 1991 года, которую мы и предлагаем читателю в качестве пролога к рассказу о наследии баронов Гинцбургов.

Зачем «патриотам» еврейские манускрипты?

В мартовском номере журнала «Наш современник» (№ 3, 1991) было помещено сердитое письмо некоего М. Михайлова. Название опусу подобрали броское, патриотическое «Что имеем – не храним…» О чем же скорбит Михайлов? О разрушенных инородцами православных храмах, о происках распоясавшихся русофобов? Ни за что не догадаетесь, читатель! О еврейских средневековых манускриптах, книгах и личных бумагах из коллекции ученого-гебраиста Давида Горациевича Гинцбурга (1857–1910), хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (Москва). Хотите верьте, хотите нет, но автор письма пугает русских патриотов, что, мол, «в результате акта нового политического мышления, например, по президентскому указу, уникальное собрание уедет к нашим ближневосточным «друзьям» (кавычки, разумеется, на совести М. Михайлова), то бишь в Израиль.

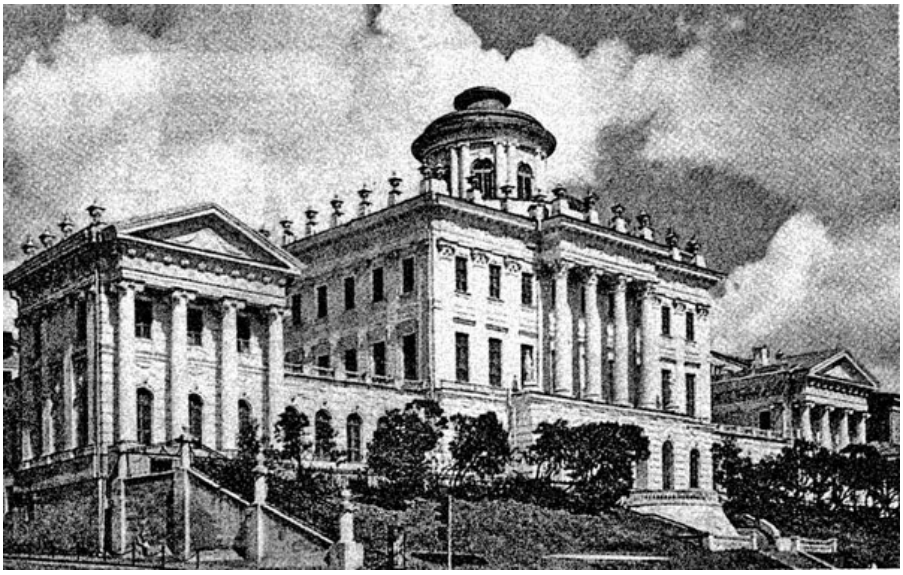
Скрупулезно, не скупясь на детали, встревоженный Михайлов разворачивает историю закулисной борьбы за наследие Гинцбурга, которая велась и ведется в высших коридорах власти. Здесь фигурируют и таинственный запрос «Еврейского Агенства» А. В. Луначарскому, и резолюция наркома, и недавние встречи вице-президента АН СССР Евгения Велихова с ученым раввином Адином Штейнзальцем (1987), и даже специальное послание президента Израиля Хаима Герцога М. С. Горбачеву, которое якобы вручил последнему «лично Арманд Хаммер». И хотя все это происходит за спиной патриота и вообще русского народа, Михайлову доподлинно известно, что вопрос о коллекции Гинцбурга был якобы «одним из ключевых» на встрече председателя Всемирного еврейского конгресса Бронфмана с Горбачевым.

В доказательство своей осведомленности патриот приводит официальный документ под грифом МИДа СССР № 1112/УБВСА от 06.11.90: «Израильская сторона проявляет интерес к находящейся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина коллекции барона Д. Г. Гинцбурга, которая, по заявлениям израильтян и по имеющимся публикациям, была завещана им еврейской публичной библиотеке в Иерусалиме (ныне Еврейская национальная и университетская библиотека). Прошу сообщить, что можно было бы ответить на обращение представителей Израиля по существу данного вопроса, включая

фактическое состояние фонда Гинцбурга, его юридический статус, возможности сотрудничества с израильской стороной по поводу этой коллекции».

Однако по существу вопроса автору отвечать явно не хочется. Михайлов вдруг переводит разговор на израильских раввинов, зачастивших в ГБЛ – уж очень сильно они его раздражают. Он юлит, элегически вздыхает по поводу козней «дельцов типа Арманда Хаммера», упорно ссылается на послереволюционные распродажи Совдепией культурных ценностей, забывая при этом упомянуть о законном вывозе собственного имущества эмигрантами первой волны. А такое упоминание оказалось бы здесь нелишним. Накануне революции вдова барона Д. Г. Гинцбурга продала коллекцию одной сионистской организации, а именно Г. С. Златопольскому для открывшейся в Иерусалиме Еврейской национальной библиотеки. Книги уже были уложены, но грянул Октябрьский переворот, и они были «экспроприированы» большевиками. Значительная ее часть была перевезена в Москву и помещена в Румянцевский музей (ныне РГБ). Сионисты требовали передачи им законно приобретенной библиотеки, но большевики запросили за ее выкуп такую астрономическую сумму, что переговоры зашли в тупик, и коллекция баронов так и осталась в России.

Казалось бы, какое дело русскому патриотическому журналу до разных там талмудистов и еврейских рукописей? Чем они интересны почвенникам и «деревенщикам», озабоченным собственными национальными проблемами? Оказывается, очень даже интересны. «В материалах фонда Гинцбурга, – откровенничает Михайлов, – представлена (хотя и в завуалированной форме)… идея мирового еврейства о «колонизации» России евреями с целью ее расчленения и уничтожения. В рукописях, собранных Д. Г. Гинцбургом со всей России, обсуждаются практические меры по реализации этой идеи. А в этом Д. Г. Гинцбург был верен памяти своего отца, который приложил немало усилий по мобилизации евреев Европы на осуществление порабощения России». Теперь понятно?



Российская Государственная библиотека

Уничтожение России – ни больше, ни меньше! Как ни завуалировал свою деятельность Гинцбург (всемирно известный ученый, председатель Общества распространения просвещения среди евреев России и т. д.), Михайлов его вычислил: руководитель тайного иудо-масонского заговора, ненавистник России.

До такой бредятины не доходило даже ультраправое суворинское «Новое время»! Напротив, в 1910 году в нем сообщалось о видной патриотической и просветительской деятельности Д. Г. Гинцбурга на благо России! Ну как не вспомнить здесь таких «толкователей» истории еврейства, как бывший член Государственной Думы Н. Е. Марков-Второй (закончивший свою «патриотическую» карьеру консультантом немецкого гестапо) или Г. В. Бостунич, дослужившийся аж до штандартенфюрера СС. Неужто и Михайлов хочет пристроиться к их шеренге?

Впрочем, не только история заговора мирового еврейства занимает Михайлова: не чужд ему и простой коммерческий расчет: «Только за одну из них [рукописей. – *Л. Б.*] несколько лет назад один канадский раввин предлагал… всю свою библиотеку, стоимостью в миллион долларов» (для вящей убедительности стоимость коллекции набрана в журнале петитом). Боятся, стало быть, продешевить господа патриоты!

В чем же состоит уникальность и значимость коллекции Гинцбурга, каков ее состав? Сведения «Нашего современника» очень скупы – по существу это только количественные

характеристики: это «второе в мире (после Британского музея) по величине и по ценности собрание средневековых еврейских рукописей, насчитывающее около 2000 рукописных книг»; «две трети представляют собой неизвестные иудаике тексты и фрагменты текстов». Забавно, что куда более подробные данные об этих манускриптах содержатся в «Еврейской энциклопедии», изданной… еще в начале XX века: «Среди рукописного отдела [библиотеки Гинцбурга. —*Л. Б.*] особенно важны: махзоры (испанск., итальянск., прованс, африканск.); «диваны» крупнейших поэтов испанской эпохи; ценные рукописи йеменского происхождения по разнообразнейшим отраслям науки; части древнего экземпл. Талмуда, спасенного из огня во время аутодафе; Иерушалми с толкованиями С. Серильо каббалистического и философского содержания, между прочим, принадлежащие Исааку Абарбанелю; древне-библ. рукописи с Таргумом и арабск. переводом и мн. др.».

Михайлов и не скрывает, что эти материалы до сих пор не введены в научный оборот. Показательно, что в авторитетном справочнике, изданнном под эгидой ГБЛ («Личные архивные фонды»), содержится лишь глухое упоминание о бумагах Гинцбурга, да и то из другого архива. Не противоречит ли такое положение дел смыслу жизни замечательного еврейского ученого-просветителя, который, как это признает Михайлов, «задался целью открыть мировому еврейству новый центр каббалистической и талмудической науки»?

Постараюсь дать представление о еврейских старопечатных изданиях из этого собрания. Их более двухсот, чудом уцелевших от цензурных гонений и средневековых аутодафе (есть спасенные от костров инквизиции редчайшие экземпляры с истлевшими листами). Среди них – сокровища инкунабульного периода еврейского книгопечатания: религиозно-философский трактат «Сефер га-Икарим» Иосифа Лабо, напечатанный в типографии Ш. Сончино в 1485 году; комментарий к Пятикнижию «Хавот га-Леватот» Бахья бен Иосефа га-Сефарди, вышедший в Неаполе в типографии И. Гунцегаузера в 1490 году; издания знаменитого «Канона» Авиценны, датированного 1491 году; рифмованный трактат по этике Калонимуса бен Калонимуса (1489); «Море невухим» Моше бен Маймона, отпечатанный на пергаменте в 1475 году.

Представлена здесь и книжная продукция таких центров еврейского книгопечатания и культуры XV–XVII веков, как типографии Д. Бомберга, М. Гиустиниани, М. Занетти (Венеция), Г. Сончино (Песаро), С. Латифа (Мантуя), Б. Гершона, С. и Д. Нахмиасов (Константинополь), И. Гедалья (Салоники),

И. Крато (Виттенберг), Р. Тальми (Болонья), Исаак бен Аарона (Краков), Г. Кохена (Прага), Л. Маркуса (Амстердам) и др.

Всего же в собрании Д. Г. Гинцбурга 9000 экземпляров печатных изданий. Книги барона помечались штемпелем в виде магендовида с монограммой владельца и двумя экслибрисами – художественным и геральдическим. Художественный снабжен афоризмом «Все забывается, все проходит». Геральдический, с баронским гербом, на щите которого изображен пчелиный улей – символ трудолюбия, украшен другим афоризмом – цитатой из «Песни песней» на древнееврейском языке: «Вся ты прекрасна, моя возлюбленная, и пятна нет на тебе» («Песнь песней», 4:7).

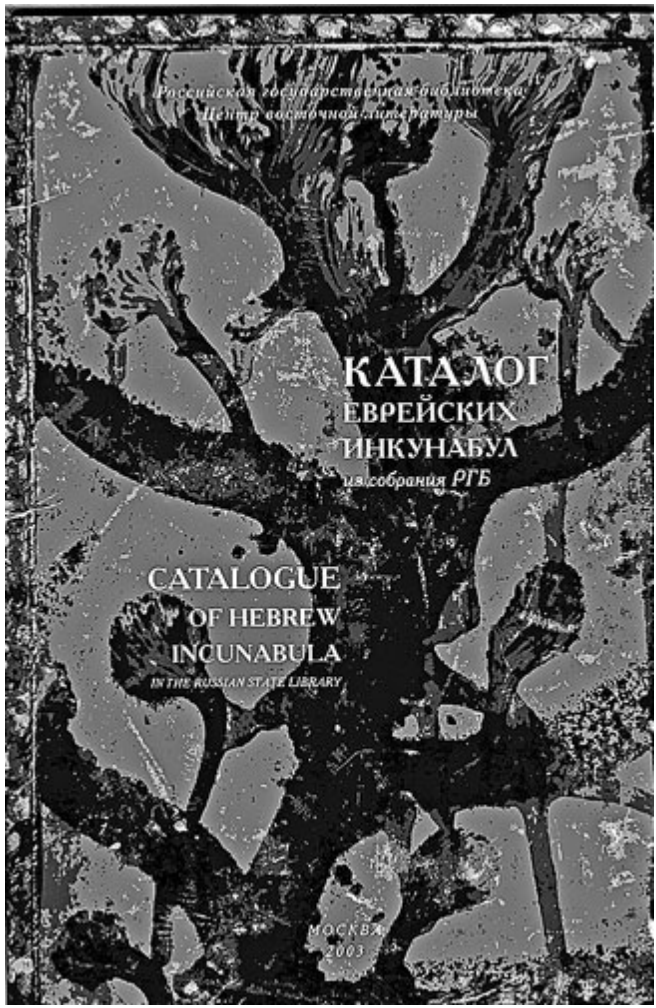
Большая часть изданий – Библии, Талмуды, раввинистические комментарии к ним, сочинения по религиозному законодательству, философии и мистике. Среди светских книг – издания по истории, географии, языкознанию, медицине; справочные издания, словари и учебники иврита и других семитских языков. Представлена здесь и российская еврейская периодика, издававшаяся с 1861 года в Одессе, Петербурге и других городах. Коллекция уникальна и по хронологическому охвату (от истоков еврейского книгопечатания до начала XX века), и по географии (включает книги, выпущенные в крупных центрах Европы и Азии, а также в Северной Африке и Америке). В течение всей своей жизни Д. Г. Гинцбург любовно собирал книги, которые затем широко использовал в своих научных трудах по средневековой компаративистике, истории еврейской, русской и арабской культур, духовного пения древних народов и т. д.

Главная лестница Российской Государственной библиотеки

Можно только догадываться, какие удивительные находки таит в себе скрываемое от общества рукописное собрание ученого. Но в том-то и загвоздка, что Михайлов вовсе не собирается сделать эти рукописи доступными. Наоборот, он предостерегает патриотические массы от «заключения неравноправного (?!) договора с Израилем о публикации материалов фонда».

Правомерен вопрос – в чьих же руках находится рукописное собрание Д. Г. Гинцбурга? Кому в СССР поручено беречь и изучать этот памятник еврейской культуры? Поразительная осведомленность Михайлова (не знаю, реальное ли это лицо или литературная маска) выдает автора с головой – ясно, что это человек Отдела рукописей ГБЛ, где и хранится коллекция еврейского ученого. Увы, отдел этот с некоторых пор стал

одиозным в Леннике – в библиотеке с богатыми научными и культурными традициями. Я, проработавший в этой библиотеке десять лет, знаю о нем не понаслышке. Заведующий Отделом рукописей профессор В. Я. Д. в 1989 году на одном из собраний библиотеки был публично уличен в оголтелом антисемитизме, что, кстати, сказалось на его подборе в это библиотечное подразделение молодых «научных» кадров. Помню, что после его прихода в отдел по коридорам главной библиотеки СССР стали расхаживать бородачи в черных, военного образца, рубашках со значками Георгия Победоносца (униформа «Памяти»), злобно улюлюкая вслед сотрудникам-инородцам. А кто-то из них участвовал и в телешоу как представитель одного из «крыльев» «Памяти». В читальном зале этого отдела вывесили тогда характерный плакат: магендовид, сложенный из черепов и костей, и надпись: «Dancer!» (лат. «Опасность!»). Дело получило огласку, и вынужденная давать объяснения администрация сообщила, что это, мол, дань солидарности с борющимся народом Палестины. Ловко, не правда ли?



Обложка книги «Каталог еврейских инкунабул из собрания РГБ»

Но, пожалуй, нагляднее всего плоды их трудов сказались на тематических встречах с деятелями культуры, проходивших в библиотеке, – они превращали их в настоящий антисемитский балаган. Группы организованных молодчиков в сопровождении зловещего вида дам просачивались на мероприятия и специально рассаживались в разных концах зала. И не дай Бог оратору одобрительно отозваться о каком-то еврее – тут же начинались шиканья, захлопыванья. Потом, как по сценарию, вскакивал один (обязательно пожилой, грудь в орденах) и начинал истерично выть о проклятых масонах, пугая грядущим господством Сиона. Старца громко одобряли предусмотрительно подготовленные статисты…

В такой затхлой атмосфере антисемитского кликушества

томится национальная святыня еврейского народа. К ней приставлены чернорубашечники, а надзирают за ней доморощенные эксперты по иудомасонству типа Михайлова. Так что можно не сомневаться – эти ребята и сохранят, и «исследуют» в нужном им ракурсе. А потом и продадут подороже. Ну а если не удастся продать – кто может поручиться, что выкинет какая-нибудь горячая голова, воспламененная ненавистью к «врагам России» Гинцбургам?

В годы застоя бездушные бюрократы вообще наложили табуна еврейскую тему. Сегодня об этом, по счастью, говорят открыто. Но разве не горько сознавать, что неопубликованные материалы из бесценной коллекции Гинцбургов становятся объектом политического манипулирования и злостных фальсификаций псевдопатриотов?!

* * *

Сокращенный вариант этой статьи был напечатан во влиятельной израильской газете «Jerusalem Post» (1991,25 июня) под заглавием «Pamyat» Controls a Jewish Legacy» («Память» распоряжается еврейским наследием»). Так израильская общественность, которая и раньше проявляла к собранию Гинцбургов повышенный интерес, была своевременно информирована о том, в чьих руках находится эта святыня еврейского народа. Стало также понятно, какое сопротивление юдофобов от культуры придется преодолеть, чтобы сделать ее доступной. Однако израильтян это нисколько не испугало: если того требуют интересы дела, они готовы вести переговоры даже с деятелями Михайловской закваски.

Трудно сказать, кому мы больше обязаны – настойчивости ли и дипломатическому такту израильской стороны или все тому же профессору Д., который вдруг внезапно преобразился в прогрессиста (во что, впрочем, слабо верится), – но летом 1992 года было принято историческое решение, устраивающее обе стороны: сама коллекция осталась в Российской Государственной библиотеке (РГБ), и тем самым фонды этого богатейшего книгохранилища сохранились в неприкосновенности; израильтяне же (в лице Еврейской национальной и Университетской библиотеки в Иерусалиме) получили возможность микрофильмировать все манускрипты и создать их компьютерный каталог. В результате иудеи и гебраисты мира получили копии уникальных рукописей XI–XVIII веков: Библии, Талмудов, литературы по раввинистике, галахе, каббале,

медицине, астрономии, философии, в том числе ряд текстов, считавшихся безвозвозвратно утерянными в истории. Отныне на экране монитора их может прочесть каждый, в каком бы уголке света он ни находился. И какое теперь дело иудеям до молодчиков-чернорубашечников, что были некогда приставлены к еврейским манускриптам? Израильтяне, однако, не оставляют попыток заполучить не только копии, но и саму коллекцию в вечное пользование, как это завещал барон Д. Г. Гинцбург. Показательно, что в ходе переговоров в Москве в феврале 2010 года премьер-министра Б. Нетаньяху с президентом Д. Медведевым и главой правительства РФ В. Путиным израильской стороной вновь была поднята тема о правах на это собрание.

Отрадно, что нынче в РГБ начата масштабная работа по научному описанию и библиографированию всего книжного собрания Гинцбургов. Первый шаг в этом направлении уже сделан: в 2003 году Центр восточной литературы РГБ совместно с израильтянами осуществил издание «Каталога еврейских инкунабул из собрания РГБ», куда вошли все первопечатные книги из коллекции баронов. На очереди – каталоги палеотипов, других ценных изданий из этого собрания. Книги из библиотеки Гинцбургов демонстрируются на многочисленных выставках, проводимых под эгидой РГБ.

Коллекция Гинцбургов признается сегодня особо ценным культурным наследием не только в Израиле, но и в России. Она включена в Общероссийский свод книжных памятников истории и культуры как памятник-коллекция федерального значения. И это глубоко символично: неутомимая деятельность баронов ознаменована заслугами не только перед соплеменниками, но и перед их великой родиной – Россией, на благо которой они самоотверженно трудились почти целое столетие. Чем же замечательны жизнь и судьба каждого из представителей этой славной династии?

Создать себя
Евзель Гинцбург

Барон Евзель (Осип) Гавриилович Гинцбург (1812–1878) завещал своим потомкам хранить веру предков и российское подданство. И собственную жизнь этот знаменитый банкир, золотопромышленник и меценат посвятил борьбе за права и эмансипацию евреев и вместе с тем служению государю и Отечеству. Такое сочетание было для него не только оправданным, но и единственно возможным, ибо он твердо знал, что польза и процветание России отвечают коренным интересам русских евреев. Не в местечковом изоляционизме видел он будущее своего народа, нет: Гинцбург всеми силами стремился интегрировать евреев в российское общество с тем, чтобы они вошли на равных в семью других народов многонациональной империи, обязательно сохранив при этом свою этническую идентичность и иудейскую религию.

Начав свою трудовую жизнь с самых низов, этот витебский еврей первым в России создал банк современного типа, стал именитым бароном, мультимиллионером, крупнейшим землевладельцем. И всем, чего достиг в этой жизни Евзель Гинцбург, он был обязан только собственным способностям, интуиции, деловой хватке. Можно сказать, что этот еврейский самородок создал себя сам. Но следует принять в расчет и то, что это были в известной степени наследственные качества, кои выкристаллизировались в нем, передаваясь из рода в род многими поколениями его пращуров.

А генеалогия Гинцбургов (Гинзбургов) прослеживается еще с середины XV столетия. Фамилия происходит от носившего сие название города в швабском округе Баварии. Родоначальником династии был раввин Иехиэль из Порто. Внук его, раввин Симеон Бен-Абраам Гинцбург (1506–1586), спасаясь от преследований, которым подвергались евреи в Германии, переселился в Речь Посполитую и упоминается в польских летописях как человек мудрый, математик и астроном. Он оставил после себя шестерых сыновей. Их потомки в XVII–XVIII веках были в числе самых видных раввинов германских княжеств и Польши. И только дед нашего героя, Нафтали-Герц (ум. 1797), прервал традицию рода и занялся коммерцией.

Барон Е. Г. Бинцбург

По его стопам пошел и его сын, отец Евзеля Гинцбурга, уроженец Вильно Гавриил-Яков Гинцбург (ок. 1793–1853), который занимался благотворительностью и помогал бедным (на его средства в Севастополе была построена больница для неимущих). Есть сведения, что он любил чтение и собирал книги на разных языках. О том, что предпринимательская деятельность Гавриила-Якова была весьма успешной, свидетельствует присвоение ему императором Николаем I звания почетного гражданина. Но это случится на закате его лет, в 1848 году, когда он окончательно обоснуется в Севастополе; в молодости же торговые дела вынуждали Гавриила-Якова часто менять место жительства; в Отечественную войну он оказался с семьей в Витебске, где в 1812 году и родился Евзель.

Родитель дал сыну не только традиционное еврейское, но и широкое общее образование, обучил его разным наречиям, из коих русский стал одним из родных языков мальчика. И начатки коммерческой науки Евзелю также преподал отец, из тени которого он, впрочем, вышел довольно быстро, став кассиром и фактическим распорядителем дел у одного богатого откупщика.

Как это водилось у иудеев, Евзель женился рано, шестнадцати лет от роду. Его избранницей стала красавица Рася Дынина (1814–1892), дочь господина Давида Зискиндовича Дынина, содержателя почтовой станции в городе Орше Витебской губернии (в то время это был главный пункт почтовой связи между Варшавой, Киевом, Петербургом и Москвой), человека уважаемого, образованного и деликатного. Сохранилось семейное предание, что каждый раз, проезжая через Оршу император Александр I непременно посещал дом Дыниных и с завидным аппетитом вкушал там блюда еврейской кухни. Евзель Гавриилович был счастлив в браке. Рася Давидовна, слывшая женщиной доброй и богобоязненной, родила ему четырех сыновей – Александра, Горация, Урия и Соломона, и дочь – Матильду.

Баронесса Р. Д. Гинцбург (урожденная Дынина)

Гинцбургу едва перевалило за двадцать, когда он стал витебским купцом 1-й гильдии. Предприимчивый и энергичный, он освоил основные приемы работы по винным откупам и, скопив необходимые средства, в 1840 году сам становится видным

откупщиком. Здесь необходимо заметить, что винокурение было тогда государственной привилегией и лишь с торгов отдавалось частным лицам. Откупщик пекся не только о собственных интересах, но (в первую голову!) о своевременных платежах государству. Потому допускались к откупам люди благонадежные, состоятельные, репутация коих могла служить гарантией безупречного выполнения контракта с казной. Откупщик-еврей, да еще в столь молодом возрасте – явление в то время исключительное! Но Гинцбурги привыкли быть всегда на особом счету…

Евзель наладил тесные контакты как с финансовыми учреждениями Подольской и Киевской губерний, где разворачивается его неутомимая деятельность, так и Северной Пальмиры, куда он часто наезжает. Постепенно он обрастает связями в высших столичных сферах, в особенности в финансовых кругах, где завоевывает к себе и расположение и особое доверие. Близкие отношения устанавливаются у него с министром финансов Ф. П. Вронченко, по инициативе которого Гинцбургу «за заслуги, оказанные российскому правительству», так же как некогда его отцу, было пожаловано почетное потомственное гражданство. Во время Крымской войны 1853–1856 годов он держит винный откуп в осажденном Севастополе. По словам современника, он оставил город одним из последних, «чуть ли не одновременно с комендантом гарнизона». Сей и другие его отважные поступки были отмечены императором двумя золотыми медалями «За усердие» для ношения на Владимирской и Андреевской лентах. И таких знаков отличия он получит впоследствии немало…

Евзель Гинцбург обладал редким политическим чутьем, которое и привело его впоследствии к грандиозным финансовым достижениям. Осознавший ранее других обреченность откупного капитала и неизбежность капитализации России, он весьма прозорливо сделал ставку на либералов, находившихся тогда в опале, – наладил деловые и финансовые связи с великим герцогом Александром Гессенским, братом жены наследника престола. Когда же на российский престол взошел Александр II, его реформы в значительной мере вдохновлялись супругой – Марией Гессенской, и фаворит ее брата Евзель Гинцбург сразу попал в круг людей, которые стали создавать «инфраструктуру новейшей экономики».

Но вот откупа заменили правительственной винной монополией, и многие откупщики пошли по миру. Но только не Гинцбург! Взамен откупов он стал создавать в России частную банковскую систему: сначала Частный коммерческий киевский

банк, затем Учетный одесский банк и Санкт-Петербургский учетно-ссудный банк. Наконец, в 1859 году, Евзель совместно с сыном Горацием основал в столице банкирский дом «И. Е. Гинцбург» – крупнейший в России, с филиалом в Париже (под руководством его другого сына – Соломона). Через некоторое время «И. Е. Гинцбург» стал головным петербургским банком, вытеснил с денежного рынка знаменитый банк барона А. Л. Штиглица. Банкирский дом Гинцбурга работал в тесной связи с ведущими банками Западной Европы («Варбург» в Гамбурге, «Мендельсон», «Блейхредер» в Берлине, «Де Габер» во Фракфурте-на-Майне, «Госкье», «Камондо» в Париже и др.). Он стал главным кредитным мостом, через который деньги иностранных инвесторов вкладывались в российскую экономику. Неоценима его роль и в развитии отечественных кредитно-акционерных банков.

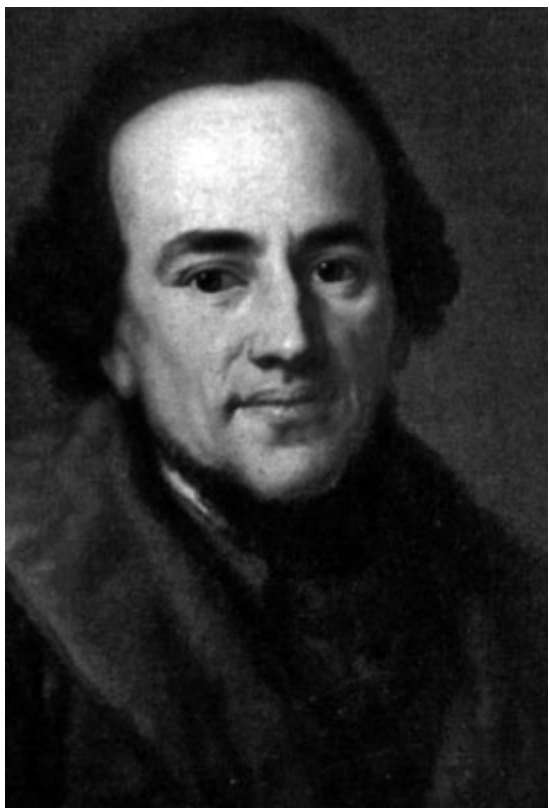
Банкирскому дому «И. Е. Гинцбург» всегда была свойственна исключительная надежность, что выгодно отличало его от других коммерческих предприятий, руководствовавшихся известным принципом: «Не обманешь – не продашь». А потому в то время, когда десятки частных банков, разоряя вкладчиков, лопались, как мыльные пузыри, дело Гинцбурга неуклонно росло и ширилось. Его банкирский дом финансировал золотопромышленные предприятия на Урале и Забайкалье, был владельцем акционерного общества цепного пароходства по реке Шексне и т. д. Евзель становится сказочно богат: владеет крупнейшими имениями в Бессарабии, Киевской, Подольской и Таврической губерниях.

Значительную часть времени семья Гинцбургов проводила в Париже, где в 1870 году Евзелем был построен собственный отель на улице Тильзит. Они жили открыто, и их хлебосольный дом скоро сделался средоточием всех русских – ученых, писателей, художников, волею судеб оказавшихся во Франции. Завсегдатаем у Гинцбургов был находившийся тогда в Париже И. С. Тургенев. Здесь часто бывали живописец А. П. Богомолов, поэт Н. М. Минский и многие другие. Был образован Художественный клуб, где встречались деятели русской культуры, и Евзель Гавриилович был единогласно избран председателем этого клуба.

Особую заботу проявлял Гинцбург об образовании своих детей, для чего пригласил лучших парижских ученых и педагогов. Среди них преподаватель французского языка М. Many известный музыкант и музыковед Ж. Массне, специалист по классической филологии Л. Лаббэ, историк Г. Грэц, литератор и профессор еврейского языка С. Мунк и др.

Судьба единоверцев всегда волновала Евзеля Гинцбурга, а на

гребне собственного финансового успеха, когда открылись большие возможности для оказания им помощи, особенно. Последовательно и методично он бомбардирует власть предержащих прошениями об улучшении положения евреев. Евзеля можно было бы с полным основанием назвать «штадланом», то есть авторитетным представителем еврейской общины перед правительством, но лишь с одной существенной оговоркой: он делал это по велению сердца, хотя быть таким ходатаем его никто не уполномочивал. Более того, многие из предлагаемых им мер вовсе не поддерживались большинством еврейского населения черты оседлости, полностью отгороженного от современной российской жизни и не желавшего никаких новаций. «Лучи света почти не проникали в темное подполье еврейских гетто городов и местечек… – говорит об этом историк Г. Б. Слиозберг, – все казалось окаменелым в духовной жизни еврейства… Мистические настроения отвлекали духовных мечтателей-евреев от печальной действительности… [Они уходили в область] внутреннего созерцания, – созерцания мистического, если речь идет о хасиде; созерцания чисто духовно-умственного, схоластически-сухого, если речь идет о миснагде».



Подобная замкнутость была бесконечно далека от той цели, которую ставил перед собой Евзель Гинцбург, добивавшийся полноценного участия евреев в российской жизни. Ему были близки идеи Хаскалы. Основоположником сего движения был замечательный германский мыслитель и общественный деятель Мозес Мендельсон, который ратовал за полную ассимиляцию евреев, их приобщение к европейской науке и культуре. Первые российские «маскилим» появились еще на рубеже XVIII–XIX веков (И. Цейтлин, А. Перетц, Л. Невахович, который, кстати, считается и первым русско-еврейским интеллигентом). В бытность же Гинцбурга именно на «маскилим» делал ставку министр народного просвещения при Николае I граф С. С. Уваров, который искал среди русских евреев своего Мендельсона. Окружив себя виднейшими представителями Хаскалы своего времени (И. Левинзон, М. Лилиенталь, Л. Мандельштам), Уваров, часто по их внушениям, пытался преобразовать духовный быт русского еврейства. Были созданы еврейские училища для подготовки раввинов, где наряду с традиционным еврейским давалось и универсальное образование; открылась сеть школ с преподаванием и общих предметов. По некоторым данным, к 1855 году число таких учебных заведений в России превышало сотню, и обучалось в них не менее 3500 человек. Большое внимание уделялось здесь изучению языков и, что особенно важно, русскому языку (на него было выделено часов даже больше, чем на обучение ивриту). Нет сомнений, что выпускники таких училищ пополнили впоследствии ряды русско-еврейской интеллигенции.

Гинцбурга можно с полным основанием назвать одним из самых ревностных «маскилим». Будучи страстным книгочеем, он закладывает основу того книжного и рукописного собрания, которое исследователи назовут впоследствии коллекцией баронов Гинцбургов. К работе в библиотеке, которую он начал всерьез собирать с 1840 года (сначала в Каменец-Подольске, а затем и в Париже), Евзель Гавриилович привлек таких видных ученых, как ориенталист А. Нейбауэр, знаток еврейских древностей С. Закс. Последний стал с 1856 года заведовать всем его книжным фондом. Благодаря Заксу книгохранилище пополнилось многими средневековыми манускриптами и редкими изданиями. Он приобретал рукописи из коллекций таких известных гебраистов, как С. Баэр, Э. Кармоли, Н. Коронел и др. Как мы уже знаем, сей библиотеке было уготовано большое будущее.

Евзель не просто сочувствует современным прогрессивным

образовательным проектам, но в 1863 году основывает «Общество распространения просвещения между евреями России», содержа его почти исключительно на свои средства. Основной пункт его устава гласил: «Общество споспешествует распространению между евреями знания русского языка, издает само и содействует другим к изданию полезных сочинений, переводов и периодических изданий как на русском, так и на еврейских языках, имеющих целью распространять просвещение между евреями, и поощрять пособиями юношество, посвящающее себя наукам». Общество занималось активной издательской деятельностью. Были выпущены «Сборник статей по еврейской истории и литературе» (Вып. 1–2, Спб., 1866–1867), сборники нравоучительных высказываний от эпохи таннаев до последователей М. Мендельсона «Мировоззрение талмудистов, свод религиозно-нравственных поучений, в выдержках из главных книг раввинской письменности» (т. 1–3, Спб., 1874–1876), а также издание Торы с новым переводом – «Пятикнижие Моисеево в еврейском тексте с дословным русским переводом для евреев» (Вильно, 1875) и другие книги, пользовавшиеся широким признанием.

Общество предоставляло субсидии еврейским периодическим изданиям как на русском языке – «День» (1869–1876), «Еврейская библиотека» (1871–1880), так и на иврите – «Ха-Цфира», «Ха-Мелиц», а также на составление учебников русского языка для евреев и перевода на русский язык сиддура и махзоров. Общество оказывало материальную помощь еврейским ученым, занимавшимся исследованиями еврейской истории, авторам научно-популярных книг на иврите, пропагандировавшим «положительные науки и естественные знания». Кроме того, оно распространяло книги на иврите, учебные пособия, помогало формировать еврейские общественные и школьные библиотеки. Значительную статью расходов в бюджете общества составляла помощь учащимся высших и средних учебных заведений. В частности, была учреждена стипендия для евреев, обучавшихся в Медико-хирургической академии. Так не без участия Гинцбурга в России появились первые дипломированные врачи иудейского вероисповедания.

В поле зрения нашего мецената и правозащитника оказались и евреи-ремесленники, для коих он добился от правительства разрешения проживать за пределами черты оседлости. И опять Евзель идет здесь вразрез с традиционными представлениями еврейской массы, относившейся к подобному труду с нескрываемым презрением. Тем самым он поощряет иудеев к занятиям производительной деятельностью вопреки

господствующим предрассудкам!

Ратует он и за насаждение среди евреев земледельческого труда, о чем подает записку в правительство в 1862 году, а также создает при Министерстве государственных имуществ специальный фонд для премирования лучших евреев-земледельцев.

По неустанным ходатайствам Евзеля Гинцбурга и при деятельной помощи его сына Горация проживание за пределами черты оседлости было разрешено следующим категориям евреев: купцам 1-й гильдии (1859); так называемым «николаевским солдатам», то есть лицам, отбывшим воинскую службу по рекрутскому уставу (1867); всем, занимающимся так называемыми «либеральными» профессиями, то есть акушеркам, фармацевтам, дантистам и т. д. (1869).

Особенное же внимание уделил Гинцбург вопросу о реформе воинской повинности, разрабатываемой в 1870-е годы. Большинство иудеев, чуждые русскому языку, тщательно оберегавшие свои ритуальные законы, в особенности о кошерной пище, считали эту повинность огромным бедствием для еврейского народа. Евзель же стоял на том, что предоставление прав евреям накладывает на них обязательство по исполнению всех повинностей, не исключая и воинской, и если евреи не будут уравнены с другими в обязанностях перед государством, нельзя будет мечтать об уравнении их и в гражданских правах. И действительно, воинский устав 1874 года уравнял в правах всех и не содержал ни одного постановления, которое относилось бы специально к евреям. Этот результат был достигнут благодаря самоотверженной работе Гинцбурга.

Евзелю Гаврииловичу удалось добиться, казалось бы, невозможного – высочайшего разрешения на строительство в Петербурге Хоральной синагоги. Долгое время он был признанным лидером столичной еврейской общины.

В 1874 году к многочисленным его регалиям прибавился еще и титул барона. Он был дарован Гинцбургу великим герцогом Гессен-Дармштадтским. В этом звании семья Гинцбургов была записана в особую книгу, которая велась Департаментом Герольдии Правительствующего Сената для дворян, имеющих почетные титулы.

Евзель Гавриилович ушел из жизни в январе 1878 года в окружении многочисленного семейства. Смерть застала его на берегах Сены, где он, неизлечимо больной, спасаясь от сырой и промозглой петербургской зимы, провел последние дни. И похоронен он был в Париже, в фамильном склепе.

Ему была дарована успешная и счастливая жизнь созидателя.

И вместе с созданными им банками, предприятиями, акционерными обществами, вместе с происходившими благодаря его усилиям благотворными переменами в положении русских евреев, Евзель Гинцбург создал и себя, собственную личность, обаятельную и исключительно притягательную, оставившую заметный след в российской истории.

«Краса Израиля»
Гораций Гинцбург

Сохранился исторический анекдот: барон Гораций Осипович Гинцбург (1833–1909) как-то ехал в карете с императором Николаем П. Проходивший мимо мужик не смог сдержать удивления: «Надо же, жид с царем едет!» Мужика схватили и хотели было препроводить в кутузку за оскорбление барона. Но Гинцбург попросил не наказывать простолюдина и даже подарил ему золотой. За что? За то, что тот лишний раз напомнил ему, что он еврей. А этот представительный господин, изъяснявшийся на французском лучше, чем на русском, высокого роста, статный, с аристократическими манерами и с такой пленительной, располагающей к себе улыбкой, очень любил, когда ему напоминали о его происхождении, ибо был евреем религиозным и самым что ни на есть правоверным. Он был убежден, что иудаизм является предтечей всякой культуры. О чем бы ни заходила речь, барон неизменно ссылался на то, что в еврейской письменности давно уже имеется разрешение всех проблем касательно благополучия людского. Одной из его любимых фраз было: «В Талмуде сказано…» И эта убежденность проскальзывала во всех его разговорах.

Доскональное знание Талмуда и древнееврейского языка он приобрел еще в детстве под руководством известного знатока иврита М. Сухоставера, сначала в Звенигородке Киевской губернии, где он родился и провел ранние годы, а затем в Петербурге и Париже, где попеременно проживала семья Гинцбургов. Как и другим своим детям, отец дал Горацию блестящее домашнее образование, поручив сие лучшим педагогам и специалистам. Вообще, авторитет родителя был всегда непререкаем для Горация. «Мой отец так поступал или находил нужным так поступать,» – это было побудительным мотивом всех его дел и поступков. Неудивительно поэтому, что уже в молодые годы он становится главным компаньоном и помощником отца. И женился он в двадцать лет на своей кузине Анне Гесселевне Розенберг (1838–1878) тоже с оглядкой на Евзеля Гаврииловича: ведь избранница Горация пользовалась в семье Гинцбургов особым уважением и имела на тестя огромное влияние.

Барон Г. О. Гинцбург

Можно с определенностью утверждать, что права российских евреев, полученные в 1850—1870-х годах, были отвоеваны Евзелем Гинцбургом при деятельной и энергичной помощи Горация. Это же относится и к банковской и финансовой деятельности Гинцбурга-старшего: сын всегда был его правой рукой. Но Горацию Гинцбургу суждено было приумножить славу родителя и приобрести уже не только европейскую, но и всемирную известность. И не столько в предпринимательской сфере (хотя здесь он не только упрочил, но и развил дело отца, став учредителем новых акционерных обществ, крупнейших золотодобывающих товариществ, собственником сахарных заводов, спонсором строительства российских железных дорог и т. д.), сколько на ниве благотворительности и на правозащитном поприще.

Еще при жизни Евзеля Гинцбурга в Горации угадывался деятель недюжинный и вполне самостоятельный, видный филантроп и меценат. Его исключительное положение в России было засвидетельствовано Гессенским домом: в 1868 году Гораций Гинцбург был назначен Гессен-Дармштадтским

генеральным консулом в Петербурге, причем он был первым в истории некрещеным евреем-дипломатом, признанным петербургским двором. Когда в 1871 году герцогство Гессенское было упразднено Бисмарком, Горацию (и только спустя три года и его отцу Евзелю!) было даровано потомственное гессенское дворянство с баронским титулом в придачу.

Размах благотворительности Горация Гинцбурга не имел границ. Казалось, нет в Петербурге такого крупного начинания, в котором он не принял бы участия как своими щедрыми денежными взносами, так и своим трудом. И отнюдь не все из них непосредственно касались его единоверцев. То он учреждает образцовое ремесленное училище имени цесаревича Николая, то обустраивает при Биржевой больнице специальный хирургический лазарет, в коем сотням нуждающихся оказывается неотложная помощь первоклассными медиками. При его непосредственном участии в Петербурге открывается Археологический институт, получивший статус Императорского; работают Высшие женские «Бестужевские» курсы – своего рода частный университет, содержавшийся на благотворительные средства. Он жертвует ассигнования на основанный принцем А. П. Ольденбургским Институт экспериментальной медицины (по примеру знаменитого Пастеровского института во Франции), учреждает Общество дешевых квартир в Петербурге, участвует в работе Общества по улучшению условий жизни бедных детей, попечительствует Школе Коммерции императора Николая II и т. д. Перечислить все его щедрые пожертвования трудно. Важно то, что непременным условием его участия в сих проектах было требование равных возможностей для людей всех национальностей и вероисповеданий. «Он не делал различия между людьми… – скажет о нем современник, – ибо учители закона, которому он был всю свою жизнь верен, всегда говорили о людях, не различая ни эллина, ни иудея».

Гораций Гинцбург находился в самом средоточии интеллектуальной жизни своего времени. Его петербургский дом, как некогда дом его отца в Париже, открыл свои двери для лучших представителей передовой российской интеллигенции. Дружеские отношения связывали Гинцбурга с М. М. Стасюлевичем и литераторами круга либерального журнала «Вестник Европы»; председателем Совета присяжных поверенных Петербурга К. К. Арсеньевым; профессором уголовного права, выдающимся криминалистом В. Д. Спасовичем; историком литературы А. Н. Пыпиным; профессором Военно-юридической академии К. Д. Кавелиным; выдающимся историком искусств и меценатом В. В. Стасовым (впоследствии горячим поклонником

еврейских талантов). Здесь часто бывали писатели И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, П. Д. Боборыкин, прославленный юрист А. Ф. Кони, терапевт, основатель школы русских клиницистов С. П. Боткин, замечательный русский философ В. С. Соловьев. С последним Гинцбурга связывали особенно доверительные и близкие отношения. Не исключено, что именно под влиянием Гинцбурга Соловьев стал изучать иудаизм по первоисточникам и приобрел основательные познания в Талмуде; биографы философа свидетельствуют, что последними его словами на смертном одре были: «Шма Израэль». К сожалению, переписка Гинцбурга с Соловьевым, а также с другими деятелями культуры, хранившаяся в архиве барона и имеющая первостепенное научное значение, погибла, опровергая известное утверждение, что рукописи не горят.

Тесные отношения установились у Горация Осиповича с художником И. М. Крамским, который рисовал портреты семьи Гинцбургов, а также придворным живописцем М. А. Зичи, писавшим виртуозные, отмеченные чертами салонности сцены охоты. Гораций собирал современную русскую живопись, в его петербургском доме хранилась коллекция портретов XIX века. Именно Гинцбург способствовал тому, что никому не известный портняжный подмастерье из Вильно М. М. Антокольский получил академическое образование и обрел всемирную славу скульптора. И барон никогда не оставлял его своими милостями, предоставив возможность уже неизлечимо больному Антокольскому провести последние месяцы жизни в благословенной Швейцарии. Гинцбург создал тогда в Академии искусств специальный фонд для выдачи премий евреям-художникам.

Приятельствовал барон и с первым директором Петербургской консерватории А. Г. Рубинштейном, и с известным виолончелистом К. Ю. Давидовым, и со с скрипачом, профессором Л. С. Ауэром. Он оказывал материальную поддержку юным скрипачам Яше Хейфецу и Мише Эльману – они были стипендиатами Гинцбурга.

Но особенно продуктивно благотворительная и образовательная деятельность Горация Осиповича реализовалась в рамках «Общества для распространения просвещения между евреями России», председателем которого он стал после смерти отца. Так, в 1880 году им был основан фонд для помощи еврейским студенткам. Впечатляющей была и издательская продукция просветителей. Увидели свет «Русско-еврейский архив» (под редакцией С. Бершадского, т. 1–2; Спб., 1882), «История евреев» Г. Греца (Спб., 1883) и др. Для изучения истории евреев России была создана особая Еврейская историко-

этнографическая комиссия (преобразованная впоследствии в Еврейское историко-этнографическое общество). Именно она напечатала классический труд «Регесты и надписи» (т. 1–3. Спб., 1899–1913), ставший настольной книгой каждого любителя еврейской старины. Была организована этнографическая экспедиция, собравшая уникальную коллекцию предметов национальной материальной культуры, – эта коллекция потом легла в основу музея («благополучно» закрытого при советской власти).

Велики заслуги Общества и в деле начального образования евреев. Были изданы «Сборник в пользу начальных еврейских школ» (1896), «Справочная книга по вопросам образования евреев» (1901). Выдавались субсидии как евреям-учащимся общих учебных заведений, так и непосредственно еврейским начальным школам. Общество содействовало и открытию новых школ, ставя условием преподавание в них религиозных предметов и языка иврит. Работа Общества значительно расширилась с открытием новых отделений в Москве (1894), в Риге (1898), в Киеве (1903). К концу жизни барона Общество насчитывало 30 отделений с семью тысячами членов; в его распоряжении находились 9 библиотек. В 1907 году под патронажем Общества в Гродно были открыты двухгодичные педагогические курсы для подготовки кадров еврейских учителей.

Гораций Осипович незамедлительно отзывался на каждую еврейскую беду. Так, он молниеносно отреагировал на сообщение, пришедшее в 1878 г. из Кутаиси: группу горских евреев облыжно обвиняли здесь в ритуальном убийстве христианского мальчика. Барон не только нанял для ведения дела лучшего адвоката, но и вдохновил профессора восточного факультета Петербургского университета, выдающегося ориенталиста-семитолога Д. А. Хвольсона, написать ученое сочинение по истории кровавого навета и опровержению его. Книга профессора «Употребляют ли евреи христианскую кровь?», изданная на средства Гинцбурга, – первое в России исследование по сему вопросу – была переведена на несколько европейских языков и имела широкий резонанс. В результате кутаисские евреи были оправданы, причем отвергнута была сама идея о ритуальном убийстве, допускаемом еврейской религией.

Баронесса А Г. Гинцбург (урожденная Розенберг)

Приход к власти Александра III, круто изменившего политику в отношении евреев, отнял всякую надежду на какие-либо позитивные перемены. Историки говорят о патологическом антисемитизме этого императора, характеризуя его отношение к иудеям как «апофеоз злобствования, безграмотности и узколобой, антихристианской мстительности».

Ненависть сего венценосца к еврейскому племени прослеживается еще со времен русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда армия под водительством Александра, в то время цесаревича, потерпела сокрушительное поражение. Причиной сего, как ему казалось, была нераспорядительность евреев-поставщиков. Злоба на них, при недостаточной личной культуре, перенесена была им на евреев вообще. Масла в огонь подлило и то, что в результате позорного для России Берлинского конгресса 1878 года, благодаря влиянию французских и английских еврейских деятелей («Алианс Израэлит»), евреям Балканских государств были гарантированы равные права. Это повлекло за собой и временное либеральное отношение к евреям в России, олицетворяемое в правительстве Александра II М. Т. Лорис-

Меликовым, который даже всерьез обсуждал возможность отмены черты оседлости. Все это вызвало резкое неудовольствие Александра III, видевшего вокруг всевластие могущественной «жидовской спайки». Причем в своем еврейском (точнее, антиеврейском) законодательстве он руководствовался не какими-либо рациональными, государственными резонами, нет – им двигали эмоции, предубеждение, предрассудки. Примечательно, что на одном из ходатайств, сетующем на вопиющую дискриминацию русских евреев, он, оправдывая такое положение дел, пишет на полях: «…Они забывают страшные слова их предков. Кровь Его на нас и на чадах наших! Вот в чем вся их гибель и проклятие Небес!» То есть юридический вопрос о правах граждан он по существу превращает в напоминание о легендарной вине и коллективной ответственности еврейского народа перед христианством. Как видно, из всех российских монархов ему более всего была близка отличавшаяся воинствующей юдофобией императрица Елизавета Петровна с ее знаменитым: «От врагов Иисуса Христа не желаю интересной прибыли!»

Эти настроения царя чутко уловил новый министр внутренних дел Н. П. Игнатьев, опубликовавший в мае 1882 года так называемые Временные уложения – драконовские законы, которые – увы! – остались в силе до 1917 года. Они основывались на порочной идее: евреи сами виноваты в своем плачевном положении, ибо спаивают русский народ, нещадно эксплуатируют крестьян и бегут из черты оседлости, дабы влиться в русскую революцию. Власть принимала на себя обязательство защитить русский народ и прежде всего крестьянство (ею же ограбленное!) от еврейских «кровопийц».

Согласно Майским законам (как их потом стали называть) надлежало изгнать евреев из деревень в города и местечки, лишить их права на винную торговлю и резко ограничить их допуск в высшие учебные заведения. Невольно вспоминается Тевье-молочник Шолом-Алейхема, вынужденный продать дом и корову и покинуть деревню, где он вырос. По таким трудягам и ударил закон Игнатьева об изгнании евреев. Это он лишил заработка сотни тысяч семей, пробавлявшихся производством и продажей спиртных напитков. Наконец, он действительно толкнул в революцию тех, кто хотел бы пойти в университеты, но оказался заложником процентной нормы. А куда деваться еврею, который овладел русской грамотой, сдал выпускные экзамены в гимназии, но никуда, ни в один вуз не мог податься? В черте оседлости экономические условия были и без того чудовищными: более миллиона человек нуждалось в финансовой помощи, у них

не было средств даже на то, чтобы отпраздновать еврейскую Пасху. Игнатьевские законы способствовали обнищанию еврейского населения и эмиграции 1 миллион 250 тысяч евреев в Аргентину, Палестину и США.

Миновало золотое времечко царя-освободителя Александра II, когда наш барон вместе со своим отцом Евзелем Гинцбургом шаг за шагом отвоевывал права для своих многострадальных соплеменников. По стране прокатилась волна неслыханных ранее еврейских погромов, чинимых с молчаливого одобрения властей городским отребьем. И теперь, в эпоху реакции, уже не было речи об эмансипации евреев. Все усилия должны были быть направлены на сохранение того, что было дано им раньше, и на предупреждение дальнейших ограничений в правах. А что же Гораций Гинцбург? Очень точно скажет потом о нем юрист М. М. Винавер: «Только он оставался до конца на избранной им дороге и продолжал бороться. Бороться… это слово так не подходило к его доброму, мягкому… лицу, ко всей его грузной, но ребячески кроткой, доброй фигуре. Чем он мог бороться? Меч его – была его добрая, сердечная улыбка, а вся броня против жестоких ударов – бесконечно любящее, неотразимо преданное своему народу сердце. Он просил и убеждал, уходил и опять возвращался. Не раз к нему летело с уст современников и слово осуждения за эти бесконечные и, казалось, бесцельные хлопоты. И те, кто осуждал, не понимали, что легче побеждать громко и даже падать геройски в открытом бою, чем так изо дня в день стучаться и уходить, уходить и вновь возвращаться… Выдержать так всю жизнь, выдержать с достоинством, не сгибая спины, может только душа, исполненная снисхождения даже к ним, к этим надменным и безжалостным, о ледяные сердца которых разбивались все его просьбы. Да, таков он был: он искренне прощал врагов своих, даже врагов своего народа».

Все прошения, ходатайства, меморандумы о правах евреев, которые представлялись правительству, всегда проходили строгую цензуру Горация. Врожденный такт подсказывал барону наиболее подходящие выражения. Он нещадно вычеркивал такие слова, как «весьма», «крайне», «бесспорно». В результате документ под его пером обретал спокойный, деловой, ровный характер и выигрывал в своей эффективности. Сей особый «баронский» стиль был почтительным, но требовательным.

Гораций Осипович пристально наблюдал за жизнью своих соплеменников на местах и всегда вставал на их защиту, отстаивая их интересы в Правительствующем Сенате. Он заручился в этом поддержкой человека, коего современники называли не иначе, как «судьей праведным», а именно

начальника первого департамента Сената В. А. Арцимовича. Благодарная память об этом сановнике-юдофиле увековечена в выполненном М. М. Антокольским бюсте Арцимовича, которым Гинцбург украсил свой рабочий кабинет.

В 1882 году Гораций принял деятельное участие в работе Высшей комиссии по пересмотру законодательства о евреях под председательством бывшего министра юстиции графа К. И. Палена, созванной самим царем. Слыл Пален мужем справедливым и неподкупным. Его Комиссия предприняла серьезное обследование жизни российских евреев. Были подготовлены и изданы труды об экономическом положении евреев в черте оседлости, об истории законодательства о евреях, о статистике еврейского населения и т. д. И тут в дело вступает барон. Он с фактами в руках опровергает расхожее мнение, что евреи якобы уклоняются от воинской повинности. Гинцбург предоставляет материал, из коего следует, что официальные цифры недобора евреев объясняются их неправильной регистрацией при призывах, а также установленными для них особыми правилами набора. На самом деле в процентном отношении число призывников-евреев даже превышает количество представителей других национальностей. И вот победа: большинство членов Высшей комиссии имело мужество признать, что существующие ограничения не решают еврейского вопроса, что дальнейшее следование по этому пути и несправедливо, и не вызывается надобностью, принося лишь вред (в том числе и экономический) не только самим евреям, но и всему населению. Комиссия предложила постепенно расширять права евреев. Словом, Пален и его сотрудники не оправдали «доверия» Александра III, открыто проводившего шовинистическую, антисемитскую политику.

К несчастью, неожиданно для всех в 1887 году Комиссия была закрыта. Тогда решение о судьбе еврейского народа было передано в руки Совещания, образованного Министерством внутренних дел под председательством завзятого реакционера В. К. Плеве, бывшим в то время товарищем министра. Зоологический антисемит и карьерист, стремившийся выслужиться перед юдофобом-царем, Плеве вознамерился не только закрепить драконовские Майские правила, но и ужесточить их, доведя до крайних примеров жестокости и человеконенавистничества. Этот новоявленный Аман XIX столетия возжелал удалить из сельской местности даже тех евреев, которые проживали там законно, причем любая отлучка должна была влечь за собой запрет возврата в родные пенаты; и евреям-ремесленникам, получившим ранее разрешение жить

вне черты оседлости, надлежало немедленно убираться восвояси; запрещалось также приобретать и арендовать недвижимую собственность вне городов; всякое же нарушение сих «правил» должно было караться тюремным заключением.

Эти, с позволения сказать, «законодательные предложения» должны были быть внесены в Государственный совет на утверждение. В таких условиях, казалось, всякая борьба за права евреев должна была быть парализована. Но Гинцбург продолжал работать с удвоенной силой. Он вступает в борьбу, спокойно и терпеливо раскрывая перед правительством всю вредоносность «инициативы» Плеве. Он убеждает министра финансов И. А. Вышнеградского, сколь чудовищна и дика сия средневековая нетерпимость к евреям. В докладе последнего царю ему удалось доказать приносимую евреями пользу для экономической жизни страны; министр обратил также внимание самодержца на то, что проекты Плеве весьма неблагоприятным образом скажутся на финансах империи. И усилия барона увенчались успехом: предложения Плеве не были представлены в Государственный совет и канули в Лету. Так Гинцбург сумел отвратить страшную беду, нависшую над русским еврейством! Если бы за бароном не числилось никакой другой заслуги, кроме этой, то и ее одной было бы достаточно, чтобы его имя осталось навсегда памятным для евреев.

Он жил исключительно интересами еврейства. И евреи всей России обращались к Горацию Осиповичу за помощью, относились к нему с неизменным уважением и благодарностью. «Укажите хоть одно местечко, – говорил о нем раввин В. И. Темкин, – которое в минуту скорби не просило бы барона об участии, о защите. Найдете ли вы хоть одного еврея, который в минуту отчаяния, в минуту горького страдания не взывал к барону?»

Неоценима роль Гинцбурга как созидателя и главы Петербургской еврейской общины. Он организовал строительство столичной синагоги на Офицерской улице, торжественное открытие которой состоялось в 1892 году. Она действует и поныне. Этот архитектурный памятник в еврейском мавританском стиле – одна из ярких достопримечательностей города на Неве. Барон стал председателем Правления синагоги, при коем был устроен отдел общественного призрения, оказывавший помощь бедным. А ранее его жена, Анна Гесселевна, учредила на Васильевском острове еврейский сиротский дом.

Трудно перечислить все дела, по которым барон выступал ходатаем, все еврейские мероприятия, которые он финансировал. Гинцбург щедро помогал жертвам пожаров, неурожаев, погромов,

других бедствий. При этом он неизменно оставался русским патриотом, что признавали даже его враги, с коими он боролся. Он любил Россию такой, какая она есть, но с теми надеждами, которая она ему внушала. Патриотизм соединялся в нем с глубокой лояльностью по отношению к царю и правительству. Он знал недостатки режима, но никогда не боролся против существующего строя, следуя заветам Талмуда, что законы государства требуют неукоснительного подчинения. Болью отзывался в его сердце уход многих евреев в революционное движение.

Заслуги Гинцбурга признало и русское правительство, возведя его в 1889 году в ранг действительного статского советника, что соответствовало генеральскому чину, и наградив его высшими орденами. Но главное то, что барон был оценен властями как лидер всего российского еврейства.

Петербургская хоральная синагога

Гораций Осипович верил в счастливое будущее евреев именно в России, не одобряя ни идеи сионизма, ни эмиграцию в Палестину, Аргентину и США, принявшую тогда массовый

характер. Но, уважая выбор многих своих единоверцев и понимая, что без его участия в сем деле (в том числе и материального) переселение евреев из России невозможно, он возглавил в 1893 году центральный комитет Еврейского колонизационного общества. Вскоре под его патронажем работало 507 эмиграционных комитетов! Впоследствии именем Гинцбурга будет названа земледельческая колония в Аргентине.

Барон ушел в мир иной в 1909 году на семьдесят шестом году жизни. Очень проникновенно сказал о нем на гражданской панихиде Г. Б. Слиозберг: «Красой Израиля был Гораций Осипович. Он был красою не тем, что был богат и знатен, не тем, что влиятелен и свое влияние всегда направлял на пользу других, и не тем еще он был красою, что он щедро уделял для ближних от щедрот, коими его самого одарила судьба… Не было горя человеческого, которому он не сочувствовал бы и которое не стремился бы облегчить, не разбирая, кто страдает – свой или чужой, да и не было для него чужих. Но не только этим он был красою еврейства. Даже и не тем еще, что, любя прекрасное, он поощрял искусство во всех его проявлениях, что, будучи сам просвещен, он просвещал других и сеял просвещение щедрою рукой направо и налево, даже не только рядовой сеялкою, – в уверенности, что как бы ни было брошено семя на благодарной почве еврейства, оно даст богатые плоды. Был он красою еврейства тем, что был живым образцом еврея, проникнутого еврейским духом, еврейским идеалом, и все, что он делал и чем он был, было проявлением его еврейства. Все, что он делал, – он делал не, как говорят иные, «хотя он был еврей», а именно «потому, что он был еврей». Во всем он следовал заветам еврейского вероучения и морали, ни на минуту он не забывал, что, по словам наших законоучителей, «мир крепок тремя предметами: истиной, справедливостью и благоволением».

Гинцбург завещал похоронить его в Париже, там, где покоился прах его отца. Церемония отправки тела во Францию была обставлена чрезвычайно торжественно. Присутствовали делегации из многих городов. До Парижа гроб везли специально выделенные посланцы.

Но через какое-то время имя Горация Осиповича стало забываться. Оно и понятно: он был слишком традиционным еврейским лидером, верноподданнически ходатайствовавшим перед власть имущими о своем народе. Царское же правительство не желало облегчать положение евреев, видя в чужеродной нации и козла отпущения, и причину революционного движения. «Да будет же мне Союз русского народа надежной опорой, служа во всех и во всем примером законности и порядка!» – подбадривал

черносотенцев император Николай II, вовсе не собираясь охранять евреев от погромов и преследований. В этих условиях надо было не просить, а требовать, кричать, а то и браться за оружие. А еще позднее разразился Октябрьский переворот с его лозунгами интернационализма и пролетарской солидарности, начисто отвергнувший национальную идентификацию еврейства. Понятно, что в этих условиях имя известного еврейского «штадлана» было почти под запретом: сведений о нем мы не находим ни в одной изданной в СССР энциклопедии или же биографическом словаре.

Однако благодарная память о замечательном еврейском правозащитнике жива сегодня среди евреев всего мира – и в Израиле, и в России, и в Аргентине. А в США учрежден специальный фонд барона Гинцбурга, который периодически присуждает премии за лучшее произведение по еврейской истории и литературе. Гораций Осипович Гинцбург являет собой характерный тип еврея – благотворителя и филантропа, говоря о коем даже не отличавшийся любовью к иудеям Николай II признал: «Вот человек, о котором никто не произнес ни одного дурного слова». И пример этот достоин подражания.

Еврейский антиквар Давид Гинцбург

«Я хочу показать, как поэзия вырывается живым ключом из недр метрики; я хочу показать, почему пресловутая скандовка режет нам ухо и искусное чтение открывает перед нами новые, дальние горизонты; я хочу показать, как следует толковать произведения наших великих поэтов и как для верной их оценки нужно выбирать их естественный ритм; я хочу показать, как при свете разумно понятой метрики наше духовное око оказывается способным видеть все, что происходит в их душе в пору вдохновения; я хочу показать, как, сбросив чужое иго, мы можем теперь, не мудрствуя лукаво и не вдаваясь в заоблачные теории, сочинять прекрасные стихи и дать себе точный отчет в их внутреннем построении».

Мы привели краткий фрагмент из книги барона Давида Горациевича Гинцбурга (1857–1910) «О русском стихотворении; опыт ритмического строя стихотворений Лермонтова», чтобы читатель услышал голос этого выдающегося ученого и просветителя. Этот труд отмечен горячей любовью к отечественной поэзии, причем поражает удивительно чистый и вместе с тем яркий, эмоциональный русский язык автора. Питается он не только чтением классики, но и разговорами часто бывавших в доме Гинцбургов мастеров русского слова, слышанными тогда еще совсем юным Давидом. В этой своей книге о поэзии Гинцбург свободно оперирует и примерами французской, немецкой, английской, итальянской, польской, древнегреческой, латинской, древнееврейской и даже арабской версификации, обнаруживая тем самым завидную филологическую эрудицию.

Барон Д. Г. Гинцбург

Впрочем, как это водилось в семье Гинцбургов, полиглотом он стал еще с детства, получив превосходное домашнее образование. Отец, Гораций Осипович, дал сыну традиционное еврейское воспитание, а также обучил его основным европейским и классическим языкам. Гинцбург-старший приставил к Давиду лучших менторов – настоящих специалистов своего дела. Один из них, тонкий знаток еврейской средневековой книжности и философии, Сениор Закс (1816–1892), оказал на мальчика определяющее влияние. Составитель каталогов древних еврейских рукописей, Закс был заведующим библиотекой баронов Гинцбургов, и именно он привил Давиду жадный и стойкий интерес к книжным раритетам и манускриптам, и это вылилось в охватившую нашего героя страсть на всю жизнь. Другой ментор, Гирш Рабинович (1832–1889), составитель популярного среди евреев в свое время компендиума по естественным наукам, обладал даром журналиста и бойкого полемиста, что передалось и его подопечному. Несомненно и воздействие на Давида одного из наиболее выдающихся гуманитариев XIX века, ориенталиста Адольфа Нейбауэра (1831–1907), ставшего впоследствии

профессором кафедры раввинской литературы Оксфордского университета. Нейбауэр, наряду с красотами древнееврейской и караитской письменности, открыл Давиду обаяние арабской литературы и языка.

Уже в юности было ясно: Давид не обладает свойственной Гинцбургам жилкой предпринимателя и финансиста, зато в нем явственно угадываются задатки будущего ученого. Его манит колыбель цивилизации – древний Восток, и он всячески стремится постичь его историю и культуру. В Париже Гинцбург по собственному почину слушает лекции знаменитого арабиста и историка ислама, специалиста по древней поэзии Станисласа Гюара (1846–1884). Барон живо воспринял теорию Гюара о системе стихосложения на основе естественного ритма языка; впоследствии он разовьет ее в своих научных трудах.

А историю восточных культур, особенности средневековых арабских и персидских литературных текстов, ему, вольному слушателю, преподает в Петербургском университете профессор Виктор Романович Розен (1849–1908) – создатель школы русской арабистики. Розен являл собой тип широко образованного ученого с особым интересом к культурно-историческим вопросам, что передалось и его ученику Гинцбургу.

Знания, полученные в результате домашнего образования и самообразования, позволили двадцатилетнему Давиду сдать экстерном экзамены в Петербургском университете и получить степень кандидата. Но Давид этим не ограничился. Жажда знаний влечет его в основанный еще в XV веке старейший в Европе Грейфсвальдский университет. Здесь он становится учеником знаменитого профессора Феодора Альвардта (1828–1909), знатока древнеарабской поэзии и восточных языков. Гинцбург, между прочим, изучил там коптский язык, став единственным специалистом по сему языку в России.

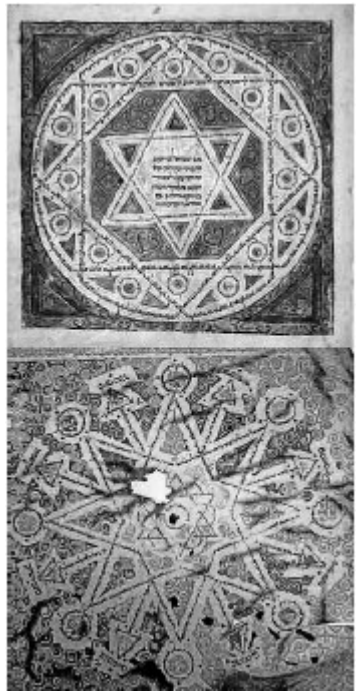
Женился он по меркам семьи Гинцбургов довольно поздно – в двадцать шесть лет, взяв в супруги свою двоюродную сестру Матильду Уриевну Гинцбург, которая была младше его на семь лет. Бракосочетание и свадьба с традиционной хулой состоялись в Париже. В этом браке родилось пятеро детей: Анна, Иосиф-Евзель, Марк, Софья и Евгений. Все они (кроме Марка, который скончался в детском возрасте) переживут потом революцию и эмигрируют: Анна и Иосиф-Евзель – во Францию, Софья – в Палестину, а Евгений – в Аргентину.

Научно-просветительская деятельность барона была весьма продуктивна. Среди опубликованных им многочисленных трудов – первоиздание книги «Сефер ха-'анак: Таршиш» («Книга ожерелья: Хризолит») (1886) знаменитого еврейского

средневекового поэта, философа и лингвиста Моше Ибн Эзры, а также комментированный арабский перевод этого произведения (1887). В 1896 году увидел также свет сборник «Диван» Ибн Гузмана, поэта-мусульманина XI века из Кордовы.

Но, пожалуй, наиболее впечатляющим было предпринятое Д. Гинцбургом совместно с художественным критиком В. В. Стасовым издание «L'ornement hebreu…» («Древнееврейский орнамент») (1905). Этому роскошно изданному альбому с образцами орнаментов, извлеченных из сирийских, йеменских, африканских еврейских рукописей, предшествовала двадцатилетняя подготовительная работа с манускриптами Императорской публичной библиотеки. Деятельное участие в этом проекте Стасова замечательно и весьма поучительно для нынешних «патриотов». Вот что говорит по этому поводу исследователь А. Канцедикас: «Для Стасова поиск национальной самобытности еврейского искусства был тесно связан с основной задачей его культуртрегерской деятельности – изучением и внедрением в современную ему художественную практику самобытных основ искусства русского. Это может показаться парадоксальным, так как активизация русского национального чувства сегодня часто соседствует с проявлениями антисемитизма».

Библиография работ Давида Горациевича весьма внушительна. Он печатался в наиболее авторитетных научных журналах и сборниках его времени. То он публикует очерк по истории каббалы в журнале «Вопросы философии и психологии», то помещает в «Журнале Министерства народного просвещения» обширную статью о первой еврейской школе в Сибири. Его охотно печатают такие еврейские издания, как «Revue des Etudes Juives», «Hameliz», «Hajom», «Hakedem», «Восход» и др., а также редакторы юбилейных научных сборников в честь именитых ученых – профессоров В. Р. Розена, Д. А. Хвольсона, А. Я. Гаркави, Л. Цунца, М. Штейншнейдера и др. Барону принадлежит такой фундаментальный и поистине титанический труд, как каталог и описание рукописей Кабинета восточных языков при Министерстве иностранных дел.



Орнаменты, из книги «L'ornement hebreu…»

При этом следует иметь в виду, что далеко не все, написанное Гинцбургом, увидело свет при его жизни. Приведенная выше книга о поэзии Лермонтова вышла лишь в 1915 году. А составленная им «Хаггада шель Песах» (сборник молитв, благословений, комментариев к Библии и песен, связанных с темой исхода из Египта) была опубликована лишь в 1962 году.

Об уникальной библиотеке, собранной тремя поколениями баронов, уже шла речь. Коллекция была передана Давиду еще при жизни отца и в 80-е годы была свезена в Петербург, в дом барона на Первой линии, № 4, частично из Каменец-Подольска (где ей было положено начало), частично из Парижа (где с 50-х годов находилось самое ценное ее собрание). Гордость библиотеки составляли еврейские рукописи и книги, число коих при Давиде Горациевиче значительно умножилось. Поступали материалы в еврейский отдел библиотеки как в результате их приобретения у ведущих книготорговцев, в том числе и за границей (Ф. Гирша, Э. Аскинази, Э. Дайнарда и др.), так и в результате покупки целых книжных собраний (сюда влились, например, около 100 редчайших еврейских изданий из коллекции И. М. Вязинского). Любопытно, что к Гинцбургу перешла вся личная библиотека философа В. С. Соловьева, включающая сочинения по богословию.

Трудно составить полный перечень научных обществ, в коих

состоял Давид Горациевич. Он был пожизненным членом Императорского Русского Археологического Общества и парижского «Societe Asiatique», членом Ученого комитета Министерства народного просвещения и т. Д. Причем участие Гинзбурга в сих объединениях отнюдь не было синекурой, а всегда было оплачено делом. Он и сам был вдохновителем и учредителем Общества востоковедения и «Societe des etudes juives» в Париже. При его ближайшем участии возникло Общество для научных еврейских изданий, и одним из самых масштабных проектов сего общества было издание Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном в 1908–1913 годах первой в России «Еврейской энциклопедии» – «свода знаний о евреействе и его культуре в его прошлом и настоящем». Это самая полная и обширная (по объему текстов и качественных иллюстраций) энциклопедия на данную тему из выпущенных до сегодняшнего дня (достаточно сказать, что в ней содержится более 21 тыс. статей).

«Идея об издании [энциклопедии. —*Л. Б.*]… нашла в нем горячее и деятельнейшее сочувствие, – говорит биограф Д. Гинцбурга Г. Генкель, – он первый поддержал эту мысль, и его содействию энциклопедия в значительной мере обязана своим существованием». Наряду с д-ром Л. И. Кацнельсоном, Гинцбург становится главным редактором энциклопедии; он также ведет в ней отделы арабской и гаонской литературы.

Статьи этого универсального компендиума, написанные выдающимися учеными того времени, не устарели и сегодня (особенно в области истории, биографий и толкования библейских вопросов).

Усилиями Давида Гинцбурга в Петербурге был открыт первый светский еврейский вуз в России – Курсы востоковедения. Такое название было навязано барону чиновниками из Министерства народного просвещения. Гинцбург же намеревался назвать его Институтом еврейских знаний. «Юдофобское русское правительство, – замечает по сему поводу историк М. Бейзер, – не могло допустить, чтобы «неприличное» слово «еврейских» появилось на вывеске высшего учебного заведения, и прикрыло «грех» фиговым «восточным» листком».

В программу курсов входили научный анализ Танаха и Талмуда, еврейская и всеобщая история, философия, языки, литература и искусство народов Востока, психология и педагогика. Ректором вуза стал его учредитель барон Давид Гинцбург; он привлек к преподаванию в нем лучших историков, востоковедов, лингвистов, знатоков еврейской литературы: Л. И. Кацнельсона, С. М. Дубнова, Г. О. Слиозберга, М. Л. Вишнивицера, И. Ю. Маркона, А. Зарзовского и др.

Сам Гинцбург читал курсы лекций по талмудической, раввинистической и арабской литературам, семитическому языковедению и средневековой философии. По словам С. М. Дубнова, барон часто приглашал студентов в свою библиотеку, где на столах лежали редкие фолианты, брал какой-нибудь классический еврейский труд и предлагал кому-то читать вслух, а сам объяснял непонятные места. Задачу Курсов востоковедения он видел в том, чтобы «создать интеллигентный элемент среди евреев, который сумеет с успехом отвечать духовным и научным потребностям русского еврейства, служить его интересам в качестве общественного раввина или учителя и содействовать сохранению в целом заветов прошлого».

Как общественный деятель барон был прямым наследником своего выдающегося отца. Еще при жизни родителя он состоял членом Комитетов Общества по распространению просвещения между евреями России и Общества распространения земледельческого труда среди русских евреев. После же смерти Горация Гинцбурга он сменяет его на постах председателя Петербургской еврейской общины и председателя центрального комитета Еврейского колонизационного общества. Он также основывает Общество пособия бедным евреям Петербурга, Общество «Маахол кошер» для еврейского учащегося юношества, попечительствует сиротскому дому в Петербурге, Минской земледельческой ферме, Новополтавской сельскохозяйственной школе для евреев-колонистов и т. д.

Экслибрис барона Д. Г. Гинцбурга

Давид Гинцбург был близким приятелем известного археолога, вице-президента Академии художеств графа И. И. Толстого, занимавшего в октябре 1905 – апреле 1906 годов пост министра народного просвещения. Интересно, что этот либеральный сановник выступил тогда с инициативой отмены процентной нормы для приема евреев в учебные заведения. В 1907 году И. И. Толстой и Д. Г. Гинцбург, а также философ Э. Л. Радлов, один из лидеров октябристов Ю. Н. Милютин, редактор «Петербургских ведомостей» Э. Э. Ухтомский и обер-прокурор Синода П. П. Извольский объединились в «Кружок равноправия и братства». Члены кружка, независимо от своих политических убеждений, должны были везде восстанавливать «мир, правду и справедливость», «вносить свой дух в Университет, Государственный совет и Государственную думу, а также через преподавателей в среднюю и низшую школу». Целью кружка было достижение равноправия всех народов России, причем особо подчеркивалось, что его участникам предстоит «и словом, и делом бороться с антисемитизмом».

Барон, так же как его отец и дед, радел о еврейских

интересах, неизменно ходатайствуя о своих соплеменниках. И к нему прислушивались: видный чиновник Министерства иностранных дел, он имел чин статского советника и был вхож в высшие правительственные круги.

Покровительствовал он и еврейским талантам. Именно он увидел в пятнадцатилетнем Самуиле Маршаке будущего крупного поэта, рекомендовав его влиятельному В. В. Стасову, а уже с подачи последнего юное дарование стал потом опекать Максим Горький.

Преждевременная кончина (в пятьдесят три года) помешала барону реализовать свой потенциал в полной мере: он лишь менее чем на два года пережил своего родителя, личность для евреев легендарную. Потому в историю еврейского правозащитного движения Давиду Горациевичу суждено было войти скорее как преемнику Горация Гинцбурга, нежели как самостоятельному деятелю. Но во взглядах на будущее еврейства он, как видно, расходился с отцом. Если Гинцбург-старший, несмотря ни на что, верил в счастливую жизнь иудеев в грядущей России, Гинцбург-младший был приверженцем переселения евреев в Палестину. Именно поэтому этот еврейский антиквар завещал коллекцию, любовно собранную тремя поколениями династии, Еврейской публичной библиотеке в Иерусалиме. Одобрили бы сей его поступок Евзель и Гораций Гинцбурги? Едва ли! Беззаветно преданные Отечеству, они, надо полагать, были бы довольны, что наследие еврейских баронов в конце концов осталось в России.

Сеятель
Семен Фруг

Ранним сентябрьским утром 1916 года стотысячная толпа заполнила центр Одессы, движение на некоторых улицах было приостановлено. А люди, облаченные в траур, нескончаемым потоком все шли и шли за гробом, провожая в последний путь национального еврейского поэта Семена Григорьевича Фруга (1860–1916). В редакции еврейских изданий со всех сторон летели скорбные письма, телеграммы соболезнования, стихотворные эпитафии. А кто-то вспомнил в связи с кончиной поэта его собственные слова:

Не стало одного и тщетно ждать другого.
Не плачьте! Над его могилой в этот час
Рыдает Библии забытой нами слово,
И не о нем, – о нас!

Судьба Фруга была типичной для русскоязычного еврейского литератора того времени: бурная популярность среди соплеменников при жизни и полная безвестность после смерти. Ведь после Октябрьского переворота 1917 года такая литература оказалась не ко двору: Фруга окрестили «трубадуром сионизма», и, понятно, сочинения его в СССР ни разу не переиздавались. Не претендуя на полноту, попытаемся проследить некоторые вехи литературной судьбы этого полузабытого, но исключительно яркого и самобытного художника. Исследуя художественную лабораторию Фруга, мы не будем забывать о еврейской и русской литературной традициях, которые одушевляли его творчество, о российской действительности, из коей оно произрастало, о решаемых им актуальнейших вопросах своего времени. Как мы покажем, вопросы эти остро злободневны и сегодня, особенно в свете русско-еврейских отношений.

Семен Фруг

Семен Фруг родился в Новороссии, в еврейской земледельческой колонии. Здесь сразу же необходим исторический экскурс, поскольку феномен еврея-хлебопашца в Российской империи большинству современных читателей совершенно не известен. Между тем, еще в 1775 году, когда разрабатывались проекты привлечения новых поселенцев в южные губернии России, светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический настоял на водворении туда «хоть жидов». Он представил целую программу привлечения иудеев в Новороссию, чтобы как можно скорее развернуть торговлю на отвоеванных землях в течение семи лет не взимать с них налогов, обеспечить защиту от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т. д. Для увеличения народонаселения края поощрялся ввоз в Новороссию женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил 5 рублей. Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Мысль о том, чтобы приохотить русских евреев к земледелию, приписывается поэту и царедворцу Гавриилу Державину, которого император Павел I в 1799 году командировал в Белоруссию расследовать жалобы на владельца Шклова графа С. Г. Зорича, угнетавшего как иудеев, так и крестьян. Виновником всех зол Державин, однако, объявил евреев, по его словам, «неопрятных, ленивых, праздных и злых». Затем в 1800 году последовала вторая его инспекция в тамошние края для расследования причин голода населения, и опять к делу он подошел с внутренним убеждением, что «причиною истощения белорусских крестьян суть жиды». Плодом такой крайней неприязни к народу Израиля явилось державинское «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев» (1800). В сем документе, ставшем впоследствии хрестоматийным для антисемитов, говорилось об органическом неприятии евреями производительного труда («тунеядцы, они обманами и пронырством пребывали в изобилии за счет своих гостеприимцев, не занимались ремеслами и хлебопашеством»). Державин предлагает для «исправления» евреев создать из них особый класс сельских тружеников и поселить их на юге империи для освоения необжитых степных земель. Одновременно с Державиным свою записку об экономическом положении евреев представил и литовский губернатор Иван Фризель. Он не только говорил о важности приобщения евреев к хлебопашеству, но и предлагал уравнять их в правах с однодворцами. Иными словами, в отличие от Державина, он хотел превратить иудеев в полноправных российских граждан. Но они не были первыми в России, кто поставил вопрос о евреях-хлебопашцах.

Инициатором еврейского земледелия в империи был… иудей, общественный деятель Нота Ноткин, которого называли «защитником своего народа». Еще в 1797 году (то есть до того, как Державин познакомился с сей «ленивой» нацией) Нота подал генерал-прокурору князю А. Б. Куракину «Проект о переселении евреев колониями на плодородные черноморские степи для размножения там овец, земледелия и прочего…» Он ратовал за создание сельскохозяйственных поселений, разрушал миф о непригодности иудеев к труду на земле, апеллируя к ветхозаветным временам: «Употребленные к сему [сельскому труду. —*Л. Б.*] евреи от рук своих возымеют себе пропитание, подражая древним праотцам своим». Упоминание о праотцах было тем более уместным, что, согласно Библии, земледелие у древних евреев пользовалось всеобщим уважением и его не чурались даже люди знатные и богатые (примером чего являются

Гедеон, Вооз, Саул, Елисей). Важное значение придавал хлебопашеству и пророк Моисей, назвав сей труд одним из оснований своего Закона. Древние израильтяне достигли в нем высокого уровня, используя передовые методы орошения, искусственные средства для улучшения и удобрения земли. Благоденствие народное явлено и в Книге Царств в образе почивающего на лаврах земледельца: «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею» (3-я Царств, 4: 25). И Ноткин верил в возрождение иудея-пахаря на российской почве: «Евреи государству со временем немалую пользу принесут, и со временем необходимость научит их земледелием сыскивать хлеб свой». Он стоял за расселение иудеев в колониях Причерноморья, что, по его мнению, сулило державе большие выгоды благодаря плодородию здешней земли и близости портов для перевоза сельской продукции.

Несомненно, мысль о создании еврейских земледельческих колоний была внушена Державину Ноткиным, которого он знал лично и с проектом которого познакомился во время пребывания в Белоруссии. Более того, Державин поначалу относился к Ноткину вполне уважительно и даже пригласил его в 1802 году принять участие в работе Комитета для создания Положения о евреях. Выработанное сим Комитетом «Положение. О устройстве евреев» (1804) законодательно утвердило особый класс евреев-земледельцев, предоставило им всевозможные льготы: право приобретать, продавать и арендовать землю, не платить двойные налоги; их даже обеспечивали необходимой ссудой и т. д.

С другой стороны, евреям запрещалось содержать в сельской местности шинки, кабаки, аренды и постоялые дворы, а их владельцам предписывалось в недалеком будущем покинуть деревни и села. Такие подлежавшие высылке «тунеядцы» и должны были, по мнению властей, пополнить ряды землепашцев. И действительно, к 1806 году в Белоруссии образовалась многотысячная масса еврейского люда, выгнанного из селений, и из ее среды стали поступать просьбы о переезде в Новороссию. Это переселение выразительно описал в 1808 году витебский губернатор в донесении министру внутренних дел В. П. Кочубею: «Деревенских евреев безвременно прогнали, разорили, ввергли в нищету; большая часть из них лишена дневного пропитания и крова и потому не в малом количестве едут в Новороссию. Многие, в чаянии переселиться в Новороссию, продали свое имущество и неотступно просятся туда, хоть только для жительства». Затем началось и само переселение с пособием от казны. Первоначально население этих колоний состояло из 300 семейств или около 2000 душ. Вслед за этим началось

самочинное движение евреев из белорусских губерний в Новороссийскую, и к 1810 году первые земледельческие поселения в Херсонской губернии насчитывали 600 семейств с 3640 душами. На устройство этих колоний правительство израсходовало 145000 рублей. И хотя на реализацию этого плана было выделено 30 тыс. десятин земли, он охватывал лишь 1,5 процента подлежащих выселению иудеев. Тем не менее в 1810 году в одной только Херсонской губернии существовало уже 8 сельскохозяйственных колоний. Знаменательно, что некоторым колониям дали названия на иврите (Хар-Шефер, Сде-Менуха, Нахар-Тов), а также Израилевка, подчеркивая тем самым древнюю связь еврейского народа с землей[8].

Колония же Бобровый Кут, где родился Семен Фруг, основанная в 1807 году на левом берегу притока Днепра реки Ингулец, была заселена выходцами из Могилевской губернии, кои водворились туда на собственный счет. Вот как объясняет этимологию названия «Бобровый Кут» сам поэт: «Когда первые эмигранты прибыли на то место, где теперь существует колония, они застали совершенно пустынную степь, по которой местами чернели могильные курганы запорожцев и редкие хутора одиноких обитателей обширных новороссийских равнин. Один из них, Бобров, хутор которого находился недалеко от избранного эмигрантами пункта, встретил новоприбывших искателей мирного земледельческого труда со всем радушием и лаской библейско-пастушеского гостеприимства. Многие из эмигрантов в течение нескольких месяцев пользовались вдоволь продуктами его хорошо устроенного молочного хозяйства, мукой, пшеном, фруктами, овощами и проч., и колонисты, в благодарность за гостеприимство, решили назвать колонию его именем. К имени Бобров прибавлено «Кут» потому, что колония расположена в угловой котловине (угол – кут), окруженной гористыми возвышенностями». Чувства такого эмигранта-переселенца очень точно переданы Г. Богровым в его «Записках еврея» (1874): «Мое пылкое, услужливое воображение рисовало уже прелестные картины будущей сельской жизни. Все читанное мною по идиллической части, все собственные деревенские впечатления сгруппировались разом и манили меня к себе. Все чувства были возбуждены: я уже слышал, казалось, далекий, глухой лай деревенской собаки, я видел колеблющееся мерцание далекого огонька – маяка наших необозримых степей; я… вдыхал аромат полевых цветов и свежей травы».

Одним из первых поселенцев Бобрового Кута был дед нашего героя, тоже перебравшийся сюда из Могилева. Был он человеком книжным, по словам Фруга, «служителем культа», и подался в

Новороссию с надеждой и здесь заниматься тем же: ведь богослужение необходимо евреям везде. Жизнь его, однако, изменилась самым решительным образом: он сделался «самостоятельной ревизской душой с известными податями и повинностями и… самостоятельным же участком» в 5 десятин земли. Это потом в колонии будут отстроены синагога, хедер и два молитвенных дома: пока же деду поэта надлежало обрабатывать землю, чем и кормиться. Так книжник превратился в пахаря.

Тем не менее своему сыну, Моше-Цви, он дал еврейское образование и настоял на его учебе в хедере. Тот овладел и русским языком и одно время служил в колонии писарем.

Есть сведения, что он пробовал свои силы и в литературе и даже взялся за написание книги. Все же основным его занятием было хлебопашество. Как отмечает литературовед З. Либинзон, «Моше-Цви всю жизнь обливал потом свою нелегко поддающуюся целину… и [являл собой] особый тип еврея-колониста, еврея-земледельца, который все силы положил на то, чтобы сделать степь плодородной». Между прочим, хозяйство его считалось образцовым, за что он получил похвальный лист от самого министра государственных имуществ России Д. П. Киселева.

Психология отца и его товарищей-колонистов будет позднее детально раскрыта Фругом. Они, «дети земли», как называл их поэт, «остро чувствовали любовь к жизни своей трудовой, к сохе-кормилице, к сивке-товарищу, к каждой кочке и травке родной, милой полоски». Он не находил особого различия между еврейским и русским землепашцами. «В проявлениях будничной, повседневной жизни, – подчеркивал он, – еврей-колонист представляет собой точную копию своего соседа-крестьянина. Земля и орудия, которыми она обрабатывается, «скотинка» и постоянные заботы о ней – вот главные пункты, к которым устремлены взор и помыслы колониста и от которых исходят все его радости и печали». Если же считать крестьянами всех, кто работает на земле и от земли кормится, то и колонистов можно смело включить в их число.

Шимон (Семен) Фруг родился в I860 году в колонии Бобровый Кут, где проживало тогда уже около 2 тысяч евреев. Он был у родителей первым ребенком, который выжил (четверо до него умерли). Сам раввин Любавичский Менахем Мендл послал мальчику написанное им благословение, которое мать хранила в специально сшитом по сему случаю бархатном «ментелах». То, что Семен происходил из семьи хлебопашцев, наложило отпечаток на его мировосприятие, ибо любовь к земле была заложена в нем, так сказать, на генетическом уровне.

«Вскормленный на лоне земли, – отмечает критик Г. Бродовский, – он, в отличие от других еврейских поэтов, был благословлен детством. Истинным подлинным детством не в сыром подвале промозглого местечка, а в близком общении с природой». Позже он увековечит в слове «мирные приюты родного уголка», «светлую, веселую речку Ингулец», «долину, окруженную холмами, где ютится колония евреев-земледельцев». Идиллический мир детства будет всегда властно, ностальгически манить его, и он будет с теплотой говорить о дружбе русских и евреев, которые жили там, в Бобровом Куге, на одной земле, выручая и помогая друг другу, и где он чувствовал себя дома: «О, милый, милый уголок! Я помню каждое деревце, каждый кустик твой, помню их и люблю, как друзей моих, как товарищей дорогого детства. А на зеленом фоне родных полей и садов десятками и сотнями вырисовываются предо мною знакомые лица соседей, русских людей, которых я видал в доме отца моего, деливших с нами наш еврейский хлеб-соль и братски звавших меня в дом свой. Я помню эту честную трудовую жизнь двух соседей-поселян, одного еврея, другого христианина; я помню их нужды и радости, я благословляю эту жизнь, я жажду ее, как благодать Господню для сотен и тысяч моих обездоленных братьев».

Но каким бы радужным ни было детство нашего героя в Бобровом Куте, где, живя преимущественно в еврейском окружении, он чувствовал себя ровней другим, один случай заставил его крепко задуматься об окружающем миропорядке. Дело в том, что «ближайший к колонии лесок находился по той стороне Ингульца и принадлежал не колонии, а помещику» Петру Бабичеву. Туда-то и повадились ходить по ягоды дети еврейских земледельцев. Бабичев очень сердился, когда на его добро покушались, а потому отрядил здоровенных, свирепых объездчиков, чтобы те отлавливали и примерно наказывали непрошеных «жиденят». «Но мы были так ужасно голодны, – рассказывал Семен, – а ягоды так близко – свежие, сочные, вкусные – сами в рот просились». Среди маленьких воришек был и злосчастный Йолэк, «тщедушный мальчик, глухой, говоривший писклявым и слабеньким фальцетом». Углубившись в лес, он набрел на заветную поляну и стал уписывать ягоды так жадно и самозабвенно, что не услышал приближения погони. Бородатые верзилы Бабичева были неумолимы и запороли несчастного насмерть. После похорон Йолэка, на которых присутствовала вся колония, дети поклялись никогда, ни под каким предлогом больше в помещичьи леса не наведываться. А сыну еврейского пахаря был преподан урок: за пределами обжитого им мира есть

чужая земля, где его пребывание не только нежелательно, но и опасно.

Как это водилось в иудейских семьях, шести лет мальчика отдали в хедер, где он овладел чтением на древнееврейском языке, штудировал Пятикнижие Моисеево, постигал премудрости Талмуда. Занятия длились четыре долгих года, причем ежедневно, с раннего утра до восьми вечера. Но наука была мальчику в радость, и даже когда меламед реб-Эли, осердясь на какую-то ошибку, шлепал нерадивого ученика по щеке (что, конечно, было не вполне педагогично), Семену казалось: «от такой пощечины звучат в ушах тотчас звуки десяти тысяч колокольчиков». Меламед был человеком односторонним (это Фруг поймет уже потом, в зрелые годы), «не имевшим никакого понятия, что такое «стихотворение». Но, признавался юный мечтатель, «сколько дивных образов вставало предо мной и сколько сладких слез пролили глаза мои над повестью любви Амнона и Тамары, над сказанием о мученической кончине Иегуды Галеви, над героической эпопеей Бар-Кохбы, сказочного богатыря, ездившего верхом на африканском льве, сопутствуемого яркой незакатной звездой – эмблемой победы и славы». Уроки реб-Эли («да сияет Рай ему!») заставляли радостно биться сердце и пробуждали в нашем школяре поэтическое чувство.

В девять лет Семен поступает в только что открывшееся в колонии училище. «Около четырех лет провел я в этом заведении, – напишет он, – где приобрел элементарные знания в русской грамматике и научился читать и писать», а затем он вернулся к отцу. Стремление к самосовершенствованию и неукротимая тяга к знаниям овладели им настолько, что он превратился в самого отчаянного книгочея, жадно поглощая все, чем были богаты местные библиотеки. Он особенно пристрастился к чтению русских книг, постигая красоты языка Пушкина и Достоевского (родным для него был идиш). Впрочем, то, что Семен жадно впитал в себя великую русскую литературу, было явлением типическим, ибо именно на ней к концу XIX века выросло целое поколение иудеев и считало ее своим личным достоянием. О том, сколь притягательным для Фруга было чтение русской классики, говорит Г. Ландау: «Пушкина и Лермонтова он не перечитывает, потому что прекрасные поэмы так его увлекают, что, взяв книжку, он уже не может ее оставить, хотя бы приходилось читать напролет до утра».

Творения русских поэтов воодушевили Семена, и в шестнадцать лет он сам начинает писать стихи на русском языке. Первые пробы пера он сделал в Херсоне, куда (как некогда его

отец, от которого наш герой унаследовал, между прочим, прекрасный почерк) определился писарем в раввинат. Здесь же, в Херсоне, судьба свела его с одним корректором газеты «Губернские ведомости», который и преподал ему первые уроки версификации. Впрочем, Фруг не порывает связи с Бобровым Кутом, частенько туда наезжая. Примечательно, что в метрической книге колонии о роде его занятий сказано: «поэт», что для сельского поселенца кажется весьма необычным. Но символично, что одно из первых его стихотворений носит характерное название – «Труд»: он был не только поэтом «от сохи», но и прямо отождествлял свое творчество с трудом землепашца:

Я не знаю, то ли благо,
Что иду сам-друг
И что поле мне бумага,
А перо мой плуг.
Кто мою подскажет долю,
Кто мне предречет,
Что меня на этом поле
Ждет или не ждет.

Писательская доля Семена Фруга складывалась счастливо. Хотя долгое время он не отказывался от поденного литературного труда, работая то корректором в Херсоне, то корреспондентом одесской губернской газеты, известность пришла к нему уже в юности. Первое его стихотворение увидело свет в журнале «Рассвет», когда автору было девятнадцать лет. Поначалу он публиковался только в еврейских изданиях, затем его стихи, очерки и фельетоны стали появляться и в популярных русских либеральных журналах «Русская мысль», «Неделя», «Вестник Европы». Живая легкая речь, музыкальный стих и подкупающая искренность привлекали к нему широкий круг читателей. Первый же его сборник «Стихотворения» (Спб., 1885) был высоко оценен еврейской и русской критикой, а следующие книги – «Думы и песни» (Спб., 1887) и «Стихотворения 1881–1889» (Спб., 1889) упрочили его литературные позиции. Фруг был назван «одним из самых симпатичных, искренних и, главное дело, истинных поэтов».

С. Фруг. Сиониды. Переплет

Примечательно, что на одном из конкурсов Семен Григорьевич был увенчан и званием «национальный еврейский поэт». Но писал он преимущественно на русском языке. А русско-еврейская литература, по словам ее историка В. Львова-Рогачевского, «всегда была двуликим Янусом: одним ликом обращена к русскому читателю, другим к еврейскому, одним ликом к русской литературе, другим к своей книге – к Библии». И хотя писавший на иврите и идише крупнейший поэт XX века Хаим-Нахман Бялик говорил о Фруге: «Читая его русские стихи, я не замечал русского языка. Я чувствовал в каждом слове язык предков, язык Библии», тем не менее русская словесность оказала на него решающее влияние. Свое поэтическое дарование он взрастил на произведениях русской классики, которые любил и считал своими, испытывая за них чувство законной гордости. И в этом своем преклонении перед ее высокими нравственными идеалами, защитой униженных и оскорбленных, вечными поисками истины и добра Фруг был постоянен и последователен.

Позиция этого поэта тем привлекательнее, что сегодня некоторые ревнители еврейства, уличив даже признанного

мастера слова в антисемитизме, с порога отвергают и все ценное, им созданное, обедняя тем самым собственную культуру. Отношение Фруга к русским классикам принципиально иное. Так, «пленительными тайнами непостижимой красоты» была полна для него поэзия Пушкина, воздействие которой на творчество поэта огромно. Он находит для своего великого предшественника определение весьма точное – «светильник дум» и называет его:

Венчанный лавром вечной славы,
Певец Онегина, Полтавы,
Кем русской лиры стройный звон
Певучей, светлою волною
Разлит над русскою землею.

В статье «Чувства добрые» Семен Григорьевич задается целью показать роль Пушкина для российского еврейства. Он приводит знаменитые слова из пушкинского «Памятника»:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

Следом за этим Фруг цитирует строки, в коих, как он деликатно выражается, «пророческий дар поэта в значительной степени уступал его мощному поэтическому дару»:

Однажды созвал я веселых гостей,
Ко мне постучался презренный еврей.

«Что же мы видим? – вопрошает еврейский стихотворец. – Дикий в то время тунгус едва ли стал менее диким; степи калмыцкие и поныне лежат, объятые многовековым сном, чуждые животворной силы пушкинских вдохновений. А знают и любят Пушкина сотни тысяч потомков «презренного еврея», которые читают его творения и благоговеют перед его великим бессмертным гением». Он пишет о приобщении еврейства к русской культуре, особенно массовом характере в эпоху царя-освободителя Александра II: «И тогда-то к Пушкину действительно «постучался еврей», но не за презренным «златом», которое платят шпиону, а за чистым золотом возвышенных поэтических вдохновений. Тысячи детей «презренного еврея»

стали учиться русскому языку. Первое стихотворение, выученное еврейским ребенком, было Пушкина. Первый восторг поэтического настроения, испытанный еврейским юношей, еврейской девушкой, почерпался ими у Пушкина». И особенно отрадно, что произведения великого поэта переведены на древнееврейский, и иудей, «еще не зная русского языка, уже будет знать и любить того, кто составляет венец и гордость русской литературы».

Фруг горячо пишет: «Поэзия… создает в человеческой душе ту нравственную атмосферу, в которой, как зерно в рыхлом черноземе [сравнение, характерное для сына пахаря! – *Л. Б.*], зарождаются, растут и зреют добрые чувства и высокие мысли… Как полезно, как благодатно было бы именно теперь пробуждение «добрых чувств» к обездоленному, измученному вековым бесправием народу, который рвется к знанию и свету, как милости, просит права «учиться», чтобы свои силы и знание свое употребить во благо себе и другим». Поэт сожалеет, что великий Пушкин не знал, чем стали российские иудеи за последние пятьдесят лет: «Если бы он видел хотя бы одного врача-еврея, добровольно отправляющегося в местности, зараженные холерой, цингой, голодным тифом, еврея, занимающего кафедру русской словесности, еврея, всю жизнь работающего в стенах публичной библиотеки над старинными рукописями, и в то же время сотни других евреев, лишенных возможности применять к живой и благотворной деятельности свои знания и силы, – он, стремившийся пробуждать своей лирой чувства добрые и милость к падшим призывать, вряд ли прошел бы молча мимо этих явлений».

С большим пиететом относился он и к творчеству Лермонтова. Известный литературовед С. А. Венгеров говорил, что Семен Григорьевич воспитывался под влиянием сего великого поэта, а И. Н. Розанов, отмечая в статье «Отзвуки Лермонтова», что многие стихотворцы пользовались «уже готовыми поэтическими оборотами и образами из славного наследия русской поэзии», среди них называет и Фруга. Критик А. Волынский показал на многих примерах лексические соответствия и сходный характер стиля двух авторов. Интересно, что Фруг вслед за Лермонтовым обращается к образу Демона. Впрочем, здесь он опирается на ветхозаветную традицию из 4-й части «Книги Бытия» («А теперь ты, проклятый от земли, что раскрыла уста свои, чтобы принять кровь брата с твоей руки»), в то время как русский стихотворец трактует образ с христианских, православных позиций. Лермонтовский Демон наказан одиночеством, и ангел побуждает и преображает его

божественным словом. Демон же Фруга дан в ипостаси вселенского зла. В сюжет вводятся новые образы – «глаза Сатаны» и «чело Сатаны».

Коварным блеском ярко пламенеют
Две красные сверкающие искры,
Два острых, черных бархатных крыла
Со светлою мерцающей каймою
Виднеются из чащи изумрудной,
И резкий очерк бледного чела
С дрожащими угрюмыми бровями
То скроется за черною листвою,
То вновь мелькнет в сиянии луны:
На башенку с мерцающим просветом,
Пытливой хищной зоркостью сверкая,
Сурово смотрят очи Сатаны.

Яркие, неожиданные противопоставления («черная листва» – «сияние луны») создают ощущение безысходности. Близки по сюжету и поэмы «Мцыри» Лермонтова и «Рок» Фруга. В обеих поэмах речь идет о смерти юноши «во цвете лет». Отличие здесь, однако, не только в том, что в первом случае перед нами грузинский монах, а во втором – индийский раджа. Различно их отношение к уходу из жизни. Если умирающий Мцыри завидует старому монаху, что у того «есть в мире, что забыть», герой Фруга покорен судьбе и воспринимает кончину в духе Вечности Бытия.

Интересно и его стихотворение «Памяти А. Н. Островского». Согласно Фругу, великий драматург начал свой литературный путь в «счастливые те дни», когда

…дума русская, порвав оковы страха,
Вставала гордая, восставшая из праха.

А ведь в ранний период Александр Островский был сотрудником известного своим почвенническим направлением журнала «Москвитянин» и сосредоточился на идеях национального своеобразия и русской самобытности, поэтизируя народный быт. Как это ни парадоксально, но еврейского поэта привлекает в Островском именно национальный характер его творчества. Как и первый русскоязычный еврейский литератор Лев Невахович, проявивший себя в свое время как истый русофил, наш поэт слагает гимн «живительной речи» русского писателя:

И этих сил родник, и звуки речи этой
В душе твоей, огнем божественной согретой,
Кипели до конца твоих блаженных дней…
И шла вся Русь к тебе со всех сторон родных,
С любовью, с гордостью твой труд благословляя
И в твой венок цветы бессмертия вплетая
Восторгов чистых и святых.

Показательно, что критик-западник К. К. Арсеньев заметил чуждую ему славянофильскую тенденцию сего сочинения и заключил поэтому, что оно «неверно освещает фигуру умершего писателя» Островского.

Интересно, что и своему стихотворению «Давид и Голиаф» Фруг предпослал эпиграф из А. С. Хомякова, одного из основоположников славянофильства:

…когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых.
Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула – ей окова,
Саулов тягостен шелом:
Ее оружье – Божье слово,
А Божье слово – Божий гром!

Слова о доспехах и «шеломе» Саула, противных Божьей правде, связаны с легендарной историей о вероломном преследовании этим царем прославленного Давида, завоевавшего после победы над филистимлянином Голиафом любовь всего народа израильского. Автора-иудея и православного стихотворца объединяет благоговейное отношение к Ветхому Завету: ведь и сам Иисус считал, что эта Книга – слова самого Бога или же слова, написанные пусть даже и человеческой рукой, но по вдохновению Святого Духа. Фруг вкладывает в уста Давида монолог, служащий непосредственной реминисценцией пассажа Хомякова:

А мне легко бороться с ложью,
И перед тьмою страха нет:
Мое оружье – правда Божья,
Моя защита – Божий свет.

Следует отметить, что тема использования литераторами-славянофилами мотивов и сюжетов Ветхого Завета еще ждет своего исследователя. Не хочется говорить об этом скороговоркой, но совершенно очевидно, что они прибегали к Писанию, когда речь шла о борьбе с внешними врагами, нравственном и гражданском противостоянии злу. Известный организатор «Беседы любителей российской словесности» адмирал А. С. Шишков во время Отечественной войны с Наполеоном писал по поручению императора Александра I манифесты и воззвания к народу. То был замечательный образчик стилизации под библейскую риторику. И, наряду с традиционными в русской литературе переложениями псалмов, здесь возникал и образ Израиля, причем борьба за его освобождение ассоциировалась с гражданской ответственностью за судьбу России. В этом же духе выдержаны стихи Н. М. Шатрова, в коих ветхозаветные мотивы также непосредственно соотнесены с событиями войны 1812–1814 годов. А в 1811 году известный поэт и драматург князь А. А. Шаховской написал трагедию «Дебора, или Торжество веры», которая была вскоре представлена на петербургской сцене (его консультантом по еврейской истории был, кстати, еврей Невахович). В трагедии Шаховской героизировал еврейский народ в его борьбе за свободу (заметим, что сходно изображены израильтяне в трагедии П. А. Корсакова «Маккавеи», 1813). Показательно, что близкий к А. С. Шишкову литератор и педагог И. И. Ястребцов писал в 1833 году: «Беспримерная характерность Иудейского народа, неизгладимая его пребываемость вопреки всем враждебным, разрушительным веяниям, рассеяние по земному шару, как бы для того, чтобы собирать нечувствительно все плоды цивилизации, для удобнейшего их потом соединения в одно целое, общее – могут служить намеками будущей участи Евреев для историка». Все это к тому, что поиск самобытности славянства вовсе не соседствовал с презрением и враждебностью к иным культурам и традициям. И те, у кого сегодня всплеск национального чувства плавно переходит в демонстрацию оголтелого антисемитизма, только порочат русскую идею.

Фругу были понятны «муки, гнев и печаль» Некрасова, с поэзией которого его роднит идейность и подчеркнутая гражданственность. Можно указать на близость тем и мотивов стихотворений «Сеятелям» и «Пророк» Некрасова и «В поле» и «Мой Бог» Фруга, на сходство женских образов в поэмах «Мороз Красный нос» и «Дочь Иефая». Однако утверждения современного литературоведа Е. Н. Бескровной о том, что Некрасов был знаком с Талмудом и «делал попытку отойти от христианства», кажутся

нам совершенно необоснованными.

Творчество Фруга и Семена Надсона развивалось параллельно, они были почти сверстниками и знали друг друга лично. Их имена часто ставили рядом и критики-антисемиты (В. П. Буренин и др.), и литераторы еврейского происхождения. А филолог Ю. Айхенвальд даже назвал Фруга «еврейским Надсоном». И действительно, по своей тональности, стилю и настроению многие его стихи близки надсоновским. Надсон, однако, пришел к трагедии еврейства через своеобычно осмысленные им христианские догматы и посвятил иудеям только одно стихотворение, правда, замечательное: «Я рос тебе чужим, отверженный народ…»; Фруг же был и еврейским поэтом, и религиозным иудеем. Интересно, что художественным образам, которые у Надсона универсальны и наднациональны, Фруг придает еврейское звучание. Так, в стихотворении «Грезы» Надсон говорит об «огненном слове», которое необходимо поэту для борьбы с неправдой и злом:

О, если б огненное слово
Я в дар от музы получил,
Как беспощадно б, как сурово
Позор и злобу я клеймил.

Лирическому герою Фруга сие вечное слово даровано Творцом (это Божье слово!), и от гонений, неправды и зла оно обороняет еврейский народ:

Для защиты от гоненья,
Для борьбы со злом и ложью
Я иное спас оружье —
Спас я – слово Божье…
Не слабеет и не вянет,
И не ржавеет то слово,
Вечно живо, вечно юно,
Вечно, вечно ново.

Надсон взывает к поэту-единомышленнику, Фруг – ко всему народу израильскому. А потому даже слово «вперед» получает у них разное смысловое наполнение. У Надсона читаем:

Вперед, забудь свои страданья,
Не отступай перед грозой, —
Борись за дальнее сиянье

Зари, блеснувшей в тьме ночной!
Трудись, покуда сильны руки,
Надежды ясной не теряй,
Во имя света и науки
Свой честный светоч подымай!

Не то Фруг:

Ты к сонму будущих столетий,
Чрез бездну мук, чрез цепь невзгод
Ступай вперед!..
Вперед – под звуки старой песни…
Смелей, седой старик-народ,
Вперед! Вперед!

В лирике Афанасия Фета, в его «звездных песнях» Фруг видел торжество добра и красоты. «Тихая» поэзия вызывала у него возвышенно-приподнятое настроение:

Светлой полная отрады,
Жизнь и радость льют мечты
На угасшие лампады,
На увядшие цветы.

Вслед за Фетом он переводил немецкого поэта Фридриха Рюккерта, что говорит об известной близости их литературных пристрастий. И на смерть Фета в 1892 году он отозвался полными горечи стихами с обращенным в Вечность риторическим вопросом:

О, зачем Вы нас лишили
Этих милых грез и снов!

Близок Фругу по мелодичности стиха и Я. П. Полонский. Интересно его стихотворное посвящение этому русскому поэту:

В голубые ночи майские,
В золотые лета дни
Петь он начал гимны райские,
Песни нежные свои…
Волос сед, но сердце молодо,
Неслабеющий талант

Напрягая вместо молота,
Все кует, кует из золота
Наш «Кузнечик-музыкант».

Здесь явственно обозначено музыкальное, певческое начало поэзии Полонского. И действительно, 75 его стихотворений в сотворчестве с П. И. Чайковским, А. С. Даргомыжским, С. В. Рахманиновым, С. И. Танеевым, А. Г. Рубинштейном и другими могут быть названы не иначе как «гимны райские», а знаменитые «Песнь цыганки» и «Затворница» стали подлинно народными. Благозвучие отличало и стихи Фруга, которые тоже перекладывались на музыку и пелись (он говорил о них: «Аккорд за аккордом, волна за волною // Катились ликующим строем»).

С. Г. Фруг в кругу литераторов в Одессе. Слева направо. Сидят: С. А. Ан-ский, М. -М. Сфорим, С. Г. Фруг. Стоят: И. Равницкий, Х. -Н. Бялик. Фотография взята из посвященной памяти С. Г. Фруга публикации С. Дубнова в «Еврейской неделе», № 46, 13 ноября 1916 года

Примечательно, что Фруг аттестует этого маститого поэта «Кузнечик-музыкант». Так называлась «шутка в виде поэмы» Полонского, имевшая шумный читательский успех. Написанная легким виртуозным стихом, поэма в лирико-ироническом духе изображала незавидное положение «артиста» в светском обществе. При этом Полонский вовсе не идеализировал своего героя Кузнечика, ибо музыкантом он слыл только среди насекомых. Его стрекотание было отнюдь не пленительным: «Этот свист трескучий, этот звон безбрежный, // Разлитой повсюду и

сухой, и нежный…// Это все былые, вечные созданья моего героя». Поэтому (так в поэме) у Кузнечика нашелся счастливый соперник – Соловей сладкозвучный, который тут же «увел» у него легкомысленную Бабочку-кокетку («бобошку»), навеки разбив сердце влюбленного. Фруг осмысливает образ совершенно в ином ключе, у него Кузнечик – признанный мастер, поэт милостью Божьей.

Исследователь С. Бойко в статье «О кузнечиках» («Вопросы литературы», 1998, № 2) говорит о взглядах на сей предмет Державина, но они, на наш взгляд, полностью совпадают с позицией Фруга. Читаем: «Кузнечик «всеми музами любим» и одновременно «на земле знаменит», он «Аполлона нежный сын», и люди говорят ему: «Удивление ты нам». Признание соединяется с темой поэтического бессмертия: Кузнечика «чтут живые и потомки». Показательно, что Державин называл Кузнечика «песнопевец тепла лета» (а в посвящении как раз варьируется этот мотив). Непосредственное влияние Державина на нашего поэта безусловно: Фруг был человеком, весьма осведомленным в истории русской поэзии.

Объединяет Полонского и Фруга и трепетная преданность своей «малой родине». Образ ее неразрывно слит в их творчестве с образами «простора», «степи». А потому слова критика «чувствуешь в поэтическом порыве ту землю, от которой он оттолкнулся» можно отнести к творчеству обоих поэтов.

Российские антисемиты врут, когда говорят, что родная природа – область заповедная и постичь ее нутряную суть, пропустить через душу может только человек истинно русский, православный. А «Золотая осень» некрещеного Исаака Левитана? Говорил же мечтательно Чехов о своем благоговении перед красотами среднерусской полосы: «В молодости я был такой левитанистый». Ранние стихотворения Фруга оставляют ощущение глубокой укорененности поэта в земле «родимой» (он часто употребляет это слово!) Новороссии. Поэт, родившийся в земледельческом поселении, оживает и расцветает, когда перед ним встают «цветущий уголок, любимый и родной», «широкая привольная степь», а урожай – «что солнышко для сада: облитый теплом и ярким сиянием, стоит, просвечивая каждым листиком своим, светлый, свежий и радостный». Самые краски в стихах поэта молодеют, сверкают и загораются всеми цветами радуги:

Весь в цвету, душист и бел,
Облит утренней росою,
Зашумел, зашелестел
Сад вишневый надо мною.

С зеленеющих полей
Вея миром, жизнью, силой,
Шлет мне отзвук детских дней
Уголок родной и милый
Новороссии моей…

В вечерней синей мгле возникают и «тополь серебряный, грезою скованный», и старая ива, склонившаяся над поросшим осокой прудом:

Молятся оба, объяты восторгом одним,
Каждым листочком своим…
Каждою струйкою сока в изгибах ветвей,
Каждою жилкой корней.

Поэт внимает звону теплого весеннего дождя, брызги которого летят «над зеленью полей в просторе благовонном». Его захватывают «вестники весны». Просторы родных полей радуют сердце и греют душу:

Какая ширь и сколько света!
Да, здесь и только здесь, друзья,
Опять свежа, опять согрета,
Опять жива душа моя.

От степного приволья веет свободой:

..я хочу глядеть, не уставая,
На степь зеленую, на эту ширь без края, —
И людям рассказать, как люба, как мила,
Как сладостна она, святая воля эта,
Где взору нет границ, где сердцу нет запрета,
Как быстрому крылу нагорного орла.

И Фруг провозглашает:

Хочу царем быть, властелином
Меня питающей земли!

Но слова внука и сына пахаря сразу же тонут в

оглушительном гомоне «истинных ценителей» российской природы. Их разглагольствования крепко запали ему в душу и неотвязно преследуют еврейского поэта. Юные и не очень юные натуралисты, называвшие себя «патриотами России», вдохновенно витийствовали. Семен Григорьевич вспоминает: «Поднялся оратор. Сжимая всей пятерней огромный бокал, наполненный шампанским пополам с квасом, он начал свою речь. Говорил он о беспредельной шири родных степей, но, Боже мой, сколько фальшивого ухарства, сколько бесшабашной хвастливости звучало в его словах! Он ораторствовал о том, как обильны не токмо грибами и ягодами, но еще неисчерпаемыми естественными богатствами не только леса, горы и курганы, но даже болота его родины, эти топкие, засасывающие болота, в которых есть что-то такое особенное, глубоко лежащее под глухим липким слоем вековой тины, но несомненно очень хорошее… А потому (о, это «потому» было верх совершенства!), а потому, – говорил оратор, – пуще всего одно: не пущай жида! Жида, говорю, не пущай!

– Браво! – кричали слушатели. – Браво!

Другой оратор говорил о «простоте, добродушии, хлебосольстве, выносливости и бесконечной симпатичности нашей меньшой братии»… Но наиглавнейшее – это чтобы жида не было-с!

– Браво, – кричали слушатели, – ур-р-ра!

Третий оратор торжественно заявлял, что согласен с обоими предшествующими насчет грибов, ягод… и других «естественных богатств».

– Согласен, – говорил он, – совершенно согласен. И могу, со своей стороны, сказать, что поелику все это, понимаете, все – наше, то мы, значит, никому, ни-ни… Ни вот столько! А наипаче и наиважнейшее, это чтобы жиду – ни шагу! Стой! Не смей!..

– Ура! – заголосили восхищенные слушатели. – Ура! Ур-р-ра! – громко, раскатисто разнеслось кругом».

И поэта пронизывает горькое сознание того, что никакой он не властелин земли, а пришлый, чужак, изгой, а те, которые считают себя хозяевами жизни, всегда будут говорить ему и его соплеменникам: «Не вашими силами собиралась земля наша, не вашими руками строилась, не вашим подвигом росла и крепла. Не ели вы веками долгими хлебушка нашего, липкого да кислого, с татарвой не бились, на барщину не ходили. И нельзя нам вас рядом с собою посадить. Невместно!»

И если бы это были только слова!.. Фругу как лицу иудейского исповедания суждено было испить до дна горькую чашу оскорблений и издевательств, коим подвергались на родине

его единоверцы. Весной 1881 года поэт по приглашению редакции журнала «Рассвет» переезжает в Петербург. Но в ходатайстве еженедельника о его прописке как «переводчика с еврейского языка» власти категорически отказали. И хлопоты частных лиц с высоким общественным положением тоже остались втуне. Тогда Семена Григорьевича, не имевшего права жить вне черты оседлости, прописал у себя кандидат прав М. С. Варшавский в качестве «домашнего служителя». Но поэта то и дело теребили, подвергали унизительным проверкам, вызывая по поводу и без повода в полицейскую канцелярию. «Да поймут ли десятки лучших русских людей, – писал Фруг, – сколько обиды, сколько унижения лежит на мне за несколько лет пребывания в этом самом заветном центре умственной жизни. Нет, им этого не понять… Еврей, получающий повестку, по которой он приглашается к господину участковому надзирателю по делу о «праве жительства» – вот в сущности и главный образ той драматической коллизии. Когда господин с галунами начинает варьировать слово «жид» в связи с терминами «арест» и «этап» по всем склонениям, заставляет вас бегать к нему сотни раз по поводу каждой мелочи и глупости… тогда вы чувствуете нечто такое».

«Нечто такое» чувствовал поэт и когда думал о судьбах своего народа в Российской империи. Неизбывной болью отозвались в нем кровавые погромы. Он описывал дикую вакханалию разъяренных громил, врывающихся в еврейские дома: «Крик, вой, рев. Стон стоит в воздухе. Отчаянные вопли женщин и детей, неистовые крики грабителей – пьяных, остервенелых. Треск ломающейся мебели, звон разбиваемых стекол. «Ломай… бей!»… «Помогите!» Все слилось в один гул». Знал Фруг и об ужасающей бедности большинства российских иудеев, огражденных от мира мрачными гетто черты оседлости. В одно типично еврейское местечко Шмойновку у него вдруг собрался Мессия, а все потому, что у жителей не оказалось ни одной копейки! Ибо в Талмуде сказано, что Мессия явится в то время, когда в кармане не останется ни гроша. И как же не похожи нищие обитатели Шмойновки и тысяч других еврейских селений на конспираторов-жидомасонов и ритуальных убийц христианских младенцев, о коих не устают твердить бдительные «разоблачители»-юдофобы.

Фруг в своем творчестве представил целую галерею еврейских людей, которые вполне можно назвать «типическими характерами в типических обстоятельствах». Вот, к примеру, реб Эле-Меер. Поэт называет его «симпатичнейшим типом». «Ежегодно он выдает замуж самое меньшее пятнадцать бедных невест, устраивает не менее двадцати…обручений, печет «халу»,

наверное, в 15–20 печах, зажигает субботние свечи в десятках квартир, свозит в больницу, провожает на кладбище… Он никогда не самодурствовал, не грабил, не лихоимствовал, не обманывал. А ведет он свой подвижнический образ жизни потому, что «так надо», что это обязан делать всякий, у кого есть Бог и совесть в душе. Если же он и вздыхает так часто, сокрушаясь о «грехах наших незамолимых», то ведь тут подразумеваются не только его собственные грехи, но вся ужасающая масса грехов всех нас, грешных людей». Реб Эле-Меер – и это подчеркивается – типический национальный характер, ибо так, как он, поступает каждый верующий еврей: «Есть книга, которая называется «Торой». Реб Эле-Меер знает, что он создан исключительно для того, чтобы исполнять все, что повелевается Торой. А что повелевается Торой? О, кто же этого не знает! Любой еврейский мальчик вам скажет. Тора повелевает: не красть и в субботу не носить шелкового платка с собою; не свидетельствовать ложно и не петь «зугос» (четного числа бокалов); не делать себе кумиров, не поклоняться идолам… не употреблять в пищу крови и не прикасаться к кошке; любить ближнего, как самого себя… в пасху не есть «хлеба» и замужним женщинам брить волосы на голове; не есть свинины и не носить короткополого платья; не произносить имени Господа всуе и не ронять на пол ни одного обрезка ногтей, – и проч. в том же роде, целых 613 крутых и скользких истин, на которые каждому еврею надлежит карабкаться, насколько сил его хватает, и даже сверх сил своих, ибо все это повелевается Торой, а еврей создан исключительно затем, чтобы исполнять веления Торы…» Такого религиозного иудея нередко корят в педантизме, но тот же упрек можно адресовать и благочестивому христианину, неукоснительно следующему всем евангельским заповедям.

Поэту мил тихий, незаметный и непритязательный еврей-труженик. В очерке «Лея-магид» он подводит итог жизненного пути скромной хозяюшки и восхищается: «Разве не она собственными руками раскопала эти грядки, полет и поливает их, возится с каждым отдельным овощем, как заботливая мать со своим дитятей? Разве мало труда стоило ей выходить заболевшую нарывом на вымени корову, приготовляя собственноручно различные припарки и мази? Разве каждый уголок, каждая крупинка в этом маленьком хозяйстве не носят следов ее забот и труда? Зато с какой радостью и гордостью смотрит она на эти пестреющие цветущие грядки… И читала Лея каждую субботу молитвы прихожанкам, и полола, и поливала свой огородик, и за коровками ходила, и с птицей возилась, покуда не закрыла свои добрые глаза и не уснула тихим сном под курганчиком,

поросшим зеленой травой и пестрыми полевыми цветами».

Под пером Фруга оживают и вечно спешащий, обаятельный в своей чудаковатости меламед Хаим-Гершон, общественный деятель и «ярый охранитель» иудейского благочестия; и «шаблонный тип» проповедника, «высокий и худой, как жердь, старый еврей с жиденькой, сивой бородкой, в ветхом, совершенно вылинявшем в зеленый цвет длиннополом кафтане, остроконечной плисовой ермолке и с клетчатым платком, обмотанным вокруг шеи… было что-то глубоко болезненное в этом судорожном подергивании губ и закрывании глаз при частых перерывах и остановках речи»; и синагогальный певчий Зуся: «Боже мой, сколько глубокой, мучительной тоски, сколько горячей мольбы и раскаянья звучало в его мелодии, и как живо и ясно возникало в душе слушателя сознание нашего великого народного горя, нашей сиротливости и бесприютности». Поэт восклицает: «Бедная еврейская душа! Сколько мук залегло в глубину твою бездонную, сколько горечи и яду напитало тебя, сколько горьких обид пало на долю твою!»

Семен Григорьевич зачастую предавался унынию и однажды даже хотел свести счеты с жизнью. И в те мрачные дни отчаявшегося поэта спасло то, что его полюбили и он полюбил. «Пришла хорошая женщина, – вспоминал современник поэта, – русская, с жертвенной любовью, не озирающаяся назад, – пришла, не справляясь на бирже жизни, во что оценят ее «суженого», ее «желанного», пришла и сожгла себя, чтобы пламенем своим согреть стынущего, замерзающего, из сердца которого проклятая жизнь выстудила все тепло». И самозабвенная любовь к нему этой русской женщины, ставшей его гражданской женой (ибо официальный брак между иудеем и православной был невозможен), еще теснее связывала его с Россией.

Семен Фруг был снедаем противоречивыми чувствами. С одной стороны, он был сыном земли, которую возделывали его предки, и врос в российскую почву, с другой, – она, эта земля, отторгала его, как парию, и он оказался отверженным иудеем-изгоем. Забегая вперед, скажем, что позже поэт преодолеет эту мучительную раздвоенность и обретет долгожданный мир и покой. Но душевная борьба была долгой и весьма не простой. И прежде всего она отразилась в его творчестве, где отношение поэта к родине получило свое художественное воплощение. Причем образ отчизны заметно трансформировался, все более и более отдаляясь от его взора.

Поначалу общение с родной природой вызывает у него прилив сил и поэтическое вдохновение:

…радостью немой душа моя полна,
Той тихой радостью, той светлой тишиною,
Что веют в полумгле румяных вечеров
С обрывов и низин днепровских берегов,
Где в светлой глубине души моей впервые
Два звука родились, согласные, родные,
Как два подземные ключа, —
И песня первая, свежа и горяча,
Зажглась в моих устах, вскипела под перстами
И брызнула со струн звенящими струями.

Родина помогает отрешиться от «думы беспощадной, что каждый вольный шаг… угрюмо мерила карающей рукой»:

И всей душой своей я жажду лишь упиться
Теплом и прелестью, согреться и забыться,
Как этот маленький и нежный василек,
Как этот крохотный, зеленый червячок,
Прилипший к стебельку душистого пырея,
В дремоте сладостной блаженствуя и млея.

Но радостная картина урожайного летнего поля постепенно сменяется иной, осенней, унылой:

Печален вид немых полей
В часы осенней непогоды,
Когда пред мглою зимних дней
Наступит долгий сон природы.

И еще:

Наши будни – пустыни осенних полей,
Наши праздники – тощая нива,
Где, сожженные зноем лучей,
Досыхают колосья тоскливо.

Все чаще звучит мотив тоски и безнадежности. Нива ассоциируется уже не с «подъемом бодрого и свежего зерна», а с душащими ее терниями:

Но день идет за днем, – и гуще, и темней
Бурьяны жесткие и жгучая крапива

Со всех сторон ползут и стелются по ней.

И хотя поэт еще называет поля «родными», надежда навсегда покидает его:

О, не пой, не пой, как прежде,
В дни весны, в родных полях,
О немеркнущей надежде,
О невянущих цветах.

Песни поэта «на светлом просторе полей» исполнены горечи:

Ни зари, ни пути,
Ни луча впереди…
О, зачем отравили вы песни мои!

И вот в воображении Фруга рождается новая метафора, и степная ширь уподобляется вековой печали поэта:

Уноси мою душу в ту синюю даль,
Где степь золотая легла на просторе —
Широка, как моя роковая печаль,
Как мое безысходное горе.

Еще шаг – и родина видится ему «унылым гнездом», где

…каждый уголок на радостный привет
Простонет: «Уходи! Тебе здесь места нет!

Он чувствует себя теперь как «бездомный парий» в «бесприветной, убогой отчизне моей», и то, что раньше возбуждало в нем щемящее чувство родного очага, отзывается чужим холодным блеском. И теперь к степям Новороссии, где он родился и вырос, обращены его слова – «блеск чужой природы». Дальше – больше. Он приходит к тому, что полностью отстраняется от судьбы страны:

Россия – родина моя,
Но мне чужда страна родная,
Как чужеземные края:
Как враг лихой, как прокаженный,

От них запретом огражденный,
Я не видал дубрав и гор,
Ее полей, ее озер…

Не сыном России ощущает он себя, а жалким ее пасынком:

В семье рабов у мачехи-отчизны
Я вырос бесприютным сиротой.

Он пояснит: «Везде и повсюду куда ни уйдешь ты, вечный скиталец, ты принесешь с собою непобедимое, неотвратимое сознание своего круглого сиротства и одиночества, своей беззащитности и безутешности, своей горькой, постылой доли!»

«Мачеха-отчизна» – горькие, беспощадные слова. И, похоже, понимая это, Фруг просит прощения у отторгнувшей его родины:

Не осуждай меня за слово укоризны,
Что вырвется из уст моих порой…
Пойми, пойми тогда, как я скорблю глубоко, —
Мучительной тоске излиться дай
И за слова невольного упрека
Не осуждай, не осуждай…

В одном стихотворении (оно так и называется «Любовь к родине») Фруг словно подслушал «беседу двух старых рабов под сенью цветущей маслины». Они говорили о «родном уголке», который сердцу всего милее, хотя здесь, в неволе, им и живется вольготно, и труд не в тягость. О чем же тоскуют старцы? Откуда они родом? Ответ: «Мы выросли оба в Долине Могил, вблизи Пустыря Прокаженных». Старцы из Долины Могил наверняка хлебнули там горя и лиха, но любить ее от этого не перестали.

Тогда отчего же, позволительно спросить, Россия, изобильная, прекрасная Россия, становится для Семена Фруга «мачехой-отчизной»? Понятно, что как иудей он был глубоко травмирован и дискриминационным антиеврейским законодательством, и волной кровавых погромов, и юдофобской истерией, охватившей тогда широкие круги русского общества. Но даже если жгучая обида застит глаза, даже если покажется вдруг, что обречен жить «в Долине Могил, вблизи Пустыря Прокаженных», мыслимое ли это дело отказываться от своего отечества? И хотя во времена, когда евреев буквально выталкивали из страны и власть предержащие цинично заявляли:

«Западная граница открыта для вас!», поэт никуда из России не уезжал, кое-кто тут же запишет его в «безродные космополиты». Но словцо «космополит», ставшее ругательным с легкой руки идеологов Третьего рейха и сталинского режима, к нему никак не подходит (даром, что в его творчестве мы находим мотивы и вариации итальянской, греческой, ирландской, арабской и албанской поэзии). Нельзя назвать его и «безродным». И не только потому, что он, как тургеневский Базаров, мог сказать о себе: «Мой дед землю пахал», – Семен Фруг твердо знал, какого он рода-племени, и гордился этим. Именно осознание своей причастности к еврейскому народу, трагическая, но великая судьба которого исчислялась тысячелетиями, вдохновляло его жизнь и творчество. Перефразируя известные строки, он всегда был рядом со своим народом, там, где его «народ, к несчастью, был». И Россия стала поэту чужой только тогда, когда он ясно понял (прав ли он был или ошибался): у его народа здесь нет будущего.

К такому убеждению он пришел, рассматривая судьбы еврейства в исторической перспективе, «на вековых путях скитальческой печали». Фруг очень любил исторические аналогии. Провинцию Гошен, где в древнем Египте дозволялось жить томящимся в плену иудеям, он называет «египетской чертой оседлости», а тамошнего начальника над евреями – «Ваше египетское благородие», «египетская Держиморда». Но вид и норов сего Держиморды точь-в-точь российские. «Глазища красные, навыкат, нос темно-сизый, в руках нагайка со свинцовыми подвесками, да как топнет он ногою, да как гаркнет он на всю фараонскую: «Гей, вы, жидова треклятая! За каким дьяволом пожаловать изволили?.. Что? Не проведете, голубчики, нет! Я вашу братию знаю, мошенники вы первостатейные!»

То, что происходит с его единоверцами, подчеркивает поэт, уже было в истории, ибо, как сказал один еврейский венценосец и философ, «нет ничего нового под солнцем!»:

О, братья по судьбе, в ряду тысячелетий!
Зачатые в скорбях, рожденные во мгле,
Народа-узника замученные дети,
Как горек и тяжел удел наш на земле!

Эти слова он обращает к своим российским соплеменникам, но их можно адресовать к евреям всех стран, потому что:

…как зерна легкие посева
Дыханьем грозных непогод,

Рассеян всюду мой народ.

И весь трагизм евреев в том, не уставал повторять Фруг, что «у нас отняли родину! Если человеку нужны зимою теплая одежда и летом тень, чтоб укрыться от палящего солнца, то родина нужна ему, как свет, как воздух, как кровь для его сердца… У нас отняли родину!» Когда жизнь иудеев в диаспоре протекает мирно и их существованию, мнится, ничто не угрожает, то народ, словно «инвалид» (это его сравнение!)

…забросив знамя и щит,
В старчески-смутной дреме лежит.

Но если близка опасность, если кольцо врагов сжимается вокруг, сразу же оживает историческая память вековых гонений и преследований, обостряется национальное чувство:

Старые раны,
Вскрывшись опять,
Мукою станут
Сердце сжимать, —
Встанет он… Бледные
Губы дрожат,
Щеки пылают,
Очи горят, —
Словно воскреснув,
С мощью былой
Снова готов он
Ринуться в бой.

Фруг верит в будущее своего народа, и это:

Вера – твердая, как камень,
Вера – светлая, как солнце,
Вера – жаркая, как пламень.

Он знает, у его народа «зорок глаз», и «крепки ноги», и «посох цел», и даже удары судьбы зовут его к воскресению:

И громы нам поют «воскресни»!
И бури гимны нам поют!

Национальное единение и стремление вырваться из духовного плена являются, по Фругу, залогом счастья и благоденствия:

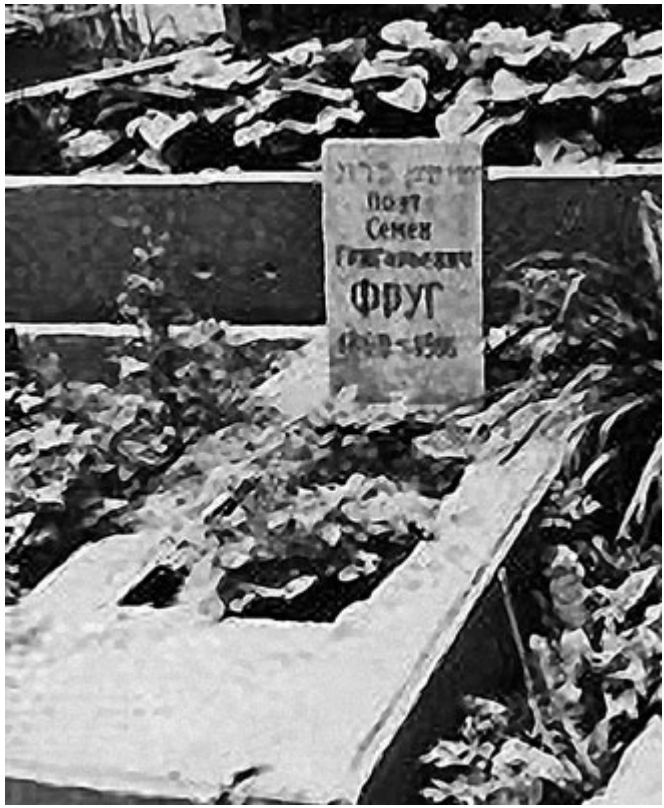
Свободой гений наш рожден,
Одною с нею связан долей, —
Он вместе с ней убит неволей
И вместе с ней воскреснет он.

Поэт придавал решающее значение еврейской духовной традиции, религиозному воспитанию своего читателя. Специалисты спорят, был ли Фруг приверженцем хасидизма или более склонялся к взглядам традиционного иудаизма. Важно, однако, то, что он обращался в своем творчестве ко всем иудеям, стремясь подчеркнуть то, что их объединяет, а не разъединяет. Критик Л. Яффе подчеркнул утверждающий характер творчества Фруга, то, что он был певцом «пробуждения национального сознания русского еврейства» («Рассвет», 1910, № 44). И, разумеется, непререкаемой священной книгой для всех являлась Тора, которую когда-то Генрих Гейне правомерно называл «портативной родиной евреев». Как заметил один критик, «Библия [Ветхий Завет, Тора] дала ему материал для картин, для мечтаний, для снов, дала пишу… мирным грезам об идеальном счастье». Впечатляют такие его произведения, как «Пророк-пастух», «Видение пророка Исайи», «Амман», «Смерть Самсона», «Легенда о чаше», «Быстро одернулся полог шатра», «Старое горе» и другие.

Приходится, однако, признать, что сцены Библии, представленные поэтом, уступают по своему эмоциональному воздействию его живым описаниям природы Новороссии, где он выступает как художник-пейзажист. И это неудивительно: ведь Тора почти совсем не прибегает к детальным описаниям природы – и в этом как раз и состоит тайна того неизгладимого впечатления, которое она производит: фантазия сама дорисовывает картину, которая здесь только намечена, означена двумя-тремя словами. (Фруг и сам признавал, что библейские реалии никак не сопрягались в его сознании с новороссийскими, близкими ему с детства: «Даже хорошо знакомое название предмета и то же название, встречаемое в книге, ничуть не связываются между собою, и хотя [я] сто раз видел лошадей у водопоя, все-таки не представил себе с достаточной ясностью простой картинки, изображающей элиазаровых верблюдов у степного колодца, не представил себе ни иоильской саранчи, ни той или другой картинки из «Песни Песней», несмотря на то, что

все это в основных чертах, хотя и в иных размерах, [мне] очень хорошо знакомо… Ведь все это говорится о тех полях и селах, ручьях и цветниках, оленях и горлицах, которые цветут, журчат, резвятся, воркуют там, в далекой, далекой стране, в том дивном, но, увы! потерянном рае, о котором мы скорбим, вздыхаем и плачем вот уже много веков, и разве же здесь или где бы то ни было может быть такой колос, как там? А голубка, приютившаяся под застрехой местной бани, неужели вы не шутя станете отождествлять ее с горлицей, о которой говорит Суламита…»). Художник, желающий закрепить картины Библии в рельефных образах, нуждается в гениальном полете фантазии и стилистической технике высшей пробы. Но то, что оказалось под силу гениям Джона Мильтона и Виктора Гюго, Фругу удавалось не вполне. Как отмечает литератор Н. А. Котляревский, здесь «его кисть слишком слаба, и на его палитре слишком мало красок».

Тем не менее, когда поэт повествует о Земле обетованной – потерянной исторической родине евреев, его рассказ отличают взволнованность и страстность. Интересен очерк «Пальма». Экзотическое дерево, пращуры коего когда-то горделиво росли «под знойным небом Палестины», ныне одиноко стоит в кадке у одного русско-еврейского мальчугана. Эта-то пальма вдруг заговорила с ним «нежным, ласковым человеческим голосом»: «Ты понимаешь, дитя мое, любовь к природе родного края и любовь к Творцу всего живущего – вот, что хотел укрепить в каждом творении священный закон Торы». И дерево напоминает ему об уроженцах Святой Земли, которые «горячо любили и родину свою, и своего Бога. Богатырь Самсон, пророчица Девора, цари Саул и Давид выросли в тишине и раздолье полей, в тени уютных рощ и садов Палестины… Я никогда не была в той далекой священной стране, не видала ни тех рощ, ни того неба. Но я пальма; предки мои – пальмы, от которых я происхожу, росли в том обетованном краю, и где бы я ни росла теперь, я вечно буду чувствовать свою связь и с той землей, которая питала их своими соками, и с тем небом, которое согревало их своим благодатным теплом. Милое дитя! – (наставляет пальма) – И ты родился и живешь далеко от священной родины своих предков, но ты должен вечно помнить и любить ту далекую землю, то далекое, знойное и яркое небо».



Плита на могиле С. Фруга в Одессе, установленная в 1911 году

Но Палестина дорога Фругу не только как памятник былого величия народа. Своих соплеменников, которые видят в ней лишь тень, призрак отжившего прошлого, он гневно бичует, называя «бессмысленными пигмеями»:

Мне говорят они: «Священный край отцов,
Чье прошлое тобой восторженно воспето,
Нам дорог лишь как мавзолей поэта,
Пророка и царя, – как памятник веков
На век минувшего расцвета…»
Слепцы безумные, в бесстыдной наготе
Отвергшие покров родной печали!
Гордиться предками имеют право те,
Стыдиться за кого их предки бы не стали.

И поэт призывает:

Любить Сион, – любить, как любит ствол черешни

Душистый, белый цвет своих ветвей,
Как любит землю в полдень вешний
Зерно, посеянное в ней.

И шепчет молитву:

Зажги, о Господи, над нашею дорогой
Зарю, веками жданную зарю,
Чтобы скитальца на родное лоно
Зовущая теперь звезда Сиона,
Звезда надежды, не была одной
Из тех падучих звезд, что столько раз являли
Свой блеск мгновенный в ночь его печали
И гасли в тьме ночной.

Он верит в возрождение евреев на земле праотцов:

Я вижу мой народ в стране его родной,
Как в старые, давно исчезнувшие годы,
То мирным пахарем с кошницей и сохой,
То гордым витязем под знаменем свободы.

Его пламенная вера в будущее возвращение иудеев на Святую Землю отражена в сборниках «Сионiды и другие стихотворения. 1897–1902» (Спб., 1902) и «Песни исхода» (Спб., 1908). (Кстати, название «Сионiды» заимствовано Фругом у великого еврейского поэта средневековой Испании Иегуды Галеви). Примечательно, что жизнь в Палестине ассоциируется у него с трудом на земле, и почти во всех стихотворениях на эту тему есть образы нивы и пахаря. Образы эти под его пером обретают многомерность и многозначность. Характерно, что и Всевышнего он называет «Хлебодатель всей вселенной» и говорит, что им, этим Хлебодателем, уготовлена для евреев «нива светлая для мирного труда». Но слово «нива» вдруг наполняется новым, широким смыслом:

Господь мой! Как пахарь, тебя я молю!
Воззри на народ мой – на ниву мою.

И пахоте – процессу утомительному, длительному, но животворному, он уподобляет движение истории, которую «с

острым заступом» проходит сквозь тысячелетия племя Израиля. И поэт настоятельно призывает евреев обратиться к своим истокам, вернуться к земле:

Вернись к Земле, – к садам и нивам,
Когда-то, в блеске лучших дней,
Приютом мирным и счастливым
Служившим юности твоей.
Вернись к труду, к земле исконной.
Среди лугов, среди равнин
Ты станешь, ими возрожденный,
Душой и телом исполин.
Как пыль с цветка в алмазных росах,
С души ты смоешь прах забот;
Скитальца посох, старый посох
Как жезл библейский процветет.

Для него самая высшая молитва – это «пахаря грустный и кроткий псалом о ниве плодородной, о тучных пастбищах, о гроздях, о цветах». Самые заветные мечты – о поле, о сохе. Свое посвящение воспитанникам одесской земледельческой фермы он венчает словами:

Запишите слово «пахарь»
Как залог счастливых дней
Золотыми письменами
В глубине души своей.

Он сочувственно цитирует слова пророка Иеремии: «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». В «Гимне Сиона» поэт обращается к традиционному и близкому ему по жизни образу сеятеля:

Мы работники народа;
Божья нива нам дана;
Вера, знанья и свобода —
Это наши семена.
Ждали солнца мы веками, —
Сейте ж, братья, в тьме ночной,
Сейте бодрыми руками,
Сейте с ясною душой.

Не случайно колонистам Святой Земли он посвятил стихотворение, которое так и назвал «Сеятелям». Он воспевает созидательный труд на своей земле, на родной ниве:

Сочных колосьев, с любовью взлелеянных,
С пашен, рукою народных засеянных,
Нет, не в кровавом дыму алтаря,
Над преклоненной толпою, —
Неугасимая наша заря
Светит над нивой родною!

Как это ни парадоксально, но при всей разности и даже полярности взглядов и мировоззрений их создателей, идеал человека для Семена Фруга чем-то поразительно близок образу русского крестьянина писателей-«деревенщиков». И у него, и у них это человек труда с его любовью к родной земле, гордостью своими предками, добротой, прямодушием и чистотой помыслов. Хотя, как известно, каждый труд почетен, поэт считал, что светлые, кристально чистые еврейские души можно встретить не в сутолоке городской и местечковой жизни, не в водовороте купли и продажи, а на лоне природы, на груди кормилицы-земли. И он не боялся обличать свой народ, видя, что слова «пахарь» и «нива» звучали диссонансом на русско-еврейской улице. Фруг высмеивал нервную суету делового мира, пресловутую «коммерцию», соседствующую с вопиющей нуждой основной массы еврейского трудового люда. В написанном на идише стихотворении «Жарко и холодно» он бичует бездуховность и бессмысленность существования таких гешефтмахеров:

Кипятитесь, горячитесь, господин еврей,
Вы скоро остынете…
Вы спешите за товаром,
За досками, за железом,
За полотнами, шелками?
Вы горите, вы кипите?
Не забудьте ж, будьте добры,
Когда вернетесь с ярмарки,
С собою захватить
Кусочек полотна, любезный!
Стучат уж кружками!
Работает пила,
Четыре доски, два черепка,
И все готово.
Вернулись с ярмарки последней…

Скорей же, служки, засыпьте землей!
Ой, братики, холодно там,
Ой, холодно, братики, там!

Он с болью признает, что часть его соплеменников, забыв заветы Торы, сотворила себе кумира в виде золотого тельца и тупо и слепо поклонялась ему:

Моисея с пылающим факелом нет…
Аароны бесстыдно, открыто,
Преклоняясь пред ним, и поют, и кадят,
Золотые лобзая копыта.

Таких евреев – олицетворение торгаша – он разил беспощадной иронией:

…Базар их – край родной,
Их поле – улица… Отчетливо, игриво
Дух века написал властительной рукой
На их мече: делец! – на знамени: нажива!

Но не они были адресатами поэзии Семена Фруга, а честные трудяги-евреи – абсолютное большинство возлюбленного им народа. Именно к ним, «братьям и сестрам» – своим читателям-единомышленникам, обращены его слова:

Так пойте ж, хвалите вы труд и работу,
Так пойте ж, от сердца приветствуйте их!..
Пусть здравствуют мозолистые руки
И лоб, с которого льется пот трудовой!

Могут сказать: Семен Фруг – еврей нетипичный, ибо в Российской империи сельским трудом занималась лишь малая толика иудеев (не более 4 процентов), а потому его призыв к единоверцам стать крестьянами был гласом вопиющего в пустыне. Не преминут упомянуть о том, что и в СССР, несмотря на широковещательную пропагандистскую кампанию, на земле перед началом войны трудились лишь 200 тысяч евреев, что составляло лишь 10 процентов их общего числа. Приведут, пожалуй, и другие факты, вполне укладывающиеся в знакомую формулу: «Евреи хлеба не сеют!»

Но правда и то, что мечта о земледелии стала основой идеологии еврейского национального возрождения, что первые палестинофилы и билуйцы грезили об аграрном освоении страны отцов, что идея своей земли оказалась неразрывно связанной с идеей своей страны. Правда и то, что современный Израиль являет собой беспрецедентный пример в мировой истории, когда за краткое время на ранее не обработанных землях было создано самое передовое, образцовое сельское хозяйство. Сегодня маленький Израиль лидирует в мире по разведению пород скота, устойчивых к любым природным прихотям, а также сельскохозяйственных культур, способных выживать при самом неблагоприятном климате. Здесь изобретена и успешно применяется система капельного орошения, позволяющая сэкономить огромное количество столь дефицитной в Израиле живительной воды. Еврейское государство первенствует в мире по надою молока, по урожайности хлопка и финиковой пальмы, удерживает второе место по урожайности корнеплодов (в том числе «второго хлеба» – картофеля), третье место – по производству цитрусовых. Так что (хотя это неприятно признавать антисемитам) российскому крестьянину есть чему поучиться у его израильского собрата, агрария кибуца или мошава. Нынче Израиль широко экспортирует не только свои сельхозпродукты, но и новейшие аграрные технологии, компьютеризированные теплицы, животноводческие и рыбоводческие комплексы, технологические линии по обработке и хранению урожая. Но примечательно, что первые колонисты ехали из России в Палестину отвоевывать землю у безжизненной пустыни с песнями на стихи Фруга:

Встань, народ,
И – вперед
Неуклонно!
С нами Бог!
С нами Бог!
Страж Сиона!

«Сейте разумное, доброе, вечное!» – призывал столь ценимый нашим героем Николай Некрасов. Фруг, которого называли «еврейским Некрасовым», сеял семена правды, красоты и добра в своем народе. Вслед за русским поэтом-гражданином он говорил:

Ты сей по зернышку, по колосу сбирай,
Но все, что соберешь ты с полосы убогой, —
Подобно нищему библейской старины,

Неси на жертвенник всезиждущего Бога,
Клади на трапезу своей родной страны.

И произведения его учат любить свой народ, хранить его историческую память, быть верным духовной традиции, завещанной предками. А ведь патриотизм в самом высоком смысле этого слова – это тоже общечеловеческая ценность. Глубоко символично, что русский патриот, писатель Николай Лесков восторгался еврейским патриотом Семеном Фругом и его стихами. А потому творчество этого поэта перерастает национальные и временные рамки и обретает особую значимость, вызывая сегодня сочувствие и живой интерес читателей многоплеменной России.

Крещение напоказ
Рашель Хин-Гольдовская [9]

Рашель Мироновна Хин-Гольдовская (1863–1928) – крупная русско-еврейская писательница, яркий драматург, блистательная мемуаристка, достойная, на наш взгляд, серьезного монографического исследования. Ученица великого И. С. Тургенева, она печаталась в ведущих русских и русско-еврейских изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Приметная фигура в кругу московской интеллигенции, Хин держала литературный салон, завсегдатаями коего были В. С. Соловьев, Л. Н. Андреев, М. Горький, А. Ф. Кони, А. Н. Толстой, Н. И. Стороженко и другие. Имя ее обессмертил М. А. Волошин, посвятив «Р. М. Хин» ставшее хрестоматийным стихотворение «Я мысленно вхожу в Ваш кабинет…» (оно положено на музыку композитором Д. Ф. Тухмановым и стало в застойные времена популярным шлягером)…

Уроженка черты оседлости, Рашель происходила из ассимилированной семьи богатого фабриканта и не знала ни иудейской веры, ни языка предков. Родители ее рано переехали в Первопрестольную, где Рашель окончила 3-ю Московскую гимназию. Она получила гуманитарное образование в парижском Коллеж де Франс, придерживаясь при этом скорее космополитических взглядов. (Характерно, что в Париже она духовно сблизилась с Г. Флобером, Э. Золя, А. Ги де Мопассаном, А. Франсом, а позднее переводила их произведения). Как точно сказал о ней израильский литератор Ш. П. Маркиш, «с еврейством ее связывала лишь враждебность окружающего большинства». Хотя родители Хин были правоверными евреями (и осудили одну из дочерей, сестру нашей героини, когда та крестилась по православному обряду), особой религиозностью Рашель не отличалась, и если и не была атеисткой, то агностицизм был свойственен ей вполне.

Мы сосредоточимся здесь на одном эпизоде из ее жизни, не лишенном общественного и историко-культурного интереса, а именно: в конце XIX века Рашель Мироновна вдруг принимает католицизм. В этом, казалось бы, нет ничего удивительного. В России в XIX веке, по данным Святейшего Синода, православие приняли более 69 тысяч российских иудеев; еще 12 тысяч человек стали католиками и более 3-х тысяч – протестантами. К 1917 году число крещений евреев возросло до 100 тысяч. Но даже это, казалось бы, внушительное число отступников составляло менее

2 процентов от общего количества евреев империи. Примечательно и то, что наибольшее число крещений (в среднем по 2290 в год) падает на 1851–1855 годы. А это было время недоброй памяти «ловцов» и «пойманников» малолетних кантонистов, когда «святым духом» их осеняли, как правило, по принуждению. Всего же за 1827–1855 годы было крещено более 33-х тысяч будущих николаевских солдат.

Не всегда, правда, евреи России крестились из-под палки. Иногда к этому шагу их толкало желание обрести элементарные гражданские права в обход антисемитского законодательства. Американский историк М. Станиславский наметил несколько типологических групп российских иудеев, принявших тогда христианство: одни руководствовались стремлением к образовательному и профессиональному росту; другие принадлежали к высшей буржуазии и не желали законодательных препон в их предпринимательской деятельности; третьи, будучи преступниками, надеялись на амнистию; четвертые были искренними приверженцами новой веры; и, наконец, пятые нуждались материально и перешли в новую веру от безысходности. Историк говорит также о евреях, изменивших веру, дабы сочетаться браком с лицом христианского исповедания, хотя и не выделяет их в отдельную группу. Действительно, в начале XIX века известны по крайней мере два случая, когда сразу же после обращения в лютеранство евреи заключали браки с христианками. Речь идет о маскилах: коммерсанте А. И. Перетце (1771–1833) и литераторе Л. Н. Неваховиче (1776–1831), однако положительно утверждать, что именно женитьба была главным мотивом их крещения, нельзя, ибо карьеристские устремления сих неофитов также вполне очевидны.

Рашель Хин-Гольдовская

Случай крещения Рашель Хин не ординарный – он тоже связан с супружеством, только вот не с заключением нового брака, а с… прекращением старого, причем другого пути его расторжения просто не было. Как поясняет осведомленный современник М. В. Вишняк, «первый муж Хин отказывал ей в разводе. Тогда-то она приняла католичество, и брак автоматически распался: браки между католиками и евреями не признавались ни католической церковью, ни русским законом». Итак, дабы разорвать узы с постылым супругом (а им был юрист Соломон Григорьевич Фельдштейн) и обрести тем самым свободу, Хин и осеняет себя крестным знамением (при этом выбор христианской конфессии был для нее не столь существенным). И что интересно, такой ее шаг повлек за собой еще одно крещение – давний вздыхатель Рашель с еще гимназических времен, видный юрист Онисим Борисович Гольдовский (1865–1922), «чтобы получить право обвенчаться с католичкой [Хин. —*Л. Б.*], должен был перестать считаться евреем». И он принимает протестантизм, как говорит сам, «по причинам романического свойства».

Но примечательно, что новоиспеченные «христиане» Рашель

и Онисим никак не воспользовались выгодами и льготами своего нового привилегированного положения. Ведь О. Б. Гольдовский, став крещеным, формально освобождался от существовавших для евреев-адвокатов ограничений и мог бы выйти разом из помощников в полноправные присяжные поверенные. Однако он посчитал ниже своего достоинства извлекать материальные выгоды из своего «романического» крещения и остался в звании помощника до самого конца 1905 года (когда стал адвокатом, как и прочие иудеи, уже на общих основаниях). И надо сказать, Гольдовский всегда настойчиво подчеркивал свое еврейство и издал книгу «Евреи в Москве: Страница из истории современной России» (Берлин, 1904).

Прежде чем обратиться к взглядам Рашель Хин на эту проблему, необходим исторический экскурс. Известно, что согласно иудаизму, отказ еврея от веры предков считается тяжким грехом. В галахической литературе такой отступник называется мумар (буквально «сменивший веру»), мешуммад («выкрест») и т. п. При переходе иудея в христианство семья ренегата совершала по нему траурный обряд, как по покойнику (о таком обряде рассказано Шолом-Алейхемом в рассказе «Выигрышный билет»). Выкреста предавал херему (проклятию) раввин, а на еврейском кладбище иногда появлялась условная могилка, к коей безутешные родители приходили помянуть потерянного сына или дочь.

Однако драматические события еврейской жизни конца XIX века заставляют переосмыслить устоявшиеся догмы и представления. Некоторые радетели еврейства переходили в чужую веру и соблюдали чуждые им обряды, стремясь принести пользу своему народу. И тогда крещение еврея могло восприниматься уже как жертва во имя соплеменников. А ради их блага позволительно было рядиться в любое платье, даже апикороса-отступника.

Известный врач и общественный деятель Р. М. Кулишер (1828–1896) утверждал, что знал выкрестов, которые, заняв высокое положение благодаря крещению, елико возможно, старались защищать евреев. И рассказывал, как еще во времена Николая I, когда «евреи вечно находились под дамокловым мечом какой-то гзейры (гонения на евреев)», он однажды присутствовал на собрании иудеев, где лихорадочно обсуждалось, как же облегчить участь единоверцев. Страсти спорщиков чувствительно накалились, но ничего путного предложено не было.

«– Нам надо самим добиться своих прав! – степенно и увесисто сказал один пожилой человек.

– Легко сказать – самим! – передразнил его скептически

настроенный еврей и поинтересовался: – И кто же-таки нам, евреям, за здорово живешь, права гражданские даст? Как же, держи карман шире! Даст, а потом еще догонит и добавит! Позвольте узнать, как же можем мы сами этого добиться?

– А вот как, друзья мои, – ответствовал пожилой. – Я бы выписал из Воложина несколько десятков ешиботников с хорошо отшлифованными мозгами и предложил бы им принести себя в жертву на алтарь еврейского равноправия: подрезать свои пейсы и капоты, засесть за общеобразовательные предметы, поступить в гимназии, а потом в университеты, а по окончании их – на государственную службу, предварительно выкрестившись и пригласив непременно крестными влиятельных бар… И воложинцы, вооруженные знаниями, хорошими мозгами и солидными протекциями, быстрее других поднимутся вверх по служебной лестнице. Они-то, рассеявшись по канцеляриям, извлекут из-под зеленого сукна наши права».

Не знаем, дошли ли до степеней известных те воложинские ешиботники, но влиятельных выкрестов, которые всемерно своим соплеменникам помогали, в России было немало. Так, ориенталист Д. А. Хвольсон (1819–1911) на вопрос о причинах крещения ответил: «Я решил, что лучше быть профессором в Петербурге, чем меламедом в Эйшишоке». И академик Хвольсон вошел в историю именно как ревностный защитник иудеев, доказал необоснованность их обвинений в ритуальных убийствах и глубоко исследовал историю семитских религий. Или И. С. Блиох (1836–1901), ученый с мировым именем, чей вклад в жизнь российского еврейства еще не вполне оценен. А он, между тем, был деятельным участником комиссии К. Палена по пересмотру закона о евреях, автором фундаментальных экономико-статистических трудов о губерниях «черты оседлости», а также специальной записки «О приобретении и арендовании евреями земли» (1885). Вот как живописует Блиоха наша Хин-Гольдовская: «Совсем еще бодрый старик с белой, по-французски постриженной бородой и гладкой, как слоновая кость, лысиной, обрамленной гладкими седыми волосами. Лицо семитического рисунка, но смягченное годами покоя и власти; ласковые, умные, выцветшие «испытующие» глаза… Манеры простые, спокойные, без малейшей еврейской «юркости»… Такого приятного self made man я до сих пор не встречала. Собеседник он очень интересный. Много рассказывал о затруднениях, которые ему приходится преодолевать из-за своих изданий. Под его руководством несколько лет работал целый департамент специалистов, собиравших по официальным данным материал о положении евреев в России. Картина получилась такая потрясающая, что

продолжение этого труда было признано «излишним» – и он так и остался недоконченным». На смертном одре Блиох признался: «Я был всю жизнь евреем и умираю, как еврей». И примеров такого еврейского подвижничества в XIX столетии множество.

Примечательно, что и в русско-еврейской литературе рубежа веков тема крещения получает подчас новую трактовку. «Перекрест», сохраняющий верность своему народу, становится героем исторической повести Л. О. Леванды «Авраам Иезофович» (Восход, 1887, кн. 1–6), где выведен благочестивый еврей из Вильно. Он, между прочим, имел вполне реального прототипа, который жил в этом «Литовском Иерусалиме» в 1450–1519 годах и был фактическим министром финансов при короле Сигизмунде I. Таких высот Авраам достиг не только из-за выдающихся способностей, но и благодаря крещению. «Если христиане насильно заставляют нас быть отступниками от веры нашей, то мы можем сделать что-то для нашей защиты… мы можем употребить… хитрость», – поясняет он. Критики отмечают остро современное звучание этого произведения Леванды.

Интерес представляет и фельетон С. Ан-ского «Голова нееврея» (Рассвет, 1912, № 25). Здесь в центре внимания – события 1891 года, когда «деревянный хозяин Москвы», августейший юдофоб Сергей Александрович, учинил массовое изгнание иудеев из города. Многие были поставлены тогда перед необходимостью креститься (по некоторым данным, веру Христову приняли в тот год 3 тысячи человек).

Героем Ан-ского становится предприимчивый еврей, который в эту пору массового крещения (дававшего право остаться в столице) занялся прибыльным делом – он принимал христианство за других, оставаясь евреем. Стоит ли пояснять, что для такого «неофита» это было чисто показным, формальным обрядом, лишенным какого-либо духовного содержания! И поступил он так во имя благородной цели – спасения соплеменников от дискриминации и выселения. А потому – кто решится обвинять его в святотатстве?

Онисим Борисович Гольдовский

Что до Рашели Мироновны, то хотя она и приняла крещение по личным мотивам, совершенно очевидно, что и для нее это было тем же пустым обрядом. Как отмечает американский славист Кэрол Бейлин, «католицизм не подходил и, похоже, был второстепенным для идентичности Хин, это явствует из того факта, что она ни разу не обращается к нему в своих воспоминаниях». И правда: в опубликованных дневниках Хин непосредственно о католицизме нет ни полслова, она лишь однажды говорит о том дне, когда «старый ксендз в Толочине» обвенчал их с Онисимом Гольдовским. Очевидно и то, что в жизни писательница отличалась завидной веротерпимостью. Когда ее сын от первого брака, М. С. Фельдштейн (1884–1939), в приступе славянофильского угара вознамерился окрестить свою дочь, она опечалилась, но смирилась и 19 ноября 1915 года записала в дневнике: «Завтра будут крестить мою вторую внучку. Имя ей дадут Елена. Дай Бог этой новой женщине счастья. Пока – я питаю к ней только чувство жалости».

Марксистски ориентированные литературоведы настойчиво втолковывали нам, что художник лишь отражает действительность. На самом же деле он ее активно преображает, намечая такие этические и нравственные рубежи, коих не всегда возможно достичь в реальной жизни. В полной мере это относится и к нашей героине, затрагивающей тему крещения во многих своих художественных произведениях. И замечательно то, что в отличие от всамделишной Рашели Хин, формально принявшей католицизм, положительные протагонисты ее произведений, поставленные перед подобным выбором, категорически от крещения отказываются, даже если оно вызвано

причинами «романического» свойства[10]. И, напротив, обратившиеся в христианство (особенно из прагматических и карьеристских соображений) ею жестко порицаются.

В Саре Павловне Берг, героине рассказа Хин «Не ко двору» (Восход, 1884), угадываются и индивидуально-авторские, и типические черты ассимилированного русско-еврейского интеллигента конца XIX века, с его неизбывной трагедией, выраженной в страстном монологе: «Слушайте, я считала себя с детства русскою, думала и говорила по-русски, мое ухо с колыбели привыкло к звукам русской песни… Все это осмеяли, забрызгали грязью. Я испытала на себе весь ужас положения незаконнорожденного ребенка в чужой семье… Хочу любить, а меня заставляют ненавидеть». Характер Сары дан автором в развитии, что придает ему особую художественную убедительность. Воспитанная в привилегированном пансионе в духе заскорузлого антииудаизма, девочка читает «Четьи-Минеи» и убеждена, что все евреи грязные, что они «с мацой в Пасху пьют человеческую кровь», и страстно мечтает о крещении. Но логика жизни приводит ее к заключению, что если ненависть к евреям входит в самую структуру христианства, то оно, стало быть, не дотягивает до тех ценностей, кои им провозглашаются. Сара, интеллигентная и образованная, то и дело сталкивается с дискриминацией: ей как еврейке отказывают в работе. А в один богатый дом она попадает, поскольку хозяева посчитали, что «даже лучше, что она жидовка; будет, по крайней мере, знать свое место и не важничать». В такой «серой, точно гороховый кисель», юдофобской атмосфере «ей как-то не верится, что можно произнести слово «еврей» без прибавления – плут, мошенник, подлец, когда представляется удобный случай».

И Сара уже на собственном опыте ощущает ложность господствующих в обществе стереотипов, кои она принимала на веру в детстве.

Принципиально невозможным становится для нее и крещение, какими бы резонами оно ни было продиктовано. А к нему склоняет Сару ее возлюбленный Борис Коломин, дабы заключить с ней брак. «Но ведь это простая формальность, обряд, – настаивает он, – для такой женщины, как вы, существует лишь одна религия, которая совсем не обусловливается той или иной церковью. Не могу же я поверить, что вы заражены религиозным фанатизмом». Однако вовсе не в фанатизме тут дело: Сара Павловна считает себя плотью от плоти еврейского народа и желает быть со своим народом – там, где, говоря словами поэта, ее «народ, к несчастью, был»! Вот что она отвечает жениху: «Я была свидетельницей дикой животной травли на

людей, скученных на одном клочке, за чертой которого им запрещалось дышать, а когда эти люди не догадались задохнуться от тесноты и грязи и стали барахтаться, – их обозвали эксплуататорами, вампирами и мало еще чем… [Креститься] – громогласно отречься от них, перейти в вражеский лагерь самодовольных и ликующих. Я ни за что не переменю религию, перестанем об этом говорить. Милый мой, я люблю тебя, как душу, но никогда за тебя не пойду…»

А в другом рассказе, «Мечтатель» (Сборник в пользу начальных еврейских школ. 1896), перед нами предстает «скромный и бескорыстный пионер еврейского просвещения», Борис Моисеевич Зон. Это «неисправимый романтик», кумиры коего – печальники еврейства И.-Б. Левинзон и И. Г. Оршанский, а любимые литературные корифеи – Жорж Санд, Гюго и Гете. Он наделен «умом сердца», чуткостью и подкупающей всех «духовной простотой». Этот «энциклопедист-самоучка – любопытный обломок целого типа, который в таком неожиданном изобилии выделило еврейское захолустье в конце 50-х годов». В его холостяцкой московской квартире столовались нищие студенты, несостоявшиеся артисты, бомжи, а хозяин-хлебосол и рад был внимать ежечасно «молодому шуму», привечать всех – и эллина, и иудея. Однако шли годы, эпоха надежд Александра Освободителя канула в Лету, на троне прочно обосновался «тучный фельдфебель» – Александр III. «Дух времени был слишком силен, и старый мечтатель растерялся, – пишет Хин. – Пришли степенные молодые люди с пакостной усмешечкой, иронизирующие над «именинами сердца», пришли журналисты, прославляющие розги, юдофобство на «научной» почве с передержкой, гаерством, гиканьем».

Борис Зон наблюдает досадные метаморфозы: вот его любимый ученик, еврей Лидман так тесно сживается с окружающей бездуховностью и настолько нравственно черствеет, что «из благоразумия» принимает у себя в доме некоего Воронова, автора мерзких юдофобских брошюр. «Бывают такие случаи, когда быть благоразумным – значит быть низким», – бросает Лидману Зон. Дальше – больше: Лидман решает креститься, о чем с помпой объявляет Зону и тщится подыскать сему поступку разумные и высоконравственные аргументы. Происходит знаменательный диалог:

Лидман. Даже с философской точки зрения, я становлюсь на сторону исторической силы…

Зон. Даже если эта сила топит ваших братьев?

Лидман. Ну, это, знаете, индивидуальное чувство… как кто

смотрит. Вам угодно считать братьями четыре миллиона человек, а я считаю братьями всех людей.

Зон (с горечью). Ах, скажите лучше прямо, что вам хочется выйти в присяжные поверенные…

Лидман (прищурившись). А хотя бы и так. Надеюсь, я никому не обязан давать отчета в своих поступках. Вот я не мешаю вам быть страдальцем и героем!

Лидман как в воду смотрел: «страдальца» Зона, не пожелавшего пойти на сделку с совестью, высылают из Москвы (предварительно в полицейском участке его аттестовали «натуральным жидовским» именем – Беркой Мордковичем – и не без удовольствия напомнили, что в России «для жида нет закона»!) Последние дни наш «мечтатель» провел в одном заштатном городке черты оседлости. Его мучил неотвязный сон: некий страж порядка с мясистой ряхой говорил ему вкрадчивым, даже ласковым голосом: «Прими караимство, дружок, или чтобы в 24 часа духу твоего здесь не было!» (караимы, как известно, дискриминации в Российской империи не подвергались)…

В сочинении Хин «Одиночество (Из дневника незаметной женщины)» (Вестник Европы. 1899) привлекают внимание два еврейских национальных типа, поразительных по своей полярности. Представитель первого – весьма отталкивающий невежественный выкрест Беленький («по части литературы он безгрешен», с иронией замечает автор). Это Иван, точнее, Абрам, не помнящий родства. Вот что о нем говорят: «Еврей, недавно крестился, но всех уверяет, что родители его были крепостные какого-то польского магната. Вчера он с пафосом рассказывал, что ему во сне явился Николай Угодник и предсказал блестящую карьеру. – «Может, это был не Николай Угодник, а Моисей Пророк», – съехидничал [кто-то]. – «Я не имею с ним ничего общего», – важно произнес Беленький».

А вот выпускница университета Белла Григорьевна Гроссгоф – антипод Беленького, она дает частные уроки, готовит учеников к поступлению в гимназию. Но ее семью, как и семьи сотен иудеев, высылают из Москвы, хотя родители «живут здесь чуть ли не двадцать лет, и вдруг оказывается, что они не имеют права тут жить и должны уехать на родину, а они и забыли давно, где их родина». Белле с ее обостренным чувством национального достоинства стыдно и унизительно просить о том, что должно принадлежать ей по праву. «Ведь одна моя просьба – позор, – с горечью говорит она. – Что я сделала? Кому мешаю? В чем мое преступление?» Так и слышится здесь голос Тевье-молочника, любимого героя Шолом-Алейхема, выдворяемого властями из

родного дома: «Стены голые, и кажется, будто они слезами плачут. На полу – узлы, узлы, узлы! На припечке кочка сидит, как сирота, печальная, бедняжка, – меня даже за сердце взяло, слезы на глаза навернулись… Вырос тут, маялся всю жизнь и вдруг, пожалуйте, изыди! Говорите что хотите, но это очень больно!»

Влиятельный юрист Юрий Павлович, к заступничеству коего прибегает Белла Гроссгоф, предлагает ей отказаться от своих принципов. Диалог этого циничного «законника» и образованной еврейки воссоздан писательницей мастерски, с блеском и присущей только ей тонкой и уничтожающей иронией.

«– Мне неизвестны виды высшей администрации, – мягко заметил [он], – но вы меня извините за откровенность, милая барышня, у евреев действительно много несимпатичных черт. Я вполне уверен, что вы составляете блестящее исключение из этого, увы! – печального правила.

– О, пожалуйста, без исключений, – прервала его Белла (смуглое личико с правильными чертами лица дышало неизмеримым презрением). – Это слишком жестоко. Евреи несимпатичны… Трудно допустить такой приговор над целым народом!

И Юрий Павлович дает Белле «добрый совет»:

– Берите меня в крестные отцы и дело с концом!

– Да, это действительно очень просто, – с улыбкой промолвила девушка.

– Разумеется, совершенно не из чего создавать трагедию. И Бог у всех один, – примирительно подтвердил Юрий Павлович.

– Если так, то за что же нас преследуют?

– Платье ваше, милая барышня, устарело. Не нравится оно никому. Такая уж мода в воздухе. Прежде дамы носили узкие рукава, а теперь пошли широкие…

– Римлянам тоже не нравилось христианское платье, – возразила Белла, – однако христиане умирали за это платье на кострах, виселицах и в пасти диких зверей.

– Так ведь это когда было! – воскликнул Юрий Павлович и засмеялся. – С тех пор люди поумнели. Смею вас заверить, дитя мое, что немного найдется в наши дни любителей приять венец мученический. Есть, конечно, несчастные, которые и теперь заживо себя в стены замуравливают. Но их называют изуверами, а не героями и судят в окружном суде. Так хотите, барышня, [креститься]? А уж как я буду гордиться такой прелестной духовной дочкой.

Белла отрицательно покачала головой и встала.

– Мы говорим на разных языках, – промолвила она».

В драме Хин «из эпохи освободительного движения» –

«Ледоход» (М.: Тип. Е. Д. Мягкова, 1906), подвергшейся цензурным гонениям (значительная часть тиража была конфискована), выведен тип еврея-народника и интернационалиста – Павла Львовича Брауна. Хин характеризует его как «одного из лучших людей», который «юношей вступил в армию борцов за российскую свободу». На стенах его скромной комнатки висит копия репинских «Бурлаков на Волге» и портреты Лассаля и Чернышевского. Пятнадцатилетним подростком он пережил еврейский погром и видел, «как одни голодные люди в слепой ярости убивают других голодных людей». Такие испытания «слабых гнут в дугу, сильных же превращают в героев». Браун принадлежит к сильным. Его одушевляет борьба за счастье всех угнетенных, без различия рода и племени. «А рабочих и мужиков не бьют, не топчут ногами… от колыбели до могилы? Что наши страдания по сравнению с их страданиями? – риторически вопрошает он. – Я убежден, что мы стоим на грани истории… Мы увидим свободу… Что-то переменилось в русской жизни. Это чувствуют все. Старое умерло. Мороз как будто еще злее, но это перед ледоходом!» Многие преклоняются перед бескорыстием и самоотверженностью этого народного заступника. Знаменательно, что один из персонажей пьесы, влиятельный сановник Иван Бутюгин, по его словам, к Брауну «в крестные отцы набивался», а тот на такое «выгодное» предложение только рассмеялся ему в лицо. Впрочем, как и в самой российской жизни, есть в драме «Ледоход» субъекты, которые, подобно солдафону-реакционеру Афромееву талдычат: все, что от евреев, есть погибель. А на замечание собеседника, что, мол, Иисус Христос тоже был евреем, парирует: «Это не оправдание для его врагов…»

Мы остановились лишь на некоторых произведениях Р. М. Хин, где затрагивается проблема крещения евреев. Но совершенно очевидно, что иудейская вера рассматривалась ею как органическая часть еврейской идентичности, а крещение (то есть измена этой вере) равносильно для нее предательству своего народа. Правда, подобное предательство осознается далекой от иудаизма Хин не столько как религиозное, сколько как социально-правовое и политическое. Отступничество воспринимается ею как отказ от высокого мученичества дискриминируемого меньшинства, как низость – продажа души за «чечевичную похлебку». Симпатичны и притягательны у нее лишь те евреи, которые тверды в своих убеждениях и не желают быть ренегатами. И хотя сама писательница формально приняла христианство, становится ясно, что это было крещение напоказ. В действительности она не только порицала ренегатов, но

настойчиво и целенаправленно развенчивала их в своем творчестве. А творчество Рашель Хин-Гольдовской притягательно для нас не только своей художественной ценностью. Это заметная веха в духовной и нравственной жизни русско-еврейской интеллигенции.

«По долгу совести и принятой присяги…» Генерал-еврей на службе России Михаил Грулев

В 2007 году в московском издательстве «Кучково поле», выпускающем литературу национально-патриотического направления, вышла книга с несколько неожиданным названием «Записки генерала-еврея». В рекламном объявлении о ее авторе, Михаиле Владимировиче Грулеве (1857–1943), сообщалось, что «в царской армии, оказывается, был один такой… генерал-еврей на службе Отечеству». И хотя известно, что и один в поле воин, издатели-патриоты здесь несколько не точны: в Российской империи генерал из евреев – случай отнюдь не уникальный. Командующий Добровольческой армией А. И. Деникин в своей книге «Путь русского офицера» (Нью-Йорк, 1953) утверждал, что параллельно с ним «в Академии Генерального штаба учились семь офицеров еврейского происхождения, шесть из которых стали потом генералами». Потомками этнических евреев – бывших кантонистов (а из них 33 642 человека приняли православие) были такие видные военачальники, как истый монархист и последний защитник престола Николая II генерал Н. И. Иванов, а также генералы В. Ф. Новицкий и А. П. Николаев. А говоря о временах более отдаленных, нельзя не помянуть генерал-аншефа А. М. Дивьера, служившего еще при Петре I; а также генерала от артиллерии М. П. Арнольди, генерал-лейтенантов М. П. Позена и В. И. Геймана, генерал-майоров С. В. Цейля и А. П. Ханукова, генерал-адъютантов В. А. Вагнера и П. П. Гессе, контр-адмиралов Я. О. Кефали, А. Д. Сапсая и др. Разумеется, все названные лица приняли христианство, а большинство из них вовсе отмежевалось от своего народа, превратившись в Иванов (точнее, в Абрамов), не помнящих родства. Не то Михаил Грулев[11]! В подготовленном им издании книги «Записки генерала-еврея» (Париж, 1930) он на отдельном листе посвящения во всеуслышание объявил то, что «патриоты» в 2007 году со скрежетом зубовным воспроизвели лишь в предисловии: «Последние мои думы и слова посвящены памяти моих незабвенных родителей и многострадальному еврейскому народу». Этот генерал-лейтенант российского Генштаба, обладатель самых почетных наград и орденов, герой русско-японской войны, блистательный военный аналитик и историк,

талантливый журналист и публицист, никогда не забывал о своих национальных корнях.

Михаил родился в городке Режице Витебской губернии (ныне Резекне, Латвия), находившемся в черте оседлости, в еврейской семье, бедной и многодетной, все помыслы которой были направлены на заботу о куске хлеба. Впоследствии он заметит: «Удивительно, как это все знают хорошо богатства Ротшильда или какого-нибудь Полякова, о которых говорят много, хотя их мало кто видел, но никто… знать не хочет повальной нищеты массового еврейского населения, которая у всех перед глазами». О занятиях режицких евреев в то время дает представление записка уездного предводителя дворянства адмирала Г. Мофета. На заседании Витебской губернской комиссии он заявил, что иудеи «приносят пользу своей торговлею, которую они находят возможным вести так, что местные продукты дороже покупают, а колониальные дешевле продают». Говоря же о беспатентной продаже евреями горячительных напитков, адмирал признал, что таковая «поддерживается самим народом»; в то же время он посетовал на скученность еврейского населения, лишенного права покупать землю и, соответственно, заниматься хлебопашеством.

Михаил был самым младшим в семье – «мизинником», как его называли (от слова «мизинец»), а потому самым обласканным и балованным сыном у родителей. Подобно другим местечковым мальчуганам, он сызмальства был отдан в хедер, где ежедневно спозаранку и дотемна ученики штудировали древнееврейский язык, постигали Тору и премудрости Талмуда под водительством бдительного меламеда, громко и вразнобой повторяя пройденное. И хотя такое шумное зазубривание, сопровождаемое щипками и подзатыльниками учителя, Грулев назовет потом «ушираздирающей какофонией», он овладел языком своих пращуров настолько, что сочинял на нем вполне складные вирши, а одно из его стихотворений опубликовала даже солидная еврейская газета «Га-Цфира» в Вильно.

Надо сказать, что в 1860—1870-е годы под влиянием охвативших империю просветительских реформ по всей территории черты оседлости открылись правительственные русские школы, посещение которых стало обязательным для еврейских детей[2]. И Михаил здесь не стал исключением, пройдя курс такой «казенной» школы в Режице. Щеголяя знанием русского языка, он вместе с другими школярами-евреями распевал «Птичку Божию» или вот такую, очень злободневную тогда песенку:

Нынче свет уж не таков:
Люди изменились,
Стало меньше дураков,
Люди просветились.

И в самом деле, правительство в те времена всеми силами стремилось приохотить евреев не только к начальному, но и к среднему и высшему образованию (только вот желающих находилось тогда не много). Это потом, при Александре III и Николае II, возобладает прямо противоположная тенденция – пресловутая процентная норма приема сынов Израиля в гимназии и вузы. А в 1869 году Михаила с распростертыми объятиями принимают в уездное реальное училище в городе Себеже, куда переезжают Грулевы. Даже по тем либеральным временам Александра II для Михаила это был неординарный и смелый шаг: он был единственным иудеем в этом русском заведении, и ему, в отличие от учащихся-христиан, государство выплачивало еще и стипендию – 60 рублей в год.

Овладев основами общего образования, Михаил становится запойным книгочеем и жадно впитывает в себя русскую культуру, которую, подобно другим своим ассимилированным соплеменникам, начинает считать своей. Особенно притягательной для него становится отечественная классическая литература, и он сам упражняется в словесном творчестве, оттачивая свой письменный русский язык, что впоследствии принесет ему славу публициста и безукоризненного стилиста. Однако иудеи-ортодоксы, одержимые, по слову писателя Л. О. Леванды, «школобоязнью», не могли не видеть таившуюся в русском просвещении опасность «воспитания гоев из еврейских детей». Обоснованы ли были эти опасения в случае Грулева? Вот что говорит он сам: «Двадцать лет жизни в тесной еврейской среде были… достаточны для того, чтобы детская и юношеская восприимчивость впитала не только сокровенную любовь ко всему родному, но и немало еврейских суеверий и предрассудков… Но эти предрассудки рассеялись, как туман при ярком свете, оставив в тайниках сердца доподлинно лишь голос крови – врожденную любовь и жалость к своему многострадальному народу».

Приходится признать, что под «предрассудками» Михаил разумел завещанную ему праотцами иудейскую религиозную традицию, против которой он восстал уже в ранней юности. Прежде всего, он революционизировал одежду самым решительным образом: вооружившись ножницами, беспощадно

обрезал фалды своего длинного сюртука, а стародавнюю шапку сменил на предерзкий щеголеватый котелок со шнуром для пенсне, вызывая ужас правоверных соплеменников. Дальше – больше! Он посмел даже покуситься на священный для раввинов Талмуд, который аттестовал не иначе как «мертвящую схоластику», «кудреватые толкования», «круглое невежество, граничащее с непостижимыми нелепостями с точки зрения современных понятий». Да и к хасидизму, этой религии еврейской бедноты с ее декларацией чувственного приближения к Богу, относился весьма скептически. Как-то, прознав, что в соседнем местечке остановился некий цадик (праведник), знаменитый своими чудесами и пророчествами, Грулев вознамерился «проверить его святость». Но встреча с ним не впечатлила Михаила: ничего сверхъестественного цадик собой не явил. По словам нашего героя, он просто был неплохим психологом, поскольку поднаторел в общении с простолюдинами, а потому зачастую и отвечал на вопросы впопад.

После окончания училища Грулеву пришлось призадуматься: «Что же оставалось предпринять мне, еврею, для которого в нашем городе закрыты были все пути, вне удушливого прозябания в еврейской среде?» Неожиданно он решает посвятить себя военному делу – занятию для иудея отнюдь не типичному. Свой выбор он пояснит так: «Едва ли какую-нибудь роль играли воинственные порывы или славянский патриотизм. Вернее всего – простое любопытство: просто хотелось посмотреть войну». Интересно, что сама фамилия «Грулев» тоже связана с Марсовым ремеслом: ведь героем Севастопольской эпопеи был знаменитый генерал Степан Александрович Хрулев (1807–1870). Грулев-старший был николаевским солдатом, и, по сведениям журналиста Анатолия Рубинова, настоящее его имя – Велвл Гриншпун. Но ротный писарь нарек его Владимиром Грулевым (при этом идишский фрикативный звук «h» в русском написании был воспроизведен буквой «г»), словно знал о жизненном предначертании тогда еще не родившегося Михаила (эта громкая раскатистая русская фамилия, казалось, с самого начала обрекла его на успех). Но вот незадача – он подает документы для поступления вольноопределяющимся в Царицынский полк, но получает от ворот поворот как лицо иудейского вероисповедания: ведь даже при Александре II Освободителе путь иудею в офицеры был заказан. «Обоснования» такому положению дел дал один ангажированный духовидец, протоиерей Дмитревский. На одном из заседаний Минской губернской комиссии по еврейскому вопросу (декабрь 1881) он воззвал: «Отвергая всякую возможность видеть русских солдат под командой еврея, обратить внимание на

ту нравственную связь, которая существует между русским солдатом и его начальником-офицером, связь, которая необходима для поднятия духа армии в самые трудные минуты жизни, а подлинная связь между евреем-офицером и русским солдатом более чем сомнительна».

Хотя в 1878 году Михаила зачислили в Красноярский полк, где он проявляет такую смекалку и рвение, что скоро получает унтер-офицерский чин, все его попытки поступить на учебу неизменно терпят крах по той же самой причине. «Меня изгоняют за вероисповедание, – с горечью пишет он, – скорее за моих предков, за то, что я родился в еврействе, потому что с тех пор как я уехал из дома, я ни в чем не соприкасался с еврейским вероисповеданием – забыл про него. В каких-то бумажках что-то числится формально о вероисповедании».

Наконец, он держит экзамены в Варшавское юнкерское училище и, наученный горьким опытом, пытается вероисповедание скрыть. Поначалу все было вроде бы гладко – перед вступительной комиссией предстал исполнительный, дисциплинированный унтер, к тому же прекрасно аттестованный ротным командиром. Экзамены он выдержал превосходно, но, когда пришла пора зачисления, тут-то «каинова печать» иудейства снова выплыла наружу. И Грулеву было предложено: или (в который уже раз!) забрать документы и идти восвояси, или креститься. После долгих раздумий и колебаний он склонился к последнему…

Михаил и не скрывал, что обратился к православию не в результате напряженных духовных исканий (как это довелось сделать С. Франку, Л. Шестову И. Гессену и др.), а принял его из соображений чисто прагматических. Тем не менее он и спустя много лет полностью оправдывал свой поступок. «Я пытал мой разум, мою совесть, мое сердце, – писал он, – хорошо ли я поступил тогда, в мои юношеские годы, что перешагнул через этот Рубикон… и – положительно не нахожу против себя никаких упреков, даже оставляя в стороне соображения материального характера. Ведь все-таки, и с материальной точки зрения, как-никак, а по ту сторону Рубикона я обрел – пусть не корону, пусть не «Париж, стоящий обедни», но и не какую-нибудь чечевичную похлебку по примеру Исава, а хорошую карьеру и совсем иное земное существование…» Крещение еврея он напрямую связывал с «положением гонимого, поставленного в невозможность сколько-нибудь человеческого существования и вынужденного совершить формальность для перемены религии, чтобы только получить возможность дышать воздухом, буквально: ведь это не везде позволительно было евреям!»

Однако Грулев не мог не знать, что, согласно иудаизму, подобная «формальность» есть отступничество. И воспринимается эта самая «формальность» как предательство своего народа, веры и собственной семьи. Того, кто самостоятельно принял крещение, называли «мешумад», т. е. «уничтоженный». От такого человека отрекались все; существовал даже специальный обряд, когда ближайшие родственники справляли по нему траур (надрывали края одежды и сидели на полу без обуви). Выкреста предавал проклятию (херему) раввин, а на еврейском кладбище появлялась условная могилка, к которой безутешные родители приходили помянуть потерянного сына.

Жетон поручика М. Грулева «В память 50-летия Императорской Николаевской Академии Генерального Штаба. 1832–1882 гг.»

Подобный еврей-отступник представлен в рассказе Шолом-Алейхема «Выигрышный билет» (1902). Биньоминчик, сын служки в синагоге, уезжает в большой город учиться «на доктора» и присылает письмо, в коем сообщает о своем крещении. Но слова сего ренегата, сказанные в свое оправдание, кажутся односельчанам диковатыми, лишенными какой-либо логики.

«Язык какой-то странный… – говорят о его письме жители местечка. – Хм… Хм… Язык какой-то нечеловеческий… Нация… Манципация… Пацимация… Черт его ведает, что это значит!» Послание выкреста воспринимается как неприкрытая фальшь: «Иначе не могло быть, – писал он, – я очень мучился, так как знаю, какую боль я причиняю своим родителям. Но стремление к свету, к науке с самого детства было во мне так сильно, что оно победило». И, конечно, автор сочувствует еврейской родне: «Боль и позор были, видимо, так велики, что они не могли смотреть друг другу в глаза».

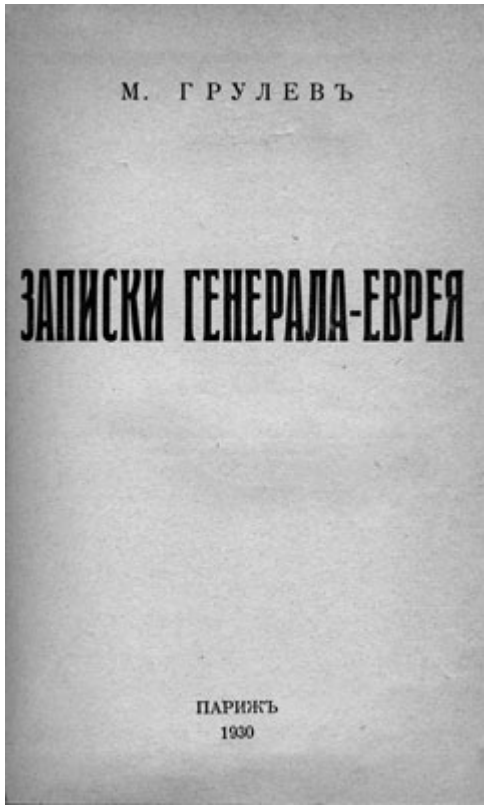
Тем не менее атеизм в иудейской среде стал тогда столь массовым, что известный ученый-юрист Г. Б. Слиозберг в начале XX века вынужден был признать: определяет евреев России не религия, а национальная этническая идентификация. Еще в 1870-е годы народник А. И. Зунделевич подчеркивал: «Главный элемент, связующий евреев в одно целое – религия, – признавался нами фактором безусловно-регрессивным». А если обратиться к 1920—1930-м годам, то именно евреи-коммунисты – наследники воинствующего богоборца (и антисемита) Маркса стали одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. Вот что писал о них тогда С. М. Волконский: «Много я видел людей яростных за эти годы, людей в последнем градусе каления, но таких людей, как еврей-коммунист, я не видал. В его жилах не кровь, а пироксилин: это какие-то с цепи сорвавшиеся, рычащие, трясущиеся от злобы. И затем – ненависть еврея-коммуниста к еврею-некоммунисту… никогда не видел, на что способен родич по отношению к родичу только за разность в убеждениях». Эти «пламенные борцы» уничтожали свою древнюю культуру, преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит, расправлялись с верующими евреями, посылали их в лагеря по обвинению в контрреволюции…

И сегодня в современном Израиле, по некоторым данным, около 25 процентов населения не верит в Бога, а более половины считают себя сторонниками светской традиции. Примечательно, что известный своими антирелигиозными воззрениями академик РАН Виталий Гинзбург высказался за материальную поддержку синагог исключительно потому, что они являются «не только молельным домом, но и центром общины» и их посещают и евреи-атеисты.

Православная миссия среди иудеев насчитывает много веков и освящена именами Иосифа Тивериадского, Романа Сладкопевца, Нафанаила (Кузнецкого), Александра Алексеева и других этнических евреев, превратившихся в ревностных проповедников греческой веры. Хотя Церковь и поощряла

обращение евреев, ко многим выкрестам часто относились с покровительственным пренебрежением (отсюда известная пословица: «жид крещеный, что вор прощеный»). А поскольку православие было в России религией государственной и, принимая его, человек обретал права и привилегии, ранее ему не доступные, неофитов подозревали в неискренности (тем более что некоторые позже возвращались к иудаизму). Еще в Византии церковники стремились предотвратить такое «лицемерное» обращение в христианство: Седьмой Вселенский Собор (Никея, 787 год) принял правило 8-е о том, что иудеев следует крестить только если обращение их будет от чистого сердца и засвидетельствовано «отречением от ложных учений и обрядов». Был даже установлен специальный «чин отречения от иудейских заблуждений» – испытание, которому должен был подвергнуться всякий желающий перейти из иудаизма в православие. И в Российской империи власти также предпринимали соответствующие меры. В некоторых губерниях прошения евреев о крещении рассматривало полицейское управление. Главным требованием здесь опять-таки была искренность перехода, а также знание основных догматов православной веры и молитв.

Наш герой-агностик придерживался на сей счет иного мнения. Своим оппонентам – и еврейским, и русским – он адресовал исполненный горечи страстный монолог: «Отнимают у человека право на человеческое существование, подвергают нравственным пыткам и гонениям всякого рода, сами указывают выход, где легко и просто найти убежище; и когда человек воспользуется этим выходом, упрекают его в отсутствии стойкости. Можно ли представить себе провокацию худшего сорта! Ведь по элементарному здравому смыслу ясно, что быть стоиком в этом случае значило бы преклоняться перед явными предрассудками, которые представляются мне глупыми, жестокими и несправедливыми».



Книга М. Грулева

Не знаем, как готовился Михаил Грулев к крещению, что чувствовал он в минуту, когда священник под звуки благостного церковного пения торжественно окроплял его чело святой водой. Может статься, ему слышался в сей миг и другой напев – древняя молитва Кол-Нидре в их городской синагоге в день Йом-Кипура. То была мольба о прощении: «Мы во всех обетах раскаиваемся. Пусть они не будут связывать нас. Пусть обет не будет признан обетом, а обязательство обязательством». Так обращались когда-то к Богу вынужденные принять христианство испанские мараны: они каялись в этом и пели о своей приверженности религии Моисея. Но смысл слов ускользал от Михаила. В его сердце раздавалась только мелодия, возвышенная, величественная, причем церковный хор чудным образом слился с синагогальным пением, и звуки эти как будто срослись, в согласии зазвучали, соединясь в какой-то небесной гармонии. Осенив себя крестным знамением, он не каялся в этом, но и отщепенцем своего народа себя тоже не считал, тщась примирить непримиримое. В отличие от славянофилов (особенно И. С. Аксакова), объявивших религию иудеев «безусловно враждебной» христианской, Грулев ищет

скрепы, наводит мосты между еврейством и православием, пытаясь избежать разлада в собственной душе. «Ни по букве, ни по духу христианского вероучения вообще, и православного, в частности, нет никакой вражды к еврейству, – говорит он себе, – напротив, это ведь родственное вероучение, состоящее из Старого и Нового Завета, не имеющее ничего общего с гонением на евреев, народившимся лишь впоследствии, с течением веков, среди темных низин народных, при изуродованном понимании религиозных верований».

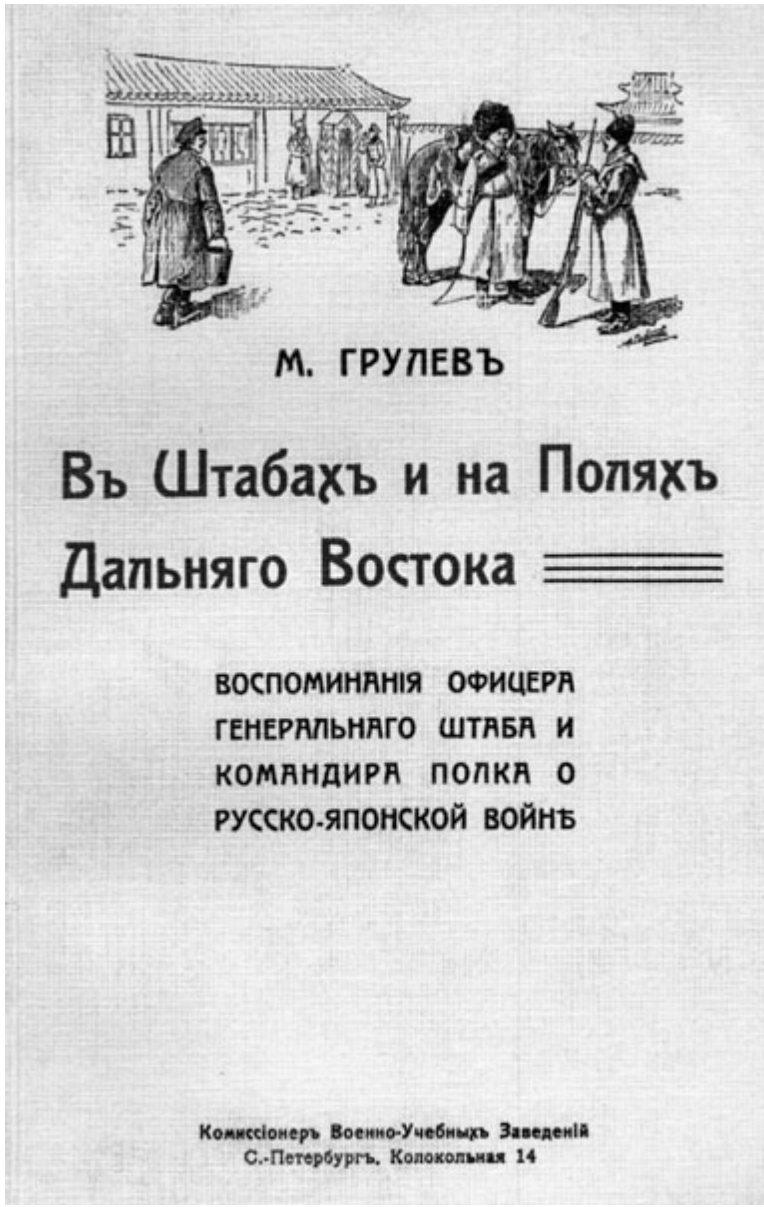
И логика жизни вела его от прагматизма и безбожия к вере, причем именно к вере православной. И дело, конечно, не в том, что он по роду своей деятельности стал посещать церковные службы. На войне, где смерть подстерегала на каждом шагу, Михаил пришел к твердому убеждению, что «в жизни человеческой виден какой-то перст Божий». А в его мемуарах и дневниковых записях проступает со всей очевидностью благоговение перед «великим Богом земли Русской». Бойцов вверенного ему полка, по его признанию, всегда настраивала и вдохновляла молитва. И Грулев в самых восторженных тонах рассказывает о том, как войска после напутственного молебна «оказались снабженными для похода целыми иконостасами: поднесены иконы и от городов, и от дворянства, и от купечества… каждому нижнему чину выданы маленькие образки». И вот перед сражением он мысленно обращается с горячей молитвой к русскому Богу, прося его о помощи в предстоящем деле. И солдаты, его солдаты, «без напоминаний и команд… сами, по собственному побуждению, как один, сняли шапки, перекрестились и… тронулись в первый поход – навстречу неведомым, но жгучим событиям». А над почившим юным солдатом-новобранцем Грулев в порыве отчаяния «нагнулся, поцеловал и перекрестил его, призвав мысленно поцелуй его матери». Он признает Божий суд, а не «близорукий суд человека» и преклоняется перед великими истинами, явленными миру и завещанными Спасителем. Он твердо знает, что есть в мире «христианская вера в Божью помощь поднявшимся в защиту правды и готовым положить жизнь свою за ближних». И эта вера, «в связи с прирожденными русскому народу мужеством и храбростью», всегда склонит успех на сторону Отечества.

Но обращение в православие, к коему он все более прилеплялся душой, нисколько не ослабило любовь Михаила к «избранному» народу, частью которого он всегда себя ощущал, – избранному, по его словам, «не для радостей жизни, всем доступных, а для неизбывных гонений и страданий, неведомых и непонятных никакому другому народу в мире». Более того, делая

карьеру и обретая все большее влияние в обществе, он мог приносить теперь большую пользу своим соплеменникам. Существенно и то, что и родные не отреклись от него, и он неизменно поддерживал с ними самые добрые отношения.

Позже, уже на закате дней, Грулев признается: «Самое важное, что старательно и неусыпно держал всегда под светом моей совести, – это было то, что по мере сил я боролся, пассивно или активно, против несправедливых обвинений и гонений на евреев. Следуя вот в этих случаях «голосу крови» и велениям сердца, я в то же время видел в такой борьбе сокровенное и разумное служение России, моей Родине, по долгу совести и принятой присяги». Как видно, наш герой всемерно пытался соединить в своей жизни то, что нынешним националистам-почвенникам кажется несоединимым: беззаветный российский патриотизм и заботу о судьбе евреев.

Юнкерское училище Михаил называл «колыбелью главной массы нашего офицерства» и учился в нем блистательно. Овладевая специальными предметами и навыками боевой подготовки, он штудирует бездну военной и исторической литературы, не вылезая из училищной библиотеки. Не оставляет он и занятия литературой – перевел с немецкого пьесу Ф. Шиллера «Племянник – дядя» (переделку французской комедии Л-Б. Пикара), которая была поставлена в Офицерском собрании и имела успех. Тогда же проявились его аналитические способности и талант журналиста. Написанную им статью о походе в Индию напечатала в 1880 году авторитетная либеральная газета «Голос», причем как передовую, что для начинающего военного историка и литератора было большой честью. Позднее он опубликует много статей в «Русском инвалиде», «Военном сборнике», «Историческом вестнике», «Русской старине» и т. д. Но нельзя не сказать и о том, что тогда же, будучи юнкером училища, Михаил стал невольным свидетелем еврейского погрома в Варшаве. Потрясенный увиденным, он в сердцах выхватил винтовку и бросился защищать евреев и призывать их к самообороне, не думая о последствиях.


М. ГРУЛЕВЪ
Въ Штабахъ и на Поляхъ Дальняго Востока
ВОСПОМИНАНІЯ ОФИЦЕРА ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА И КОМАНДИРА ПОЛКА О РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНѢ
Комиссіонеръ Военно-Учебныхъ Заведеній
С.-Петербургъ. Колокольная 14

М. Грулев. «В штабах и на полях Дальнего Востока»

В 1882 году Грулев был выпущен из училища прапорщиком в Красноярский полк. Условия жизни в сырой казарме, подобной склепу, отнюдь не вдохновляли, однако настроение нашего героя было радужным и приподнятым. «Что все эти невзгоды по сравнению с занявшейся зарей новой жизни, со всеми ее заманчивыми перспективами! – восклицал он. – Да есть ли предел фантастическим грезам, куда юного прапорщика уносит его душевное ликование в первые дни, когда он наденет офицерские

эполеты? Что по сравнению с весенним трепетом души все эти преходящие неудобства житейские!» И прапорщик Грулев по собственному почину обучает нижних чинов грамоте, но вскоре полковой командир сие нещадно пресекает. А все потому, что в годы наступившей тогда реакции на грамотность в войсках начальство смотрело чуть ли не как на родоначальницу вольнодумства. «Поощрялись только праздность, безделье, даже пьянство, – сетовал Михаил, – а всякая наклонность к серьезному отношению к жизни и службе в лучшем случае высмеивалась товарищами, а в худшем – привлекала подозрительность начальства». А сколько подтруниваний и зубоскальства пришлось вынести Грулеву когда сослуживцы узнали, что он готовится к экзаменам в Академию Генерального штаба!

Через три года строевой службы он, по счастью, в Академию поступил и учился в ней весьма успешно. К чести Михаила, он, в отличие от других учащихся еврейского происхождения, никогда не скрывал свои национальные корни; напротив, голос крови иногда одушевлял его действия, заглушая подчас голос разума. Такая неосторожность могла самым пагубным образом отразиться на его карьере. Так, он вступается за свою родственницу, студентку Петербургской консерватории, которую как еврейку грозятся выслать вон из столицы. И ведь не побоялся он пойти на прием к самому градоначальнику фон Валю, отъявленному юдофобу, которому так прямо и сказал, что ходатайствует о своей родственнице. Хорошо еще, что фон Валь, увидев перед собой бравого офицера, Грулеву не поверил, а игриво ему подмигнул: «Понимаем, с какой стороны «молодая жидовочка» приходится родственницей молодому офицеру. Что ж, пожалуй, так и быть, оставляю вам вашу «родственницу».

Другой эпизод имел для Михаила не вполне приятные последствия. Случилось так, что на один музыкальный концерт в Павловске Грулев пригласил свою невестку, жену брата, и той почему-то пришло на ум говорить с ним на языке идиш. Их беседу услышал полковник Кублицкий, профессор Академии, и твердо вознамерился не давать ходу этому «шустрому еврейчику». И вот, когда пришла пора выпускных экзаменов, Кублицкий цинично придрался к Грулеву, стараясь всеми мерами преградить ему дорогу в Генеральный штаб. И, хотя другие профессора и преподаватели энергично защищали Михаила, из-за происков Кублицкого ему, выпускнику, не хватило все же двух сотых балла до первого разряда. Впрочем, ректор Академии дал Грулеву такую выдающуюся аттестацию, что тот был переведен в Генштаб даже раньше своих сверстников, получивших первый разряд.

После окончания Академии Грулев направлен штаб-

офицером в Забайкалье. Здесь, помимо военных, он демонстрирует и свои научные способности – в 1892 году выходят две его книги «Забайкалье. Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным округом» и «Аму-Дарья. Очерки Бухары и Туркмении», а в 1895 году – «Описание реки Сунгари» и «Сунгарийская речная экспедиция 1895 года», не утратившие своей ценности и сегодня.

Путешествуя по городам и весям империи, вглядываясь в жизнь и быт народа, Михаил пытается постичь русский национальный характер и делает зоркие наблюдения над «особым своеобразным типом сибиряка». Его взвешенной оценке людей этой «не видевшей крепостного права, необъятной страны» чужды как славянофильские восторг и умиление, так и русофобские шельмования. В самобытном русском характере, по словам Грулева, «привольно размахнулись душевные качества по широкому масштабу: тут и чуткая отзывчивость к чужому горю, самоотверженная – просто ангельская иногда доброта, рядом с неудержимой удалью, железной волей и прямо нечеловеческой иногда жестокостью. Это кажущееся противоречие представляет собою не что иное, как живое воплощение все той же беспредельной шири сибирской: доброта – так доброта без удержу; даст ли сибиряк простора злой воле, то она может проявиться в [самых] чудовищных размерах».

Книга М. Грулева

Офицера Михаила Грулева заботило, чтобы Россия прирастала новыми землями и зонами влияния. Он руководит научной экспедицией в Маньчжурию и указывает место для строительства города Харбина, ставшего позднее центром русской эмиграции. Его направляют в командировки в Индию, Китай, Японию, Аравию, почти во все страны Европы. Он исколесил и всю Сибирь, Забайкалье и Приамурье, шел с караваном верблюдов по туркменским пустыням и поднимался на вершины Памира; побывал в буддийских монастырях и у бухарского эмира; плыл на пароходе по Атлантике к Новому Свету и останавливался на побережье Тихого океана.

В поездках по странам и континентам нашего героя иногда сопровождала жена, Н. Грулева (известен лишь первый инициал ее имени), обладавшая, между прочим, незаурядными литературными способностями. В «Туркестанском литературном сборнике, в пользу прокаженных» (Спб., 1900), изданном на средства Российского Красного Креста, она опубликовала очерк «Ниагарский водопад», в коем ярко живописала это «ошеломляющее явление природы на нашей планете,

превосходящее по своему величию почти все, что на земле доступно наблюдению». До нас дошло лишь одно ее сочинение, но и по нему можно судить об уме и тонком психологизме автора. Чего стоят, например, ее размышления о том, что мы сегодня называем «индустрией развлечений»: «Где силами природы или слабыми руками людей создано что-либо достойное внимания туриста, там непременно прилепились назойливые чичероне, способные отравить ваше существование. Вы стоите иногда пораженные чудным произведением человеческого творчества или дивным явлением природы, вам хочется забыть хоть на миг житейские невзгоды, стать ближе к великому художнику или Божественному Творцу, отдаться наплыву поэтического чувства, как вдруг, точно грозный memento mori – вам над самым ухом вкрадчивым голосом навязывает свои услуги неотвязчивый гид. Иной раз кажется, что он задался специальной целью изводить вас, не дать возвыситься над будничными чувствами. Отклоните вы его услугу, он все же будет преследовать вас, как тень; заплатите ему – он уже по обязанности неотступно сопровождает вас, как хозяин». Помимо безупречного стиля, глубоко оригинально художественное мышление очеркиста: «громадные изумрудные устои» и «неумолкаемый рокот» Ниагары вызывают у нее ассоциации с бессмертным державинским «Водопадом», где «подобно пучине вод, кипит стремление страстей». Хотя каких-либо биографических данных об Н. Грулевой не находится, ее очерк позволяет нам заключить, что Михаил Владимирович выбрал себе в спутницы умную, проницательную и талантливую подругу, к тому же свою единомышленницу.

В это же время со всей силой развернулся и его яркий дар историка, журналиста и редактора. Он пишет острозлободневные статьи о международных отношениях, жизни российской армии, печатается в «Русском инвалиде», «Историческом вестнике», «Военном сборнике», «Приамурских ведомостях», «Русской старине» и др. Грулев стяжал себе славу видного востоковеда. Он стал редактором «Известий Туркестанского отдела Императорского Российского Географического общества», основателем секретного журнала «Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным округом»; опубликовал также несколько статей и переводов в многотомном издании Военно-ученого комитета «Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии». Михаил Владимирович редактирует газету «Туркестанские Ведомости», причем за короткий срок превращает этот сухой официальный листок в боевой орган прогрессивной печати, издаваемый пять раз в неделю. Его передовицы перепечатываются в Лондоне,

Берлине и Париже.

Поставив перед газетой задачу «не кривя душой, стоять на страже правды и справедливости», Грулев, как редактор и честный человек, не мог не откликнуться на дело Дрейфуса. В своем правдоискательстве он никогда не боялся идти против общего течения. Характерный тому пример: в зале суда полковник казачьего полка Сташевский убил выстрелом из револьвера адвоката Сморгунера, отца многочисленного семейства. А все потому, что Сташевскому якобы послышалось, что адвокат в своей защитительной речи сказал что-то оскорбительное для чести казаков. Однако было ясно, да и следствием доказано, что Сташевскому это только показалось. Тем не менее местная военная среда это убийство даже одобряла: ведь с одной стороны – какой-то там еврей, а с другой, – свой казачий командир, «защищающий честь полка». Столичная печать на сие никак не откликнулась, а вот «Туркестанские Ведомости» отреагировали молниеносно! И тут же к военному министру полетела жалоба: Грулев, дескать, принижает авторитет русского солдата и офицера.

Обвинение явно облыжное, ибо не кто иной, как Грулев не уставал говорить об «искони присущей русскому воину дисциплине, добродетели и самоотверженной скромности», о «непобедимой стойкости русского солдата». При этом он цитировал слова Фридриха Великого: «Недостаточно убить русского солдата, его надо еще потом повалить!» И такой солдат мог происходить только из народа с «великой нравственной упругостью, неистощимой живучестью моральной силы», каковым, по мнению Михаила, был великий русский народ. И разве не Грулев радел об уважительном отношении к русскому солдату не на словах, а на деле, говорил о недопустимости «тыканья», зуботычин и рукоприкладства в обращении с ним. Он негодовал на то, что «появление начальника в виде грозы и злого ненастья [подчас] отождествляется со служебным рвением», что «живуч и крепок еще у нас затхлый дух крепостничества, который поборники всякой косности готовы сделать каким-то привилегированным культом нашей армии». И уж совсем недопустимы случаи, когда защитника Отечества изгоняют из публичных мест и гуляний. Но, отдавая дань несокрушимому мужеству русского воина, Грулев не мог не видеть, чего тому недостает – «простых положительных знаний, сведений из обыденной солдатской науки, без которых все его чудные нравственные силы остаются втуне лежащими и не приносят никакой пользы». И он предлагает ряд неотложных мер по воспитанию солдата.

А сколько привелось ему писать о нравственном престиже военной службы, о том, сколь высока и ответственна эта государственная и общественная обязанность! Ведь требует она от человека сразу трех искупительных жертв – все его самолюбие, вкусы, призвание. Что же до малодушных, бегущих из армии, то эти, по его мнению, достойны лишь презрения, ибо «неразумно проявлять нескромность в светлые дни побед, но еще хуже, преступно падать духом под влиянием временных неудач!» Согласно Грулеву основной атом военной службы – это солдат, и прежде чем стать офицером, надлежит побывать в солдатской шкуре, потянуть лямку в самых нижних чинах, как это сделал когда-то непобедимый Суворов. И Михаил Владимирович не боится затрагивать самые острые вопросы современности: то он критикует армию за ее оторванность от российского общества; то ополчается на воздыхателей «отеческой розги»; то бичует армейскую канцелярщину с ее хроническим «чернильным запоем»; то призывает офицеров к сокращению числа кутежных праздников и строгому, умеренному образу жизни; то требует от начальства иметь по одному только денщику (а не целой дворни, как это было на самом деле); то ратует за увеличение ассигнований на библиотеку Главного штаба – это «драгоценнейшее книгохранилище Всероссийской армии». Как отмечает современный военный историк А. И. Каменев, некоторые идеи Грулева не устарели и «близки по духу времени начала XXI века, то есть дню сегодняшнему».

Михаила Грулева с полным правом можно назвать российским патриотом. Но он ратовал за «здоровый патриотизм», основанный на единственной и постоянной цели – безопасности государства. Его любовь к Отечеству не имела ничего общего с тем миражом внешнего и внутреннего благополучия, который окутал российское общество. Михаил всегда выступал против тупого шовинизма, преувеличения своих сил и умаления сил противника. Между прочим, именно мнение Грулева учел Николай II, определяя позицию России в связи с англо-бурской войной (дело в том, что Германия в это время активно подталкивала Россию к военному вторжению в английские владения на Востоке – Афганистан и Индию). Грулев тогда детально проанализировал последствия этой операции для России и региона в целом и выступил со своими рекомендациями на заседании Генерального штаба. А его капитальный труд «Соперничество России и Англии в Средней Азии» (1909) получил международное признание и был переведен на английский и немецкий языки.

Еще в 1895 году будучи российским военным агентом в

Японии, он представил подробную записку о боевом духе и вооруженных силах этой страны. Выводы его носили откровенно предостерегающий характер. Начальство, однако, не придумало ничего лучшего, как обвинить его в непатриотичности и самооплевывании, а ангажированные Военным министерством лекторы гастролировали по Руси и с лягушачьим бахвальством грозились «взять этих макак-японцев со стола и поставить их под стол» (по этому поводу язвительный генерал М. И. Драгомиров сострил: «Они-то макаки, да мы-то кое-каки»). Время, между тем, показало, что эти «ретивые партизаны самосмакования», кичившиеся своим патриотизмом, нанесли державе неисчислимый вред, а подлинными радетелями России были именно такие, как Грулев, что они доказали и на поле брани.

Во время русско-японской войны полководческие таланты Михаила Владимировича раскрылись с наибольшей полнотой. Он командовал 11-м пехотным полком, затем целой дивизией и в конце войны был увенчан орденами Св. Владимира 2-й и 4-й степеней, получил наградное оружие «За храбрость» и чин генерал-майора. На этой войне он был тяжело контужен. Между прочим, благодаря донесению Грулева (ведь бывают герои и проигранных сражений!) произошло спасительное отступление русской армии под Ляояном, что позволило избежать огромных людских и материальных потерь. При этом сам генерал прикрыл у Янтая тыл нашей армии от удара войск японцев. Он бросался в самое пекло битвы. «Жестокий кровопролитный бой кипит кругом меня, – живописует Грулев в своих военных мемуарах, – это видно хотя бы потому, что смерть – лютая смерть – косит направо и налево. Меня самого смерть коснулась уже не раз в эти часы своим зловещим крылом, проносясь постоянно мимо меня, задев и седло, и лошадь; куда ни посмотришь около себя, видишь кругом кровь, страдания и смерть. А между тем – обозреваю глазом это поле смерти и поражает эта пустынность, эта наружная, чисто могильная тишина, прорывающаяся минутами среди ружейной трескотни; даже обычный мирный колорит жизни, судя по отдаленному дымку, который вьется из трубы китайской фанзы – покрывает этот ужасающий разгул смерти…» А с какой любовью пишет он о стойкости и остроумии российских солдат: «Люди надрываются, но не теряют бодрости духа, пуская время от времени веселые прибаутки. Каждая пушка окрещена или «Марьей Ивановной» или «теткой Пелагеей»:

– Ну, Марья Ивановна, повертывайся!

– Ну-ка, тетка, упрись задом!»

При этом он еще успевал освещать события этой войны в своих живых, чрезвычайно острых корреспонденциях, которые

публиковались в «Русских ведомостях» и в журнале «Разведчик».

Но, сражаясь на передовой за великую Россию вместе с другими своими соплеменниками, генерал остро переживал, что там, в тылу, прокатилась волна кровавых еврейских погромов. «На меня напало смертельное уныние, длившееся несколько недель, – признавался он, – одолела апатия, от которой я не мог освободиться. В душе произошел какой-то разлад с самим собою и со всем окружающим. Я стал искать выход из душевного маразма, примирения с совестью». Грулев никак не мог взять в толк, почему в общественном сознании слово «патриот» никак не сопрягается со словом «еврей». Вот здесь, в этой самой Маньчжурии, погибли тысячи еврейских солдат. Но патриотами им быть отказано: ведь если они проливали кровь, то… не ту кровь; а если они погибали, то… как-то не взаправду, а с кукишем в кармане, – умирали вроде бы, сражаясь за Отечество, но думали-то при этом о тайном заговоре и закабалении России! А «окончивший службу еврейский солдат, случайно оставшийся в живых, не имел даже права жительства. Его сейчас же выселяли. С точки зрения правительства, только труп его мог там остаться. А сколько терпения и покорности злой судьбе нужно было еврейскому солдату, чтобы не только не бежать поголовно из армии, но еще проявлять… достаточную долю рвения!»

Более того, некоторые из евреев показали себя на войне подлинными героями, и среди них – знаменитый Иосиф Трумпельдор, ставший полным Георгиевским кавалером. Но вот что чудовищно – нередко самые смелые, самоотверженные поступки евреев истолковывались до того превратно, что служили мишенью для их обвинений и шельмования. Так, во время Тюреченского боя (15–18 апреля 1904 года) был ранен священник о. Щербаков. Обессиленного иерея под сильным огнем неприятеля увели с поля брани двое евреев, которые этим и спасли ему жизнь. Оба были представлены к награде, и даже появилась литография, запечатлевшая трогательный момент единения разных сынов Отечества. Но не тут-то было: правая пресса тут же представила сей эпизод как образчик трусости иудеев, которые будто бы бежали в самый разгар битвы, прикрываясь ризой священнослужителя…

После заключения мира с Японией увенчанный наградами Грулев получает лестное предложение занять место первого заместителя начальника Генерального штаба, но отказывается. «После всего пережитого в… войне, – пояснил он, – после всего, что творилось в России после войны, у меня раскрылись глаза… От предложенной мне высокой должности я отказался под предлогом служить в строю».

Между тем он увлеченно работает над историей этой войны и в Военно-исторической комиссии Генштаба. Он также переводит с немецкого труд барона Эберхарда фон Теттау (1857–1922), прусского майора и германского военного атташе при российской армии «Восемнадцать месяцев в Маньджурии с русскими войсками» (1907–1908). Кстати, перевод докладов Э. фон Теттау читанных им в Военном обществе в Берлине, Грулев публиковал и в журнале «Разведчик» в 1904–1905 годах. Взгляды автора и переводчика на эту бесславную для России войну полностью совпадают. Э. фон Теттау говорит, к примеру: «Никто не сочувствовал этой войне, даже в высшем обществе относились к ней равнодушно. Солдаты… едва ли знали, за что они сражаются. В каждом письме с родины их спрашивали, когда они вернутся домой, чего они ищут там в Маньчжурии». В этом же духе и оперируя теми же фактами, высказывается о войне и Грулев.

Важным итогом осмысления уроков Цусимы и Порт-Артура явился двухтомник Грулева «В штабах и на полях Дальнего Востока: Воспоминания офицера Генерального Штаба и командира полка о Русско-японской войне» (1908). Цель этой книги Михаил Владимирович видел в том, чтобы «все пережитое в этой войне запечатлеть по свежей памяти на страницах истории. И, может быть, – надеялся он, – из общего запутанного клубка только что пережитых событий, фактов и впечатлений пытливому историку удастся извлечь руководящую нить для грядущей жизни». Убийственен и вывод генерала: «Отсутствие инициативы и самодеятельности, пассивная роль нашего командного состава, полагавшего возможным руководить войсками в бою только на основании нехитрого кодекса «слушаю» и «как прикажете», – кто не сознавал у нас этого недуга задолго еще до начала злосчастной войны».

Расширилась и журналистская деятельность Грулева. Он активно сотрудничает с русской либеральной периодикой Петербурга, Москвы, Одессы, выступает в газете «Русские ведомости» с целой серией острополемических статей под названием «Вопросы национальные и вероисповедальные». При этом признавался: «Я усиленно боролся в печати против преследования всяких инородцев, так как, по моему убеждению, это губило Россию больше, чем какое бы то ни было другое зло».

Почти все сочинения и переводы Михаила Владимировича напечатаны видным русским издателем и книготорговцем Владимиром Антоновичем Березовским (1852–1917), с которым Грулева связывала давняя дружба. Достаточно сказать, что редактируемый Грулевым популярный иллюстрированный военный журнал «Разведчик» был основан и печатался на

средства Березовского. Создатель первого в России специализированного военного издательства, в прошлом сам кадровый офицер, тот выпустил около 4000 книг, и среди них такие, как «Энциклопедия военных и морских наук» в восьми томах (1883–1897), издания серии «Солдатская библиотека», «Атлас сражений XIX века» (1894); печатал он труды выдающихся военных теоретиков М. И. Драгомирова, А. К. Пузыревского, П. Л. Лобко и др. Березовский был и комиссионером военно-учебных заведений России. И он сразу же поверил в Михаила Грулева, в коммерческий успех его книг, не говоря уже об их общественном и воспитательном значении. И не ошибся.

Даже оппоненты генерала из консервативного лагеря вынуждены были признать «огромную долю гражданского мужества со стороны автора». Грулев не побоялся выступить и против проекта военного министра В. А. Сухомлинова, возжелавшего упразднить крепости на западной границе России. При этом генерал повел такое наступление в печати на проект Сухомлинова, что склонил на свою сторону и премьера П. А. Столыпина, и самого царя. А взбешенный военный министр, словно в издевку, назначил Михаила Владимировича комендантом самой отдаленной крепости на западном рубеже империи – Брест-Литовской, бросив напоследок едкую фразу: «Вот вы все совали мне палки в колеса по крепостному вопросу: поезжайте теперь туда, чтобы поближе изучить это на практике!»

Прибыв на место назначения, генерал обнаружил множество вопиющих пробелов: не было гаубичной артиллерии, минимального комплекта боевых припасов; многие форты требовали постоянного ремонта; даже гарнизон крепости не был полностью сформирован. «Но о таких пустяках мало думали придворные подхалимы в Петербурге, занятые лишь мыслью угождать высшим сферам, – с горечью писал Грулев, – там заняты были главным образом секретными циркулярами, чтобы оградить Россию от какого-нибудь латыша или еврея-механика».

В Брест-Литовске ему, как начальнику штаба крепости, в местной типографии И. Кобринца удается издать книгу, которая в другом месте империи едва бы прошла вездесущую цензуру: «Злобы дня в жизни армии» (1911). Он без обиняков заявляет здесь, что попытка начальства через улучшение материального довольствия оградить войска от революционных настроений закончилась полным провалом. Вновь говорит об унизительном отношении к нижним чинам, о малограмотности рядового состава, о плохом санитарном обслуживании. Затрагивает самый широкий круг вопросов: и военного планирования, и законодательства, и реформ в армии, и агентурной работы,

критикует российскую систему управления окраинами и т. д. Причину поражения в войне с Японией Грулев видит и в том, что правительство пренебрегло военным воспитанием молодежи, а это именно на этом вопросе следовало бы «сосредоточить на себе внимание всех ведомств еще в большей степени, чем создание флотов воздушных или подводных». «Во всех без исключения государствах, – пишет он, – где серьезно озабочены вопросами государственной обороны, принялись теперь энергично за военное воспитание юношества. Это вызывается не только развитием идеи превращения армии в вооруженный народ, но также и крайним сокращением срока службы под знаменами. Без лишних слов ясно, что в течение двухлетней действительной службы нет возможности надлежащим образом образовать и воспитать солдата. Приходится волей-неволей обратиться кучащейся молодежи, т. е. подготовке сырого материала, поступающего в кадры для обработки».

Выразительная, яркая и вместе с тем предельно доходчивая речь генерала обретает глубину и афористичность: «Солдату нашему нужна не муштра и палка, а школа… Существует общее правило – когда человеку дается больше прав, от него требуется и больше обязанностей. У нас же все права переданы в законное владение начальству, все обязанности предоставлены в удел подчиненным… На практике переданная с рук на руки работа оседает, наконец, на спине того, кто не может уже свалить ее на шею другому».

Михаил Владимирович продолжает отстаивать свои взгляды в печати, и некоторые его статьи буквально вызывают бурю в Военном министерстве. В июне 1911 года министр строго предупредил генерала-вольнодумца: если направление ваших статей не изменится, последует увольнение в отставку в дисциплинарном порядке. Не дожидаясь сего, он сам подает прошение об отставке «по болезни» (хотя все знали, какого свойства была эта «болезнь»). Но изгнать из армии заслуженного, уважаемого всеми военачальника было, по-видимому, как-то не с руки. Все же в 1912 году начальство приняло наконец соломоново решение: Грулев получает высокое звание генерал-лейтенанта и одновременно – отставку. Полководец без армии, наш герой покидает Россию и выезжает на постоянное жительство в Ниццу.

Израильский исследователь А. Я. Черняк задался вопросом: каковы были финансовые возможности эмигранта Грулева? Сославшись на историка П. А. Зайончковского, он указал, что в 1898 году пенсия генерал-лейтенанта Российской армии составляла 2858 рублей в год, а это, учитывая высокую покупательскую способность тогдашнего рубля, было довольно

солидной суммой. Однако именно с 1912 года размер пенсий увеличен, они исчисляются не только из окладов жалованья, но и от столовых и добавочных денег (а одни только столовые деньги начислялись в то время: начальнику дивизии – 6000 рублей, а бригадному командиру – 4000 рублей в год). При определении пенсий учитывались участие в военных действиях, боевые ранения, ордена и награды, срок службы (военные, прослужившие более 25 лет, получали пенсию в размере своего полного оклада). По особым правилам назначалась пенсия увольняемым в отставку по болезни (так что прошение об отставке по болезни Грулева было неслучайным). Не упустил сей исследователь и такой источник дохода Михаила Владимировича, как литературные гонорары, в том числе за переводы его сочинений на иностранные языки. И хотя мы не располагаем даже приблизительными данными о размерах оплаты всех его трудов, надо думать, что отставной генерал обеспечил своей семье за границей вполне безбедную жизнь. Показательна семейная фотография Грулевых с Лазурного берега. Наш герой запечатлен здесь вместе с престарелой матерью, женой и дочерью на пороге внушительного дома с инкрустированной дверью. Он одет с иголочки в респектабельную пиджачную тройку с крахмальной рубашкой и галстуком, с золотыми часами на цепочке. Держится вальяжно, запустив руку в карман, а другой опирается на клетку с экзотическим попугаем, – чем не символ достатка и преуспеяния?

М. Грулев с семьей в Ницце

Ницца – это вечный праздник и примета благосостояния. Русский националист Михаил Меншиков назвал сей город «негласной еврейской столицей». Однако, хотя иудеи поселились там с незапамятных времен, по данным на 1904 год, их насчитывалось лишь 500 при населении 93 тыс. человек, то есть менее 1 процента! Зато русские обживали Лазурный берег весьма настойчиво. Здесь жили и творили Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, А. П. Чехов, М. З. Шагал, И. А. Бунин. Массовая эмиграция в эти места начнется уже после Октябрьского переворота, и известно, что к 1930 году на французской Ривьере проживало около 30 тысяч выходцев из России. А в конце XIX– начале XX века в Ницце нашли приют оппозиционеры самого разного толка. В этом средиземноморском городе покоятся останки Александра Герцена; здесь доживали последние дни опальный «диктатор сердца» Михаил Лорис-Меликов и отставленный уже Николаем II экс-министр иностранных дел России Сергей Сазонов. К моменту же приезда сюда генерала русская колония составляла около 3300 человек.

О будничной жизни Грулева в богоспасаемой Ривьере дает

представление эмигрантская печать. Газеты пестрят объявлениями о божественной литургии и молебнах в православных храмах, о выдаче карточек Церковноприходского совета, о занятиях клуба русских скаутов, о публичных лекциях и собраниях «Литературного содружества» писателей в изгнании, о приеме в студию хореографии и даже об отправке в Россию посылок и переводов с «гарантией скорого и точного исполнения».

И видно, что нити, связующие Михаила Владимировича с Россией, не прерываются – он переводит труды своего старого товарища по оружию, майора Эберхарда фон Теттау «Куропаткин и его помощники: Поучения и выводы из Русско-Японской войны» и «От Мукдена до Портсмута: Поучения и выводы из Русско-Японской войны», которые издает в 1913–1914 годах все тот же В. А. Березовский. Помимо бескомпромиссности оценок самого автора, беспощадно критикующего действия российского генералитета, и сам переводчик в своих выводах не церемонится. «Я утверждаю, – заявляет Грулев в предисловии, – что при всех таких качествах А. Н. Куропаткина и его помощников исход войны не мог быть иным даже в том случае, если бы в отношении тактической подготовки воюющие армии поменялись местами, т. е. если бы русскому командному составу… дали лучшую армию в мире, она даже при сравнительном превосходстве сил все же была разбита, потому что у начальников не хватало ни решимости, ни твердой воли, ни понимания важнейших факторов ведения войны».

Неудивительно, что позиция фон Теттау и Грулева сразу же вызвала резко полемический выпад справа. Генерал-майор Николай Ухач-Огорович в опубликованном им сочинении «Куропаткин и его помощники: Ответ барону фон-Теттау» (1914) назвал их книги «пасквилем, оскорбительным для нашей армии». Восхваляя «боевой инстинкт русского народа» и подчеркивая, что «Куропаткин и большая часть его помощников – всей душой люди русские», Н. Ухач-Огорович склонен оправдывать и их, ибо, как он утверждает, «нельзя оценивать деятельность русских людей иноземным аршином!» Подтекст ясен: немец фон Теттау и еврей Грулев, проявляя «близорукость и мелочность», чернят то, что для русского патриота светло и свято. И не Куропаткин с сотоварищами повинен в проигранной войне, а как раз такие «политические смутьяны», как автор и переводчик. В заключение генерал проводит весьма сомнительную параллель бесславной русско-японской войны со спасительным поражением и отступлением армии в 1812 году. О русской армии Ухач-Огорович говорит самым приподнятым тоном.

Между тем трезвая оценка военного начальства могла бы сыграть отрезвляющую роль в преддверии новой большой войны – Первой мировой. Накануне ее военный министр В. А. Сухомлинов опубликовал в «Биржевых ведомостях» статью с вызывающим названием – «Мы готовы!», и это в то самое время, когда, по его же признанию, Россия была не только не готова к войне, но элементарные реформы, необходимые армии, могли быть закончены только к 1916 году.

С самого начала баталий Михаил Владимирович выступает как военный репортер газеты Конституционно-демократической партии России «Речь», издаваемой под руководством П. Н. Милюкова и И. В. Гессена. Сотрудничество Грулева с идеологами русского либерализма позволяет судить о его политических взглядах. Очевидно, что с кадетами его сближали такие пункты их программы, как равенство всех российских граждан без различия пола, религии и национальности, всеобщее избирательное право, культурное самоопределение всех наций и народностей.

Из Франции отставной генерал внимательно следит за событиями на полях сражений, подвергая действия противоборствующих сторон детальному аналитическому разбору. Результатом этой его работы как военного эксперта стали выпуски серии «Великая борьба народов» (1914–1918), явившие собой впечатляющие очерки боевых действий на европейских фронтах. Это роскошно иллюстрированное издание с картами, фотографиями баталий, портретами военачальников. Однако имя автора здесь не указано: по-видимому, генерал-эмигрант продолжал быть в опале у российских властей предержащих.

При характеристике военно-политической обстановки Грулев всегда привлекает исторический материал, изучает национальные традиции и обычаи народа воюющей державы. Его гражданская и человеческая позиция наиболее полно выражена в концептуальной статье «Война России с Германией» (Выпуск 4, 1915). «Если припомнить легенду о борьбе гигантов, имевшую место в доисторический период, – пишет он, – и если принять ее аллегорический характер, относящийся до всех времен вообще, то настоящая европейская война вполне отвечает древним символам. А Россия с Германией являются главными борющимися колоссами!» «Мир с удивлением узрел русскую сплоченность, готовую дать могучий отпор войскам, считавшимся до сего времени лучшими по своей организации и обучению, – заявляет Грулев и говорит о несомненном духовном превосходстве русских над немцами. – Отныне оно [это превосходство. —*Л. Б.*] будет

служить основой нашей национальной гордости и поведет Россию по пути очищения от развившейся на ее могучем теле немецкой проказы. Сознание значения такого преимущества позволит нам возродиться и показать миру продукты нашего великорусского гения. Наша культура, доселе находившаяся в презрении у Запада, получила уже и теперь… название «культура ума, основанная на чистоте сердца». В будущем она завоюет себе еще большее поклонение. Эта духовная чистота, выказавшая себя так рельефно в рыцарском образе действий наших войск, делает каждого русского рядового героем и, являясь антитезой немецких зверств, заставляет наших друзей и недругов признать великую и благоприятную для нас разницу между русской и немецкой национальностями. Теперь настало время повторять, не сомневаясь, как то иногда было раньше, в своих способностях к работе, фразу «будем сами собою».

Значение сего труда для изучения истории Первой мировой войны трудно переоценить. Потому представляется странным, что в авторитетном издании «Военная мысль в изгнании. Творчество военной эмиграции» (М., 1999) имя Грулева хотя и упомянуто, но сочинения его никак не освещены и не прокомментированы.

В эмиграции он сближается с видным деятелем освободительного движения, разоблачителем провокатора Е. Ф. Азефа, непримиримым борцом с монархизмом, большевизмом и нацизмом Владимиром Львовичем Бурцевым (1862–1942) и печатается в издаваемой им в Париже крупнейшей русской эмигрантской газете «Общее дело» (1918–1922), где публиковались такие признанные корифеи, как Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, А. Н. Толстой и др. Генерал воспринимал это сотрудничество как продолжение своего служения свободному русскому слову и находил здесь преемственность со своей первой значимой публикацией – в либеральной газете А. А. Краевского «Голос», закрытой в 1883 году цензорами-гасильниками Александра III.

«Борьба с антисемитами – наше общее дело!» – не уставал повторять Бурцев. Особенно значимой была эта борьба после Октябрьского переворота, когда многие противники коммунистического режима, отмечая активное участие в революции евреев-большевиков, возлагали их вину на весь народ Израиля. Вспышка неистового антисемитизма привела Россию в Гражданскую войну к кровавым еврейским погромам. И Бурцев в конце 1919–1920 годов едет в Крым и на Кавказ, добивается аудиенции у генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля и просит, убеждает, настаивает, чтобы они приняли неотложные меры против сего варварства.

Линию беспощадной и бескомпромиссной борьбы с погромщиками он неуклонно проводит и в газете «Общее дело». Весьма симптоматична напечатанная статья Грулева «Нельзя молчать» (1919, № 63, 25 декабря). Название текста, страстный обличительный тон автора близки к известному публицистическому произведению Льва Толстого «Не могу молчать» (1908), где тот открыто бичевал российское самодержавие. Но Грулев апеллирует к авторитету великого русского писателя еще и потому, что «Лев Толстой осуждал антисемитов». Генерал с горечью и негодованием отмечает: «Крайне печальные известия приходят из России о массовой резне евреев, сопровождающейся грабежами, повальными изнасилованиями женщин всех возрастов, не исключая 60-летних старух и 10-летних детей, которых после издевательств и убийства бросают в отхожие места». Он отдает должное адмиралу Колчаку и генералу Деникину, которые «делают все, что могут, чтобы предотвратить этот кровавый разгул».

Автор восстает против самого отождествления еврейства с ненавистным всем большевизмом. «В рядах большевиков мы отмечаем только евреев, – полемизирует он, – а там, где они выступают против большевиков, как это было в покушении на Ленина, убийстве Урицкого… там этого не замечают вовсе». Кажется, девяносто лет назад писано, а как современно звучат слова генерала! Ведь и сегодня российские «патриоты», обвиняя еврейский народ в Октябрьской катастрофе, почему-то не желают замечать таких его «представителей», как Фанни Каплан и Леонид Канегисер, положившие свои жизни за иные, демократические идеалы. Отметим, что в этом же ключе высказывался и Бурцев, который писал, что коммунистические вожди «были отщепенцами еврейской нации» и что «на самом деле они не были связаны ни с еврейской историей, ни с еврейской религией, ни с еврейской массой, а были исключительно интернационалистами, исповедовавшими те идеи, какие разделяли социалисты других национальностей, и сами они были ярыми врагами национального еврейства вообще».

Грулев сформулировал здесь еще одно принципиально важное положение: «Еврейские погромы всегда предвещают реакцию. Реакционеры пробуют здесь свои силы. Они бьют евреев, но метят в демократию». Показательно, что нетерпимость к антисемитизму проявляли русские эмигранты-демократы – представители самых разных партий и политических течений (В. А. Маклаков, П. Б. Струве, П. Н. Милюков, В. Д. Набоков и др.), в этом они противостояли нацистам и деятелям крайне правого толка.

В этой связи не вполне понятно, чем было вызвано согласие Грулева стать одним из редакторов газеты «Вестник Ривьеры» (Ницца), начавшей выходить с весны 1930 года. На деле сия газета издавалась книготорговцем И. Г. Вилькомирским (ум. 1933) по инициативе Иосифа Иосифовича Колышко (1861–1938), личности в русской эмиграции весьма одиозной. Очевидно, что Колышко хотел воспользоваться именем Грулева в чисто рекламных целях, как «свадебного генерала» при своем издании. Ведь взгляды Колышко достаточно ясно выражены в его письме от 5 апреля 1930 года, редактору белградской русской газеты фашистского толка «Новое время» М. А. Суворину (сыну А. А. Суворина, издателя одноименной известной правой газеты). Колышко, в частности, пишет: «…Смею Вас уверить, Ваш и наш орган будут вполне созвучны… А может быть, кто из Ваших сотрудников почтит нас своей статьей… В надежде, что найду в Вас отклик, прошу верить в искренность чувств уважения и преданности». Характерно, что когда в 1934 году в Берлине начнет выходить субсидируемая Геббельсом русская нацистская газета «Новое слово», Колышко станет одним из ее ведущих авторов и публицистов. Острые идейные разногласия между ним и Грулевым были неизбежны.

По словам писателя-эмигранта Владимира Крымова, Колышко сам «писал все номера» этого издания. Тем не менее без участия Грулева здесь, как видно, тоже не обошлось. Публикаций за его подписью в газете действительно нет, однако анонимная статья в № 32 «Вестника Ривьеры» от 2 ноября 1930 года близка по стилю и публицистической манере корреспонденциям нашего генерала и заключает в себе анализ военно-политической обстановки в современной Европе. Меткость характеристик выдают в авторе человека проницательного и широко мыслящего, подлинного знатока ратного дела. Он вопрошает: «Может ли воевать Польша Пилсудского, Германия Гитлера, едва стоящая на ногах (экономически) Италия, защемленная между Эррио и Тардье Франция и даже монолитная сталинская Россия?» И следует вывод, что нынче, в 1930 году, мировая бойня невозможна: «Воевать, т. е. в кого-то стрелять, кого-то душить газами и танками они могут. Но разве же это будет война… Да, пьяная, дикая свалка всех против всех возможна, как возможен тайфун или землетрясение». Далее дается прогноз, поражающий своей точностью: «Война как нечто осмысленное, глубоко обдуманное и обеспеченное ранее 10 лет немыслима».

Откуда же исходит опасность? «Есть лишь одна страна, один народ в Европе, перед которым рисуется более или менее ясный объект войны – Германия, – утверждает он. – Реванш! Сбросить

ярмо позорного Версальского мира! Мы знаем, как рисует себе реванш Германия Гитлера!» Примечательно, что Германия ассоциируется именно с Гитлером. И это при том, что нацистская партия еще не пришла тогда к власти (хотя и добилась успеха на выборах в сентябре 1930 года, получив в рейхстаге 107 депутатских мандатов: за нее проголосовало 6,5 млн. человек – 18,3 процента всех избирателей), первенствовали же там в то время все-таки социал-демократы. Но генерал провидит страшную силу коричневой чумы. Увы, эти невеселые пророчества сбудутся: ровно через 10 лет Германия Гитлера нападет на Францию, и немецкие войска будут бойко маршировать по оккупированному Парижу. Любопытно еще одно предсказание, и касается оно «кремлевского дьявола» Сталина, о коем автор пишет, что тот должен «лечь в мавзолей обок с Ленинской падалью». И ведь как в воду глядел генерал, словно знал, что с лишком двадцать лет пройдет и так и станется (одного только не ведал наш автор: не залежится там «вождь и учитель», после разоблачения культа личности вынесут его из мавзолея и в наказание… перезахоронят у кремлевской стены).

Неповторимый стиль Грулева с присущей ему афористичностью и яркой образностью угадывается в анонимной корреспонденции «У разбитого корыта» («Вестник Ривьеры», № 34,1930,16 ноября). В пользу его авторства говорят оригинальные исторические параллели, богатство культурных и литературных реминисценций, а также панорамный характер статьи, что вообще отличает работы генерала. Он весьма низко оценивает здесь нравственный уровень своих сотоварищей-эмигрантов. При этом все самые отталкивающие их свойства и черты объявляет наследием прежней, царской России, откуда те родом. Вот что он пишет: «В беженстве у нас пышно расцвели качества, заложенные со времен Тушинского вора (а то и раньше), Плюшкина, Держиморды, Фамусова, Хлестакова, Смердякова – имя же им легион: вероломство, скупость, злость, лакейство… В беженстве требуют от зайца доказать, что он не верблюд; в беженстве миллионеры собирают веревочки и окурки, а нищие пропивают последнее су; в беженстве скорпионы жалят насмерть зазевавшихся; в беженстве лгут, как не снилось Ноздреву, самозванствуют, как не снилось Хлестакову, подличают, как не подличал Смердяков, – в беженстве воскрешают ту Россию, над которой сквозь слезы хохотал Гоголь и с дворянским презрением морщился Бунин, которую в эпилептическом надрыве осязал Достоевский, с предсмертной тоской описывал Чехов и с хамским торжеством смаковал Горький – Россию смрада, застенка, лакейской и непревзойденного хамства… Немало хамов и лакеев

властвовало над Святой Русью. Со времен Бирона, Аракчеева, Булгариных, Бенкендорфов, Плеве, Витте, Протопоповых к лакейству и хамству отчизне Державина, Пушкина, Толстого не привыкать».

Как видно, столь уничижительная аттестация самовластья, прошлого страны разъединяет автора и с монархистами, и с русскими «патриотами» (потому атрибуция сего текста фашистствующему Колышко весьма сомнительна). Но в еще более резких выражениях характеризуется в статье послереволюционная Россия. Так, о захвате большевиками власти в 1917 году генерал пишет: «Тулуп монархии вывернули наизнанку, и из вонючей, потом и насекомыми пронизанной овчины выползли такие хамы и лакеи, каких не знала Россия Гостомысла. И пала перед ними ниц Святая Русь. И хорохорились над ней революционные Хлестаковы…» А о «царстве Сталина» сообщается, что «власть бандита опирается на восемь миллионов ему сочувствующих и им живущих опричников; что остальные 142 миллиона русских людей – голодное, забитое стадо, которым успешно правит восемь миллионов отлично вооруженных, сытых пастухов; что голод нигде не способствовал инициативе и организации; что террор – именно то, что нужно большевикам, чтобы удержаться у власти».

Существенно, однако, что и либералы из окружения А. Ф. Керенского также не вызывают у автора ни малейшей симпатии. С горькой иронией пишет он о том, что бывший российский премьер вот уже тринадцать лет «учит оголтелое от нужды, унижений и размышлений беженское стадо, как надо сделать, чтобы Россию Сталина превратить в Россию… Керенского, чтобы вновь открылись царские постели и кухни и чтобы… золотая рыбка вновь служила ему за царским столом. Чтобы разбитое беженское корыто с намыленным беженским тряпьем превратилось в стол под зеленым сукном, за которым воссел бы, как в 1917 году, десяток болтунов под министерскими кличками и, разинув рты, внимали бы речам его, обер-болтуна». Грулев глубоко разочарован, он называет Керенского «главой всероссийской говорильни» и заключает: «Главноуговаривающий Временного Правительства, не сняв еще юбки, сидит как ни в чем не бывало у своего парижского корыта и приглашает постирать с ним грязное русское белье людям ума и таланта – тем людям, что были его жертвами в России… У разбитого корыта, если не разбитые надежды, то великий конфуз».

Разочаровавшись в либеральной говорильне, в возможности изменить государственный строй авторитарной России, наш генерал обратился к своим национальным корням, в чем и обрел свою духовную нишу. «Записки генерала-еврея» были завершены

Грулевым в 1929 году, а изданы за его счет в 1930 году. И знаменательно, что доходы от продажи издания автор пожертвовал «в пользу сионизма» – в Еврейский национальный фонд.

Книга напечатана в парижской типографии Паскаля, издававшей книги на французском, немецком, армянском языках, иврите, выпускала и русские книги. Наряду с произведениями словесности (М. А. Алданова, О. А. Волжанина, А. М. Силетренникова, А. Б. Петрищева, сборников эмигрантских поэтов Парижа и т. д.), эта крупная типография активно печатала биографическую и мемуарную литературу, которая, по словам историка эмиграции М. Раева, вызывала «неизбежный интерес у читателя Русского Зарубежья» и пользовалась «особенным успехом». В числе таких изданий – «Дневник кавалерийского офицера» (1931) Г. А. Гошовта, «Чечня и разбойник Зелимхан: Из далеких воспоминаний» (1932) С. А. Бердяева, «Дела минувших дней: Записки русского еврея» (1933–1934) Г. Б. Слиозберга и др.

Нельзя сказать, что позиция автора «Записок генерала-еврея» была сразу же и безоговорочно принята всеми. Генерал-майор В. И. Назнанский в своей книге «Крушение великой России и Дома Романовых» (1930) иронизирует по поводу «ярко-отчетливого заглавия» книги, да и о самом Грулеве говорит, что тот затаил злобу человека, «обиженного начальством… в генеральских чинах». А ежемесячный журнал эмигрантского Русского Обще-Воинского Союза «Часовой» (1983, № 641–646) тоже явно раздражен, потому как книга посвящена «многострадальному еврейскому народу», а «своего государя автор не помянул ни одним добрым словом!»

И все же тон высказываний «патриотов» о генерале-еврее по большей части одобрительный. Так, «запасной полковник» С. В. Грибанов в своей книге «Аз воздам» (1998), повествующей «о месте евреев и еврейства в русской государственной смуте», говорит: «Генерал Грулев, человек всем сердцем полюбивший русский народ и Россию, сражавшийся за нее на поле брани». Ему вторит историк-антисемит А. Дикий, отметивший «огромные заслуги генерала Грулева в деле изучения Дальнего Востока и Маньчжурии, где, по его указанию, в выбранном им пункте, был основан город Харбин». Более того, А. Дикий в приложении к своей книге «Евреи в России и в СССР. Исторический очерк» (1967) поместил некоторые выдержки из «Записок генерала-еврея». При этом он, разумеется, выбрал из нее лишь те места, где Грулев резко отзывается о том, что называл «предрассудками» местечковой среды. Но важно то, что книга Грулева согрета любовью к еврейскому народу, и нелицеприятные высказывания

автора об иудеях воспринимаются здесь через призму этой его жертвенной всепоглощающей любви. А. Дикий же вырывает из контекста нужные ему критические пассажи и использует их прямо в антисемитских целях. Можно предположить, что именно сочинение А. Дикого (оно было напечатано в России в 1994 году), популяризировавшее «Записки генерала-еврея», подвигло «патриотов» издательства «Кучково поле» на их публикацию. Показательно, однако, что в общем контексте книги Грулева эти неодобрительные высказывания об отдельных сторонах еврейской жизни тонут, зато на первый план выходит как раз привязанность сочинителя к своему народу, вера в его животворные силы. Все это заставило публикаторов из «Кучкова поля» В. Климанова и Ф. Филиппова дать в примечаниях «просвещающие» комментарии и аттестовать Грулева «еврейским националистом» (о тенденциозности сих публикаторов уже писал Г. Нискеров в статье «Комментарий к комментарию» в научно-просветительском журнале «Скепсис»). Любопытно, что один интернетовский пользователь оставил на сайте такой отзыв: «По-моему эту книжку (если судить по комментариям) издали какие-то полулатентные антисемиты. Денег им платить, конечно, жалко, но – с другой стороны – оригинальное парижское издание 1930 года купить несколько затруднительно, так что пусть их…»

Могила М. Грулева

По-видимому, в последние годы творческая активность Михаила Владимировича заметно поубавилась. Пример тому –

его неучастие в работе Русских военно-учебных курсов, открытых в Ницце в январе 1931 года. И это при том, что одним из руководителей курсов был его бывший сослуживец, генерал-лейтенант Генерального штаба М. А. Свечин.

Прихожанин русской церкви на улице Логшамп, Грулев похоронен на православном кладбище Кокад на западной окраине Ниццы, где нашли успокоение многие выдающиеся сыны России – генерал Николай Юденич, поэт и критик Георгий Адамович, писатель Владимир Жемчужников, художник Филипп Малявин.

Скончался Михаил Владимирович 17 сентября 1943 года. Франция была тогда оккупирована фашистами, и если бы Грулев не остался в контролируемой итальянцами Ницце, местом его смерти наверняка стали бы Берген-Бельзен, Освенцим или Терезиенштадт – лагеря, куда отправляли евреев: ведь от нацистов нашего героя не спасло бы никакое вероисповедание. Он был еще жив, когда под Сталинградом русский солдат – тот самый русский солдат, которым так гордился и воспитанию которого отдал столько сил наш генерал-еврей – разбил в пух и прах хваленую армию фельдмаршала Паулюса. А это означало, что великий Бог земли Русской по-прежнему щедр и всеблаг и что его, Михаила Грулева, жизнь прожита не зря.

Основная литература

• Авенариус В. П. Бироновщина; Два регентства. М., 1994.

• Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. П. М, 1963.

• Аксаков И. С. Соч. Т. 1–7. М., 1886–1887.

• Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995.

• Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. М., 2002.

• Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725–1740. Спб., 1994.

• Антисемитизм и русское народничество (Письмо Б. Николаевского – С. Дубнову) // Вестник Еврейского университета в Москве. № 3 (10). М.: Иерусалим, 1995.

• Аспид (Бердяев С. А.) Надсониада: Поэма из литературной жизни. Киев, 1886.

• Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: В 3-х т. Т. 1–3. М., 1984–1985.

• Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1990.

• Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца // Неистовый реформатор. М., 2000.

• Берхин И. Два еврейских врача при Московском дворе // Восход. Т. III. 1888.

• Бескровная Е. Н. Поэзия Семена Фруга. Монография. Днепропетровск, 2005.

• Беспятых Ю. Н. Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII века: Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л. Эренмальм. Спб., 1998.

• Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Спб., 1997.

• Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Спб., 1991.

• Бобе М. Евреи в Латвии. Рига, 2006.

• Богров Г. И. Записки еврея. Спб., 1874.

• Бродовский Г. А. С. Г. Фруг: Национальные мотивы его творчества. Одесса, 1911.

• Булгаков М. А. Жизнь г-на де Мольера. М., 1980.

• Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001.

• Булгарин Ф. В. Иван Выжигин и его приложение Петр Иванович Выжигин. М., 2002.

• Быть евреем в России. Материалы по истории русского еврейства. 1880–1890 / Сост. и примеч. Н. Портновой. Иерусалим, 1999.

• Бялый Г. А. Чехов и русский реализм. Л., 1981.

• Ватсон М. В. Семен Яковлевич Надсон: Биографический

очерк // Надсон С. Я. Дневники. М., 2003.

• Вайскопф М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. М.; Иерусалим, 2008.

• Вальдман Б. Русско-еврейская журналистика (1860–1914): Литература и литературная критика. Рига, 2008.

• Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 1–6. Спб., 1889–1904.

• Вернадский Г. В. Россия в Средние века. Тверь; М., 1997.

• Весслинг Р. Смерть Надсона как гибель Пушкина: «образцовая травма» и канонизация поэта «больного поколения» // Новое литературное обозрение. 2005. № 75.

• Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000.

• Вильбоа Ф. Рассказы о подлинной смерти царя Петра I и о всешутейшем и всепьянейшем Соборе, учрежденном этим государем при дворе // Вопросы истории, № 11,1991.

• Вишняк М. В. Дань прошлому. Нью Йорк, 1954.

• Вихнович В. Л. 2000 лет вместе: Евреи России. Спб., 2007.

• Вокруг евреев. (Еврейский вопрос в России: Мемуарные и художественные хроники в изложении сочувствующих и негодующих) / Сост. М. Б. Авербух. Филадельфия, 2007.

• Волконский С. М. Воспоминания: В 2-х т. Т. 1–2. М., 2004.

• Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. VII. Спб., 1882.

• Габлиц К. И. Краткое описание жизни и службы тайного советника, сенатора и разных орденов кавалера Карла Ивановича Габлица. Спб, 1821.

• Газо А. Шуты и скоморохи всех времен и народов. Спб., 1898.

• Георги И. И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 1–3. Спб., 1776–1777.

• Гессен В. Ю. К истории Санкт-петербургской еврейской религиозной общины от первых евреев до XX века. Спб., 2000.

• Гессен Ю. И. Евреи в России: Очерки общественной, правовой и экономической жизни русских евреев. Спб., 1906.

• Гессен Ю. И. Закон и жизнь. Спб., 1911.

• Гессен Ю. И. История евреев в России. Спб., 1914.

• Гессен Ю. И. История еврейского народа в России. М.; Иерусалим, 1993

• Гинзбург С. М. Из записок первого еврея-студента (Л. И. Мандельштам, 1839–1840) //Пережитое. № 1, Спб., 1910.

• Гинцбург Д. Г. О русском стихотворении; опыт исследования ритмического строя стихотворений Лермонтова. Посмертное издание с портретом автора. Спб., 1915.

• Глинка А. П. Жизнь пресвятой Девы Богородицы по книгам Четьям Минеям. Харбин, 1933.

• Глинка Ф. Н. Письма к другу. М., 1990.

• Гнедич Н. И. Дон-Коррадо де Геррера, или Дух мщения и варварства испанцев. М., 1803.

• Голиков И. И. Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра Великаго. М., 1798.

• Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России.! 1.М., 1837.

• Головина В. Н. Мемуары. М., 2005.

• Горшков А. И. История русского литературного языка. М., 1969.

• Грачева И. Из шутов – в графы // Нева. № 6,2005.

• Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 2002.

• Грибанов С. В. «Аз воздам»: Государственные и обыкновенные соображения на исходе века запасного полковника. М., 1998.

• Грузинский А. Е. П. В. Шейн // Журнал Министерства Народного просвещения. 1900, № 12.

• Даймонт М. И. Евреи, Бог и История. Иерусалим, 1979.

• Де-Лириа-и-Херика Х. Б. Ф. Ф. Д. С. Записки о пребывании при Императорском Российском дворе в звании посла короля испанского // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.

• Дело о сожжении отставного морского флота капитан-поручика Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру и Бороха Лейбова за совращение его (1738 г.) / С предисл. и примеч. И. Ю. Маркона. Спб., 1910.

• Диаспора: Новые материалы. Вып. 1. Париж; Спб., 2001.

• Дикий А. Евреи в России и в СССР: Исторический очерк. Новосибирск, 1994.

• Дмитриев М. А. Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985.

• Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрание двух царей Петра и Иоанна // Рождение империи. М, 1999

• Долгоруков П. В. Время Петра II и императрица Анна Иоанновна. М., 1909.

• Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Т. 25. Л., 1983.

• Дудаков С. Ю. История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX веков. М, 1993.

• Дудаков С. Ю. Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России: Очерки. М., 2000.

• Дудаков С. Ю. Шафиров. Иерусалим, 1989.

• Евгений (Болховитинов Е. А.). Переписка митрополита киевского Евгения с государственным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым и с некоторыми другими современниками (с 1813 по 1825 год включительно). Вып. 1–3. Воронеж, 1868–1870.

• Евгений (Болховитинов Е. А.). Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Т. 1–2. М., 1845.

• Евреи в России: XIX век. М., 2000.

• Евреи в Российской империи XVIII–XIX веков. Сборник трудов еврейских историков. М.; Иерусалим, 1995.

• Евреи и жиды в русской классике / Сост. Г. С. Зеленина. М., 2005.

• Еврейская Энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Т. I–XVI. Спб., 1906–1913.

• Екатерина II. Записки императрицы Екатерины II. М., 1989.

• Ефимов А. В. Из истории русских географических открытий. М., 1991.

• Жихарев С. П. Записки современника. Т. 1–2. Л., 1989.

• Загоскин Н. П. Очерки организации и происхождения служилого сословия допетровской Руси. Казань, 1875.

• Зверев В. П. Федор Глинка – русский духовный писатель. М., 2002.

• Зеленина Г. С. От скипетра Иуды к жезлу шута: Придворные евреи в средневековой Испании. М.; Иерусалим, 2007.

• Зернов Н. М. Три русских пророка. А. С. Хомяков. Ф. М. Достоевский. В. С. Соловьев. М., 2010.

• Знаменитые россияне XVIII–XIX веков: Биографии и портреты. Спб, 1996.

• Зорин А. Л., Рогов К. Ю., Рейтблат А. И. Невахович // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4: М-П. М., 1999.

• И. А. Гончаров и К. К. Романов. Неизданная переписка К. Р. Стихотворения. Драма. Псков, 1993.

• Из истории белградского «Нового времени». Письма М. А Суворину // НЛО, № 15,1995.

• Иосиф Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих. Казань, 1903.

• История еврейства московского // www.rassisk.org/article.

• Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века: Опыт целостного анализа. М., 1999.

• Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: Традиция и модернизация. М., 1999.

• Кантемир А. Д. Реляции кн. А. Д. Кантемира из Лондона

(1732–1733). М., 1892.

• Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. I–III. Спб., 2000.

• Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984.

• Карский Е. Ф. П. В. Шейн (Некролог) // Русский филологический вестник. 1900, № 3–4.

• Кац А. С. Евреи. Христианство. Россия: От пророков до генсеков. М.; Красноярск, 2006.

• Кацис Л. Ф. Осип Мандельштам: Мускус иудейства. Иерусалим; М., 2002.

• Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. Происхождение еврейского вопроса в России: 1772–1825. М.: Иерусалим, 2000.

• Князьков С. Из прошлого земли русской. Время Петра Великого. М., 1991.

• Коган Л. Еврейская русскоязычная литература. Историко-литературная и научно-популярная монография. Иерусалим, 2000.

• Кожинов В. В. История России и русского слова: Опыт беспристрастного исследования. М., 1999.

• Колинчук С. Павел Аксельрод, Лев Дейч и другие (Евреи-народники и погромы 80-х гг. XIX в.) // Вестник Еврейского Университета в Москве. № 2 (18). М.; Иерусалим, 1998.

• Коллинс С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне // Утверждение династии. М., 1997.

• Корб И. Г. Дневник путешествия в Московское государство // Рождение империи. М., 1997.

• Корнейчук Д. Банкиры царского двора // www.hrono.info/statii/2007/krn_bank.html

• Корнилович А. О. Нравы русских при Петре Великом. Спб., 1901.

• Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. Спб., 1861.

• Костомаров Н. И. Великорусская народная песенная поэзия. По вновь изданным материалам // Вестник Европы. 1872, кн. VI.

• Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. Спб, 1906.

• Красов В. И. Сочинения. Архангельск, 1982.

• Красов В. И. Стихотворения В. И. Красова / Изд. П. В. Шейна. М., 1859

• Краткая Еврейская Энциклопедия. Т. 1—11. Иерусалим, 1976–2005. Краткая литературная энциклопедия: в 9-ти т. Т. 1–9.М., 1962–1978.

• Крафт Г. В. Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт Петербурге в генваре месяце 1740 года

Ледяного дома и всех находившехся в нем домовых вещей и уборов с приложенными при том гридированными фигурами… Спб., 1741.

• Крижанич Ю. Русское государство в половине XVII века: Рукопись времен царя Алексея Михайловича. М., 1859.

• Крымов В. П. Портреты необычных людей. Париж, 1971.

• Купеческие дневники и мемуары конца XVIII – первой половины XIX века. М, 2007.

• Курбский А. И. Сказания князя Курбского. Спб., 1868.

• Курганов Е. Я. Анекдот как жанр. Спб., 1997.

• Курганов Е. Я. Литературный анекдот Пушкинской эпохи: Дис. д-ра философии. Хельсинки, 1995.

• Лажечников И. И. Соч. Т. 1–2 М., 1963.

• Лахтин М. Ю. Медицина и врачи в Московском государстве (в допетровской Руси). М., 1906.

• Левитина В. Русский театр и евреи. Т. 1–2. Иерусалим, 1988.

• Левков И. Забытый русский поэт Семен Фруг // Фруг С. Г. Разбитые скрижали: Полное собрание стихов и поэм. Нью-Йорк, 2008.

• Летопись занятий постоянной Историко-археографической комиссии за 1926 год. Вып. 34. Л., 1927.

• Линь Ш. Ж. де. Портрет Екатерины II // Екатерина II в воспоминаниях современников, оценках историков. М., 1988.

• Лисаевич И. На крыльях Меркурия: Из истории торгово-банковской жизни Петербурга. Спб., 2004.

• Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Т. 1–3. Л., 1987.

• Луппов С. П. Книга в России в послепетровское время: 1725–1740. Л, 1976.

• Луппов С. П. Книга в России первой четверти XVIII века. Л., 1973.

• Львов-Рогачевский В. Л. Русско-еврейская литература. Тель-Авив, 1972.

• Люблинский В. С. Новые тексты переписки Вольтера. Т. 1–2. М., 1956–1970.

• Мандельштам Л. И. Еврейская семья: Драматическая повесть в трех отделениях. Спб., 1872.

• Мандельштам Л. И. Стихотворения Л. И. Мандельштама. М., 1840.

• Мандельштам Л. И. Учебник иудейской веры, для употребления в еврейских училищах. Киев, 1870.

• Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Париж, 1983.

• Мандельштам О. Э. Времена года в жизни и в поэзии (Избранные стихи). Иерусалим, 2007.

• Мандельштам О. Э. Соч.: В 2-х т. Т. 1–2. М., 1990.
• Манкиев А. И. Ядро российской истории. 3-е изд. М., 1791.
• Маркиш Д. Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей, 1689–1738. Спб, 2001.
• Мартынов С. Финансы и банкирский промысел: Штиглиц, Гинцбурги, Поляковы, Рябушинские. Спб., 1993.
• Мейерберг А. Путешествие в Московии // Утверждение династии. М.,1997.
• Мережковский Д. С. Петр и Алексей // Мережковский Д. С. Соч. Т. 2. М, 1990.
• Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. М., 2006.
• Миллер В. Ф. Памяти П. В. Шейна // Этнографическое обозрение. 1900, кн. XIII.
• Молчанов Н. Н. Петр I. М., 2003.
• Мордовцев Д. Л. За чьи грехи? Великий Раскол. М., 1990.
• Нагибин Ю. М. Шуты императрицы // Нагибин Ю. М. Любовь вождей. М., 1994.
• Надсон С. Я. Проза. Дневники. Письма. Спб., 1912.
• Назанский В. И. Крушение Великой России и Дома Романовых. Париж, 1930.
• Нарежный В. Т. Российсикий Жилблаз, или Похожения графа Гаврилы Симоновича Чистякова: Роман в шести частях. М., 1938.
• Неведомский М. Зачинатели и продолжатели: Поминки, характеристики, очерки по русской литературе от Белинского до наших дней. Пгд., 1919.
• Немцы России: Энциклопедия. Т. 1–3. М., 1999–2006.
• Новиков В. Три страницы // www.nativregion.narod.ru/simple_pagel7.html
• Новиков Н. В. Павел Васильевич Шейн: Книга о собирателе русского и белорусского фольклора. Минск, 1972.
• Нольде Б. Е. Юрий Самарин и его время. М., 2003.
• Окунев Ю. Б. Ось всемирной истории. Спб., 2004.
• Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003.
• Орешкова С. Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII века. М., 1971.
• Павлов Н. Ф. Избранное: повести, стихотворения, статьи. М., 1988.
• Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, 1980.
• Перетц В. Н., Перетц Л. Н. Декабрист Григорий Абрамович Перетц: Биографический очерк. Документы. Л., 1926.
• Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Спб, 1993.

• Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Т. 1–3. Л., 1961–1971.
• Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936.
• Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.
• Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.
• Полонская И. М. и др. Библиотека А. А. Матвева: Каталог. М., 1985.
• Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха веры. М.; Иерусалим, 1997.
• Помощь евреям, пострадавшим от неурожая. Спб., 1901.
• Предпринимательство и предприниматели от истоков до начала XX века. М., 1997.
• Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижной палимпсест. М., 1999.
• Прохоров Г. М. Памятники переводной русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987.
• Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. М., 1993.
• Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 1–10. Л., 1977–1979.
• Пыляев М. И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. М., 1990.
• Пыляев М. И. Старый Петербург: Рассказы из былой жизни столицы. Спб, 2004.
• Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. II, IV Спб., 1891,1892.
• Пятковский А. П. Государство в государстве: к истории еврейского вопроса в России и Западной Европе. Спб., 1901.
• Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919–1939 гг. М, 1994.
• Райкова Н. И. Петр I: Предания. Легенды. Сказки. Анекдоты. М., 1993
• Раковский Л. И. Изумленный капитан. Исторический роман. Л., 1938.
• Ратнер Л. На русской службе государевой // www.hesed.ru/gazeta/archiv/2002/7/5/5.htm
• Ратников К. В. Степан Петрович Шевырев и русские литераторы XIX века. Челябинск, 2003.
• Регесты и надписи: Свод материалов для истории евреев в России 80-1800 гг. Т. I–III. Спб., 1899–1913.
• Резник С. Е. Запятнанный Даль. Спб., 2010.
• Резник С. Е. Вместе или врозь: Заметки на полях книги А. И. Солженицына. М., 2003.
• Рогачевский А. Верноподданный еврей: Новые данные о Лейбе Неваховиче // Вестник Еврейского университета в Москве. № 1. М.; Иерусалим, 1992.

• Родионов А. М. Хивинский поход // www.kungrad.com/liistory/pohod/r

• Родной голос: Страницы русско-еврейской литературы конца XIX – начала XX века: Книга для чтения / Сост. П. Ш. Маркиша. Киев, 2001. Розанов В. В. В нашей смуте. М., 2004.

• Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Спб., 1884.

• Российская еврейская энциклопедия: Биографии. Т. 1–3. М., 1994–1997.

• Ростопчина Е. П. Стихотворения, проза, письма. М., 1986.

• Русская летопись по Никоновскому списку. Ч. IV. Спб., 1790.

• Рубинов А. З. Такова еврейская жизнь. М., 2007.

• Русский биографический словарь. Т. I–XV. Спб., 1896–1918.

• Рыбаков М. «Простите, дорогие братья…» (Сергей и Елена Бердяевы против антисемитизма) // www.judaica.Kiev.ua/Conference/Conf2002/Conf29-02.htm.

• Савва В. В. Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков, 1901.

• Сафран Г. «Переписать еврея…»: Тема еврейской ассимиляции в литературе Российской империи (1870–1880). Спб., 2004.

• Серов Д. О. Строители империи: Очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996.

• Синдаловский Н. Санкт-Петербург. Действующие лица: Биографический словарь. Спб., 2002.

• Слезкин Ю. Эра Меркурия: Евреи в современном мире. М., 2007.

• Слободчикова Р. И. Романовы. Нарышкины и их потомки. Филадельфия, 2006.

• Словарь Академии Российской: В 6-ти т. Т. 1–6. Спб. 1789–1794.

• Словарь русского языка XVIII века. Т. 1—17. Спб., 1987–2005.

• Словарь языка А. С. Пушкина. Т. 1–4. М., 1956–1961.

• Слиозберг Г. Б. Барон Г. О. Гинзбург: Его жизнь и деятельность. Париж, 1933.

• Слиозберг Г. Б. Дела минувших дней: Записки русского еврея. Т. 1–3. Париж, 1933–1934.

• Слова в дни памяти особо чтимых святых // www.pravoslavie.uzVladika/Books/Slovo/IIIosif3.htm

• Соколова. И. Меншиков. М., 1965.

• Солженицын А. И. Двести лет вместе. Т. 1 (1795–1916). М., 2001.

• Соколов Б. М. Собиратели русских народных песен: П. В. Киреевский. П. И. Якушкин. П. В. Шейн. М., 1923.

• Соловьев В. С. Еврейство и христианский вопрос // Тайна Израиля: «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX – первой половины XX вв. София, 1993.

• Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. I–XVIII. М, 1988–1995.

• Старикова Л. М. Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. М., 1995.

• Старикова Л. М. Штрихи к портрету Анны Иоанновны // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. Спб., 2000.

• Степанова Р. М. Невыдуманная история Риголетто при дворе Петра I // Слово/Word. № 54. New York, 2007.

• Стихотворная трагедия конца XVIII – начала XIX века. М.; Л., 1964.

• Страленберг Ф. И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. Т. 1–2. М., 1985–1986.

• Строев В. Н. Бироновщина и Кабинет министров: Очерк внутренней политики императрицы Анны. Историческое исследование. Т. 1–2. Спб., 1909–1910.

• Сумароков А. П. Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 году в месяце Майи. Спб., 1768.

• Табак Ю. С. Сумерки шовинизма. Сборник статей. М., 2002.

• Татищев В. Н. Избр. произв. Л., 1979.

• Тихомиров Л. А. Тени прошлого. М., 2000.

• Толстой А. Н. Петр Первый: Роман. М., 1981.

• Топоров В. Н. На рубеже двух эпох: К новой русско-еврейской встрече (Л. Невахович и его окружение) // Славяне и их соседи. Вып. 5. М., 1994. Тредиаковский В. К. Избр. произв. Л., 1963.

• Тростников В. Н. Православная цивилизация: Исторические корни и отличительные черты. М., 2004.

• Федотов Г. П. Империя и свобода. Избранные статьи. Нью-Йорк, 1989.

• Фельдман Д. З. Страницы истории евреев России XVIII–XIX веков: Опыт архивного исследования. М., 2005.

• Фруг С. Г. Иудейская смоковница: Воспоминания, очерки, фельетоны / Сост. и примеч. Н. Портновой. Иерусалим, 1995.

• Фруг С. Г. Стихи и проза. Избранное. Иерусалим, 1976.

• Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988.

• Черняк А. Я. Российский генерал-еврей во Франции // Русское еврейство в Зарубежье. Т. 4 (9). Иерусалим, 2002.

• Шаврыгин С. М. Творчество А. А. Шаховского в историко-литературном процессе 1800—1840-х годов. Спб., 1996.

• Шмаков А. С. Еврейские речи. М., 1897.

• Шильдер Н. К. Император Николай I: Его жизнь и царствование. Т. 1–2. М., 1997.

• Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. М., 1995. Юль Юст. Записки датского посланника при Петре Великом // Лавры Полтавы. М., 2001.

• Янов А. Н. Патриотизм и национализм в России 182 5—1921. М., 2002.

• Янов А. Н. Россия, у истоков трагедии: 1462–1584: Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., 2001.

• Ясинский И. И. Роман моей жизни. М.; Л., 1926.

• Balin C. To Reveal Our Hearts: Jewish Woman Writers in Tsarist Russia. Cincinnati, 2000.

• Curtiss M. C. A Forgotten Empress. Anna Ivanovna and Her Era. 1730–1740. New York, 1974.

• Fishman D. Russia's First Modern Jews. The Jews of Shklov. New York; London, 1995.

• Hertz D. Jewish High Society in Old Regime Berlin. New Haven; London,1988.

• Hetenyi Z. In Maelstrom. The History of Russian Jewish Prose (I860—1940). Budapest; New York, 2008.

• Hughes L. Peter the Great: A Biography. New Haven; London, 2002.

• Israel J. European Jewry in the Age of Mercantelism, 1550–1750. London; Portland, 1998.

• Jewish Apostasy in the Modern Word. New York; London, 1987.

• Klier J. I. S. Aksakov and the Jewish Question, 1862–1886 // Евреи в России. История и культура. Сборник научных трудов. Спб., 1998.

• Litvak L. The Jewish Persona in the European Imagination. The Case of Russian Literature. Standford, 2010.

• Lvov-Rogachevsky V. A History of Russian Jewish Literature. Michigan, 1979.

• Montefeore S. Prince of princes: the life of Potemkin. New York, 2001.

• Printer W. M. Russian economic policy under Nicholas I. Ithaca; New York, 1967.

• Rosman M. J. Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the 18-th Century. Cambridge, 1990.

• Sorokin P. A. Russia and the United States. New York, 1944.

• Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: the transformations of the Jewish society in Russia, 1825–1855. Philadelphia, 1983.

• Stanislawski M. The Tsarist Mishneh Torah: A Study of the Cultural Politics of the Russian Haskalah // American Academy of Jewish Research. Proceedings. Vol.1. Jerusalem, 1983.

• Stern S. The Court Jew. A Contribution to the History of Absolutism in Europe. New Brunswick; Oxford, 1985.

• Weber F. Ch. The Present State of Russia. London, 1968.

• Zitser E. The Transfigured Kingdom: Sacred Parody and Charismatic Authority at the Court of Peter the Great. Ithaca, 2004.

notes

Примечания

1

Любопытно, что те же забавные аргументы приводит секретарь посольства императора Леопольда I к Петру I И. Г. Корб: «В Московии некрещеные евреи жить не могут, потому, как говорят Москвитяне, что было бы странно, если бы от них, Москвитян, религией отличались те, в нравах и поведении которых оказываются не менее замечательная хитрость и способность к обману» (Корб И. Г. Дневник поездки в Московское государство… М., 1867, с. 281). Австрияка И. Г. Корба можно было бы, конечно, обвинить в русофобии, но он ссылается на мнение самих москвитян, а это уже заставляет призадуматься. Примечательно, что нечто подобное высказал ранее секретарь голштинского посольства при царе Михаиле Федоровиче Адам Олеарий в книге «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» (1656): «Многие из [русского] купечества довольно похожи на жидов». Интересно, что впоследствии классик марксизма Ф. Энгельс заметит: «После русского купца трем евреям делать нечего».

2

На тот факт, что Леви Липман не был крещен, уже обратила внимание американский историк Мина Куртисс в монографии «A Forgotten Empress. Anna Ivanovna and Her Era. 1730–1740» (New York, 1974).

3

В первом издании «Дневника» Фридриха Берхгольца (т. 1, с. 47) сказано: «Через Красный Кабачок проехал почтой из Ревеля в Петербург Голицынский придворный жид Липман». Эти сведения были приведены в т. 2 книги «Регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России» (с. 2 51) и, опираясь на них, историк Юлий Гессен в «Еврейской энциклопедии» (т. X, с. 224) заключил, что Леви был будто бы выдвиженцем президента камер-коллегии, князя Дмитрия Голицына. Однако это явная опечатка. На самом деле речь идет не о «голицынском», а о «голштинском» придворном еврее, о чем свидетельствует упоминание о нем в тексте «Дневника» (в частности, здесь говорится, что этот «придворный жид» приехал в Петербург раньше герцога и объявил о его задержке, чем очень рассердил голштинского посланника в России, тайного советника Андрея-Эрнста Штамке). Кроме того, сомнительна правомерность определения «придворные» применительно к окружению князя. Известно также, что Дмитрий Голицын с презрением относился к иноземцам, а впоследствии именно князей Голицыных (вкупе с Долгоруковыми и другими) обвинили в том, что те хотели отдать банкира Липмана на растерзание разъяренной толпе, о чем писала 7 января 1740 года газета «Bayreuther Zeitung».

4

С Глинками его, возможно, познакомила Елизавета Алексеевна Драшусова-Карлгоф (ок. 1816–1884), частая посетительница их литературных вечеров (воспоминания об этом она включила в свой неопубликованный роман «Не от мира сего»). В. И. Красов посвятил ей балладу «Клара Моврай» (Киевлянин, кн. 1.1840, с. 124–126), навеянную романом Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды».

5

Федор Николаевич Глинка (1786–1880) привлек Шейна знанием Библии, любовью к отечественной старине, широтой и глубиной эрудиции в самых разных науках – истории, словесности, этнографии, мифологии; он был собирателем древних русских рукописей и книг. Писатель читал вслух гостям отрывки из сочиненного им (совместно с Авдотьей Глинкой) «народного предания» под названием «Таинственная капля» – о земной жизни Иисуса Христа, содержание коей, по его словам, было заимствовано «из древней легенды, сохранившейся в хрониках средних веков, в семейных рассказах и в памяти христианских народов». Говорилось здесь о разбойнике, вкусившем в младенчестве каплю молока Богородицы и раскаявшемся при распятии на кресте рядом со Спасителем. То было первое подробное повествование о Христе, услышанное нашим героем. Неизвестно, оказало ли оно тогда влияние на его еще не обращенную душу. Но вот образ ветхозаветного праведника в «Свободном подражании Священной книге Иова» Глинки Павлу, воспитанному в иудейских традициях, был более близок. (Да и сам сочинитель говорил здесь: «У евреев ученые раввины, составители Талмуда, потом раввин Елеазар и другие… с благоговением рассуждали об этой книге»). И юноша мог подписаться под словами Федора Николаевича: «Повесть о страданиях Иова во все времена будет велика, прекрасна, для всех трогательна, ибо она основана на общей истине и составляет историю всего человеческого рода». Знал Шейн и о том, что Глинка написал «народную повесть», которую адресовал «сельским чтецам, деревенским грамотеям», а такие его песни, как «Не слышно шуму городского…» и «Вот мчится тройка удалая…», вошли в сокровищницу русской словесности.

Завсегдатаем в доме был и поэт, критик, мемуарист Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866), называвший себя «антикварием литературных наших дел». Переводчик произведений Горация, Г. Гейне, Ф. Шиллера, И. Г. Гердера, Л. Уланда, он в то же время неизменно критиковал западников, сетовал на оскудение христианской любви, забвение старинных русских обычаев и переимчивость иностранного. Характерно, что в стихотворении «Семисотлетняя Москва» (1845), которое мог слышать Шейн в доме Глинок, он сетует:

Раз лишь ослушалась наша Москва! Не хотелось старушке Бороды брить сыновьям, дочерей наряжать по-немецки! Старые люди упрямы! Старые кости не гибки! Стыдно ей было плясать на

старости лет в ассамблеях, Горько ей было, что внуки в Немецкую слободу ездят!

Хотя М. А. Дмитриев писал и лирические, и эпически-описательные, и публицистические произведения, современников больше привлекала его сатирическая поэзия, о которой Н. В. Гоголь сказал, что в ней «желчь Ювенала соединилась с каким-то особым славянским добродушием». Кроме того, Михаил Александрович был прекрасным рассказчиком, раскрыл Павлу художественные достоинства русской литературы XVIII века, которую большинство читателей 1840-х годов воспринимало как череду нелепых ошибок. «Наша литература последней половины прошлого века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней думают, – оспаривал это предубеждение Дмитриев. – Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила плоды, которыми в свое время пользовались и наслаждались». Племянник видного стихотворца И. И. Дмитриева, близкого друга писателя и историографа Н. М. Карамзина, он дает живые портреты литераторов в интерьере времени, доносит до слушателя дыхание Екатеринина века. При этом безыскусственность и простота составляли особенность его повествования. Подкупали также особый доверительный тон и удивительная скромность автора. Свои бесценные мемуары он назовет потом «мелочи из запаса моей памяти» и будет говорить: «Я знаю многое кое-то об нашей литературе, или об наших литераторах, что теперь или не известно, или забыто… Я не признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан этим только моим летам, только тому, что я живу дольше других, что я старее молодых словесников: преимущество не важное!» Хотя М. А. Дмитриеву в то время едва перевалило за пятьдесят, Павел воспринимал его как старика, но внимал ему с жадностью.

Кружок Глинок посещал прозаик, поэт, историк Александр Фомич Вельтман (1780–1870), в ту пору заместитель директора Оружейной палаты Московского Кремля. Действительный член Общества любителей российской словесности и Общества истории и древностей российских, он в своем творчестве деятельно разрабатывал тему Древней Руси (письмо «О Господине Новгороде Великом», 1834). Его считают создателем оригинального фольклорно-исторического жанра, черты которого видны в романах «Кощей Бессмертный. Былина старого времени» (1833) и «Святослав, вражий питомец» (1835). Белинский отмечал, что романы Вельтмана о Древней Руси «народны в том смысле, что дружны с духом народных сказок, покрыты колоритом славянской древности». К славянству же и славянскому фольклору писатель проявлял стойкий интерес –

опубликовал роман «Раина, королева болгарская» (1843), стихотворную драму «Ратибор Холмоградский» (1841), а также написанную на основе сербских баллад и преданий «Троян и Ангелица. Повесть, рассказанная светлой денницей ясному месяцу» (1846). Важно и то, что Александр Фомич был неутомимым собирателем фольклора, что объединяло его с нашим героем.

В числе непременных посетителей литературных вечеров Глинок был поэт, переводчик, историк Николай Васильевич Берг (1823–1884), тоже ревностный энтузиаст славянства. Он перевел стихотворения и эпическую поэму «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича. Однако особое внимание уделял Николай Берг народной песне славян, и общение с ним было благотворно и чрезвычайно полезно для Шейна. В 1854 году Н. В. Берг издаст сборник «Песни народов мира», куда войдут песни 26-и народов – в оригинале и переводе на русский язык.

6

В конце текста стоят инициалы «П. Ш». Такой криптоним использовал П. В. Шейн, публикуя свои материалы в журнале «Развлечение» (1859). Стихотворение было атрибутировано Шейну Н. П. Смирновым-Сокольским (Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. М, 1965, с. 236).

7

Это стихотворение советская цензура признала антисемитским, и в СССР оно не перепечатывалось.

8

Примечательно, что в рассказе Менделе Мойхер-Сфорима «Без радости» (1900) приводится еврейская песня, слова которой как раз подчеркивают эту преемственность:

> Ты знаешь ли Херсон? Там далеко на юге…
> Там чудная земля, и на Днепре, на Буге,
> В полях Израиль вновь воспрянет полный сил!

Автор выражает благодарность М. Б. Авербуху, составителю антологии «Вокруг евреев: Еврейский вопрос в России. Мемуарные и художественные хроники в изложении сочувствующих и негодующих» (Филадельфия, 2007), за предоставленные материалы о жизни и творчестве Р. М. Хин-Гольдовской.

Явление это в русско-еврейской литературе не единичное. Обращает на себя внимание творчество В. И. Никитина, принявшего православие бывшего николаевского солдата. В его автобиографической повести «Век пережить – не поле перейти (Из рассказов отставного солдата)» (Еврейская библиотека. 1873) предстает идеальный герой-кантонист, который, в отличие от сочинителя, несмотря на принуждения и издевательства, не отрекся от веры отцов и вызвал тем самым уважение христиан.

11

Утверждения почвенников о том, что генерал Грулев – «еврей, отнюдь не крещеный» (См.: Мара-Бат. А. Краткая справка о евреях. М.; Касабланка, 1990, с. 15), совершенно беспочвенны.

Характерно, что почерпнутые у М. В. Грулева сведения об обязательном обучении иудеев грамоте в I860—1870-е годы публицисты-антисемиты монархистского толка приводят в доказательство того, что те якобы никаким притеснениям в царской России не подвергались (см.: Острецов В. Черная сотня. Взгляд справа. М., 1994, с. 76; Красный В. Дети дьявола. М., 1999, с. 80–81 и др.). Действительно, при Николае I евреев настойчиво привлекали в общие учебные заведения, и министр народного просвещения С. С. Уваров выработал проект открытия сети школ для «борьбы с еврейской косностью». Та же политика продолжалась и при Александре II, и 1870-е годы совпадают с эпохой огромного роста евреев-учащихся и создания многочисленного слоя дипломированной интеллигенции. Однако при Александре III возобладала прямо противоположная тенденция: в 1887 году министр народного просвещения И. Д. Делянов во всеподданнейшем докладе царю предложил «ограничить известным процентом число учащихся евреев». В результате в учебных заведениях в пределах черты оседлости была установлена норма в 10 процентов, вне черты – 5 процентов, а в Петербурге и Москве – 3 процента. Такая же норма была установлена для университетов и других высших учебных заведений, а в некоторые из них прием евреев был вообще прекращен.